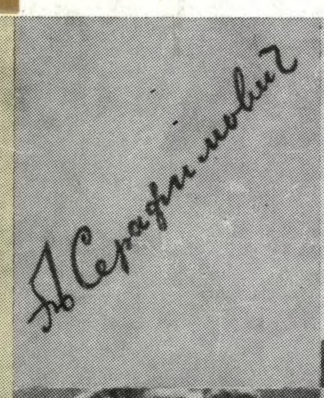
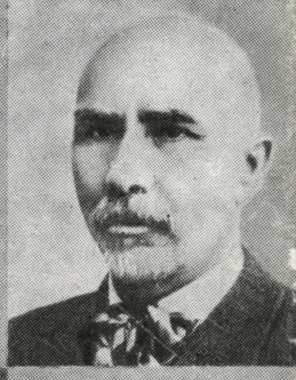
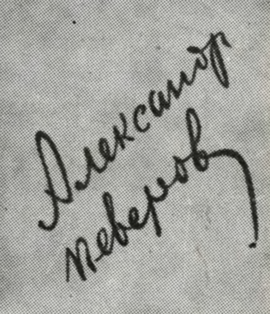
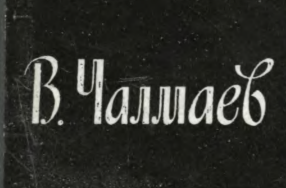
СЕРАФИМОВИЧ НЕВЕРОВ









ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

В. Чалмаев СЕРАФИМОВИЧ · НЕВЕРОВ



ЖЗЛ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 5

(624)

В. Чалмаев

СЕРАФИМОВИЧ НЕВЕРОВ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1982



Ч $\frac{4702010200-113}{078(02)-82}$ 286—82.

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

«...ИЗ ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО»

В моих жилах несомненно течет скифская кровь. Иначе отчего же я так тоскую по милым степям, без предела и границ раскинувшимся в сухой и жаркой дымке, кругом облегающей?

А. Серафимович. У холодного моря (1909)

...Это июльское утро 1870 года началось для казачьего Кутейникова полка, двигавшегося походным маршем из Области Войска Донского в польское местечко Стопницы, привычной торопливой суетой.

Казаки в бязевых нательных рубахах, желтовато-серых от пота и пыли, шумно плескались у колодцев, таскали лошадям торбы с овсом. Ночью прошел дождь, и тонкий шпиль костела едва проступал в сырых, сносимых ветром клочьях тумана. Пустая грязная площадь с лепившимися друг к другу мелочными лавчонками — на одну стену все-таки меньше, дешевле, решали хозяева, — сводчатые ворота какой-то виллы, казавшейся издали входом в неведомый грот, сейчас не интересовали никого. Поход длился уже второй месяц...

Офицеры, поеживаясь от утреннего холодка, приносимого ветром с Карпат, еще завтракали на террасах, во дворах у летних кухонь, вяло припоминая затянувшийся за полночь ужин, вчерашнюю игру. Щеголеватые вахмистры, урядники, тоже уставшие в затянувшемся походе, суетились среди казаков в заломленных набекрень фуражках, покрикивая на замешкавшихся. Делали они это не от нужды, а скорее от безделья, по привычке.

Краткие хриплые команды, конское ржание, топот уже оседланных лошадей, треск задетого повозкой плетня — все сливалось в нестройный гул.

— Их благородию, доктору Желтухину, умыться дай!

— Фуражиры! Во вторую сотню...

— Ну и блох я набрался... Крупные и ровно маштаки необъезженные скачут...

— Вахмистр! Вызвать санитаров в первый взвод...

Казаки, успевшие переброситься шуткой, узнать новости у ездовых, знакомых денщиков, не дожидались, пока лошади выберут из торб последние зерна. Они торопливо сдергивали торбы, задирали морды коням, с при-

вычной ловкостью, с окриком втискивали промеж зубов стальные удила...

Как обычно началось это походное утро и для семьи есаула, казака Нижне-Курмоярской станицы Серафима Ивановича Попова... Сам хозяин — сорокатрехлетний казак с крепкой, поджарой фигурой, еще недавно ходивший «охотником» в отчаянные вылазки на Кавказе, — бросив несколько коротких фраз денщику Нефеду, быстро ушел в штаб.

Георгиевский крест с бантом, как всегда, был на его груди. Ножны с шашкой глухо звякнули, задев калитку.

Нефед, громадного роста казак Старо-Григорьевской станицы, успел уже накормить лошадей, сварить вкрутую яйца и сложить их в гарнец с овсом, чтобы не разбились в дороге. Фургон, обтянутый черной кожей, в котором проделала все путешествие семья есаула — жена Раиса Александровна, семилетний Саша, любимец Нефеда, его сестренка и бонна m-lle Софи, — уже стоял у ворот. Издали фургон был похож на повозку из цыганского табора или лавку торгаша-маркитанта.

Нефед, не дожидаясь, пока кончится завтрак, уже начал выносить узлы, чемоданы, сундучки. Хозяин, немногословный галичанин, попробовал помочь ему, но, наткнувшись на угрюмый взгляд Нефеда, отошел в сторону: «Ja hcalem jak liepiej»[1].

Всех хозяев, принимавших на постой офицерские семьи, Нефед в глубине души считал грабителями. И, укладывая вещи, суетясь возле лошадей, он не забыл в нужную минуту, в момент расчета за постой, войти в дом, мрачно резанув оторопевшего хозяина взглядом. Раиса Александровна — она была на пятнадцать лет моложе мужа, неопытна в житейских расчетах, — смущенно передала Нефеду деньги.

— А где Александр?

M-lle Софи, пугавшаяся и топота казачьих лошадей, с трепетом ожидавшая самого ужасного в непонятной ей среде полудикого воинства, испуганно заговорила:

— О, это такой несносный, глюпый мальчик! Ему обещали невероятное — ехать верхом на конь... Он не спал ночь, грубит маман, сейчас бегает где-то среди казак...

Нефед промолчал. Он догадывался, что Саша, конеч-

---

[1] Я хотел как лучше! *(польск.)*

но, там, где сейчас седлают для него купленную недавно Серафимом Ивановичем буланую лошадку...

И еще одна беспокойная мысль не оставляла его. Он вышел в сени, присел возле кованого крепкого сундука. Все знали, что Нефед всегда возил с собой его, мечтая наполнить к возвращению на Дон подарками для сестер, племянниц, своячениц. Сундук наполнялся купленными по случаю шалями, отрезами дешевого, ярких расцветок ситца, платками. Соблазнившись дешевизной, он купил кое-что и вчера вечером в корчме, где оказался вместе с вестовым-земляком. Сейчас Нефед раздумывал: выносить ли сундук или еще раз на свету разглядеть покупку, которую торопливо завернул ему юркий корчмарь. Он достал ключик...

А между тем Саша уже бежал мимо казаков, стоявших нестройными группами у оседланных коней, дымящихся кухонь. Аккуратный, решительный мальчик в суконной гимнастерке с пояском, упрямый и, кажется, нежный в глубине сердца, был всем знаком, и никто не обращал на него особого внимания. Радость переполняла его, нетерпение возрастало! Он уже видел, как Калмычка — так звали его лошадку — сводили на водопой... Отмахиваясь хвостом от слепней, Калмычок спокойно забирал шелковистыми губами овес, покосился лиловым глазом на Сашу, но, обнажив крепкие зубы, взял пучок травы и из его рук. Сбивая прозрачные капли росы, мелкими сосульками висевшие на лопухах, кустах, шершавых листьях подсолнухов, Саша побежал к дому. И еще издали, увидев Нефеда, сердито вталкивавшего в фургон свой сундук, закричал:

— Нефед! Нефед! Я сегодня на Калмычке еду!

Нефед не сразу повернулся к запыхавшемуся, такому счастливому в это утро мальчику... А когда повернулся, то Саша удивился... Добрые глаза Нефеда искрились гневом, он тяжело вздыхал, багровел лицом, как будто не слышал крика своего любимца, не видел его восторженных глаз. Саша, конечно, не знал, что виной всему... проклятый сундук! Открыв все-таки его и развернув могучими, огрубелыми ручищами отрез, вчерашнюю покупку, Нефед рассмотрел подозрительную прель в середине куска, рваный угол в одном конце... Край был почему-то подмочен керосином и заляпан воском. В ушах Нефеда звучал вчерашний вкрадчивый голос шинкаря, назойливо сыпавшего бисер польско-русских словечек, от него трудно было отмахнуться.

— To jest prawdziwy lodzinski jedwab! To bardzo tanje. Ja ne tym trazce [1].

Медленно приходя в себя от распиравшего его негодования, Нефед увидел наконец Сашу. Всегдашняя доброта, внутренний такт победили раздражение. Улыбка пробежала по его гладко выбритому лицу, утонула в рыжеватых усищах:

— О! Выходит, настоящим казаком будете. Покажете всем, как донцы наши ездиют...

Все дальнейшее свершилось для Саши как в счастливом сне.

Вот уже полковой трубач выехал на пригорок, вытер ладонью усы, слегка раздвинул их и, приложив как положено устье трубы к подобранным губам, заиграл:

Сса-а-дники, дру-ги, в поход собирайтесь,
С бо-о-дрым ду-хом хра-бро сра-жайтесь...

Трубач поворачивался в разные стороны, и знакомый текст выговаривался медной трубой четко, на всю округу.

Полк, затопив тесным конным строем улочки, оглушив домики, спрятанные в вишневых садах, вытянулся на дорогу. Оставалось вынести и поднять знамя, зычно выкрикнуть команду:

— Пики — в руки, шашки — вон!

Саша, стоявший возле оседланного Калмычка, все еще не верил своему счастью. Ему казалось, что мать в последний момент непременно заберет его к себе в фургон...

Звуки команды, лес взметнувшихся пик, блеск выдернутых из ножен шашек — все проскользнуло стремительно, как бы в стороне. Денщик майора, давний друг Нефеда, быстро посадил мальчика в седло. Никто почему-то не вдавался в его состояние. Это и обижало немного, и успокаивало.

Никто не видел, как судорожно дернул Саша поводья, откинулся спиной к задней луке седла, когда Калмычок сделал первый шаг, затем качнулся вперед к поплывшей, исчезавшей куда-то за спину земле.

Кони скоро пошли ровнее, мерно покачивая всадников.

Саша успел увидеть на повороте дороги хвост колонны, где двигался обоз, ползли офицерские фургоны.

---

[1] Это настоящий лодзинский шелк! Это ужасно дешево. Я на этом прогорю...

Узнал он и свой фургон — покинутую колыбель... Неясное чувство стеснения, оцепенелость совсем прошли, и он, как будто обретя новое зрение, понимание, вслушивался в разговоры казаков.

— Лучше нет службы, как в пехоте, — говорил ближний к Саше кучерявый казак своему соседу. — Отмахал переход, брык на землю и лежи. А ты вот, скажем, едешь на скотине, а как придешь на ночевку, сам запрягайся. Накормить, доглядеть, вычистить... А то и кузнеца ищи... Своя скотина, не чужая...

— Солдату что! — подхватил сочувственно казак из соседнего ряда. — Ему лишь бы брюхо набить. У них и разговору только что про крупу. Взять и господ офицеров: соберутся пехотные и зачнут про устав да про роту. А наши, прости господи, как сошлись — сейчас все разговоры про баб, хохот: га, га, га!

Саша уже не глядел на дорогу, на зеленые холмы, на пышные гнезда аистов, громоздившихся на белых хатах. Он жадно слушал голоса, улавливал и невольно запоминал многое.

Эти «говоры человеческие», изливающиеся в быту, не одетые в книжную робу, — дар «ловли человеческих голосовых интонаций», как писал Мусоргский, впоследствии как бы стихийно оживут в писателе Серафимовиче. Оживут в безмолвии полярных ночей, в часы работы над первым рассказом. Оживет этот дар и в годы труда над «Железным потоком» в многоголосом, разноречивом гуле бедняцкой громады, идущей между морем и горами...

Вдоль колонны проносились офицеры, выкрикивая порой: «Не отставать! Кто там буровит строй? Примыкай к передним!» Солнце поднималось все выше, укорачивало тени людей, лошадей. Езда стала убаюкивать. Командир одной из сотен, придержав лошадь, оперпись рукой о заднюю луку седла, вдруг обернулся вполоборота и громко крикнул:

— Песенники, вперед!

Вспоминая позднее детские впечатления, «крепкие камешки» в фундаменте нравственного своего здоровья, не расшатавшегося даже в пестрой, порою истерически возбужденной литературно-журналистской среде, писатель воссоздал мгновения похода с редкой, почти толстовской силой достоверности:

«Молодой приземистый казак на рослой гнедой лошади, сжав ее бока коленями, выдвинулся вперед и, поправив шапку и приподняв руку, на которой свободно висе-

ла у кисти плеть, затянул высоким и необыкновенно сильным тенором что-то протяжное и тягучее, глядя прямо перед собой и как-то смешно раздвинув рот в ширину, и потом вдруг повернулся к казакам и резко и неожиданно оборвал, точно ему перехватили горло. И в ту же секунду подхватили казаки плясовую песню, ударили в бубен и тарелки, и, мелодично вибрируя, зазвенел стальной треугольник.

И далеко через колосившиеся уже поля откликнулось эхо казацкой песни...

Песня на мгновение упадала и сейчас же подхватывалась молодыми, необыкновенно высокими голосами, почти фальцетами, не выговаривавшими даже слов: сквозь переливы где-то на самых верхних нотах слышно только было: э-э... оо-э... А бородатые, оканчивавшие уже срок службы казаки густо, дружно и отчетливо выговаривали слова, точно поддерживали молодых, которые рвались слишком высоко:

Как Бакланов, генерал,
Шамиля в полон он взял!
Гей! Гей! Ух-ха-ха!
Шамиля в полон он взял!..»

Минуты, создающие в детской душе ощущение своего начала, рождающие точку отсчета в познании мира, не столь уж часты. Серафимович запомнил лишь несколько таких мгновений и назвал их очень поэтично: «осиянные островки воспоминаний». Одно из них, возникающее среди ровного немого поля небытия, — жаркий день в Нижне-Курмоярской, огромный пустырь, заросший бурьяном, неуверенные свои шажки к некоему забору со щелью, где «трепетно мелькали белые мотыльки и все было жарко залито солнцем».

Другой, осиянный зыбкими зарницами «островок» говорит о ранней мечтательности мальчика, способности усложнять видимый мир, «населять» его созданиями своей фантазии. «Ночь, звезды. Темная крыша, чуть проступающие ворота и смутные, неясные, как сгустки темноты, силуэты не то строений, не то деревьев. Днем так знакомо, ясно, отчетливо, я всюду лазил, бегал, а теперь — незнаемо, таинственно, неугадываемо».

Эту прерывистую цепочку «осиянных островков», проблесков сознания, освещающих изменчивое пространство души, писатель восстановит отчасти в набросках к книге «Жизнь моя и моих предков» (1908—1913 гг.). Но ярче

всех, соединяя воедино судьбы отца и матери, объясняя многое в тяготении писателя к донским степям, к здоровым народным характерам, будет сиять там отрезок пути, когда гремели бубны, тарелки, звенели уздечки лоснившихся от пота коней и взлетали в самое небо слова лихого казачьего припева:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы...
Трай-рай, ра-та-тай...
В прошедшие годы.

...Незаметно подошел полдень, жара сморила юного казака, и Саша сам попросился в фургон. Скоро он уснул на коленях у Нефеда.

В Стопницах по вечерам, когда в синеватой дымке скрылась невысокая гряда Карпат, а остывающий на столе самовар «допевал» свою тихую песенку, бросая полукругом слабый отсвет углей на стол, Серафим Иванович вспоминал нередко о родном крае, о деде, отце.

Жизнь рода, угасшие страсти далеких времен неудержимо влекли мальчика. В размашистом озорстве, буйстве, печалях и радостях их осело столько энергии, чувствований, картин, что трудно было оставить это вне собственной души. Письменных и прочих памятников эта жизнь часто не оставляла. Но темной своей глубиной, властью природы, истории над душами она влечет постоянно.

Раиса Александровна слушала обрывочные воспоминания отца не пассивно. Она добавляла порой кое-что и уточняла:

— Ты расскажи лучше, как ты попом норовил стать...

Серафим Иванович подливал себе остывшего чая, садился в кресло. Мать оставалась у стола и изредка мягко гладила по голове Сашу, слушавшего все с неосознанным вниманием. Отец говорил об ушедшем, то оживляясь, то вдруг вяло, словно стесняясь нелепых проделок.

Ручеек воспоминаний мелел, прерывался, затем вновь, когда приходили сослуживцы, наполнялся. Раиса Александровна, дочь войскового дьяка из Новочеркасска, тонко подмечавшая «извивы» душевных движений, не случайно могла дополнить, уточнить многое. Семьи

Поповых, Дубовских, Котельниковых (она была Дубовской в девичестве) не просто соседствовали [1]...

Евлампий Котельников, прадед матери, есаул в казачьем войске Матвея Ивановича Платова, в 1812 году геройски сражался и в дни отступления русской армии, прикрывая отход ее, и на Бородинском поле! А затем рядом с прославленным атаманом участвовал в боях под Городней, Царевым-Займищем, с боя брал Смоленск, был в битве под Дубровной. Там Платов разбил наголову маршала Нея. Казалось бы, после разгрома Наполеона, принудительного въезда в Париж для храброго есаула неотразимым должно было стать очарование карьеры, счастье быстрого взлета вверх. Но именно из Парижа Евлампий вернулся... сектантом, врагом официальной церкви. Он основал на Дону секту духоносцев. Все члены ее считали себя апостолами, способными — после постов, беспрерывных молитв и бдений — творить чудеса посредством будто бы присущего им «электризма». Сосланный в Соловки, бывший есаул умер там. Но он успел составить и выпустить книгу «Исторические сведения Войска Донского, составленные из сказаний старожилов и собственных примечаний».

Сколько «выломившихся» из привычной колеи жизни характеров! Беглецы из крепостной России, знавшие, что «с Дону выдачи нет», они долго еще вольно распоряжались своей судьбой, бушевали, пылко ссорились... С удивлением узнавал Серафимович впоследствии, что впавшего в ересь бунтаря Котельникова, устраивавшего бдения на ветряной мельнице, подстерег и «упек» в Соловки один из его родичей по отцовской линии... А спустя несколько десятилетий оба старинных казачьих рода примирились, отпраздновав свадьбу его отца и матери.

Серафим Иванович Попов, отец писателя, был сдержанным, даже суровым человеком. Он обычно охлаждал, «укорачивал» так и рвущуюся из детской души беспредельную любовь, жажду ласки, нежности. Жизнь приучила Серафима Ивановича полагаться всецело на отвагу, выносливость, природный ум, не теряющийся в непростых расчетах службы, житейского быта. Он не замечал или делал вид, что не замечал, как дети после сов-

---

[1] Из рода Дубовских вышел и знаменитый пейзажист, ученик Куинджи, создатель картины «Притихло», певец донских степей Н. Н. Дубовской. Он родился в Новочеркасске в 1859 году. Псевдоним «Дубовской» принял младший брат Серафимовича, Вениамин Попов, член РСДРП с 1903 года, работник «Правды».

местного пения «Спаси, господи, люди твоя» или «Богородицы» просто томятся в ожидании ласки, задушевного слова.

Неисповедимы глубины детского сердца! И Саша Попов не раз испытывал блаженные состояния полной, ничем не скованной любви к отцу.

«Милый папа, какой ты добрый!» — думаю я, и мне кажется, что среди этой пустующей вечерней темноты все то, что отделяло меня от отца — бонна, учитель... деловой вид самого отца и его неизбежная канцелярия, — все это куда-то отодвигается, уходит, и я чувствую, что папа здесь, вот с нами, слышу его голос, потихоньку прижимаюсь, и он опять становится близким, милым, дорогим, и мне хочется поцеловать его руку, но какое-то ложное чувство стыда и сдержанности удерживает меня».

Светильник душевной теплоты, своеобразного добродушия, делавшего отца совсем молодым, вспыхивал в нем — на радость детям! — отнюдь не от молитв... Чаще всегдашнюю строгость отца, оболочку суровости ломали воспоминания, рассказы...

Мрачные ущелья Кавказа, по которым едут казаки, цепляя пиками низко сидящие облака, знамя Петра I, пожалованное Войску Донскому в 1706 году, сабля, преподнесенная атаману Платову в 1813 году в Париже... Рассказы об этом вместе с бывальщинами Нефеда слагались в причудливый узор, в образ жизни яркой, увлекательной, хотя и страшноватой. Отец становился частью волнующего сознание мира фантастических казачьих походов, храбрых молодецких набегов в горах, героем старинных казачьих песен, прямым помощником легендарных атаманов М. И. Платова, Я. Г. Бакланова...

Серафим Попов в шестнадцать лет ушел из родной станицы в полк. Уже в 1850 году, находясь на Терской кордонной линии, в Малой Чечне, он за смелые вылазки, настойчивость и храбрость получил чин урядника и был откомандирован в Донское окружное училище. После учебы годы безупречной службы сначала в Польше, затем на турецкой границе. За светлый природный ум, внутренний такт, понимание дипломатического «политеса» — именно Серафим Иванович доставил с Кавказа в Петербург неких горских князьков, то ли союзников, то ли пленных, — его произвели в офицеры...

Много лет спустя после смерти отца, получив справку «для приложения к прошению об утверждении в правах дворянства», Александр Серафимович с гордостью за

отца просмотрит его послужной список. Составлен он был писарем войсковой канцелярии в Новочеркасске.

«...Имеет знаки отличия — военный орден Святого Георгия... медаль бронзовую в память войны 1853—1856; за усмирение польского мятежа в 1863—1864; крест за службу на Кавказе... награды за сражение против горцев, за сражения с турками... «В плену у неприятеля и в отставке не был...»

И кто знает, сколько дорогих воспоминаний, обжигающих сердце, сколько образов ушедшей жизни встало в сознании почти семидесятилетнего Серафимовича, когда он в 1927 году раскрыл как первый читатель, как редактор «Тихий Дон»! Дар разумения чужого подвига — столь же великий дар, как и мужество свершения его. Для камердинера, в том числе литературного, нет героя, нет подвига. «Да, темны и дики, — и внезапно и неожиданно вдруг прощупываете вместе с Шолоховым чудесное сердце, чудесное сердце в загрубелой казачьей груди», — скажет он тогда же о героях эпопеи. Услышать биение чудесных сердец в романе лишь мог тот, кто слышал его на утре жизни...

Казачьи полки, даже пребывая вдали от донских степей — на Кавказе, в Финляндии, в Польше, — оставались цельными, «нерасщепленными» войсковыми единицами. Множество одностаничников, соседей по округу — в одной сотне. Ни единого «чужака», тем более иногороднего, среди офицерства. Никаких связей с местным населением, кроме разве торговцев мелочных лавок, ловких шинкарей... Долгие разговоры о переделах «юрта» — общей земли, отведенной той или иной станице, хутору, о ценах на строевую лошадь, о нашествии на Дон иногородних... Казачьи казармы становились островками косного, патриархального быта, жестоких и варварских «забав», одуряющего однообразия повседневных трудов и развлечений.

В первые же недели после прибытия в Стопницы Саша обежал весь военный городок. Казармы, с двухъярусными кроватями внутри, были, в сущности, длинными приплюснутыми сараями. Облупившаяся штукатурка опадала, а в разбитых здесь и там окнах свистел ветер. Здесь стоял неистребимый запах пота, конского навоза, дегтя. Из «классов» — учебных помещений — доносились обрывки уроков «словесности».

— Что есть русский трехцветный флаг?

— Не могу знать, ваше благородие...

— Смотри сюда... Сверху по горизонтали белый цвет... Это эмблема царской власти... А подпирает его какой? Синий, голубой, в общем, цвет. Это эмблема опоры власти — дворянства. Снизу же под синей полосой красная полоса — это весь прочий народ державы Российской... Повторяй!

Казак потел, мялся, наконец после великих мук выговаривал:

— Так что, ваше благородие, энблема... Флаг, значит, опора...

Все нужно было начинать сызнова...

Саша, обычно не дослушав урок сухой риторики, тягостной для полуграмотной казачьей массы, убегал за казармы на плац. Здесь было интереснее. Казаки бодро «вышагивали» положенные задания по строевой, выезжали на конные учения, вновь ходили в пешем строю.

А вечером, почистив коней, задав им корма, они нередко пели в казармах.

Песни Саша мог слушать бесконечно, отмечая все оттенки живописного «сюжета», тончайшие интонации тоски по Дону, семьям, невысказанные прямо упреки неволе царской службы. Дух наглядности, зримости песенной ситуации, определенность человеческого характера, живущего в народной песне, привлекали его. Слова в песне светились внутренним светом, сюжет песни влек своими поворотами... Саша вспоминал грозное, чем-то устрашающее звучание органа в местном костеле: сложные, изощренные созвучия, сбившиеся в прочные слитки, словно обрушивались на робкую душу. Эта музыка страшила, была отголоском неумолимой кары... Здесь же, в казарме, песни словно парили над тобой, поднимали мысль и чувство над пыльными улочками, скопищем тех же лавок, казармами, уносили в безграничную даль. Ожесточившиеся души умилялись, уносились в идеальный край, где владычествует пленяющая ласковость, ничем не омраченная любовь. Голоса казаков крепко «держали» песню под небесами, и лишь постепенно густой строй, глухой рокот басов утяжелял ее, и она волной опускалась вниз:

Ой да ты подуй, подуй,
ветер низовой,
Ой да ты подуй, подуй
тучу грозную.

Ой да тучу грозную,
Ой да непорожнюю,
Ой да ты пролей дож-ж-ок
да на мой садок...

После такой песни обычно наступала тишина... Душа не могла прийти «в угомон», каждый вспоминал свой уголок степи, белые облака над Доном, запах скошенных трав. Затем слышались взрывы смеха, неожиданно возникала шуточная песня, уже «на местные темы»:

Ух вы, братцы, мои братцы,
Атаманы молодцы, —
Как была корчма польская,
Корчма польская королевская...
Как в той бы корчме три молодца пьют:
Поляк, да пруссак, да млад донской казак.

Поляк водку пил — пенендзы платил,
Пруссак водку пил — талеры дарил,
А казак-голяк пил — ничего не платил,
Ничего не платил — он шинкарку манил:
«Пойдем же, шинкарочка, к нам на тихий Дон...
А у нас на Дону — не по-вашему:
Там не ткут, не прядут — хорошо ходят...»

Песня, как цветистый ковер самых заветных чувств, ожиданий, вновь расстилалась перед мысленным взором...

Саша невольно начинал принимать участие в шутливой игре. Талеры, пенендзы... Это деньги, это серьезно... Чем же улестил шинкарку каза́к-голяк? И когда тот находил свои «доводы», совершенно неотразимые, в которые так верилось всем поющим, сердце мальчишки билось радостно и успокоенно:

У нас Дон-река — река — медом протекла,
Малые речушки — сладкой водочкой.

Но часто дослушать песню не удавалось... Раиса Александровна каким-то образом узнавала о том, что «Саша опять в казармы бегал». Прибегала ненавистная бонна m-lle Софи. В момент негодования она почему-то переставала говорить по-французски, прибегала к ломаному русскому или польскому языку.

— Ви останетесь клюпый, будете простой хлоп. И будете землю пахайт, а мамаша ваша будет плакайт, потому что ви не слушайт мене...

Детский взгляд неосознанно наблюдателен. Саша не особенно пугался этой игрушечно-клокочущей от гнева,

сразу вдруг становящейся старой воспитательницы... Он видел, что через минуту m-lle Софи менялась. И причиной перемены были встречные молодые офицеры. Многие из них забегали в дом Попова. Голос m-lle Софи становился неестественно напевным, глаза весело блестели.

Лишь одного человека m-lle Софи почему-то устойчиво и прочно не выносила. К огорчению Саши, им был горячо любимый Нефед. Неуклюжий, вечно пахнущий кухней, он казался бонне, к удивлению ребенка, грубым, темным, грязным казаком, дурно одетым, невоспитанным. Неосознанные попытки Саши убедить француженку, что Нефед добрый, ласковый, «знающий все», ни к чему не приводили. Нефед сам делал их тщетными. Подобно пушкинскому Савельичу, он и не думал скрывать презрения к «мамзели»:

— Что ж она, мамзель, только лишь что жрет да пьет с господского стола да расфуфыривается, а например, чтоб из нее толк какой либо польза была... Никакой... Так это господское только заведение зряшное. Абы деньги куды-нибудь девать...

Нефед, как всегда, что думал, то и говорил.

Дети — ненаполненные сосуды... И часто первейшая, самая истовая забота родителей — «наполнить их» знаниями, сведениями, навыками жизни, опираясь на свой опыт, — приводит к скрытому сопротивлению, даже раздвоенности в ребенке. Уловить ее взрослому весьма трудно.

Родители Саши Попова не были счастливым — для ребенка — исключением. Они не придавали, будучи людьми природно здоровыми, прочно привязанными к своей среде, значения и редкой наблюдательности Саши, стремлению к одиноким прогулкам, его мечтательности. В воспитании они руководствовались одним принципом: «Лишь бы все было как у людей!»

— А знаешь, Рая, — заговорил однажды отец, — вон у доктора гувернантка, детишки такие славные, между собой по-французски и к отцу обратятся, что-то спросят. По улице идут — смотреть приятно. Надо и нам готовить Сашу к гимназии...

Так появилась бонна. Так же появилась мысль о многих других новинках. Материальное положение семьи, пока был жив Серафим Иванович, позволяло осуществлять принятую воспитательную программу. Жалованье

есаула составлялось в те годы из трех статей: 366 рублей в год (собственно жалованье), 420 рублей (столовые), 50 рублей (на прислугу)... Много это или мало? Позднее, став уже писателем, Серафимович будет получать в газете «Курьер» по 7 копеек за строку, а первую книгу его рассказов издатель Б. Звонарев оплатит в 1901 году по ставке 35 рублей за лист... А ведь эта книга — десятилетие труда!

В Стопницах, в Варшаве, куда тоже вслед за отцом переезжала семья, Саша исправно осваивал учебную программу, необходимую для поступления в гимназию: «Нежеланных» знаний, сведений, всяких намеков на диссонансы, сложности жизни в этой программе не было. Жизнь рисовалась в ней идиллически-кроткой, как на рождественских открытках:

Бог в поле пташку кормит
И поит росою цветок.

Но родители и воспитатели «проглядели» приток нежеланных знаний, суровых впечатлений, оказавшихся для Саши в итоге самыми важными. Врываясь в сознание болезненного, застенчивого ребенка, эти нежеланные знания рождали догадки о подлинной жизни, развивали игру фантазии, скрытую от окружающих.

...Однажды Саша стал невольным свидетелем грубой сцены. Отец, существо высшего порядка для него, вдруг, зло, жестоко, весьма «фигурно» сквернословя, обругал провинившегося казака... Ругань отца запомнилась ему, и он все, от слова до слова, передал младшему брату Вине... А тот после очередной ссоры с бонной с младенчески-ясным выражением выпалил ей в лицо весь набор свежих словечек.

Раиса Александровна немедленно начала расследование. Саша чистосердечно признался, что брата всему научил он. Но признаваться в том, кто его самого невольно «научил» этим речам, — это было невозможно. Он стерпел все — и отчаяние матери, и розги отца, но ничего не сказал.

Ребенок избегает надломов, трещин в душе, он стихийно бережет где-то в уголках души идеальные представления о родных, о мире. И бережет долго, с трогательным упорством, как золотой сон. Но суровые впечатления рушат, «грязнят» этот идеал. Тонкие натуры становятся замкнутыми, одинокими даже в семье.

«...При моей мягкости, расплывчатости, отсутствии колющих людей угловатостей и даже небольшом запахе богова масла я легко сближаюсь с людьми, и в то же время я, брат, глубоко одинок, — очень доверительно писал в 1904 году Серафимович Леониду Андрееву. — Какая-то тонкая, незримая, но упругая и непереходимая преграда отделяет меня от людей. И я, брат, жажду подойти к человеку, подойти ближе тех милых и приятных отношений, с которыми подходят, в сущности, чуждые друг другу люди и остаются такими, и не могу. Когда был молодой, это одиночество и внешне, физически проявлялось: я вечно был один, мало сталкивался со студентами. Только с маленьким кружком, пропадал в лесу, в степи или шатался по улицам Петербурга, один. Так, без цели или на Неве, на островах, на взморье, на Севере в тундре, в лесах, на реке. К старости природа, брат, потускнела, понадобились люди, а тут вдруг этакая загвоздка. Вот и к тебе мне стоило огромных усилий подойти...»

Прекрасный эскиз внутренней биографии! Уводящий нас далеко! Слишком, пожалуй, далеко вперед по дороге жизни писателя. Не будем спешить за ним и вернемся в детство.

...Следующее испытание для впечатлительной души, в одиночестве оборонявшей еще хрупкие и идеальные представления о жизни, было поистине страшным. Раскололся, рухнул и слитный образ казачества, родного Дона, «медом протекающего».

Однажды — это было еще в Стопнице — к Поповым, а вернее, к m-lle Софи забежал знакомый адъютант. Появилась неизменная серебряная стопка с затейливым пояском, вившимся надписью «Сторонись, душа, — оболью»... Выпив домашней настойки, закусив зажаренными на сковороде шампиньонами, «печарками» по-польски, он между прочим торопливо сказал, не представляя, какого слушателя имеет он в лице Саши:

— Удивительный этот народ, наши казаки... Остается человеку шесть месяцев до отправления со сменной командой домой, там ждут его молодая жена, дитя, кажется, хозяйство... А он в одну отнюдь не прекрасную ночь бежит. На пару с другим. И куда бежит! Совсем бездорожно, бессмысленно — в Австрию... Пошатались там глупейшим образом неделю, вернулись. Ну того, второго, жалеть нечего — каналья, лодырь, и служить ему еще долго. А этот-то, Кислоусов, и казак

тихий, и не замечен ни в чем. «Зачем же бегал?» — спрашиваем. «Затмение, ваше благородие, нашло, тоска...» И больше ничего не может сказать.

— Что же будет теперь? — дрогнувшим голосом, тихо спросила Раиса Александровна, думая о своем, прижимая к себе Сашу.

— Известное дело, побег... Розги — сто ударов. Сегодня же на плацу и выпорют...

— А может быть, и не одно затмение виновато... Есть же причина... Я знаю, как грубо шутят порой казаки в казарме... И дух перевести не дадут, если уловят слабость в человеке.

Адъютант, убедившись уже, что m-lle Софи так и не покажется, поднялся.

— Да, это они, стервецы, умеют... Сущие бестии порой... Немало проделок... Затоскует казак о молодой жене, начнет сомневаться в ее верности — ведь сам до службы крался по ночам к жалмеркам — и попался... Начинается забава! Что ни утро — проснется он, над головой висит люлька с «ребенком». Из тряпья, ветоши смастерят. Сорвет, растопчет он, а кругом гогот, ржание. Чисто жеребцы стоялые! «Теперича, мол, дома поди крестины!»; «Приедешь домой, а там работничек готов, будешь с прибылью...» Ни письма родителей, уверяющих, что, мол, супруга «соблюдает себя», ни беседы с ним — ничего не помогает. Ходит, как помешанный. Хоть переводи в другой полк.

Адъютант распрощался и ушел... А Раиса Александровна, застыв вначале в каком-то странном волнении, крепко прижала к себе Сашу и почти вскрикнула:

— Никогда, никогда не будешь военным!

Никакие силы не могли уже удержать Сашу дома. Забежав к Нефеду — он сидел в своей каморке, возле сундука и тачал сапог, — обежав другие комнаты и убедившись, что о нем забыли, Саша стремглав помчался на плац. Ведал ли он, что его ждет? Но кто в детстве отбирает впечатления, нужные для души и ненужные, нарушающие ее идеальность? Если и есть такие, то они не имеют детства...

А на выбитом сапогами, копытами коней плацу уже шли необычные приготовления. В центре, где обычно отчужденной кучкой стояли офицеры, стояла нестройная команда — человек в пятьдесят — казаков. Тут же на земле лежала вязанка тальнику, перехваченная веревкой. Прутья были обструганы до белизны. Два офицера —

один с белой, свернутой в трубку бумагой в руках — не спеша подходили к площадке. За ними в ногу шли четыре казака с ружьями. Среди них мелькало то, что и придавало особое, страшное значение всему происходящему. Высокая серая фигура в длинной, свободно накинутой и распахнутой, как больничный халат, шинели двигалась в окружении казаков.

Весь ужас, мгновенно сковавший сердце мальчика, состоял в той отрешенности, «вычеркнутости» этого казака, еще недавно близкого, понятного всем, из общих отношений. Странно было, что и офицеры, часто бывавшие в их доме, среди них друзья отца, сейчас с ледяной бесстрастностью, механически делали непонятное дело. Неясные доселе слова «приказ», «приговор», «дезертир» обрели вдруг необыденную, таинственную власть над людьми, которых Саша видел и в отцовском застолье, и распевающими песни в казарме.

Урядник выстроил казаков, подошел к офицерам, выслушал их приказание. Казаки стояли двумя безмолвными шеренгами. С плеч арестанта сбросили шинель, он сам стал снимать мундир. Среди всеобщего безмолвия до Саши донесся испуганный, лихорадочно-напряженный голос:

— Вашескородие, ослобоните! Пожалуйста!

— Нехай тебя бог милует...

Свист розог, быстро окрасившихся в красный цвет, оханье арестанта — все это было далеко. Но Саша понял, что отныне он уже не останется прежним. Его стихийная надежда, что в общении с природой, с песней должно бы исчезнуть или просто не возникнуть в людях что-то жестокое, злое, растаяла.

Много лет спустя, воссоздавая этот эпизод в «Этюде из детской жизни» (1898), Серафимович подчеркивал сложный характер пережитого им потрясения. Саня Попов не ощущал еще жалости, чувства боли за наказываемого. Раздетый и разложенный на «кобыле» голый арестант, казаки, усевшиеся на ногах и плечах его, — как будто они собирались починять седла или тачать сапоги, — судороги избиваемого с глухими вскриками «Ой, батюшки!..» — все происходящее долго казалось какой-то игрой, странной и непонятной. «Но мне странно было это положение, обстановка: большой, взрослый человек лежал на животе лицом вниз, и из-за отвернутой на спину рубахи, спущенных к самым коленям штанов всем было видно голое тело, — писал он, — и никому

не было стыдно, или, как мне казалось, все делали вид, что им не стыдно глядеть на голого человека...»

Розги свистели в воздухе, от ударов истрепывались, и казаки брали новые. Наказуемого оттирали спиртом, он всхлипывал и дрожал, как ребенок... А его мучители — казаки, когда арестанта унесли, обыденно, неожиданно весело для Саши балагурили:

— Портки-то целы остались, снял, а то бы задарма иссекли.

— Как Филюгин вдарит, он не дюже кричит, а как Фанагенов, так аж казаков в дрожь бросал криком.

— Вдарит да потянет, — самое больно.

...Взрослые и на этот раз проглядели нечто важное во внутреннем развитии ребенка. Спросить: «За что его секли?» — ни у отца, ни у матери, ни у бонны ему было нельзя! Отец, перевидавший за жизнь множество экзекуций, взысканий, наказаний, в лучшем случае промолчит. Мать сейчас же начнет браниться, что он без дозволения бегал на плац, будет ругать бонну...

Оставался один Нефед. К нему-то, на кухню, и пришел притихший, совсем не похожий на подростка-казачонка Саша.

— Нефед, за что его секли?

Нефед, перетиравший тарелки, ставивший их в шкаф, ответил не сразу. Он понял, что мальчику очень важно смягчить какой-то удар, ранивший его душу, соединить разорванные нити.

Но особых слов он не нашел:

— А как же! Присяге он, Кислоусов, изменил, свой полк, станицу, стало быть, опорочил, царю, отечеству верой-правдой не выслужил...

— Нефед, а ему больно было?

— Как же не больно...

— И он всерьез кричал?.. И плакал?

— Закричишь... Да не убивайся об нем. Жив остался, молодой, а бывало и хуже — насмерть запарывали...

Тончайшая трещина в душе не затягивалась, мысль не успокаивалась на заученной или отлившейся внезапно словесной формуле.

«Это уже потом мое отвращение к насилию формулируется, отливается в форму закона... морали или права, обычая. И эта формовка, отливка в формулы отложившегося в человеческих душах всегда идет позади жизни, всегда отстает от самого процесса», — признается писатель.

В 1874 году семья Поповых вернулась на Дон и поселилась в одной из северных станиц Области Войска Донского — Усть-Медведицкой.

Этому уголку донской земли с величавой белой горой над Доном, синевой задонских степей суждено было стать своеобразной опорой в работе писателя. Среди петербургской слякоти, на Пинеге, в холодной Мезени, «на московских изогнутых улицах» он всегда будет скучать по Усть-Медведице, Дону, по зною родных степей. Владычество солнца восхищало его всегда.

— Знали бы вы, голуби московские, какой невыносимо чудесный, буквально сжигающий даже под рыбацко-крестьянской широкой соломенной шляпой, наш истинно южный, степной беспощадный зной стоял и на реке, и в степи! Тени не было даже и под приречными ивами. Обжигало, казалось, даже дерево лодочных скамеек, а на кожаные обручи весел, там, где они ходили в уключинах, приходилось то и дело лить воду, чтоб не сгорели и не истерлись без времени, — вспоминал он в беседе с друзьями в канун своего 80-летия.

Усть-Медведицкая — старейшее на Дону поселение беглых крепостных. Она была основана в XVI столетии. В песнях про Ермака народное предание донесло до потомков, что существовал некий «казацкий стан», что около «быстрой реки, реки Медведицы, на низовом лугу, лугу Донском».

Древнего казацкого стана юный Саша Попов, конечно, не увидел. Казаки давно перенесли свои курени с левого, низового берега, заливаемого весной полой водой, на высокий нагорный правый берег. Подобное переселение пережил и Старочеркасск, древняя столица Войска Донского, военный городок, знавший Степана Разина и Кондрата Булавина. После одного пагубного наводнения атаман М. И. Платов распорядился строить новую столицу — Новочеркасск — вдали от Дона, на горе.

К 1874 году Усть-Медведицкая была уже богатейшей станицей. В ней обитало свыше десяти тысяч казаков и иногородних. Украшением ее, архитектурно «завершавшим» холм над Доном, были несколько церквей, красивейший Преображенский девичий монастырь. За счет войсковой казны в станице было построено несколько училищ и гимназия.

...Мгновение, когда одиннадцатилетний Саша Попов впервые выбежал на край белой горы и замер, завороженный открывшейся далью, желтыми плесами Дона,

зноем, неуловимо струящимся над рекой, позволяет временно упустить из вида нашего героя. Он постоял над обрывом и сразу же по одной из тропок спустился к стайке станичных мальчишек, то плескавшихся в воде, то бросающих в реку какие-то волосяные арканы. Сбежал — и нет нужды искать его в этой стайке! У него появились такие же, как у всех, снасти, волосяные петли (с рыбкой внутри) на чаек, такие же ушибы на коленках и шелушащаяся кожа на плечах. Он купался в теплых заливах, загорал, и в окрепшем за лето, чуть огрубевшем подростке трудно было узнать сына почтенного есаула Попова.

...Если в станицу шли возы с сеном, то Саша также ухитрялся забраться на самый верх и плыл, покачиваясь на возу, как в зыбке... Порой рыбаки брали и его с собой, и он уплывал с ними далеко вниз по Дону или вверх по Медведице.

Верхний Дон поистине прекрасен! То вдруг он течет среди лесистого ущелья, то огибает скалистый обрыв, то вновь по обе стороны бескрайние степи...

Серафим Иванович, сам того не ведая, необычайно усилил привязанность Саши к природе, укрепил живший в нем дух углубленного познания ее. Готовил сына к учебе, сдал его, как на службу, в гимназию, но вдруг простодушно, как казак казаку, подарил ружье! И велосипед!

С этих пор юный гимназист, с упоением читавший уже романы Жюля Верна, Майн Рида, Фенимора Купера, в любой свободный от гимназии час стремился умчаться в степь, на хутора, на безлюдные тропы среди донских лесов. Пылкое воображение стало искать выхода в мир неизнаемый, в душе рождалась идея бегства... в Америку!

А что же гимназия? О ней писатель вспоминал впоследствии как-то нехотя, скучнел сразу, и в его описаниях она мало чем отличалась от заурядной бурсы старых времен.

...Обычный урок. Профессор в черном сюртуке подходит к доске. Служитель до этого предупредительно вытер ее мокрой губкой, положил на видном месте длинно очиненный и обернутый в глянцевую бумагу мел. Из-под руки профессора полетели крошки мела, а на доске возникла формула...

Ее предстояло, как обычно, зазубрить.

Все преподавание строилось на жестокой зубрежке.

Математика, латынь, география, история (не история, а скорее история царей и набор придворных анекдотов!) — все подлежало зазубриванию.

Не учеба, а какой-то спор, поединок живой души, жаждущей живых впечатлений, с мертвящей стихией!

Понимал ли Саша смысл этого каждодневного поединка? Схватки между живостью, богатством фантазии, тонкостью чувств, жившими в нем, и отупляющей системой обучения? В зрелые годы он мог бы определить это как процесс «утечки одаренности», перемалывания педагогической машиной ребячьей индивидуальности...

Он пробовал как-то объяснить отцу, что ему легче описать выпукло и наглядно профессора как фокусника, вызывающего на свет божий и заклинающего неведомые абстракции, «сущности» мира, отжатые до условных знаков, чем усвоить эту цепочку заклинаний. Но что до этого отцу!

— Выбрось ты это из головы! — сердито бросал Серафим Иванович. — Что же, сапожником ты, что ли, хочешь быть?

Мать, вечно беседовавшая на крыльце с очередной странницей-знахаркой, давно догадывалась о распиравших юную душу Саши сомнениях, поисках себя. Она, как человек глубоко верующий, имела под рукой один лишь совет: «Надо верить в бога...» Но передавалась ему не ее вера в бога, а доброта, болезненное внимание к бедным, слабым, «сирым» людям. Сколько их, тех, кого переезжает телега жизни, появится затем в его рассказах!

Уверовать в святость ликов, запечатленных даже на чудотворных якобы иконах, мешало — уже с третьего класса гимназии — еще одно обстоятельство: Сашу неудержимо влекло к студентам, приезжавшим на лето из Москвы, Петербурга, Харькова.

Студенты, являвшиеся на каникулы в былую русскую провинцию, — это особый вид учащения «общественного пульса», до этого находившегося на показателе летаргического сна. Недаром в те годы в шутку говорили:

От Москвы и до Ташкента
Вся Россия ждет студента...

Саша ждал летних вакаций в университетах с особым нетерпением. Прежде всего у студентов всегда были интересные книги, брошюры. За зиму смертельно надоедали ему доходившие сюда из Новочеркасска «Донские войсковые ведомости», обследованы были, как правило,

все известные источники книг... Саша с друзьями метался по обывательским скудным книгохранилищам. Увы, везде приложения к «Донским епархиальным ведомостям» вроде четырех выпусков книги «Перст божий, сборник назидательных сказаний», «Краткие описания станиц Войска Донского», приложения к «Ниве», «Лучу». У студентов же водились «Отечественные записки», книги очерков Глеба Успенского, работы Д. И. Писарева.

Пугала и в то же время влекла легкость, с которой они комически перелагали тексты Ветхого и Нового заветов. Их насмешки истребляли, буквально сдирали с души всякое идолопоклонство, смирение.

Вернется Саша с матерью из монастыря. В душе невольно держится испуг перед таинственностью звездного ночного неба, где «ангелы на звездах летают около божьего престола». Испуг свивал свое гнездо, но... Но очередной взрыв молодецкого студенческого смеха, шутки при одном слове «ангел»: «А они, ангелы, в штанах или юбках?» — убивали начисто этот «сырой», как говорили студенты, идеализм, восторг души.

Странники, мытари, нищеброды с сумой, старицы, вечно толпившиеся у дома Поповых, ожидая подаяния, тряслись в негодовании от подобного богохульства. Но это было особое, спокойное богохульство рационалистов, без отчаяния вызова, без страсти былых иконоборцев. Не было в студентах и тени страха, ожидания кары.

Знакомства, беседы завязывались чаще всего в городском саду, тянувшемся вдоль обрыва, — отсюда был виден Дон. Однажды, едва Саша раскрыл надоевший учебник латыни, как сидевший рядом студент с ироническим вздохом произнес:

— Все еще зубрите классические дряхлости? Зачем они? Читаете Горация, Цезаря, а что вы знаете о естественных науках?

Непредвиденному собеседнику Саши воистину хотелось, как Чацкому в последнем акте грибоедовской комедии, «излить всю желчь и всю досаду». Он словно рвался повторить то, что сам недавно — и видимо, не вполне крепко! — усвоил, запомнил, повторить резко, с юношеской страстностью. Не ожидая согласия или несогласия, обличитель латыни продолжал:

— Обидно, знаете, за растрату сил. Мыслящий пролетариат так малочислен у нас в России. Его слой тонок, непрочен. Это покров... Да, да... «Покров, накинутый над бездной...» Над бездной невежества, хамства, глупых суе-

верий, сентиментальных стишков и романсов, нелепых разгулов. Нужна экономия сил. Их нельзя тратить не только на молитвы, мертвые языки, но, если хотите, на Пушкина. Слова и иллюзии гибнут. Факты остаются. Не богадельня, а мастерская могут и должны обновить человечество. Кто отвлекает молодые умы от естествознания, техники, прячась за Пушкина или Брюллова, тот вредит сейчас общественному развитию. При бедности, повторяю, России интеллектуальными силами опасно отвлекать их от решения пусть немногих, но самых жгучих и неотразимых вопросов. Отвлекать от, видимо, и вам, молодой человек, неведомых еще Дарвина, Геккеля, Молешотта хотя бы с помощью «Евгения Онегина». Просвещение в наш век должно быть только революционным...

Саша не знал, конечно, что многие — и его собеседник тоже — студенты попросту пересказывали статьи идола молодежи 60—70-х годов Д. И. Писарева «Разрушение этики», «Идеализм Платона», «Пчелы». Он впервые именно в гимназии услышал имена многих философов, социологов, затем прочел и знаменитый роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», и многие статьи другого «русского Лессинга» (Маркс) Н. А. Добролюбова... Но нападки на Пушкина даже в случайной беседе встревожили и его. Согласиться с ними он не мог.

И не потому, что «Пушкин — это наше все», как писал Аполлон Григорьев. Или потому, что «через Пушкина умнеет в России все, что способно поумнеть» (А. Н. Островский). Всего этого Саша, конечно, еще не знал. И «проходили» — иного слова не подберешь! — Пушкина, Гоголя на уроках в Усть-Медведицкой гимназии, всецело в казенно-патриотическом духе, как выразителей «православия, самодержавия, народности». Но притягательная сила, живая прелесть пушкинских строк, картин из «Войны и мира» рождали в юных душах глубокий отклик. Непривычный, жесткий рационализм поклонников Писарева поражал, звал к подражанию. Но... Саша вспомнил свою встречу с героями «Войны и мира», с князем Багратионом и его солдатами. Едва он, Саша Попов, получил эту книгу, раскрыл ее на странице «Битва при Шенграбене», как... исчезли и сами страницы, шрифт, неощутим стал процесс чтения. По спуску лощины бежали перед глазами солдаты, кричали «ура!», а рвавшиеся им навстречу французы в синих мундирах вдруг замешкались, потом понеслись назад. Живая жизнь

окружила вдруг его. И это ощущение возникало затем всякий раз, когда Саша приникал к волшебному окну в мир, называвшемуся книгами Толстого...

Неужели и эти радости надо исключить ради пресловутой «экономии сил»? А радость непосредственного созерцания природы, еще не тронутой человеком?

Последний вопрос был почти самозащитой... В одном из младших классов гимназии Саша ради этих радостей и предпринял бегство из дому в степь, «бегство в Америку»... на подаренном отцом велосипеде.

Сладостные часы полной свободы!

...В то утро впервые и станица, и белая гора открылись с левого берега. Желтые пески, наносы Дона, белая гора, готовая, казалось, опрокинуться в Дон... На вершине ее сверкали как небесные звездочки золоченые кресты. Дорожки вились по откосу горы, овраги сползали к Дону.

Саша ехал на велосипеде, старательно нажимая на педали, трава, еще сыроватая от росы, хлестала по ногам. Такой завидной легкости на душе он еще не знал. Все запоминалось, представало не грудой предметов, а частью чудесного сцепления, воплощением «плана» столь же разумного, сколько и чудесного. Дубовые рощи с ручьями, журчавшими на дне оврагов, гнезда диких голубей, плотные и упругие заросли боярышника, барбариса. На них можно сесть и качаться, как на диване.

Саша ехал, улавливая все оттенки цветов и форм роскошной природы. Сами собой приходили на память строки из лермонтовского «Мцыри», то сладостное состояние беглеца из кельи, который ощущал, что

> ...Миллионом черных глаз
> Смотрела ночи темнота
> Сквозь ветви каждого куста.

К несчастью, жизнь грубо оборвала сложный, порой спутанно-противоречивый, но в известной мере — при материальной обеспеченности — плавный, гармоничный процесс становления личности в подростке. Осенью 1875 года неожиданно умер Серафим Иванович. Раиса Александровна, оставшаяся в тридцать три года вдовой с четырьмя детьми, не выдержала беды и тоже тяжело заболела. Она поднялась, к счастью, но сразу стало ясно, что отныне для всей семьи началась полоса тяжелой «незамирающей бедности».

Когда семья служивого человека лишается кормильца, многое в ней и вокруг нее постепенно меняется. День выдачи жалованья, радостный прежде, становится заурядным, не сулящим подарков, приятных забот. Все реже начинают заходить в гости сослуживцы и друзья отца, а вместо былого уважения, почета горькое сожаление окружает осиротевший дом.

Раиса Александровна тяжело переживала неизбежные роковые перемены. Пособие, назначенное семье есаула Попова канцелярией Усть-Медведицкого округа было невелико. Сразу же пришлось отказаться от многих привычек, расходов. И вот уже вечное перешивание старой одежды вместо покупки новой, первые заплаты, «высыпавшие» на штанишки и платьица, пугающий ежечасный стук нужды в дверь.

Но никакая беда, к счастью, не уносит надежды из молодых душ. Все несчастья, трудности кажутся лишь временной «жизнью начерно». Само небо предстает «с овчинку» лишь на мгновение. Исчезает один круг знакомых — появляется другой, может быть, более узкий, но уже действительно дружеский, сердечный. Многие спящие в дни благополучия силы характера обнаруживают себя.

При жизни Серафима Ивановича студенты, гимназисты-старшеклассники все же редко бывали в доме Поповых. Забежит кто-либо, принесет книгу, позовет Сашу на Дон — на этом все и кончалось. Сейчас же в доме подолгу стали бывать и Орест Говорухин, в будущем соратник Александра Ульянова по фракции «Народной воли» в Петербургском университете, Илья Гордеев, их друзья, некоторые новые студенты. Они приносили с собой ворох «вопросов», как говорили тогда, «веяний», совершенно неслыханных в косной, застойной жизни захолустной станицы. Здесь, в доме Поповых, одном из немногих в Усть-Медведицкой, можно было говорить обо всем, читать полулегальные романы, стихи, статьи, брошюры, весьма далекие, естественно, от гимназических программ.

Конец 70-х — начало 80-х годов (Александр Попов окончил гимназию в 1883 году) — время стремительного угасания реформаторской деятельности самодержавия, начавшейся в 1861 году отменой крепостного права. Наступила полоса реакционных контрреформ, борьба пра-

вительства за сохранение частично утраченных дворянских привилегий, всяческого укрепления самодержавия. Ближайшие советники Александра II, а затем (после 1 марта 1881 года) Александра III, и прежде всего обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, последовательно и активно подталкивали самодержавие к отказу от «либерального направления», внушали самодержцам, как это делал князь В. П. Мещерский, что «...есть нечто на Руси в виде бесспорной истины, сознаваемой народом. Это сознание нужды розог... Куда ни пойдешь, везде в народе один вопль: секите, секите, а в ответ на это власть имущие в России говорят: все, кроме розог. И в результате этого противоречия страшная распущенность, разрушение авторитета отца в семье, пьянство, преступления и т. д. Прекрати сечь, исчезла власть. Как нужна соль русскому человеку, как нужен хлеб русскому мужику — так ему нужны розги. И если без соли пропадет человек, так без розог пропадет народ».

Крайнее бессилие понять подлинные перспективы исторического будущего России нашло свое полусмехотворное выражение в рецепте М. Н. Каткова, хозяина почти официальных «Московских ведомостей»: если нельзя избежать возникновения «рабочего вопроса», стачек, забастовок в России, то... лучше и не заводить в России промышленность! Отсталость «лучше» революции!

Вместе с тем эти же 70—80-е годы были периодом революционного подъема, стремительного накопления опыта политической борьбы прежде всего разночинной молодежью. Начался период изучения и нередко практического «опробования» множества революционных теорий, тактических схем. Начинался смертельный поединок грозного исполкома «Народной воли» с правительством, кульминацией которого было убийство Игнатием Гриневицким Александра II (1 марта 1881 года) и последующий разгром «Народной воли».

Конечно, до Усть-Медведицкой многое еще попросту не доходило. Русская провинция, особенно Русь уездная, — это в известном смысле пункт не постановки, а... погашения острых, жгучих «вопросов»! Многое узнавалось, обдумывалось в условиях невольной конспирации.

Как читался еще в 80-е годы Сашей Поповым в шестом классе гимназии, скажем, роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Надо на миг представить черноволосого, в косоворотке юношу — так выглядел Саша Попов в

те годы, — переплывающего в лодке Дон, уходящего с редкой, доставшейся на день-два книгой в дубовую рощу. Не для того, чтобы читать в уединении, а читать тайком! Или занавешивающим ночью окно одеялом и продолжающим чтение романа дома... Сама судьба Чернышевского — суд, гражданская казнь, ссылка — это уже наглядная «прокламация»...

Статьи Д. И. Писарева читались гимназистами в Усть-Медведицкой нередко вслух. И тут же комментировались. Все намеки и аналогии коллективно расшифровывались. Так, статья «Пчелы», где критик проводил прямую аналогию между пчелиным обществом и обществом человеческим, — сейчас это выглядит попросту наивным! — читалась как откровенная прокламация.

— Итак, в улье имеются рабочие пчелы, которые доставляют все блага жизни царице-матке и привилегированному сословию — трутням, — начинал кратко излагать прочитанное накануне кто-нибудь из гимназистов.

— Ясно, ясно, — торопили остальные... И чтение продолжалось. Возникала картина зимней вялой жизни — это уже не просто зима! — в холодном улье, когда собранный пчелами мед идет прежде всего на содержание трутней... Догадки сменялись прямым возмущением, когда трутни ищут у королевы-матки льгот и королева соглашается с этим, полагая, что для прочности и благоденствия государства необходимо существование трутней. Кое-кто нетерпеливо вскрикивал: «Это чиновники!»

Последние строки статьи были для всех полны особого, крамольного значения: «Между тем пролетарии, встревоженные увяданием цветов, также начинают собираться в кучки и толковать...»

Для захолустной станицы последней трети XIX века это было невиданной смелостью!

Статьи Н. А. Добролюбова, неопубликованные стихи Н. А. Некрасова, устные рассказы о спорах в первых народнических кружках, о громких политических процессах — все это с соблюдением наивных правил конспирации вливалось весьма прерывистым ручейком в среду гимназистов, студентов, некоторых преподавателей в Усть-Медведицкой. Свою роль в выборе пути, в принятии важных решений многими гимназистами этот ручеек сыграл. Саша Попов не любил, в сущности, математики в ее гимназическом, казенно-формальном изложении. Но после окончания гимназии он избрал — совершенно по Писареву! — для продолжения образования физико-матема-

тический факультет. Университет? Конечно, Петербургский. Донцы и кубанцы в те годы учились чаще всего в Петербурге, где было давно сложившееся многочисленное землячество. Туда же, на берега Невы, с правом получения войсковой стипендии Александр Попов выехал в конце августа 1883 года.

СРЕДИ ФАКТОВ И МИРАЖЕЙ

Революционная по своему содержанию идея есть своего рода динамит, которого не заменят никакие взрывчатые вещества в мире.

Г. В. Плеханов. Социализм и политическая борьба (1883)

В русской провинции последних десятилетий XIX века — Усть-Медведицкая не была исключением — представление об университетах оставалось нередко весьма туманным. «Наука», на битву с которой провожали сынка добродушные обыватели тишайшего городка вроде Петровска или Владикавказа, казалась матерым, изворотливым зверем, которого надо одолеть, чтобы «выйти в люди». Университеты — «поле» сражения с наукой, сражения, растянутого на целых пять-шесть лет. Так думала и Раиса Александровна, провожая на станцию Себряково старшего сына. Думала и тревожно, но радостно...

Университеты, как вспоминал позднее Е. Чириков, соратник Александра Серафимовича по литературно-художественному кружку «Среда», представлялись из российского захолустья «как бы громадными фабриками, где выделывались доктора, судебные следователи, учителя и другие люди, получающие приличное содержание и сразу скачущие в титулярные советники». И добавлял после этого: «Естественно, что обстоятельство это внушало к студенту, можно сказать, неподобающее уважение, а вместе с тем заставляло удивляться и той фабрике, которая в каких-нибудь четыре-пять лет сообщает молодому человеку столь чудесное свойство» («Студенты приехали»).

Сам Александр Попов догадывался и о другом предназначении — отнюдь не определенном в уставах — российских университетов. Высшая из наук, формирую-

щая характер, мировоззрение, совершенно незримо, а порой и предельно зримо жила, развивалась в университетских аудиториях. Наука революционной борьбы...

Пульс общественной жизни, нравственных исканий в заштатной, «низовой» России был столь слаб, что десяток русских университетов был тонкой, но живой артерией, свидетельствовавшей о непрекращающейся жизни огромного организма страны.

Восьмидесятые годы — время общественной безгласности, «фасадного» единомыслия, обывательского благоденствия — невольно сосредоточили именно в университетах общественную тревогу, даже муку социальных вопросов, революционных исканий. Вера в революционный инстинкт крестьянства в конце 70-х годов, после «хождения в народ», создания «революционных поселений», резко пошатнулась. Рабочий класс еще представал неосвоенным, грозным материком. Оставался «мыслящий пролетариат»! И не случайно, что именно за недопущение в университеты всякой голытьбы, «необеспеченных» студентов — горючего материала революции! — ратовало в эти годы жандармское управление: «Следует ли сзывать в университеты лиц, которые по бедности своей должны перебиваться изо дня в день? Конечно, нет и нет... Мы все ищем Ломоносовых и в надежде найти их плодим все в больших и больших размерах учащийся пролетариат».

Александр Попов уже дорогой в Петербург вспомнил: среди «врагов унутренних» на уроках словесности в казарме казаки извечно поминали неведомого «студента», помещали его где-то в отдалении от «турка». То был враг, как бы «приписанный» к истории России, «болтавшийся» при ней веками.

«Вот и я, кажется, становлюсь врагом унутренним», — с улыбкой подумал он.

Передовая мысль в России жадно искала правильной революционной теории, искала дела, требовавшего отваги, мужества, беззаветного героизма. И потому революция находила своих бойцов прежде всего в университетах, сфере науки, она становилась и для Ульянова и для Кибальчича важнейшей из наук.

Д. И. Менделеев после смерти А. И. Ульянова с печалью сказал: «Эти проклятые социальные вопросы, это ненужное, по моему мнению, увлечение революцией, — сколько оно отнимает великих дарований! Два талантливых моих ученика, которые, несомненно, были бы славой

русской науки, — Кибальчич и Ульянов, — пожраны этим чудовищем».

Великого химика, скорбящего о потерянных учениках, можно понять. Но у юношества, входившего в те годы в длинный, кажущийся бесконечным коридор Петербургского университета, было свое представление об утратах и приобретениях, о долге перед собственным талантом и более высоком долге — перед безгласной, цепенеющей, как им казалось, в летаргическом сне Россией.

...Знаменитый коридор на первых порах поразил Александра Попова. Он шел среди рассыпающихся и вновь собирающихся групп студентов, наблюдал выходящих из аудиторий профессоров. Иногда решался спросить знакомого «донца»: «А это кто?»

Спрашивать, как и рассказывать, на эту тему можно было бесконечно... Петербургский университет представлял в те годы мощную концентрацию умов. В том же университетском коридоре после звонка проходили и дряхлый уже старик, выдающийся математик Л. А. Марков, и великие химики Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, историк С. Ф. Платонов, филолог О. Ф. Миллер, выдающийся почвовед В. В. Докучаев, наконец (в 1887—1888 годы), великий физиолог И. М. Сеченов.

...Многолюдье, пестрота лиц, постоянная спешка и в то же время даже свобода, относительная самостоятельность в выборе и посещении лекций — многое и вдобавок пасмурный, бессолнечный Петербург ошеломили первокурсника Попова. Жизнь оглушает, подавляет не громом и молнией, а хлопотами, за которыми не поспевает воображение.

Аудитории, лаборатории, лекционные залы всасывали, проглатывали какие-то части толпы, «передавали» их для новой обработки, шлифовки. Действительно, какая-то мануфактура, фабрика по выделке специалистов... Действовала она после размягчающей степной жары, покоя в жаркий полдень на Дону, где поистине

> ...гудит и стелется над светлой далью
> Полуденной виолончели звук, —

бойко, энергично, не оставляя времени для пустого созерцательства, вялых томлений. Надо быстро бежать вперед, чтобы... остаться на месте! Петербургские улицы, вечно в сетке дождя, оседающего тумана, обладали одним несомненным свойством: превращались в тени вялых и спешащих прохожих. В скользящие, отчужденные тени...

Нет нужды пристально всматриваться в маршруты перемещений студента Попова по орбите университетской жизни. Особенно в первый год. Здесь тип поглощает характер, традиционный образ горемыки-студента в промокшей шинели, гонимого спешкой и безденежьем, неизбежно заслонит индивидуальное в нашем герое.

Да и в опостылевшей каморке, которую Попов снимал вместе с таким же «необеспеченным» студентом, взгляд не отыщет ничего оригинального. Книги, конспекты лекций, лежащие грудами, — и среди них застиранная рубашка, разрозненные носки... Книги на полу, на постели со сбитым к ногам одеялом. Из раскрытого чемодана выглядывает пачка махорки, а на уголке стола — спиртовка, куски хлеба, колбасы, чайник с отбитым носиком.

Но вот процесс самосозидания, внутреннего «зодчества»! Он был очень и непрост и самобытен...

Александр Попов прибыл в Петербург, не решив до конца еще слишком многого. Он порой горько укорял себя за то, что у него, мягкого мечтателя, как будто не образовалось еще никаких глубоких, разумных стремлений, твердых желаний.

«Неразумных стремлений, — с усмешкой подумывал он, ловя кончик ускользающей мысли, — у меня предостаточно. Скажем, я люблю природу, желаю видеть безбрежное голубое небо, Дон, вопрошать с благодарностью, по-тютчевски страстно:

Какое лето, что за лето,
Да это просто божество!
И как, спрошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?

Но любить природу — разве это цель жизни, призвание человека? Это и не занятие вовсе для взрослого человека.

А что еще я люблю? Вечное узнавание людей, мирового порядка, обступающего нас как неизбежность... Но все еще во мне так разрозненно, поштучно!»

Эта работа мысли, попытки услышать и увидеть себя не в рассеивающей суете, а в «фокусе», перебивались то и дело заботой о хлебе насущном.

Уже зимой 1883/84 года Александр убедился, что ему будет трудно прожить на войсковую стипендию... И уж

совершенно невозможно внести 50 рублей в год за право слушания лекций! В августе 1884 года из Усть-Медведицкой приходит в университет ходатайство, где — по просьбе, видимо, самого Александра, после хлопот матери — подтверждается, что семья Попова «недвижимой собственности не имеет и доходов никаких не получает», а потому «студент Попов не в состоянии внести...». От платы за слушание лекций он был освобожден.

Но после этого вновь — при хороших успехах в учебе — возникло все то же беспокойство: «Кто я? В чем смысл учебы, жизни?» На лекциях, в спорах о Д. И. Писареве или Огюсте Конте, модном тогда французском социологе, который «подвел понятия биологического организма и общества под одно общее понятие организованного тела» (так говорил профессор Н. И. Кареев), Александр вдруг ощущал какую-то пустоту. Он вспоминал позднее свои состояния:

«...постоянно думал. О чем? Не знаю. Не о лекциях, не о предметах университетского курса, а вот об этом прошедшем мимо длинном господине в котелке, в подпирающих воротничках и с красной бородавкой на носу.

О женщине, которая села только что в трамвай, и приподнятое платье показало стройную тонкую щиколотку, и трамвай уже далеко в конце улицы и все меньше и меньше.

Моя жизнь текла отдельно в этих улицах, площадях, домах, которые высились по обеим сторонам...»

Сейчас, когда можно видеть и это мгновение в масштабе всей судьбы, состоявшейся жизни, очевидно, что в Александре Попове пробуждался художник, росло желание домысливать и запечатлевать увиденное в слове.

Студенчество 80-х годов зеркально точно отражало этот перелом — практически преодолевало очарование недавних еще кумиров, прежде всего столпов вульгарного материализма. Россия выстрадала марксизм, но как нелегок был этот процесс для отдельных натур!

Д. И. Писарев еще властвовал во многих умах. Он по-прежнему привлекал энергией мысли, «беспощадностью» ко всякой вялости, изнеженности. Это был резец мысли, свободный от «наркоза» авторитетов: «...Что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть».

Но некоторые аналогии Писарева — то же сравнение

человеческого общества с пчелиным ульем — уже не удовлетворяли пытливого выходца из Области Войска Донского. Он начинал ощущать, что в подобных теориях человек превращается в простую бездушную клеточку, поглощенную, так сказать, в организме. «Нелепость этих аналогий, резвых скачков от биологии к социологии почувствовал, — раздумывал Александр Попов, — уже Спенсер... И нашел нужным поместить между биологией и социологией психологию. И вообще он назвал общественное развитие развитием куда более высшего порядка, чем органическая эволюция, назвал его надорганическим... А сколько явлений в обществе не находит себе аналогии ни с ульем, ни с муравейником, ни с человеческим телом! И прежде всего экономические отношения, политическая борьба...» Да и можно ли сотворить нового человека, овладев «метаморфозами вещества», физиологически, как новый вид растения, минуя его историю, нравственный опыт?» [1]

Друзья Александра Попова, прежде всего члены землячества донцов и кубанцев, стали замечать, что его тревожат сомнения, неожиданные догадки о несовершенстве, примитивности разных форм вульгарного материализма. Многие еще с упоением читали в те годы «Зоологические очерки» Фохта, исповедовали материализм по таким тезисам:

«Наше время ниспровергло противоположность между вещественным и нравственным и не признает более такого деления».

«Мысль есть выделение мозга, как желчь есть выделение печени...»

Сомневаться в этом — явное неприличие, отступление к идеализму, эпикуреизму 40-х годов. Учившийся несколькими годами ранее в Москве, в Петровской академии В. Г. Короленко вспоминал позднее, что подобная

---

[1] Это движение мысли будущего писателя не было, конечно, спрямленным, плавным. И даже в 1909 году свою лекцию «Литература и литераторы» Серафимович начинает несколько по-дарвинистски, по-писаревски: «Жизнь — борьба, а не сон... Борьба беспощадная и во всех сферах без малейшего исключения. Может ли этот непреложный, железный, страшный и святой закон обойти человека?

Нет...

Я только что сказал: железный, святой закон. Я не обмолвился — святой, ибо отметает слабость, уродство и дает в мир силу, гибкость, красоту...»

Д. И. Писарев, конечно же, не умер в душе Серафимовича...

апологетика материализма, хлесткие цитаты Г. Бокля («Ирландцы не свободны потому, что питаются картофелем. Их завоеватели питаются мясом») казались самоочевидными и окончательными истинами. «Человек есть то, что он ест...» Да и какое это для юноши наслаждение — упростить тайны и сложности мира на кирпичики, духовное — до элементарно-физического, мироздание — до детской!

Александр Попов жил в атмосфере, когда множество физиков, математиков, химиков, врачей активнейшим образом «отвоевывали природу у бога». Все стремились доказать, что есть наука, а бог ничего не творил, что все способна объяснить механика. Против этого «отвоевывания», изгнания всяких «божественных» тайн из мира природы, принимавшего вульгарнейшие формы, выступал в эти годы и Ф. М. Достоевский. «Что бога-то жалко? Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет!» — говорит в романе «Братья Карамазовы» один из героев, явно пародируя поклонников Бокля, Спенсера, Бюхнера. А к кому иному, как не к тем же энтузиастам чистой науки, поклонникам «материи и силы», обращался, защищая какой-то уголок человеческой души, Ф. И. Тютчев в давнем послании:

Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?

Какой многозначительный спор! Сколько страсти в самом сожалении поэта по поводу юных схоластов, упростивших и обесплодивших природу!

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была...

Александр Попов всегда чувствовал язык природы. И перспектива прямого родства человека даже не с обезьяной, а с моллюском, с кристаллом — предел вульгаризации материализма — смущала Александра Попова. Он очень осторожно, скорее про себя, спорит с этой крайностью в поклонении естественным наукам. И в то же

время он понимал: в условиях жесточайшего застоя, реакции именно естественные науки были сферой наибольшей свободы, суверенности мысли! Не случайно даже книга И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», предназначавшаяся вначале для некрасовского «Современника», была задержана цензурой и появилась в специальном медицинском издании. Нужна была поразительная смелость — и научная и гражданская, — чтобы, отбросив религиозно-мистические представления, провозгласить в «Рефлексах головного мозга»:

«Все бесконечное многообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению. Смеется ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное движение... С этим не может не согласиться даже самый заклятый спиритуалист».

Иван Петрович Павлов, слушавший лекции И. М. Сеченова вместе с Александром Поповым, назовет работу Сеченова «гениальным взмахом русской научной мысли».

А увлечение Александра Ульянова именно зоологией?

Однажды группа студентов физико-математического факультета зашла на квартиру к А. И. Ульянову на Александровском проспекте. В его комнате, достаточно скромной, типично студенческой — книги, тетради с конспектами, — находился отличный аквариум.

— Вы начинаете приобретать аристократические привычки, — пошутил над хозяином один из пришедших.

Александр Ульянов улыбнулся, подвел всех к позеленевшему стеклу аквариума и, показав на какое-то движущееся в воде существо, сказал:

— Мне нужно понаблюдать за поведением вот этого молодца. Меня заинтересовало задание профессора Вагнера...

И все же многое в Александре Попове упрямо противилось именно крайностям вульгарного материализма, абстрактно-логического мышления. Так хотелось ему порой из сферы бездарно-самоуверенного словоговорения уйти в кажущуюся бессловесность природы, задуматься о тайне ее «жестов», ее немоты!.. Верить одному уму — не значило умно жить. Будущий художник протестовал в

нем, как отмечал он в набросках к «Автобиографии», стихийно, вслепую.

«Есть созидатели, есть творители вещей, творители, прибавляющие мир, и есть гробокопатели, расщепляющие сотворенное, разлагатели. Живое они раскладывают по кусочкам, разнимают по винтикам и колесикам и раскладывают вокруг себя. Достаточно им прикоснуться к живому, трепещущему жизнью, а стало быть, красотой, чтоб оно тотчас стало мертвым, разложилось, стало механизмом, подлежащим разборке...»

Улыбка, может быть, в адрес Базарова, режущего лягушек, и Базаровых, «режущих» сложный мир духовной жизни человека, не пользуясь ничем, кроме скальпеля, ножа, ощущается здесь.

Будущий революционер в Александре Попове, борец за новый мир, убежденный, что истинное творчество должно быть связано с народной борьбой, отыскивал уже новых духовных наставников. «Химия идет», «физиология идет», тесня богословие, застылость жизни... Но идет и нечто еще более важное — революция. И Саша Попов жаждет знать не только мертвое сцепление вытекающих одна из другой математических или социологических формул, но и тот живой процесс, который стоит за формулами. Профессура предоставляла возможность самим студентам добиваться философского смысла, уяснения социального значения многих явлений. И вот ради удовлетворения внутренней потребности в полном знании жизни, законов общественной борьбы Александр Попов с группой товарищей начал штудировать Маркса и общественно-экономические науки.

В натурах страстных, увлекающихся воля — в момент самосозидания, «собирания» себя — решительно преобладает над сознанием, над рассудочностью.

Врач, вызванный к студенту Попову в связи с резким утомлением, болезнью глаз, скептически оглядел его каморку, горы книг, брошюр, лампу со слабым светильником... Чего только не прочитал этот упрямый провинциал! Журналы «Народная воля», «Вольное слово», книги философов-утопистов, брошюры народников, Лаврова и Михайловского.

Врач покачал головой:

— Вы что же, мир хотите этим перевернуть?

Попов нехотя возразил:

— А вы, вероятно, полагаете, что этим не перевернешь и пука соломы?

— Не будем спорить... Вам реально угрожает слепота, если... Если не ослабите натиск на книжную премудрость. Больше прогулок, меньше этих... неудобочитаемых шрифтов.

Вынужденный перерыв помог Александру заново, более спокойно, открыть для себя великий город.

Многоводный простор Невы, неестественно длинная игла Петропавловского собора, ансамбль Дворцовой площади, Марсово поле... Не спеша прошел Александр через примелькавшийся исторический центр города. И впервые задумался над одной закономерностью:

«Да, архитектура несет свой лиризм, и Петербург в известной мере — гимн геометрии, игре геометрических комбинаций... И не случайно град Петров есть создание русской государственности. Создание столь же намеренное, как Севастополь на Черном море, Владикавказ на Тереке, Владивосток на Дальнем Востоке. Этот Петербург вычислен по карте, его местоположение стало идеей его существования, создало его ансамбли. «Ногою твердой стать у моря...». Именно сюда доплеснулась «волна» великого движения России к свободному морю и... «растеклась» в камне не аморфной грудой строений, а ансамблем правильных, вычерченных геометром официальных проспектов, площадей. Этот дух правильности, искусственности, графически четкой и намеренной красоты из Петербурга не выбьешь ничем: он вытекает из самого замысла его творца... И не над Петербургом — над Россией простерта державная длань Медного всадника... А вот иной Петербург — сырых дворов-колодцев, ночлежек, лавок старьевщиков, сапожных мастерских, пригородов, — он вырос без плана... создан беспорядком частной жизни. Здесь народные чувства не сливаются с государственными мыслями, а вечно подавляются машиной государственности».

Петербург уже обрел и каменную летопись революционной борьбы. Сенатская площадь, где словно вылетал из тумана, грозя растоптать зеваку праздного, «Медный всадник». Решетка Зоологического сада, где спокойно, измеряя расстояние между собой и коронованной особой, взвешивая силу бомбы, стоял 1 марта 1881 года Игнатий Гриневицкий... Шесть бастионов Петропавловской крепости, ставших тюремными казематами...

Среди студентов Петербургского университета, Тех-

нологического, Горного институтов, слушательниц Бестужевских курсов, даже Военно-юридической академии ходило множество — не только номеров журнала «Народная воля», брошюр, — стихотворных рукописей, стихов-завещаний узников, писем и т. п. Их передавали друг другу, переписывали неоднократно. Александр Попов знал этот безымянный или, наоборот, связанный с чьей-то реальной судьбой, с площадями, проспектами Петербурга фольклор.

> Есть площадь с пролитою кровью святой;
> Туда вы, друзья, соберитесь —

так начиналось одно из типичных завещаний — последнее слово погибшего в Шлиссельбурге Юрия Богдановича. Ни тени сомнения в избранном пути, сетования на судьбу, — одна святая тревога за идею, за знамя. Кто его поднимет, высоко ли оно взметнется?

> То знамя, что в клочья избито
> При схватке с упорством лихим
> И кровью бойцов тех омыто,
> Что пали в сраженьях под ним...
> Других же знамен не берите —
> Славнее его не сыскать...

Воздействие подобных строк, призывов с эшафота, пророчеств в последнем слове на суде было огромно. Но из своей каморки Александр Попов видел, что Петербург трущоб, чердак Раскольникова и домик пушкинского Евгения были проще, примитивнее, но страшнее своей косностью.

...Зимнее утро, неожиданно резкий ветер, сухой морозец.

Еще не задымили печки, не скрипнули ни разу извозчичьи сани в переулке, а двор — по множеству звуков это понятно — пробуждается. В комнатенках-клетушках, где ютятся плотники-рязанцы, угольщики, сапожники с исполосованными дратвой руками, гулящие девицы, где сам воздух, кажется, скисает от пота, начинается неясное движение.

Хлопают глухо обледенелые двери, тащат охапки белых березовых дров, солнце нехотя, тускло поднимается и освещает верхний этаж. Сальные, заспанные физиономии, сутулые фигуры, подрагивающие на ветру, встречаются в коридорах, переулках... Александр уже знает, куда они чаще всего бегут в столь ранний час: опохме-

литься в близлежащую обжорку... Больное страдание, сонная одурь всех этих Колтовских закоулков, Мокруш — страшное испытание для любого сотрясателя основ.

Возможно ли внести в эту, «подспудную», Россию какую-то преобразующую идею? Не остаются ли все тревоги за участь «униженных и оскорбленных» всего лишь достоянием самих народных печальников? Посмотри, как однообразна жизнь! Прошло рождество, и биржевик едет на биржу, купец каменеет за прилавком. Спиртной дух, клубами поднимавшийся к небесам — «навстречу утренним лучам», — осел в виде пьяных тел у кабаков... Сдвинешь ли ты эту громаду низкой жизни?

Новые идеи, новые факты чаще всего требуют коллективного осмысления. И чем больше находилось в обращении нелегальных брошюр, книг, стихов, тем чаще возникала у студентов Петербургского университета потребность поговорить о прочитанном с друзьями, создать кружок единомышленников. Эта потребность помогала разорвать сословные, местнические, корпоративные узы! «Надо быть Самсоном и — сильнее, чтобы не заели азиатские мелочи жизни», — говорил Горький. В поисках «идеи жизни», новых духовных ценностей восьмидесятники проявляли и богатырскую, самсоновскую силу, и изобретательность, и таланты конспираторов.

Прежде всего как победить хотя бы внешнюю разобщенность? Где собраться?

До 1905 года всякие студенческие организации были запрещены.

В университетском уставе 1884 года был особый пункт: «Студенты университета суть отдельные посетители университета...»

И все же «река свой край перебежит» (Хомяков), если она переполнена вешними водами. Несмотря на запреты, всюду существовали студенческие объединения, называвшиеся землячествами. Они объединяли студентов той или иной губернии. Существовало пермское, виленское, землячество донцов и кубанцев, волго-вятское, делегатом которого был А. И. Ульянов, «Польская касса» (землячество поляков).

Александр Попов не однажды — вплоть до конца 1886 года — ощущал помощь земляков, друзей из других землячеств. От земляков он получил и свое будущее писательское имя: с легкой руки Ореста Говорухина, Ма-

карыча, его все стали звать Серафимовичем. Чаще всего и вовсе задушевно — Серафимычем...

Землячества устраивали дешевые студенческие кухмистерские. Они нередко, как было с кухмистерской на Васильевском острове, созданной П. Шевыревым, И. Лукашевичем, приносили даже доход, позволяли студентам присмотреться друг к другу, рождали новые формы единения.

Так, Александр Ульянов именно в кухмистерской однажды заметил Шевыреву:

— И охота вам, Петр Яковлевич, тратить энергию на такие мелочи. С вашим организаторским талантом можно было бы устроить что-то пооснователънее...

— А что, например?

— Да все, вплоть до тайного кружка...

Шевырев внимательно посмотрел на Ульянова и тихо произнес:

— Может быть. Так думает и еще кое-кто... Но нужны очень осмотрительные, надежные люди...

Землячество донцов и кубанцев, которое возглавляли тогда Орест Говорухин (он вошел в 1886 году, как и Ульянов, в созданную Шевыревым и Лукашевичем фракцию «Народной воли») и будущий «правдист» М. Ольминский, помогало Александру Попову и мелкими ссудами, отыскивало вакантное место репетитора...

Уроки! Вечно обманывающая надежда выбиться из нужды... Александр Попов изведал все оттенки вкуса горького репетиторского хлеба.

Вечер, низко плывущие тучи, все тот же сырой ветер с Финского залива... Мрак, едва раздвигаемый светом фонарей, в глухом переулке. Студент Попов только что провел один урок, охрип, целый час разъясняя купеческому сынку, что площадь ромба определяется произведением полудиагоналей... Надо спешить. А тут вдруг уже в прихожей, когда он надевал шинель, сам хозяин, пребывая в благодушном состоянии, затеял разговор.

— Ну как, у моего вахлака есть способности? Или уж сразу в Митрофаны да в лавку?

Глядя на сынка с низеньким, как у папаши, лбом, заросшим жестким волосом, с массивными скулами и крепкими челюстями, — где уж тут пробиться мысли! — приходилось скрепя сердце уверять:

— Непослушен, балован, но усердие есть.

Невинные слова обретали вдруг силу катализатора на красноречие хозяина.

— Непослушен — это плохо... Наше торговое дело стоит на трех китах — почтительности, рекламе и бережливости...

Слушать было некогда, надо было спешить в другой конец города.

Уроками жили в те и последующие годы сотни студентов. Запускалась нередко учеба, студенты «засиживались» на одном курсе. Министр просвещения Кассо, как вспоминает учившийся позднее в том же Петербургском университете друг Серафимовича Демьян Бедный, вычеркивал из учебных списков отстающих, необеспеченных. «Спасло меня, — рассказывал он как-то Александру Серафимовичу, — то, что я сам пошел к министру и, заждавшись, написал перед кабинетом Кассо двустишие, рассмешившее министра:

Скрипит фортуны колесо!
Неужли выгонит Кассо?

Колесо фортуны действительно скрипело для многих...

Некоторые преподаватели — среди них одинокий профессор Орест Миллер — тратили на помощь студентам свое жалованье. А однажды, когда и его не хватило, сердечнейший Орест Федорович... заложил в ломбарде свой сюртук!

Но уроки, ссуды, кухмистерские — это полдела, вернее, начало дела. Очень скоро землячество донцов и кубанцев перешло к практике создания кружков. Один из первых — кружок по изучению политических процессов недавних лет вроде «дела Нечаева» по легальной газете «Голос». В другом, одновременно возникшем, начали вслух читать и обсуждать книгу Бебеля «Женщина и социализм».

С зимы 1884 года О. Говорухин и М. Ольминский стали приглашать Александра Попова — в числе немногих проверенных лиц — на встречи с Д. Благоевым, студентом-болгарином, страстным пропагандистом марксизма. Об одной из этих встреч, о совместном слушании речи Благоева О. Говорухин напомнил Александру Серафимовичу сорок два года спустя и убедился, что и он помнит все: «Как же, как же, ведь такая речь не забывается!»

На одном из нелегальных собраний землячества донцов и кубанцев с участием О. Говорухина, И. Гордеева, С. Брыкина произошло близкое знакомство Александра Попова с Александром Ульяновым. Знакомство состоя-

лось на вечеринке, фиктивной помолвке, среди земляков-донцов. Оно завершило трудное восхождение будущего писателя к новому миру идей.

Один из друзей Александра Ульянова, Михаил Новорусский, сказал о нем: «Он мелькнул, как метеор, на историческом небосклоне еще за 18 лет до первого просвета в нашей общественной жизни, до первой российской революции 1905 года...»

Это сравнение считается находкой, ключом к судьбе старшего брата В. И. Ленина. Но ведь метеор сгорает бесплодно в заоблачных высях, он инороден по отношению к земной тревоге! Точнее и, главное, справедливее по отношению к А. И. Ульянову, на наш взгляд, мысль Е. Драбкиной: «Народная воля» явилась в истории, будто калильная дуга, давшая две яркие вспышки: 1 марта 1881 года и 1 марта 1887 года... Предстояла новая борьба, поиски новых путей. И на грани этих двух эпох во весь свой рост поднялась героическая фигура Александра Ульянова». Именно Александр Ульянов, даже отдав жизнь во имя ложной идеи терроризма, в сущности, проводил ее в небытие как отработанную. Он же активно утверждал — и это наблюдал Александр Попов — новые, еще не вполне победившие идеи.

...Вечеринка по случаю «помолвки» была обставлена по всем правилам конспирации. Была «невеста» — Ольга Чаусова, студентка Бестужевских курсов, казачка из Новочеркасска. Был «жених» — Александр Попов. Пили чай, закусывали. Но очень скоро о столе и закусках вообще забыли.

Первым заговорил студент Михаил Туган-Барановский. Будущий легальный марксист, затем кадет, а в 1918—1919 годы — министр финансов в правительстве гетмана Скоропадского на Украине, он в те годы ходил еще в ореоле славы бунтаря, чуть ли не митингового оратора. В ноябре 1886 года после разгона демонстрации студентов в честь 25-летия со дня смерти Н. А. Добролюбова Туган-Барановский, находясь в полицейском участке, буквально «сразил» градоначальника Петербурга Грессера иронической насмешкой. Когда тот вошел в участок и сокрушенно вздохнул «Ух, умаялся!», то именно Туган-Барановский подчеркнуто-почтительным тоном заметил: «Да, ваше превосходительство, должность у вас незавидная».

Сейчас этот «рыцарь на час» зло, тонко высмеивал и хождения в народ, и первые попытки студентов вести пропаганду среди рабочих. Неудач, фактов недоверия, доводивших многих «друзей народа» до пессимизма — «мы вне народных потребностей», наконец, таких суждений агитируемых, которые напоминали знаменитое мужицкое «не суйся!» из очерков Гл. Успенского, обращенное к ходокам в народ, было много. Всем этим умело пользовался Туган-Барановский.

— Преклонение марксистов перед рабочим классом — это повторение народнического обожествления мужицкого «абсолютного тулупа», как говорил Тургенев. Один народник, даже сидя в царской тюрьме, оплакивал казенные харчи — они, дескать, съедаются им, а оплачены трудом мужика. Созрел ли ваш рабочий класс для борьбы, горит ли он революционным огнем? Вы видите мираж... И зачем мне отрекаться от себя во имя ли абсолютного тулупа, или абсолютной спецовки рабочего? Зачем бежать впереди того, кто, может быть, и не идет вперед!»

Пробуя понять хоть отчасти положительную программу Тугана, Александр Попов ощутил, что он слышит... лекцию, обстоятельную, вполне легальную, лекцию готового реформатора! Революционер ли он? Статистические сведения, таблицы и цитаты — их Туган вытаскивал из кармана сюртука, — наконец, множество иностранных словечек, кое-как «приклеенных» друг к другу русскими глаголами...

— Кант избежал гонений благодаря своей кабинетности... Туган избежит всех невзгод благодаря невнятному словоговорению, — сказал Попову сосед по столу.

Александр Ульянов — смугловато-бледный юноша с копной вьющихся волос, высоким чистым лбом, — возражал Тугану резко, убежденно.

— Подобно тому как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие. И как только молния мысли основательно ударит в эту народную почву, рабочий класс откликнется. Он составит в будущей социалистической партии ядро, ее наиболее деятельную часть. И если бы сейчас были живы Желябов, Софья Перовская, они искали бы опоры прежде всего в рабочем классе.

— Откуда вы это знаете? Спиритуализмом, что ли, занимаетесь?

Туган не выдерживал раз принятой позы, выступал

вновь, старался остротами сбить сильное впечатление, которое доводы Ульянова производили на всех.

— Зовете всех на выучку к капитализму? Но ведь крестьянин, любой аграрник, все-таки не рак: он не станет «красным» только оттого, что его выварят в котле капитализма...

Александр Попов запоминал все подробности споров, облик каждого из спорящих с изумительной точностью. «Сердце и глаза жадно искали, на что бы опереться», — вспоминал он позднее свое духовное состояние в эти месяцы. Усвоить отдельные понятия, категории экономической науки, — это полдела. Важно было отделить для себя подлинных революционеров от народников, экономистов, от всякого рода колеблющихся и сочувствующих. Изжить поклонение геройской традиции народовольцев и не впасть в примирение с обывательщиной, не пойти на службу к капиталисту...

«Колесо истории было против нас», — говорила об участи «Народной воли» В. Фигнер, объясняя все ее неудачи. Но как уловить это «против», увидеть бесперспективность терроризма юноше из провинциальной казачьей станицы? Орест Говорухин, земляк Александра Попова, казак из Усть-Медведицкой, был близким товарищем Ульянова. Но он тоже, как и Попов, еще только начал изучать марксистскую литературу. Он мог в лучшем случае повторять мнения Александра Ульянова.

...Когда компания стала расходиться, Александр Попов подошел именно к Ульянову.

— Вы прекрасно выступили сегодня. И я согласен во всем с вами. Рабочий класс будет иметь решающее влияние на политические события. Но как войти интеллигенту в сферу потребностей рабочей массы? Хотя бы экономических? Этот вопрос труден и для меня...

Ульянов внимательно посмотрел, будто обдумывая что-то, на неожиданного собеседника. Привычка к конспирации — ее отмечала в своих воспоминаниях М. И. Ульянова-Елизарова — становилась естественной для него. Но искреннее желание нового знакомого определиться в событиях, видимо, тронуло его.

— Как не хватает России общественных свобод! Надо, надо немедленно завоевать хоть часть их, чтоб иметь физическую возможность работать среди рабочих. Пока невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная... Но опыт — дело наживное...

Орест Говорухин, один из немногих уцелевших руко-

водителей фракции «Народной воли», написавший за границей сразу же после казни Ульянова реферат о событиях 1887 года, отмечал, что Ульянов не любил, когда на путь суровой и опасной борьбы, которая может стоить жизни, люди вступали «с завязанными глазами». Сейчас он ничего не ответил на вопрос Попова, но, уходя, пообещал продолжить разговор в ближайшие дни.

Известно, что деятели «Народной воли» — Андрей Желябов, Тимофей Михайлов, Софья Перовская, Вера Фигнер, Николай Кибальчич — были полководцами без армии. «Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира, — писал о них В. И. Ленин. — Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа» [1].

После ареста Александра Ульянова и других членов фракции «Народной воли» 1 марта 1887 года своеобразной «чистке» подверглось 404 студента Петербургского университета. Под номером 269 в полицейском списке значилась фамилия Попова Александра Серафимовича. Рядом приписка: «Выслан из Петербурга».

Известно одно: после памятного диспута Ульянов разыскал Александра Попова в университете и предложил:

— Пропагандистов мало, а интерес к социалистической пропаганде у рабочих весьма велик... Да и нас рабочие могут многому научить. Прежде всего чувству реальности. Главное условие успеха — умелая организация всесторонних, наглядных политических обличений, воспитание навыков к обобщениям. Я вас познакомлю с небольшим кружком в Галерной гавани...

Кружок этот, насколько позволили установить документы, состоял из пяти человек рабочих судостроительной верфи. Но вести занятия в нем студенту, не знавшему обстоятельств жизни и труда рабочих, было не очень просто. И перед первым занятием Александр Попов чувствовал, что его книжные знания, общие слова о роли рабочего класса, о крестьянстве как мелком товаропроизводителе, в сущности, ни до кого не дойдут. Привыкшие к наглядности, к эмпирическому мышлению слушатели

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 315.

не могли сразу подняться до философских обобщений. Но вот газеты принесли известие о рабочих волнениях на Морозовской мануфактуре. В далеком от Петербурга Орехове-Зуеве забастовало восемь тысяч человек.. Руководил забастовкой ткач Петр Моисеенко...

Александр Попов собрал все материалы о забастовке в Орехове-Зуеве, о последующем судебном процессе в губернском городе Владимире. Потрясающая картина унижений и взрыва протеста возникла из этих подробностей перед самим пропагандистом и его слушателями.

Нет, это был не тот народ, который традиционно «безмолвствовал» на сцене! Замученные штрафами рабочие-ткачи обнаружили вдруг ярчайшую талантливость в самоорганизации. Рабская привычка действовать по принципу «плетью обуха не перешибешь», «поклониться — не переломиться» была отброшена восемью тысячами ткачей...

Редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков, который ранее заявил, что «с народными массами шутить опасно» и что лучше вообще отказаться от промышленности, коль скоро ее рост предполагает рост рабочего класса и борьбу с ним, писал в связи с судебным процессом по делу бунтарей с Морозовской мануфактуры:

«Вчера в старом, богоспасаемом граде Владимире раздался сто один салютоционный выстрел в честь показавшегося на Руси рабочего вопроса... Как же не быть у нас рабочему вопросу со всею его свитой!..»

Это был, отметил про себя Попов, явный исторический дальтонизм, полное непонимание исторической перспективы...

Слушавшие Попова рабочие неожиданно горячо заговорили о своих нуждах. Морозовские ткачи — особенно их вожаки П. А. Моисеенко и В. С. Волков — и в ходе забастовки, и на суде во Владимире подняли проблемы капиталистической эксплуатации в столь живой, доходчивой форме, что обрели тысячи адвокатов.

...Но что происходит с Ульяновым?

Он неожиданно стал как-то упорно, но последовательно отдаляться от друзей, становился все более задумчивым, иногда рассеянным. Проживавшего вместе с ним на квартире студента Чеботарева убедил — якобы для удобства обоих — переселиться в другое место... Создавалось впечатление, что на свою жизнь и каждую ее минуту он смотрел как... на чужую собственность, доверенную ему под честное слово.

Восьмого февраля 1887 года, как всегда после зимних каникул, состоялось общее торжественное собрание в университете, «акт». Ульянова не было в зале. Вечером этого же дня в гостях у одного студента друзья спросили Ульянова:

— Что же ты, Саша, не был на акте? Тебя несколько раз вызывали для вручения золотой медали за труд, поданный Вагнеру...

Александр без тени напускного смущения ответил:

— Тут какое-то недоразумение! Этого быть не может. Профессор Вагнер объявил темы для разработки в течение двух лет. Одна из них меня заинтересовала, и я урывками последние три месяца над ней работал. И отдал Вагнеру, отнюдь не рассчитывая что-либо получить за свое скромное сочинение. Мне нужно было только узнать: верный ли путь я избрал, посоветоваться с Вагнером...

Иногда Александр Попов видел его уставшим, со следами ночных бдений на лице. Не изгонимый ничем запах химической лаборатории сопровождал и его и И. Лукашевича. «Иная на сердце забота» — именно она (но какая?) подавляла Ульянова.

Предгрозовая атмосфера окружала Ульянова, в ее «зону» попадали уже многие. Неожиданно на одно из заседаний «Научно-литературного общества», руководимого профессором О. Ф. Миллером (членом его и секретарем был Александр Ульянов), пожаловал попечитель Санкт-Петербургского учебного округа генерал-лейтенант Новиков.

Встретив знакомого филолога, Попов спросил:

— Что же произошло на заседании?

— Ничего чрезвычайного... Мы ожидали Ореста Федоровича. Кто-то рассказал прошлогодний казус, почти анекдот. На экзамене по географии у Соколова студент на вопрос: «Куда впадает речка Сить?» — ответил бог весть по какой ассоциации: «В Непрядву!» Профессор рассмеялся и сказал: «Это истина историческая, но не географическая!..» В это время и вошли Миллер и Новиков. А далее... Открыв заседание, Орест Федорович произнес речь о 19 февраля 1861 года, о царе-освободителе. Полный панегирик самодержавию...

— А Ульянов?

— Он промолчал, как и все мы. А потом Новиков захотел курить. Орест Федорович предложил ему курить здесь же, в зале. На это попечитель без тени иронии по-солдатски ответил:

— Во фрунте я не курю...

Сделали перерыв, чтобы позволить генералу выкурить «вне фрунта»... А затем Марк Елизаров сделал доклад о деятельности самарского земства...

И появление полицейского, и редкое смирение, молчание Александра Ульянова удивляли, тревожили. Казалось, что уже шел незримый поединок, в цели и методы которого посвящены весьма немногие.

Судить о человеке по тому, что он сам о себе думает, неосмотрительно, наивно. Воспоминания друзей Александра Ульянова по фракции «Народной воли» обретают значение достоверных документов только при сопоставлении, проверке.

Известно, что последнее письмо исполкома «Народной воли» к преемнику убитого царя Александру III с требованием «добровольного обращения верховной власти к народу» (то есть уступок власти, демократизации, возможно, принятия конституции и т. п.) было высоко оценено Ф. Энгельсом (со слов Г. А. Лопатина). И оно же, отвергнутое в манифесте Александра III от 29 апреля 1881 года как покушение на «силу и истину самодержавной власти», по существу, осталось прямым завещанием для сознательных и стихийных последователей «Народной воли».

Один из организаторов фракции «Народной воли», студент Иосиф Лукашевич, подтверждает эту взаимосвязь:

«В кружке мы изучали сначала политическую экономию, но вскоре пришли к убеждению, что для России настоятельнее всего разрешение политических вопросов... У меня ясно созрела мысль, что публичная власть одного человека над другим не может быть предметом частной собственности, что социализация публичной власти в еще большей мере необходима, чем социализация орудий производства» (Разрядка моя. — *В. Ч.*).

Вырвать частицу власти, разрушить самодержавную монополию власти... Не вопрос о собственности, а вопрос о власти вдруг выдвинулся на первый план! Конечно, это был явный волюнтаризм. Эта мечта... и объединила под тусклым петербургским небом группу студентов, съехавшихся сюда поистине «из страны, страны далекой». Объяснить, что скрывалось за этой «социализацией власти» —

парламентская республика, анархическое безвластие, конституционная монархия, — деятели фракции не успели.

Террор... Его призрак вновь встал в памяти. Это была возможность силе противопоставить силу. Нельзя было без армии штурмовать твердыни царизма. Можно было только обойти их с тыла, встретиться лицом к лицу с врагом позади этих твердынь, когда все легионы не могли бы помочь царизму. Террор — это своего рода «предварительное сообщение» народу о переменах, начале борьбы.

Александр Попов, не будучи посвящен в подробности заговора, жил среди людей, которые его готовили, узнавал неведомые ему человеческие характеры. Это были люди, хорошо знавшие, на что идут и что ожидает их в случае неудачи...

Василий Осипанов... Этот студент из Казани уже поработал в организации «Крест мучеников», созданной для материальной помощи заключенным, агитировал среди рабочих. Он перевелся из Казани в Петербург для организации покушения. «Пусть нас разобьют один раз, два, наконец, десять, двадцать раз, но если на двадцать первый народ поддержит и восстание сделается всеобщим, жертвы окупятся», — Осипанов часто повторял эти слова своего наставника Дебагория-Мокриевича, в сущности, парафраз тезисов анархиста Михаила Бакунина.

Задача террористической фракции «Народной воли» во много раз усложнялась из-за возросшей осторожности царя и его охраны. Известно, что после убийства в 1881 году Александра II даже коронация («Кара нации», как говорили друзья Александра Попова) в Успенском соборе в Кремле долго откладывалась и состоялась лишь 10 мая 1883 года.

Кто были другие? Организаторы, сочувствующие заговору, студенты, лишь отчасти посвященные в него?

Отбор был произведен, как выяснилось впоследствии, плохо, мания террора овладела часто незрелыми умами, не понимавшими, что террор не может быть обиходным средством, нормальной «техникой» борьбы.

Однажды Александр Попов обратил внимание: в коридорах университета бродят приехавшие из Москвы незнакомые студенты, ищут Шевырева, Ульянова, Лукашевича... Оказалось — дело было перед 1 марта 1887 года, — что они приехали с просьбой:

— Мы хотим убить Каткова...

— Но ведь он не занимает никакого крупного официального поста, это лицо в общем-то частное...

— Но это ретроград, душитель свободной мысли, наставник царя... Умерщвление идейного противника не есть убийство...

Это было уже мальчишеское — по наивной жестокости и легкомыслию! — понимание террора, игра в бомбометателей... М. Н. Катков умер летом 1887 года своей смертью.

Да и в самой группе были совершенно безвольные, неустойчивые подручные — М. Канчер, П. Горкун... А Пахомий Андреюшкин, внешне похожий на коренастого, широкоплечего казака, сущего Тараса Бульбу, с чудовищным легкомыслием написал в Харьков 20 января 1887 года следующее, попавшее, конечно, в руки полиции письмо: «...Возможна ли у нас социал-демократия, как в Германии? Я думаю, что невозможна; что возможно — это самый беспощадный террор, и я твердо верю, что он будет, и даже в непродолжительном будущем... Исчислять достоинства и преимущества красного террора не буду, ибо не кончу до скончания века, так как он мой конек». С этого письма и началось разматывание клубка в иную сторону, в сторону эшафота.

В довершение всего друзья Ульянова, его сестра Аня могли судить обо всем только по усталости, задумчивости его — страшная спешка, убыль действующих лиц предстоящей драмы. Александр Ильич не терпел авантюризма, суеты, ему хотелось даже отложить покушение на осень.

— Как откладывать? — возмутился Шевырев. — Да ты, Ильич, уверен, что тебя завтра не возьмут? Доживем ли мы все до осени? Если же кто-то слабый попадется раньше всех, выдаст, то мы все погибнем... И за что? За хотение, преступное намерение...

Шевырев торопил развитие событий. Но сам он 17 февраля 1887 года в связи с болезнью, обострением туберкулезного процесса, уехал в Ялту. Трудно понять сейчас это: малодушие, бегство, инстинкт конца? Никакого катастрофического ухудшения его здоровья произойти за это время не могло. Создавалось впечатление, что им управляет кто-то стоящий в тени. Нечто марионеточное, репетиловское, псевдосамоуверенное появилось в его лихорадочных действиях. Как свидетельствует В. А. Сутырин в своей работе об Александре Ульянове, Шевырев — видимо, не посвящая других в свои связи, источники финансирования, — предлагал такую «эскалацию» террористических действий, что все участники группы

только разводили руками. Он вещал с хлестаковским пафосом:

— Осуществить серию покушений... На министров, на идейный оплот реакции — Победоносцева и Каткова, на великих князей Владимира и Николая, на наследника...

Откуда бралась у Шевырева уверенность, что кто-то могущественный будет финансировать это грандиозное предприятие как заинтересованная сила, — этого не знал даже Орест Говорухин... Его воспоминания о 1 марта 1887 года Александр Серафимович опубликовал, став редактором «Октября» в 1927 году, вновь пережив события юности.

Орест Говорухин за несколько недель до покушения, спасаясь от явного преследования полиции, тоже выехал за границу на деньги, полученные Александром Ульяновым за сданную ростовщику золотую университетскую медаль... Трагична роль полководца без армии, с горсткой заговорщиков, без веры в будущее самого терроризма!

1 марта 1887 года, когда метальщики Осипанов, Генералов, Андреюшкин уже вышли на Невский, Александр III ожидал кареты, чтобы в 11 часов утра ехать в собор Петропавловской крепости.

Агенты сыскного отделения, не выпускавшие из поля зрения Андреюшкина, в это же время установили, что он обменивается подозрительными сигналами с Осипановым, Генераловым, и решили: не медлить! Все метальщики были схвачены. На книгу-снаряд, правда, внимания не обратили, но взорвать ее — даже в полицейском участке — Осипанову не удалось. В час дня на квартире Генералова был арестован Александр Ульянов...

В университете весть об арестах разнеслась уже в полдень того же дня.

Первая мысль после недолгого испуга — ее высказал друзьям Александр Попов — разъяснить студенчеству, а если будет возможно, и рабочим столицы смысл покушения и его место в революционной борьбе. Уже первое официальное сообщение о «злоумышленниках», пойманных на Невском с метательными снарядами, не оставляло сомнений в том, что отделить правду о новых «первомартовцах» от лжи будет нелегко.

6 марта в актовом зале университета состоялось собрание студентов. И ректор, профессор И. Андриевский,

еще недавно, 8 февраля, назвавший Александра Ульянова «гордостью университета», сейчас — в «самый черный день своей жизни», как он признавался в близком кругу, — назвав бывшего студента Ульянова «позором университета», предложил принять текст адреса к царю. Это, впрочем, не спасло его. И вскоре он был смещен, а на его место назначен профессор М. И. Владиславлев. Ушел из университета и И. М. Сеченов.

Крики «позора нет!», уход части студентов из зала — все это укрепило решимость Александра Попова. Уже на другой день по университету распространилась листовка, начинавшаяся словами: «Вчера, 6 марта, С.-Петербургский университет был опозорен. Он холопски пополз вслед за своим ректором к стопам деспотии...»

Одним из авторов ее, к тому же связанным и с подпольной типографией, был Александр Попов.

Департамент полиции давно уже заметил, что в близкой дружбе с арестованным в 1886 году С. Брыкиным был «сын есаула Александр Серафимов Попов». Упоминался он и по делу о рабочих кружках. Знала полиция и о том, что на квартире, где собирались Ульянов, Говорухин, бывал непременно и Попов. И когда он наконец попался — в первых числах марта — в засаду, устроенную в подпольной типографии, попался с пачкой типографских шрифтов, жандармы, и прежде всего их шеф П. Н. Дурново, «гений сыска», не удивились.

Полиция в те дни пыталась установить прямые связи новоявленных бомбометателей с остатками исполкома «Народной воли», с закулисными масонскими силами, якобы субсидировавшими безусых юнцов. Чуть ли не с Ротшильдом! И арестованного Попова было решено выпустить «в розыскных целях».

Это произошло 17 марта, но 9 апреля — в виду бесплодности слежки и явного стремления «поднадзорного» уехать из Петербурга за границу — Попов был вторично арестован, помещен в тюрьму. Толстая, обшитая листами железа дверь плотно вошла в уступ косяка, как в несгораемом шкафу. Засов прогремел в «уключинах», щелкнул замок. Ощущения испуга не было, все силы души уходили в напряженное ожидание новых испытаний. Здесь он узнал и о блестящей речи на суде Александра Ульянова, и о казни его вместе с четырьмя другими товарищами. Его собственная судьба была решена в июне 1887 года: суд приговорил его к пяти годам ссылки в Архангельскую губернию.

В СВЕТЕ СЕВЕРНЫХ СИЯНИЙ

Долга зимняя ночь, — солнце, красное и обмороженное, чуть выглянет над самым краем промерзшей земли и в этом же месте опять опустится в морозном тумане, и опять — целых двадцать три часа только холодно играют звезды. Тоска! Екнуло сердце, как привезли меня сюда два синих жандарма.

А стал приглядываться — да ведь и тут жизнь...

А. Серафимович. Из воспоминаний (1924)

Новейшая история «ушла» из этого края... Течение ее даже не задевало замшелых стен монастырей и крепостей на Двине, «свидетелей протекшей славы», скитов, срубленных в нехоженой темной тайге, деревень со слюдяными, как в XVII веке, окнами... Безмолвие белых ночей, необъятность пространств поглощали даже верховой шум сосен на вершинах холмов, грозные удары волн «студеного» Белого моря и грохот арктических льдин, наползавших на берег.

Зарастал диким лесом и рассыпался Пустозерск, где сгорел в столпе, проклиная нечестивых мучителей на чудесном русском языке, безумно-страстным «слогом» неистовый протопоп Аввакум... Прозябала Мезень, слякотный цинготный городишко, «горькослезное место», где отбывал ссылку в допетровские времена боярин Артамон Матвеев. Даже грохот недолгой пальбы английской эскадры у Соловецкой крепости-монастыря во время Крымской войны, в июле 1854 года, казался почти сновидением. Было ли это? Не приснился ли этот шум? Лишь ядра английских фрегатов, засевшие в песке, развеивали этот сон. Монахи в Соловках, собрав после осады сотни ядер, сложили из них пирамиду. А неудачу англичан, свое спасение, объявили чудом божественного вмешательства. Мираж истории — и только...

Вчерашний петербургский студент Александр Попов, ныне «политик», как говорили сопровождавшие его в ссылку жандармы, угрюмо, с постепенно обострявшимся вниманием смотрел на новую свою «среду обитания». Четыре года назад при встрече с осенним, насупленным туманами Петербургом, с каменными лабиринтами домов первой мыслью было: «Прощай, родное южное солныш-

ко!.. Не скоро увижу родные белые горы, отраженные в Дону, услышу сухой звенящий звон, гомон южных птиц...» Отсюда, с Севера, кажется, что жаркое солнышко, спасительный зной еще недоступнее, невероятнее.

В письме И. Р. Гордееву, другу по гимназии и студенческим невзгодам, в Усть-Медведицкую от 26 июля Александр Попов передает со злостью, с иронией свое состояние в первые недели ссылки:

«Ну, Руфыч, занесли меня черти к черту на кулички. Можешь себе представить: в Мезень, в г. Мезень Архангельской губернии: непроходимые леса, болота, тундра; холодный, пронизывающий туман; население: медведь, лисица, глухарь; из людей, гм! особая порода «двуногие свиньи», порода довольно распространенная, но здесь она особенно удачно культивировалась... Правда, город не лишен и поэтической красоты: с восточной стороны раскинулось великолепное болото (тундра), а так как оно лежит выше города, то все миазмы, так роскошно в нем развивающиеся, в виде жидкой грязи стекают в Мезень; табуны лошадей оглашают воздух веселым ржанием».

Конечно, это типичное, «родовое» состояние ума многих интеллигентов-восьмидесятников. Оторванные ссылкой от излюбленных читален, кружков, брошюр, они часто оказывались беспомощными лицом к лицу с реальной Россией, «защищались» от нее заборчиком иронии. Ненавидя Россию чиновничества, казарм, духовенства, зная отчасти среднюю Россию помещиков и крестьян, иные восьмидесятники пропускали, не в силах были понять, скажем, Россию землепроходцев, дерзких капитанов-поморов, оценить поэзию отечественной истории, сказки, ремесел, возвышающихся до искусства. Когда-то Фонвизин сказал о французах: «Француз всегда молод, а из молодости переваливается вдруг в дряхлую старость, в совершенном возрасте никогда не бывает». Какая-то часть минутных бунтарей без почвы, феерических бомбометателей и застывала в этом же незрелом состоянии. Понять очарование русского Севера, «Рима России» (Рерих) по богатству самобытной народной культуры, по звучанию одной только музыки деревянного зодчества им было трудно. Зрелый человек всегда поймет, что даже суеверие — лишь нарост на истине, его надо, если хотите, «отколупнуть» и посмотреть, что за ним лежит...

К счастью, у Александра Попова, помимо этого родового для восьмидесятников, книжного, «безглазого» отношения к тишине, просторам Севера, к магическому смы-

слу «домовой резьбы», в виде, скажем, коней и оленей на крышах изб, был дар сопереживания, душа поэта. И она была часто не просто тоньше, глубже, но главное — справедливей к тихой, пленяющей и родной природе Севера, к Двине, «северной Волге». Эта душа могла понять сокровенный смысл веры Н. А. Некрасова, писавшего о земле М. В. Ломоносова:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных...

В Архангельске, городе, который одновременно «купец и воин», Попову позволили осмотреть достопримечательности. И он признался, что «городок ничего себе». И отметил еще: «Только скучно было. Бродил один-одинешенек; стал было искать кого-либо из своих, но мне сказали, что здесь никого не оставляют... Привезли молодую барыньку, некую Ратнер-Цицепко, в Холмогоры на три года. Ну мы с ней и провели эти два дня вместе, а потом вместе же на пароходе ехали до Холмогор...»

Летняя северная ночь, делающая плавными, «певучими» и контуры берегов, и сопки, смягчила отчасти душевное ожесточение ссыльного. К тому же июль не только пора белых ночей. 12 июля — Петров день — праздник для северян. «Лето на Севере — время наряда и час красоты. Стоит беззакатный день; полночь разнится от полдня только необъяснимой тишиной. Небо сияет жемчужным светом, отражаясь в зеркале морских вод», — писал об этом очаровании макушки лета потомственный помор Борис Шергин. В мягком свете солнца, при безоблачном небе необычайно красивы были и старый собор в Соломбале, пригороде Архангельска, Монетный двор, и Гостиный двор, и кафедральный собор, рядом с которым — как напоминание о великой эпохе — стоял домик Петра I, перевезенный сюда из Новодвинской крепости.

Остановка в Архангельске затянулась на неделю. И Мезень как место ссылки возник не сразу. В предписании, посланном департаментом полиции архангельскому губернатору Голицыну, значилось: «На основании постановления особого совещания бывшего студента Петербургского университета, сына есаула Александра Серафимовича Попова, обвиняемого в политической неблагонадежности, господин министр внутренних дел постановил водворить на жительство в Архангельскую губернию

под особый надзор полиции на 5 лет, считая срок надзора с 11 июня 1887 года».

А куда точно? Архангельская губерния необозрима.

Раздумья губернатора, судя по всему дальнейшему, не сразу приняли весьма определенное направление. Характер преступления «сына есаула», студента А. С. Попова был не очень ему ясен... Газеты упорно замалчивали события 1 марта 1887 года, не сообщали ничего и о судебном процессе. Речь Ульянова ходила в списках, как и одна статья из зарубежной газеты, начинавшаяся словами: «Революционная мысль носится неуловимо выше тюрем и виселиц». Но дознание вели директор департамента полиции П. Н. Дурново, товарищ прокурора Петербургской судебной палаты М. М. Котляревский, сам царь активно интересовался ходом следствия... И губернатор решил: «В глушь! Слава богу, губерния у нас велика, и глухих углов хватает...»

Свидетельством этих нехитрых умозаключений, страха местной власти предержащей было предписание мезенскому исправнику: «...назначив местом жительства для Попова город Мезень и сделав вместе с сим надлежащее распоряжение об отправлении его в распоряжение ваше в сопровождении двух жандармских унтер-офицеров, которым по доставлению сопровождаемого ими ссыльного в г. Мезень вы имеете выдать установленную квитанцию, предлагаю вашему высокоблагородию по прибытии Попова в г. Мезень учредить за ним гласный надзор полиции...»

Это был тупик, остановка тем более мучительная, чем ярче, напряженней жил человек до этого.

Ужас ссылки, пережитый создателем «Железного потока», состоял, конечно, не в одной нужде, «хлебной скудости».

Студентом Попов едва ли жил богаче, обеспеченней, и на 30 копеек в сутки (такова была прожиточная норма от казны) ссыльный мог прожить. Страшнее всего была именно остановка движения, невозможность «качнуть маятник» дел, ощущение, что здесь «зовешь, зовешь — никто не отзовется...». И образ остановившегося маятника не случайно вспоминался многим ссыльным.

Вера Николаевна Фигнер, бывшая непререкаемым нравственным образцом для Александра Попова (ей он посвятит затем особую статью) и многих поколений рево-

люционеров, не стеснялась признаться, что и она в ссылке изнемогала душой, видела себя героиней одной картины:

«Часто воображение рисовало мне картину Верещагина, в натуре, никогда, впрочем, не виденную мной: на вершине утесов Шипки, в снеговую бурю, стоит неподвижный солдат на карауле, забытый своим отрядом... Он сторожит покинутую позицию и ждет прихода смены... Но смена медлит... Смена не приходит... и не придет никогда. А снежный буран кружится, вьется и понемногу засыпает забытого... по колена... по грудь... и с головой... И только штык виднеется из-под сугроба, свидетельствуя, что долг исполнен до конца.

Так жили мы год за годом, и тюремная жизнь, как снегом покрывала наши надежды, ожидания и даже воспоминания, которые тускнели и стирались...»

...Наскоро обойдя Мезень — в сущности, груду серых изб с хозяйственными пристройками, среди которой выделялись ветряная мельница, салотопка, овчинный завод и три деревянные церкви, — ссыльный Попов вернулся на квартиру. Это была такая же обывательская изба, как и прочие, с узкими окнами, печью и, конечно же, холодной половиной... За стеной плакал от какой-то немочи хозяйский ребенок, плакал безутешно, но раздражал не плач, а неумелые попытки матери успокоить его. Она совала, видимо, ему в рот хлебный мякиш, он задыхался, хрипел, а потом вновь кричал. С кухни доносился голос хозяйского гостя из местных. Его чужой плач не тревожил.

— Опять нонче уголовные свой «талант» показали: замок висячий в три фунта на магазее сломали. Без стыда и всякой совести. Я так полагаю, что правительство «политиков» присылает для поучения, дескать, пусть темный наш люд учится жить по разуму, правильно... А голяков, «с бубновым тузом» которые, — в поучение: вот, дескать, какие мошенники есть на свете...

Не хотелось ничего слышать, никого видеть. Неужель так пройдут все пять лет?

«Да, здесь после Петербурга человек поистине похож на... остановившиеся часы, — подумал новоприбывший ссыльный. — Все мысли, чувства, сами сердца как будто замерли, остановились, почти оборвались... И целых пять лет ждать, пока все придет в движение. Сон на пять лет...»

Ужас оцепенения, остановка в полете — главное ис-

пытание, ломающее иногда характер студента-недоучки, рождающее истерику, болезненные склоки. Энергии нет здесь исхода, нет ей ни противодействия, ни сочувствия. «Флакон» открыт, и все волевое как эфир вылетает в безгласную пустоту, оставляя человека опустошенным.

В Петербурге он мог твердить, что воля — это все, что даже «сила тяготения побеждается волей» и т. п. Но какое безволие обнаруживал иной народник, «остепенившийся» затем в кадета, где-нибудь на Лене или под Читой! Воля-то и распадалась в нем скорее всего. Не случайно в одной из песен ссыльных, которую В. И. Ленин называл «туруханской», были такие слова:

> Там в России люди очень пылки,
> Там к лицу геройский им наряд.
> Но лишенья, годы долгой ссылки
> Быстро позолоту соскоблят.
> И глядишь, плетется
> Доблестный герой
> В виде мокрой курицы
> Домой...

Даже тюрьму многие в ссылке осознавали, как некое отрадное поле боя. Там еще продолжалась борьба, воля не улетучивалась в пустоту, а встречала плотную среду, противодействие. Здесь же никакой крик не победит безмолвия, никакой свет, даже мысли безумца, не осветит полярной мглы.

Александр Попов позднее талантливо и ярко запечатлел свое — и многих друзей — состояние: мысль, обессилевшая в одиночестве, еще недавно пылавшая в дискуссиях, сейчас «гложет» стену безмолвия.

«Тускло глядит мертвым глазом бесконечно долгая северная ночь.

И льют ли беспредельные черные осенние дожди, носятся ли, изгибаясь и белея, метели, разговаривают в трубе, раскалывают бревна в срубе, приникая безжизненным, призрачным — фосфорическим лицом к морозным стеклам, все равно в комнате одиночество, молчаливо прислушивающееся к остановившимся часам жизни с замершим на полувзмахе маятником...

Сон бежит от очей, только визг и вой просящейся в комнату метели» («У холодного моря»).

Память, вероятно, сдвинула события в хронологическом плане. Но в плане психологическом здесь все передано крайне точно...

...Приезд нового ссыльного не остался незамеченным в

Мезени. И на второй или третий день к Попову в избу вошел, а скорее «вкатился» невысокий, ладно сбитый человек. Во всем облике его было столько веселого снисхождения к «ушибленному» интеллигенту, что Попову — он живо вскочил с лавки, кинулся прибирать разбросанные вещи, — стало и неловко, и радостно, и немножко смешно.

Гость прошелся по комнате, посмотрел, куда выходит окно, тронул, будто невзначай, шаткий стол... Заспанное, помятое лицо хозяина, разбросанные вещи, стопку книг на полу он увидел сразу. Не спеша представиться, он заговорил полушутливо, чуть с хрипотцой, вместе с тем заботливо:

— Невесело, это самое, живете, нехорошо... Не приложились ли от тоски к «спасительной» чарке?

Попов смущенно, не зная, как обратиться к прозорливому гостю, пододвинул ему колченогий табурет.

— Садитесь. Вы кто же будете?

Гость взглянул на табурет, профессионально, как столяр, повернул его:

— Наша работа... А впрочем, действительно, давайте познакомимся... Моисеенко Петр Анисимович... Невзначай слыхали? О Морозовской стачке? А нет — неважно... По профессии ткач, по судьбе революционер, а здесь, как и вы, ссыльный.

Попов растерялся, оторопел... Вот неожиданность! Растерянно, еще более смутясь, он застыл перед гостем. Неужели это Моисеенко, — легендарный вожак морозовских ткачей! Он так непохож на знакомых пропагандистов-студентов...

Моисеенко сел и, уперев руки в колени, продолжал тоном доброго дядьки-опекуна:

— В одиночку здесь не выдержишь... Затоскуешь, опустишься. Иные и запивают. Нужна поддержка друзей, нужна, если хотите, артель, коммуна... Такую артель — в несколько человек — мы и создали здесь. Кто «мы»? Вижу, хотите спросить... Я с женой, господа Шипицыны, студент Петербургского университета, Кравченко из Москвы, из Петровско-Разумовской академии. Не хвалюсь, все завтра увидите сами, но наша столярная мастерская уже окупила себя. Да не в этом дело!.. Получаем газеты, «Северный вестник». Почитываем кое-что, спорим. Приходите к нам.

— Благодарю вас, Петр Анисимович. Но я не знаю, к сожалению, никакого ремесла. Некогда было выучиться...

— Выучим... За этим дело не станет.

Есть люди, о которых можно сказать: они «теплые», излучающие тепло души, сердца. Забываются их ум, речи, мысли, но сердечное тепло, ясность души, здравый смысл — в каждом решении и жесте — остаются в памяти. Сметка, практический ум, близость к недавним крестьянам, рабочим, не переходящая в простецкость, есть в них. Они увеличивают сумму теплоты на земле, к ним привязываешься сердцем, несмотря на их наивность. Незаметные и незаменимые. Глядя на них, невольно соглашаешься с философом Григорием Сковородой: «Все нужное просто, а все сложное ненужно». Моисеенко и был таким «теплым», основательным человеком из народа. На фоне ряда других ссыльных, исполненных рационализма мысли, неосознанного вождизма, он был как будто... Платоном Каратаевым от революции. И не для одного Попова. В рассказе «У холодного моря» Серафимович не случайно воссоздаст его под символическим именем Основа...

...С утра в мастерской с визгом ходит рубанок, из-под пилы сыплются душистые опилки, щепа засыпает пол, стружка завивается в колечки. Пахнет краской, керосином, столярным клеем. Грудой высятся готовые стулья — часто и венские с резными ножками, разнообразные табуретки... Сам Моисеенко в чистом светлом углу заканчивает комод. Изведен материал, скоро придет заказчик, а комод еще похож на расползшуюся перед опоросом свинью. Моисеенко, иногда приглашая Попова или Кравченко помочь, поворачивал комод, что-то подгонял, подпиливал, подрезал.

Полярная ночь, глядящая в замороженные окна, казалась чуть добрее. Моисеенко не давал никому застыть в щемящем раздумье, отключиться от нехитрого, но занятного дела. К тому же он любил петь... Голос его — сильный тенор с какой-то озорной хрипотцой, козлиными трелями — с полудня не смолкал в мастерской. Пение смешило, выглядело даже глупым. Певец приспособил для пения известную «Историю Руси от Гостомысла до наших дней», сделав рефреном слова «земля наша богата, порядка только нет...».

Распри князей, крещение Руси, неразумный шаг Ярослава Мудрого — «оно, пожалуй, с этим порядок бы и был, да из любви он к детям всю землю разделил». Сюжет невольно увлекал, заставлял вначале припо-

мнить кое-что. И когда Моисеенко задорно, лукаво выкрикивал:

Услышали та-та-ры
Ну, ду-ма-ют, не трусь,
На-де-ли ша-ро-ва-ры,
При-е-ха-ли на Русь, —

вся мастерская дружно подпевала:

...На-де-ли ша-ро-ва-ры,
При-е-хали на Русь!

А Моисеенко, хитро улыбаясь, вел песню к новому замысловатому повороту.

Кричат: «Давайте дани!»
Святых хоть выпоси...
Тут много всякой дряни
Настало на Руси.

Под окнами даже зимой собирались местные жители, добровольные слушатели... Появлялся городовой, но и он, слыша Моисеенко, пользовавшегося уважением (Моисеенко был в ссылке семейным, солидным человеком), уходил, не найдя в пении ничего предосудительного.

После обеда Моисеенко обычно вспоминал:

— А теперь и на почту пора сбегать...

Письма, посылки были редкостью. Александр Попов в первом же письме буквально умоляет И. Р. Гордеева писать обо всем: «Что и как на Дону вообще и в Усть-Медведице в частности? Пожалуйста, пиши насколько возможно подробнее, до мелочей...» Но газет, журналов (порой не самых свежих) получали все же немало.

Вечерами, после чая, у горящей печи, при свете лампы и вспыхивали, часто по поводу внешне легальной статьи, споры. Сознание — это свет, излетающий наружу, освещающий дорогу истории. Его умели поддерживать, даже на скудном «горючем», ссыльные. Пусть в статьях того же Н. К. Михайловского поставленные «вопросы» были явно значительнее «ответов», намеки глубже вялых рассуждений. Но надо представить тот же Мезень, глухой «станок» где-либо в Амге, в Якутии, обывательские избы и жажду умственной работы! Тут умели читать и текст и подтекст.

Шипицын или Кравченко, как ветераны ссылки, начинали обычно чтение.

«...Но оглядываясь теперь на начало деятельности Достоевского, можно заметить, что и в этом начале, при всем сочувствии к униженным и оскорбленным, он точно не находит унижающих и оскорбляющих...»

Статью Н. К. Михайловского о Достоевском читали почти как прокламацию, ждали от нее отнюдь не анализа всех сторон творчества писателя. Благоглупости, оскорбительные для Достоевского, не замечались.

«Общий порядок вещей был для него неприкосновенен по глубочайшим, может быть, интимнейшим требованиям его ума и сердца, и потому он со своей жаждой личной нравственной проповеди остался, как рак, на мели... Куда ее девать, эту жажду морализировать, карать, поучать, будить совесть, прощать... Надо было, наконец, либо решительно обвинить общий порядок, либо найти иных виновных...»

Лица слушавших разгорались... «Рак на мели», «общий порядок» (то есть буржуазно-помещичий строй) и «иные виновные» (то есть царь) — все угадывалось точно. Порой резко, как треск еловых дров в печи, излетали и ядовитые реплики:

— Сам-то Николай Константинович, правда, «пострадал только до Любани...».

И это было понятно всем без дополнительных объяснений. Высланный из столицы Н. К. Михайловский жил... в Любани, то есть в 80 верстах от Петербурга и вне столичной губернии (Любань находилась в Новгородской губернии). Это позволяло ему и работать, и подолгу жить в столице.

...Конец 80-х годов был ознаменован моральной смертью народничества, его стремительным вырождением. Но этот распад рождал потребность в новых идеях, в новых кумирах молодежи.

Как преодолеть роковую пропасть между идеями авангарда революции и замедленным, стихийным движением к революции масс? Почему даже голод, потрясший Россию в 1891 году, не вызвал бунтов, революции? Отрекаясь от себя во имя абстрактного, ждущего «разумного, доброго, вечного» народа, возвышаясь над ним, негодуя на него, народническое сознание превращалось, как это было с русскими бланкистами (Нечаевым, вождями «Народной воли») в уродливое сверхсознание, «метасознание».

В ссылке, на отдалении, многое выглядело порой до очевидности наивным. Моисеенко полушутливо, с добродушной усмешкой припоминал хождение в народ некоторых идеалистов:

— И неловко им, бедным, идти в село с белыми руками, без запаха пота... Ложатся на солнцепеке и стараются... поскорее загореть, намазывают лицо маслом. А руки мазали дегтем. Перовская ходила по берегам Камы как оспопрививательница... А Брешковская? Она весной 1874 года надела крестьянскую одежду, отправилась в народ в качестве мастерицы по крашению, шитью, вышиванию. Исходила три губернии на Украине, читала мужикам брошюры... И что же в итоге? Распространился среди крестьянок слух: это, мол, сама царица, надевшая простую одежду...

А каков результат террора? Законспирированный экстремизм бил как пружина по какой-то точке административной системы, скорее пугая народ, нежели революционно развивая его. Не есть ли это вообще «революционное» ницшеанство?

Но вожди народнического движения, исторические дальтоники не сдавали без боя ни единой позиции. В Мезени, затем в Пинеге, наконец, на родине Александр Попов не раз сталкивался с отголосками народнических воззрений, споров.

— Марксисты идут, как дети, держась за фалды фабрикантов! — пылко говорил один из ссыльных. — Куда вы денете сострадание к мужику, безжалостно отрешаемому от земли в ходе капиталистического развития? Не лучше ли тогда марксистам вообще стать ростовщиками, чтобы помочь кулакам-мироедам разорить всех, сокрушить общину? По Плеханову получается, что чем хуже теперь реальной личности, кустарю, тому же мужику, тем лучше будет потом всему обществу. По колено в грязи, без жалости и сострадания, выходит, надо тащить вперед барку истории с надписью «Прогресс в будущем»...

Другие из всего комплекса проблем вытаскивали одну — судьбу интеллигенции, «драгоценной исторической силы России».

— Да выньте интеллигенцию из обращения в России, вы сразу понизите уровень и скорость прогресса! Вы увидите, что не станет золотых голов и вас окружат одни оловянные истуканы...

У Александра Попова впереди было множество

встреч, бесед, споров. И с буржуазными либералами всех оттенков, и с увядшими неонародниками, просуществовавшими при «Русском богатстве» до 1917 года, с содроганием ощутившими на своем загривке грубую, нахрапистую руку эсера с бомбой и тень предателя Азефа... Он услышит еще и слащавые речи «селянского» министра эсера Виктора Чернова из Временного правительства...

В тогдашней ссылке в зачаточном состоянии были уже все партии, группировки, идейные течения.

И как отрадно, что рядом с ним в эти годы оказался Моисеенко, незабвенный Анисимович! «В теоретических вопросах мы были сильнее его, козыряли Марксом, политико-экономической эрудицией, но в практических вопросах мы перед ним были мальчишками. Он оказал огромное влияние на всех нас и особенно на меня. Мое теоретическое осознание классовой борьбы он углубил и превратил не только в сознание, но и в чувство».

Архангельская сторона, двинская земля в те годы богатела от моря. Едва море очистится ото льда, как хрупкие рыбацкие суденышки бежали на Новую Землю за моржом и тюленем, на Терский берег за семгой, на скалистый Мурман, где гнездятся тысячи гагар, чаек. Брызнет в лицо крепким морским рассолом, охватит человека неоглядный простор, зашипит за бортом пена — «кружево белое на черном бархате» (Б. Шергин) — и навеки уже привязан помор к студеному океану.

Океан долгое время был щедрым, казалось, неистощимым даром для отчаянных, смелых людей. Но постепенно область дарованного сокращалась, взять зверя и рыбный косяк становилось труднее. И сам промысел с годами превратился в опаснейший поединок со штормами, иными капризами погоды. Не помогали часто и знаменитые северные «обереги» — символические знаки высшего заступничества — на карбасах, ладьях. Морские валы, голодные зимовки оказывались сильнее даже искусства кормщиков и промысловиков.

Однажды в мастерскую к ссыльным зашел здоровенный парень-помор. Лицо у него было детское, печать наивности лежала на нем.

— Хотите чаю? — предложил Александр Попов. — И расскажите, где промышляли...

Он давно уже привык расспрашивать крестьян, по-

моров, мещан о нехитром их житье-бытье, о том, как они добывают хлеб свой в ледяных просторах моря, безграничных снегах тундры.

Попыхивал большой и пузатый, красной меди, самовар на столе. Сахар, заранее наколотый на мелкие кусочки, лежал на блюдце. В хлебницах — долбленных из корня блюдах — ломти ржаного хлеба. Парень, словно боясь раздавить невзначай хрупкую чашку, поддерживал ее со дна растопыренными пальцами. И неторопливо рассказывал о том, как промышляли зверя у Терского берега, как на его глазах опрокинулся баркас...

— Да ведь шторм! Чего же не переждать?.. Это же такой риск...

Но переждать, вернуться домой с пустыми руками, убояться «рыска», оказывается, было никак нельзя: местный богач брал с поморов откуп «хвостами» тюленей, нерпы, песцов... Брал за одежду, саму «посудину», снаряжение, водку.

Эти беседы повторялись все чаще. Артель Петра Моисеенко поражала местных жителей неведомой новизной отношений. Непохожесть ссыльных, их отношений на окружающий уклад была такова, что многие приходили просто посидеть в мастерской, послушать песни, пожаловаться на горестную жизнь. Скоро стали придумывать повод, чтобы зайти к «политикам». Брал иной крестьянин пару досок и шел из дома. Жена кричит вдогонку:

— Куда?

— К политикам. Табуретку или лавку заказать...

— Иди, да долго там не прохлаждайся, а то зачнете там... ниспровергать.

Александр Попов все чаще ловил себя на мысли, что его внимание на вечерних беседах-чтениях раздваивается, растекается смутными мечтаниями. Звучат в теплой избе знакомые слова, тезисы. «...Как олень жаждет свежей воды в пустыне, так капиталист жаждет прибавочной стоимости...»

А перед ним теснятся иные картины, куда более осязаемые, яркие. Полярное сияние... Хор великанов, претворивших звуки своего пения в радужное и холодное сияние, в сизое пламя, мечущееся над безмолвием торосов, сугробами тундры. Цепочка оленей тащит сани, и среди игры этого фосфорического сияния тени оленей и каюра на серебристой равнине кажутся неестественно громадными. И олени эти совсем не условные, не метафорические, а подлинные, с заиндевевшими рогами, напо-

минающими ветви, с добрыми черными глазами... Олешки, как говорят самоеды...

Александр Попов встряхивал головой, чтение катилось в раз установленном ритме, никто не заметил его художественных сновидений. И они возвращались снова.

В каждом человеке бессознательно живет жажда собрать себя, свою сущность, не распылить то, в чем она выражается. Быт, мелкая, торопливая, как блошиные скачки, суета, книжные впечатления — сон. И надо проснуться! Уловить миг, в который ты понимаешь, что знаешь намного больше всего того, что жизнь давала тебе в виде изолированных фактов. Мы осознаем, что накоплен уже огромный опыт чувств, внутренний слух, который позволяет самому творить и сцеплять факты в особые комбинации. Факты тоже бездушный материал, пока ты не внес в них чего-то своего, сказки души. В человеке тогда определяется, концентрируется его призвание!

Нечто подобное и свершилось с Александром Поповым на двадцать пятом году жизни. Он еще не знал, что именно напишет... Но он почувствовал, что из всех разрозненных впечатлений, рассказов поморов сам собой сложился сюжет картины: поединок человека с природой за ее дары, совсем «недарованные», вырываемые с риском для жизни, окруженные уже заранее паутиной хищнического дележа...

И потекли дни непривычно тяжелого, изнурительного и сладостного труда. Запираясь после работы в своей комнате, Александр не сразу подходил к маленькому столу со стопкой бумаги, лампой... Он подолгу ходил по комнате, застывал у окна, отыскивая тот единственный напев фразы, интонацию повествования, позволяющую добиться не просто последовательности изложения событий, подробностей, а их сопряжения, целостности. Картинки, штрихи... Но ток не замыкается, «свет» вспыхивает и гаснет. А надо добиться, чтобы и удивление красотой мира, и потрясение души трагедией охотника, унесенного на льдине в океан, разлились непринужденно, естественно по всему пространству рассказа.

Творческая интуиция и есть способность найти напев, отвечающий смыслу настроения, ввести паузу именно там, где она нужна, и в то же время не самоотравиться фантазией, не заворожить себя ритмом. Тогда возникает, как это было нередко с поэзией символистов, впечатление — «здесь больше слуху, чем духу». Ориентация на

один ритм, на напев ослабляла чувство реальности, выводила за пределы поэзии множество угловатых, грубых немузыкальных явлений.

Этого не произошло с Александром Поповым: он всегда отличал фантазию от миражей-пустоцветов, останавливал себя, когда наступало «самоотравление фантазией».

Напев, главная нота — ею стала звучащая, сверкающая, подавляющая человека музыкальная тема природы — скоро определились достаточно отчетливо. Находя нужные подробности, дающие опору читательскому воображению, писатель не спеша, как бы отвоевывая у мира частицу его красоты, заносит на страницу:

«Обрываясь крутыми уступами с прибрежных высот, к самому морю хмуро надвинулся темный дремучий лес. Ветер гудит между красными стволами вековых сосен, кренит стройные ели, качая их острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печально поникших зеленых ветвей. Сдержанная угроза угрюмо слышится в этом ровном глухом шуме, и мертвой тоской веет от дикого безлюдья. Бесследно проходят седые века над молчаливой страной, а дремучий лес стоит и спокойно, сумрачно, точно в глубокой думе, качает темными вершинами... А там, где столетние сосны перешли в мелкий кустарник, мертвым простором потянулась безжизненная тундра и потерялась бесконечной границей в холодной мгле низко повисшего тумана...»

Это лирическая картина, в которой велика музыкальная нагрузка на точный эпитет («мертвый простор», «холодная мгла»), на живописную подробность, чувство цвета, формы («лес темный», но «красные стволы сосен», размытая «низко повисшим туманом» черта горизонта). Глаз внушил многое писателю, рука опытного рисовальщика занесла увиденное на страницу, лирическое чувство одухотворило цепочку фраз, создало «музыкальный напор». И вот уже возникло и свирепое море, над которым «словно разбитая стая испуганных птиц», несутся сизые тучи, и излучистый берег с хребтом зубчатых груд льда на отмелях...

Человек вторгается на это полотно скорее испуганно, виновато, является сюда как в трудную, неподвластную ему среду. Он кажется существом временным, непрочным в этой величественной «рамке». «Стоит Сорока на торосе, в руках длинный багор держит и пристально смотрит в холодную даль... А там, насколько хватал глаз, тянулась, надвигалась к берегу изрытая, изборожденная

ледяная равнина. Громадные синеватые глыбы, стоймя торчавшие над белесоватою массою мелкого льда, медленно поднимались и с треском рушились, выжатые снизу напором прибывающей воды».

Обилие подробностей, деталей — надо же изобразить и линию берега, изрытую ледяную равнину, и вкрапленного точкой помора-промысловика — свидетельствует о том, как трудно обретал Серафимович и чувство пространства, и особый угол зрения на свершающееся. А ощущение текущего — через события, состояния героя, через игру стихий, времени? Целый год работал он над первым рассказом. И не решался признаться друзьям ни в муках, ни в радостях творчества.

Но, наконец, измаявшись в сомнениях, он решил прочитать рассказ, названный им «На льдине», друзьям, все тому же Моисеенко, его жене Екатерине Созонтовне и Александру и Анне Машицким, бывшим народникам, впоследствии большевикам.

Чтение произошло уже в Пинеге, небольшом поселке Архангельской губернии, куда Александра Попова перевели, как в место с более здоровым климатом, из-за болезни глаз.

Свой глаз — алмаз... Но при чтении вслух острота зрения автора резко повышается. А у застенчивого автора «На льдине» эта острота, самокритичность были даже чрезмерными. «Страшно стало, до такой степени рассказ мне показался невероятной чепухой», — вспоминал он. К счастью, слушатели сразу были увлечены игрой настроений, тонким взаимодействием точных описаний и подводных звучаний.

...Отплыла льдина с Сорокой, его добычей — тюленями — от берега. Не угадал он часа отлива. И вот движется бедняк, черная точка на ледяном поле, к ширящейся промоине. И успел бы, но как бросить добычу? На этом нить сюжета обрывалась, льдина плыла уже в океан, герой медленно коченел, застывал в дреме:

«Борется Сорока с дремой и не думает уже: мысли спутались, оборвались и неясно проносились, точно по ветру клочья безжизненного тумана. Понял Сорока — не жить ему, и опять вспыхнули в его холодеющем мозгу далекие родные картины, вспыхнули и погасли. Понял Сорока, теперь никто ему не поможет, не поспеет, не услышит.

— Братцы, пропадаю... отцы родные!

И этот безумный вопль дико нарушил ночное без-

молвие, пронесся над водной гладью и, как бы подымаясь все выше и выше, замер в тонком морозном тумане».

Удивительным для слушателей было то, что сила жизни в Сороке, темном, нищем поморе, вечном батраке кулака Вороны, вдруг предстает в неожиданном виде. То он с укоризной смотрит на небо, где переливается фосфорическим светом, разгорается сполохами северное сияние. То вдруг его охватывает раскаяние за давний грех: когда-то в тундре он, опоив ненцев-самоедов, увел у них за гроши оленей. И, наконец, совершенно немыслимое для традиционного народнического рассказа о «меньшом брате» состояние: герой впадает в предсмертное просветление, душа его, кажется, возносится и с сожалением смотрит на бренную, скорчившуюся на льдине, опушенную инеем фигурку:

«Казалось, весь мир замолк, и та прежняя жизнь потухла, затаилась в этой загадочной пустоте, наполненной биением какой-то другой, незримой жизни. Чудилось, неслышно веет тихий ветер, и звучит смутный, едва уловимый звон... И плывет на него, не касаясь воды, полупрозрачная, смутно-неясная лодка».

Это было величайшим преодолением самого себя, трудной победой художника над догмами вульгарного материализма. И одновременно открытием целого ряда приемов, получивших развитие во всем позднейшем творчестве.

Реакция слушателей была неодинаковой.

Один из ссыльных, припомнив «Сон Макара» В. Г. Короленко, опубликованный в 1883 году, сразу и грубовато заметил:

— Что же ты так Короленко обдираешь? Ведь и у него замерзает в тайге пьяный Макар и также видит сон?

Александр вздрогнул, он ждал этого упрека... Но как доказать, что «святочный рассказ» Короленко послужил ему не образцом для подражания, а скорее объектом для спора. Особенно в финале. У Короленко, как истинного народника, рассказ не имел никакого просветления. Он был безысходен. В сознание умирающего Макара вторгается поток житейских нечистот, ничего возвышенного, «запредельного» не внес писатель; заоблачное, величавое, вечное не чудится короленковскому герою. К нему плывет не божественная ладья, а являются пьяный попик Иван, татары-виноторговцы; сам большой Тойон-бог, как меняла, взвешивает грехи и добродетели героя на весах, высчитывает, сколько Макар выпил водки.

Позднее Серафимович будет объяснять неожиданное, как будто парение фантазии, вторжение в мир фактов, песни, легенды, степи, и, наконец, гряды Кавказского хребта тем, что он передавал этим неурезанное, не задушенное ничем богатство жизни, ее способность к бесконечному развитию:

«Куда бы я ни приходил, кого бы ни наблюдал, спускался ли в шахты, дышал ли смертной отравой свинцовой с рабочими в газетной типографии, уходил ли в Азовское море с рыбаками, жил ли в гостинице, наблюдал горькую судьбу женщины, девушки, обреченной на проституцию, в конце концов на пищету, на смерть под забором, — везде бесконечно расширялась эта странная жизнь... И все это хотелось схватить, ибо всем хотелось рассказать, кричать...»

Сейчас, к счастью, нашелся столь чуткий слушатель, который услышал даже подголоски, все и сразу понял. Это был, конечно, Моисеенко.

— Здорово пущено! — закричал он, перебив всех. — Серафимыч! Да ты ли это написал?

Сообща начали обсуждать вопрос: куда же послать рассказ для напечатания? Решили — после переписки его начисто Анной Машицкой — послать его А. Н. Плещееву, заведовавшему литературным отделом в «Северном вестнике».

А. Н. Плещеев, известный поэт, рассказ принял, но просил автора решить: или ждать очереди на публикацию в журнале, или — это он брал на себя — переслать его в «Неделю» или в «Русские ведомости». Серафимович — рассказ «На льдине» так и был подписан — выбрал «Русские ведомости», где он и появился в двух номерах (26 февраля и 1 марта 1889 г.). В те годы в газете сотрудничали Г. Успенский, В. Короленко, Н. Златовратский, Д. Н. Мамин-Сибиряк...

Появление номера газеты с рассказом вызывало нескрываемую радость друзей и самого автора.

«Развернул — ахнул: по белой бумаге черными буквами — мой рассказ, мой... мой!.. Неужели мой? И я никак не застегну губы, так и разъезжаются в дурацкую улыбку, так и хожу с ней.

Товарищ вырезал рассказ из газеты, прилепил к стене. И хотя я сказал ему стыдливо: «Ну, зачем вы это делаете?», а сам, когда остался один в комнате, все с той же дурацкой улыбкой подойду и прочитаю рассказ на стене».

Через несколько дней после получения газеты у Серафимовича появился Моисеенко. Он скоро уезжал, срок его ссылки кончался. Подержав в руках газету, пробежав еще раз бегло рассказ, — он-то его помнил хорошо! — Моисеенко сказал:

— А я на первых порах боялся, что затоскуешь, сопьешься, потеряешь план жизни. Жизнь без смысла — грустная толчея... Даже когда ты писал его, подумывал: «То ли колдует, то ли запивает тайком...» Молодец, что все выдержал, не сбился с пути.

Первый гонорар — около 50 рублей — Серафимович отдал в общий котел.

Последние месяцы дружбы двух революционеров на Севере точно запечатлел жандармский унтер-офицер Савков. Он доносил «по начальству»:

«...Находящийся под моим присмотром ссыльно-политический Петр Анисимов Моисеенко... с Поповым вместе работают столярным мастерством, а Моисеенко у Попова почти все время бывает с утра до вечера, только сходит пообедать и ночевать, а остальное время у Попова, а тут зберутся и поют и кричат промеж собою, знакомства с другими не имеют, на охоту ходят и на лодке с неводом рыбу ездют ловить. О чем имею чести донести вашему Высокоблагородию».

20 июля 1889 года Моисеенко уехал с семьей в Челябинск.

Обретение писательского голоса — процесс сложный и далеко неоднократный. Только в детских сказках, где волк, обманывающий козлят, легко берет «напрокат» козлиный тенорок да в дурном поспешании подражательства, словесного шарлатанства быстро возникают самые «неповторимые» манеры, стили, «сюрпризы формы» и словесной жестикуляции.

Серафимович уже в дни работы над первым рассказом ощутил, что в нем как художнике оживает прежде всего «демон проницательности». Извлечь из совокупности предметов зримого мира нужную линию, звучащий цвет, пропитать все видимое настроением — как жадно отдавался он этому! Будто осмотрительный командир среди армии слов, сумятицы радостей и волнений он учился «понимать свой маневр», видеть свою силу. Глаз — инструмент прицела, наводки, — оказывается, может блуждать, скользить. Воображение стремительно, оно как

пламя костра, поедает зрительные впечатления... И это может обратиться в дурную бесконечность! Надо даже останавливать разогнавшуюся руку пейзажиста!

Картин северного сияния, роскошных видений в первом рассказе, пожалуй, многовато. Но трудно удержаться, если этот «сверкающий купол», это «гигантское жерло с быстро проносящимися огнистыми полосами» так и хочется запечатлеть еще и еще раз! А человек теряется, затопляется пейзажной лирикой... Это уже плохо — ведь чересчур эстетическое изображение беды, смерти героя безнравственно.

Муки творчества незримы. Художник ищет равновесия внутренней жизни, самообладания в момент вдохновения в упорном поединке... с самим собой! Переживания всегда чуть «первее» формы, которая его облекает. А связь разнородных переживаний? Форма может мешать устанавливать ее.

На первых порах Серафимович осознает, что остановить поток этих летучих, звучащих периодов пейзажной живописи удобнее всего одним: надо пробудить в себе «гений анализа», вкус к бытовым подробностям, сделать чужое горе своим. Музыка все-таки несет летаргию воли, завораживает, обволакивает острые углы, надо возвращать себя к жизни из этого царства видений и звуков. Куда? Да хотя бы в курную избу лесоруба...

Но и в следующем рассказе «В тундре» («Снежная пустыня») Серафимович все же «привычке милой» снова дал ход... Рассказ — история поездки следователя в тундру, к богачу-самоеду, зверски замучившему жену. Серафимович помещает интеллигентское, правда, ко многому привычное сознание в сердцевину двух бушующих стихий. Одна из них — реальная снежная буря, другая — буря невежества, дикости, бушующая в жизни. Он хочет сочетать живописное восприятие жизни с духом анализа, лиризм с суровым приговором действительности.

Но сильные, самые естественные стороны его дарования вновь заявили о себе: возникли почти поэмы в прозе о величии бунтующей природы, безграничности ее сил. Прекрасен буран в тундре, когда, кажется, соединились небо и земля, возникло в мире странное музыкальное напряжение, наводившее ужас даже паузами, своим сдавленным молчанием... Буря деспотично управляет человеческим сознанием, врывается — без слов — в него, и человек не в силах ничем отгородиться.

Но уже лучше выглядит и то, что называется бытописанием, портретами героев, почти пленников природы, вроде того же возницы-самоеда. Его песня — сочетание гортанных звуков, нанизанных на одну и ту же нескончаемую ноту, — это и есть весь герой, весь его род. «То был печальный отзвук мертвой природы, отзвук такой же печальной жизни дикаря, что проходила длинной вереницей однообразных дней в убогом чуме, не оставляя следа. И не слышно было в ней ни воспоминаний прошлого, ни надежд в будущем, ни сожаления, ни ожиданий. Она бог весть откуда приходила и бог весть куда исчезала».

Поразительнее всего было мастерство построения фразы в диалоге. Каждая мысль, как известно, имеет свой центр. Этот центр определяется часто одним словом, все остальное к нему прилагается. Язык ребенка, дикаря, косноязычный вопль больного, крик человека в миг опасности — это обычно поток почти однословных предложений, выражающих центральные моменты мышления. Самоеды в рассказе и говорят односложно, одними подлежащими или глаголами действия.

«— Кто у вас здесь хоронит мертвых? — обратился я к самоеду, припоминая похоронный поезд.

— А, сами...

— Без попа разве?..

— А где нам попа брать? Сами зароем. Поп — где? У моря живем, в деревне, тундру всю проехать. Нам нельзя. Сами зароем, а в деревне будем, горсточку земли привезем от покойника; поп над ней дымком пустит, молитву сделает. Нам нельзя».

Работа над рассказом «На плотах», где уже нет роскошной природной рамки, где взор Серафимовича словно упирается в стену обыденного труда, в курные избы, в картины жестокой борьбы плотогонов, с угрозами, с перебранкой «предпоследними словами» русской улицы, — новый, уверенный шаг вперед. Тут уже нет самовозбуждения фантазией.

Но кому прочитать новые рассказы? В Пинеге почти никого не осталось — ни Моисеенко, ни Машицких, ни Кравченко... Ведь ужас окружающей полуобразованности настигает чаще всего в одиночестве, когда нет зеркала чужих мнений, когда не замечаешь самоповторения. Домой! Домой! Рассказы оставлены на время, очередное прошение о переводе в новое место ссылки уходит в Петербург...

В СУМЕРКАХ ПРОВИНЦИИ

С десяти лет я стою на своих ногах, мне некогда было учиться, я все жрал жизнь и работал, а жизнь нагревала меня ударами своих кулаков...

Из письма А. М. Горького А. П. Чехову (1899)

В январе 1890 года департамент полиции известил архангельского губернатора — а тот сообщил жандармскому ротмистру в Пинеге — о том, что министр внутренних дел разрешил ссыльному Попову «переехать на родину в Область Войска Донского с оставлением его под надзором полиции на срок, установленный определением Особого совещания, то есть по 11 июня 1892 года».

Жгучий мороз вымел в эти дни даже немногих прохожих с улиц, сковал город ледяным дыханием ветра, бежавшего «из-за Камня», с Урала. И посыльный, пришедший звать ссыльного политика к начальству, долго отряхивал доху от ледяных пылинок снега, разгибал рукавицы, закаменевшие от мороза на руках, стирал иней с лица.

Попов, сидевший до этого у окна, скупо цедившего сумрачный свет, едва услышав о «важной бумаге», поднялся, провел посыльного отогреться у печи. Сдвинув на край стола бумаги, он придвинул табурет, достал запыленный штоф, хозяйскую серебряную чарку с фигуркой скомороха и надписью «всяк спляшет, да не как скоморох».

Хлопнула задубевшая на морозе дверь за посыльным, опалило лицо морозом, в спешке Попов ничего не почувствовал. Одна мысль — «о чем бумага» — гнала его. Весь 1889 год Попов писал множество ходатайств о переводе в разные инстанции. Просил, призывал учесть все: и слабость легких, и прогрессирующую болезнь глаз. Мезенский врач Мазыкович еще в 1888 году поддерживал в своем заключении эту просьбу ссыльного. Архангельские медики, к которым попал на экспертизу — в присутствии полицмейстера — Попов, тоже настаивали на переводе в южные города губернии. «Я почти совсем не могу читать и писать» — с мольбы начиналась одна из просьб-слезниц.

Сложен, видимо, был путь прошения, но отрадный, «положительный», как сообщил Попову сам Кронгельм,

жандармский ротмистр в Пинеге, смысл решения был очевиден. Продолжение ссылки — в Усть-Медведицкой! Оставалось получить проходное свидетельство и скорее выезжать.

Но судьбе вольно было еще раз испытать силы и мужество молодого писателя. Мезенский исправник, который еще в 1887 году писал, что «Попов не имеет никаких средств для содержания себя, а также и приличной одежды», словно предугадал и будущую хроническую необеспеченность его. Денег на дорогу домой не было... Их, как показало время, не нашлось раньше 14 июня 1890 года, когда Попов двинулся наконец из Пинеги. В эти-то полгода сама надежда на выезд, на будущее, связанное с литературой, несколько раз в связи с обысками становилась чуть ли не призрачной.

После отъезда из Пинеги Моисеенко с женой, после перевода в Шенкурск Александра и Анны Машицких Попов остался единственным подготовленным пропагандистом в кружке для местных жителей. В Шенкурске Машицкие познакомились с известным русским марксистом-ленинцем Виктором Курнатовским. Он ввел их в курс нараставшей в 90-е годы борьбы народников из «Русского богатства» с марксизмом. Переписка Машицких с Поповым, обмен книгами стали интенсивнее. Для местной жандармерии Попов стал заметной и опасной фигурой. Она сразу же отмечала все подозрительное. Ходят к Попову местные жители? «Даже на дню несколько раз», — сообщал на запрос начальства местный жандармский начальник. Зачем ходят, если Попову самое время собираться в дорогу? Созрела догадка, запечатленная характерным слогом доноса-протокола: «Не составился ли кружок с целью чтения книг преступного содержания под руководством Попова?»

И вот в ночь на 23 февраля 1890 года — громкий стук в двери к Попову, смущенные лица понятых, жандармский ротмистр Кронгельм собственной персоной... Эпизод обыска, весь его драматизм достоверно и очень зримо воссоздали исследователи этого периода жизни Серафимовича научные сотрудники музея А. С. Серафимовича Б. Гафуров и А. Айрумян. Нам остается только воспроизвести его:

«Глубокой ночью на квартиру Попова явился сам жандармский ротмистр Кронгельм и с ним еще шестеро помощников для производства обыска. Здесь они застали пинежского портного Козьмина, одного из постоянных

посетителей квартиры политического ссыльного. Внимание жандармов также привлекла посылка, приготовленная Серафимовичем к отправке в Шенкурск Анне Семеновне Машицкой. Жандармы вскрыли запечатанную посылку и обнаружили в ней запрещенную книгу — первый том сочинения Фердинанда Лассаля, которая была немедленно конфискована. Были отобраны также рукопись под названием «Капиталистическое производство в Европе», представляющая собой перевод главы из книги о французском социализме, и квитанция на отправленную А. Машицкой в Шенкурск ценную посылку, содержавшую среди прочего и рукопись одного из рассказов Серафимовича, по-видимому, «На плотах», посланную товарищам для отзыва».

Но откуда бралось явно избыточное жандармское рвение? Это судорожное, выдающее страх и неуверенность. стремление пресечь крамолу в глухой Пинеге?

Тень Александра Ульянова и четырех его товарищей все еще резко падала на судьбу сына донского есаула «Александра Серафимова Попова», как звался он в жандармской летописи его жизни... Страх перед неведомыми «исполкомами», динамитчиками-студентами, загнавший в Гатчинский тесный замок Александра III, временами сменялся истеричными порывами искоренительства, «попятными» движениями. Читающая русская публика все еще представляла бунтарей-студентов в смешном образе, составленном из черт книжных героев — от тургеневского нигилиста Базарова, режущего лягушек, до косматого Марка Волохова из «Обрыва». Она видела девиц, которые обрезали косы, убегали из состоятельных семей, видела студентов, спавших на голом полу, подобно Рахметову.

Правительство, гонявшееся за какими-то «кружками», казалось из глубин провинции, той, где «вековая тишина», смешным, казалось великаном с дубиной, гоняющимся за назойливыми мухами. Но само-то правительство, жандармы, слышавшие речи бунтарей на допросах, их последние слова на эшафотах, «вымораживавшие» крамолу в ссылках, видели подлинное содержание происходящего. В русской истории заматывался грозный клубок, который не откатишь ногой в сторону, не подденешь лопатой, чтобы сбросить в обочину. Царизм почувствовал смертельную опасность в кружках, в смешных книжниках, идеалистах из богатых зачастую семей, разночинцах. Догадка — тут не может быть двух сил, тут в итоге

кто-то один остается — бросала в дрожь не одного губернатора, шефа жандармов.

Эти страхи косвенным образом порождали и то смешное ожесточение, с которым вели себя во время обыска жандармы в Пинеге.

Допрос велся грубо, примитивно, с явным пережимом.

— Откуда здесь портной Козьмин? Что вы с ним замышляли?

Кронгельма раздражала неудача налета. Лассаль... Книжка с малопонятным названием... Рукопись рассказа, который вот-вот появится в популярной газете... Улов, не стоящий даже потерянного времени.

Ссыльный Попов неторопливо, с вежливой иронией отвечает за себя и за менее опытного в конспирации Василия Козьмина:

— Вы прекрасно знаете, что брюки у меня одни... Я не могу отдать их в починку на сторону... Придется сидеть без брюк целый день... Прилично ли это... А если кто-то зайдет? Тем более, если зайдет женщина?.. Козьмин пришел их починить при мне...

Обыск Козьмина ничего не дал. В куртке его действительно были понатыканы иголки с нитками разных цветов...

Новые подозрения, правда, не вызвавшие обыска, возникли у жандармов, когда им стало известно, что ссыльный Попов «менял в казначействе 100-рублевую бумажку».

— На проезд у него денег нет, а менять сторублевые банкноты он может? Не присланы ли эти деньги «Крестом мучеников» или иным негласным комитетом помощи ссыльным?

Кронгельм упорно искал случая выслужиться, проявить себя... Он пытался даже выяснить имя отправителя денег... через московский почтамт! Но его нюх, как у гончей собаки, был на уровне его же мысли, он чуял лишь запахи у самой земли. Деньги в размере 101 рубль были присланы 22 мая в качестве гонорара писателю Серафимовичу редакцией газеты «Русские ведомости» за рассказ «В тундре», опубликованный 10 и 15 мая 1890 года. Не желая больше испытывать терпение ретивого жандарма, Серафимович уже 14 июня получил проходное свидетельство и выехал на Дон.

Промелькнули в последний раз воды и берега Северной Двины, деревянные избы с курицами и конями на

крышах. Прощай, Север! «Курица и конь на крыше — в избе тише...» Для него тишина была и здесь тревожной. И все же — спасибо, Север! Твое «сказанье попало в мое писанье». Через 52 года в феврале 1941 года приедет Серафимович сюда еще раз, узнает тот дом, где ждал отправки в Мезень. Узнает, что зверобой Сорока, описанный им в рассказе «На льдине», умер лишь в 1930 году, и удивится:

— Вот как! Крепок был, долгонько жил!

«Слабы его ласки, но, может быть, нигде не могуче так материнство его, как на Севере», — скажет писатель о холодном, скудном на тепло Севере, но согревшем зерно его таланта, пробудившем в этом зерне великую силу всхожести.

Путь от Пинеги до Усть-Медведицкой, находившейся в восьмидесяти верстах от ближайшей станции Себряково, Серафимович проделал за одиннадцать дней. Было время о многом подумать, кое-что наметить на ближайшее будущее.

Имущественное достояние семьи покойного есаула Попова и конкретно старшего его сына Александра вновь весьма деловито обрисовано безвестным писарем Атаманской канцелярии в одном из документов:

«...Бывший студент С.-Петербургского университета, сын есаула Войска Донского Александр Серафимов Попов, как дознанием обнаружено, собственно принадлежащего имущества и капиталов на родине не имеет: а мать его вдова есаула Раиса Попова, проживающая в станице Усть-Медведицкой с тремя малолетними сиротами, имеет в названной станице два деревянных дома, не приносящих никакого дохода».

Ни имущества, ни земли, ни капиталов...

Этим много, даже излишне много сказано. Да еще без права передвижения, с пугающей обывателя кличкой «радикал», с незавершенным высшим образованием. «Тяжелая, незамирающая бедность», кажется, становилась уделом писателя, — с постоянной заботой о куске хлеба, тягостными раздумьями о близком будущем. В письмах Леонида Андреева, будущего друга Серафимовича, замелькают скоро озорные обращения к рано облысевшему собрату «Серафимушке» — «милый Самоедушко», «Лысогор». Друзья-писатели из литературно-художественного кружка «Среды», наделив друг друга

прозвищами из тогдашних названий московских улиц, площадей и переулков, дадут и ему, лысому в сорок лет, прозвище «Кудрино»... Не раз перед очередным испытанием судьбы он повторял про себя памятные пушкинские строки:

Сохраню ль к судьбе презренье,
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Презренья и трудолюбия, терпения и озорной насмешки над проделками судьбы понадобилось Серафимовичу много. Нужда пела ему свои песенки громко, заставляла узнавать почем фунт лиха на каждом шагу.

В июне 1890 года теплилась надежда па издание первых рассказов книжечкой... Спроса на интеллигентный труд в станице, кроме труда писаря, оп не предвидел. Но как проложить дорогу к издателям?

Раздумья эти кончились ничем. Да и нетерпеливое ожидание встречи переполняло душу нашего скитальца. Панорама станицы, возникающая с левого, пологого берега Дона, со срезанной высокой стеной обрыва на правом берегу, с садами и будто венчающими всю гору золочеными куполами, в июне поистине прекрасна. Дон еще полноводен, а в те годы оп был вообще обильнее водами притоков, и белая гора словно глядела в движущееся, текучее зеркало воды. Сухой знойный ветер налетал из степей, поднимал пыль на улицах, но здесь его зной смягчался. На волнах плясало несколько лодчонок, желтые пески, как и в его детские годы, были в полном владении детворы.

Позднее, через героя рассказа «Стена» Павла Варукова, вышедшего из тюрьмы, вернувшегося на родину, писатель отчасти поможет понять радостный вздох облегчения, который пережил и он: «Лет семь мне, должно быть, было, с покойным отцом поехали в Ново-Александровскую станицу... Далеко за Медведицей синели прибрежные горы... Сколько ни ехали, они стояли все такие же синие, таинственные. Мне страшно хотелось побывать и посмотреть, что там. Так и стояла в душе их далекая недоступная таинственность...»

Брат Вениамин и мать, постаревшая, но по-прежнему излучавшая душевное тепло, встретили Серафимовича на берегу, у начала дороги в станицу.

Серафимович не напрасно просил в письме из Мезени И. Р. Гордеева: «Руфыч, пожалуйста же, пиши. Ведь это нетрудно. Стряхни медлительность... Был ли у матери? Напиши откровенно, как ее состояние».

Сейчас, глядя на мать, он понимал, как нелегко было ей тогда, в 1887 году! Казачка, воспитанная в духе традиционного почтения к казне-матушке, к начальству, к государю, которому верой и правдой служили муж, отец, дед... Ее мечты «поднять сына», выучить и порадоваться его успехам, понимаемым всецело в духе окружавшей среды, рухнули. Конечно, она помнила, что и в ее роду и в роду мужа были чудаки, озорники, «выламывавшиеся» из ряда. Она привыкла и к бедам, ударам судьбы. Но случившееся с Сашей — удар совсем из иной тучи, удар непостижимый. Его «ересь» — сверх ее разумения.

Нравственное величие матери, все молчаливо простившей, не силясь многого понять, Серафимович оценил в первые же дни. На ее глазах куда более образованный отец Ореста Говорухина, не вынеся «позора родства» с преступившим грань сыном... переменил фамилию! И когда Серафимович, гуляя по Усть-Медведицкой, встретил старика, бывшего Говорухина, то последовал такой диалог:

— Повторяю, милостивый государь: я не господин Говорухин, а коллежский секретарь Афанасьев и никаких дел с бывшим сыном моим, Орестом Говорухиным, не имею и иметь не желаю.

— Но позвольте... Ничего не понимаю!

— По высочайшему повелению оставил оскверненную преступлением фамилию и наречен Афанасьевым.

Ничего подобного, конечно, в семье Поповых не было. И вообще ощущалось, что заботы о трех оставшихся при ней детях поглотили всю энергию Раисы Александровны. Они же и исцелили ее. Благородство неграмотной казачки, опутанной сословными и патриархальными предрассудками, выглядит еще значительнее, если вспомнить, как вообще относилась провинция к бунтарям, к пропаганде и т. п. «Теперь ведь и представить невозможно, — писал И. А. Бунин в романе «Жизнь Арсеньева» в связи с арестом и высылкой брата Юлия, — как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался «идти против царя», образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром Вторым и

даже убийство его, все еще оставался образом «земного бога». Мистически произносилось и слово «социалист»... в него вкладывали понятие всяческого злодейства».

Жизнь в семье Поповых не замерла. Одна из сестер Серафимовича вышла за это время замуж. Брат писателя Сережа оставил гимназию и поступил в ученики аптекаря... Другой брат, Вениамин, Виня, как звали его в семье, учился в гимназии и... Александр почувствовал по его беглым вопросам о Писареве, Чернышевском, народниках, что он идет по его же пути.

Домашние беседы — обрывки взаимных исповедей. Незаметную внешне, исцеляющую силу их, вероятно, знает каждый. Одна душа, одно сердце рождается в доме, восстанавливается незримая система взаимосвязей, единого кровообращения. Покидают сознание щемящее душу одиночество, напряжение вечной самозащиты от грубости мира...

Пройдут годы... Серафимович подолгу будет жить один — вдали от детей, в разладе с женой. Только образ матери с невыплаканной мукой ее вечной заботы о нем — семилетнем и пятидесятилетнем — останется высшим представлением о чистой, но не холодной, не божеской, а земной любви. О ней он скажет — на языке художнической исповеди — с глубоким душевным волнением, в котором слились и детская привязанность, и благодарность ей после ссылки, и многие иные чувства:

«Часто забегал ребенок в костел, слушал торжественные звуки органа, глядел на непривычную торжественную службу, и входя, всегда останавливался у ниши, сделанной снаружи костела, в которой стояла потемневшая от солнца, времени и ветра женская фигура, с изборожденным не то старостью, не то дождями морщинистым лицом. И столько скорби, столько невыплаканной муки было разлито в ее темной фигуре, в ее изможденном лице, что мальчик долго не мог оторваться, смотрел и все ждал, что из глаз ее закапают слезы».

...Очень скоро нашлись и старые друзья Серафимовича по гимназии и Петербургскому университету. В Усть-Медведицкой отбывали ссылку Илья Гордеев и Федор Васильев. Тюрьма и ссылка создавали множество глубоких взаимосвязей между людьми. Бывший ссыльный нередко избирал место жительства там, где уже работали друзья. Пускаясь в путь, он заручался у друзей

письмами, рекомендациями. «Изгой» для царских канцелярий, для официальных служб, он находил часто работу в имении либерального помещика, в конторе «кокетничавшего» с революционерами купца-самодура. Наконец, в редакции провинциальной газеты, где были уже «свои».... Тот же П. А. Моисеенко, друг Серафимовича, возвращаясь из ссылки, только и надеялся на помощь друзей, заранее списывался с ними. «Прислала письмо А. С. Машицкая, — писал он, двигаясь «по цепочке», — в котором обещалась устроить меня где-либо в сельском хозяйстве... В конце 1890 года получил я письмо к 50 рублей от доктора Кунаховича, который писал, чтобы ехал к нему в имение... Получил письмо от А. Серафимовича, который писал мне, чтобы я ехал на Кубань, в Екатеринодар... В Нижнем я рассчитывал встретить Короленко, и, как только причалил пароход к пристани, я отправился по адресу к Короленко...» «Узнав, что А. Серафимович в Новочеркасске, я отправился туда. От него я узнал, что можно хорошо устроиться в Мариуполе. Серафимович дал мне адрес к Г. Г. Псалтигреку...»

В глазах усть-медведицкой интеллигенции, студентов, приехавших на вакации, гимназистов (именно после его и О. Говорухина «преступления» гимназия была на время закрыта) Серафимович был не просто старший товарищем. Он был в некотором роде писателем, автором популярной, «профессорской», как говорили о «Русских ведомостях», газеты, о нем знали В. Г. Короленко, Г. И. Успенский...

Серафимович быстро стал центральной фигурой в усть-медведицком революционном кружке, куда вошли некоторые учителя, гимназисты, ссыльные Федор Васильев, Илья Гордеев. К кружку примкнула весьма заинтересовавшая автора «На льдине» супружеская пара — А. Г. Знаменский, арендатор мельницы в нескольких верстах от города, и его жена Е. В. Колесова... Кружок собирался — под видом занятий с отстающими учениками — то у одного, то у другого из его участников. Нередко, рождая невольный трепет в сердце Раисы Александровны, он собирался и в доме Поповых.

Полицейский надзор — одновременно негласная летопись жизни ссыльного, кривое, но любопытное зеркало его передвижений, встреч, круге чтения. В кружке читались запрещенные в те годы статьи А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, говорилось «о якутском бунте, с

политических процессах, о студенческой демонстрации на могиле Добролюбова» и т. п. В той же «летописи» отмечалось и остроумие конспирации. Участники кружка в большой лодке выезжали на Дон и... «Прежние сходки у кого-нибудь на квартире были заменены катанием общей компанией на лодках по реке Дону, чем устранялась всякая возможность наблюдения за ними со стороны полиции и чинов жандармерии», — с бессильной досадой констатирует «летописец» областного жандармского управления.

Что заставляло Серафимовича — зрелого человека 27 лет — разделять компанию, среди которой были и юноши в 16—17 лет? Что заставляло его вновь проходить начальный во многом курс политграмоты?

Ссылка с ее замедленным движением — все же остановка, задержка развития, опасная даже для гордого и сильного ума. Серафимович выдержал ее, не позволил безжизненному отупению победить свой ум, способность к чуткому и многоцветному восприятию жизни. Но ссылка все же взяла все, что могла взять. Она лишила его непосредственного общения с живыми фактами интеллектуальной жизни, отгородила от той естественной пищи, без которой слабеет, тускнеет ум. «Могучим усилием, — писал В. Г. Короленко о поведении Чернышевского Н. Г. в ссылке, о встрече после нее, —он удержался на высоте прежних способностей, но только удержался и именно на той ступени... Чернышевского наша жизнь даже не задела. Она вся прошла вдали от него, промчалась мимо, не увлекая его за собой, не оставляя на его душе тех черт и рубцов, которые река оставляет хотя бы на неподвижном берегу и которые свидетельствуют о столкновениях и борьбе».

Что боялся упустить из поля зрения Серафимович? Какие новые характеры, рожденные временем, новые идеи он спешил жадно, с риском вызвать гнев полиции, тайком покидая даже место ссылки, узнать?

Усть-Медведицкий кружок очень скоро — и во многом по инициативе Серафимовича — установил связь с подпольными кружками на станциях Себряково, Аргеда и Борисоглебск. И Серафимович познакомился с человеком, сыгравшим большую роль в его самообразовании, — будущим большевиком Василием Яковлевичем Алабышевым, руководителем всех кружков по Грязе-Царицынской железной дороге.

Василий Алабышев — один из образованнейших

марксистов тех лет — прошел нелегкий путь борьбы, арестов, ссылок. В 1886—1887 годах Алабышев, подобно автору «Железного потока», — участник студенческих революционных кружков. В 1887 году за студенческие «беспорядки» последовало исключение его из Казанского университета, началась жизнь под негласным надзором полиции. Кстати говоря, в этих же «беспорядках» 1887 года принимал деятельное участие В. И. Ленин. В феврале 1891 года Алабышев переехал в Ростов-на-Дону и уже к концу года организовал здесь марксистский кружок. В 1892—1893 годы он совместно с А. П. Машицким объединил сеть рабочих кружков, насчитывавших свыше 150 человек. И самое важное — он установил связь с группой «Освобождение труда».

Работая служащим управления Владикавказской дороги в Ростове, Алабышев познакомился и подружился, между прочим, с Алексеем Максимовичем Пешковым — М. Горьким, который служил тогда сторожем на товарной станции Борисоглебска.

Новый кружок был чрезвычайно важен для Серафимовича как писателя. Ведь мировоззрение художника — это не набор тезисов, не колчан со «стрелами» взглядов, принципов, идейных симпатий и антипатий. Новые человеческие типы — это новые жизненные принципы, формы борьбы...

Василий Алабышев познакомил Серафимовича со своими товарищами по подпольной работе, среди которых выделялся ростовский рабочий Иван Козин, организатор стачки в железнодорожных мастерских Ростова в 1894 году. С другой стороны, Серафимович способствовал переезду в Ростов П. А. Моисеенко, связал его с Алабышевым, Козиным, сразу включивших бывшего организатора морозовской стачки в революционно-пропагандистскую работу. В 1890 году, опираясь на помощь В. Я. Алабышева, в том числе и материальную, Серафимович, испросив в канцелярии окружного атамана разрешения на поездку в Минеральные Воды для лечения, совершил целое путешествие в Ростов, а затем в Нижний Новгород и в Чудово для встреч с В. Г. Короленко и Г. И. Успенским. В последнем случае дело шло об устройстве его литературных дел.

Эпоха не отказывала и ранее Серафимовичу в зрелищах, по-своему драматичных и даже захватывающих. Он видел и прямолинейных рационалистов — «умовиков», от суждений которых так и попахивало хлестаковщиной.

Знал и подвижников кабинетного долготерпения, гордившихся тем, что они «Капитал» прочитали три раза — в университете их звали левиафанами. Встречал и крикунов, похожих на готовые взорваться бомбы. Революционер без бомбы для таких — не революционер!

Сейчас он уловил, что рождается наконец революционная деловитость, концентрированная активность, мужество, не знающее отчаяния и безнадежности.

> Созрела новая порода:
> Угль превращается в алмаз...

Василий Алабышев, энергичный и инициативный организатор рабочего движения, первым обратил внимание Серафимовича на супружескую пару — Знаменского и Колесову, — которая и Серафимовичу показалась несколько загадочной, словно отягощенной каким-то прошлым...

— Как вам показались наши «фермеры» — Знаменский и Колесова?

Серафимович пожал плечами:

— Мне кажется, она оцепенела, замерла, остановилась в развитии. Сварилась как муха в меду своих сладостных воспоминаний...

Алабышев улыбнулся:

— Сказано точно, хотя, положим, меда в судьбу ее было положено мало... Вы слышали имя Клеопатры Павловны Блавдзевич?

Серафимович с трудом, но вспомнил один из давних процессов по делу «Народной воли»...

— Кажется, это имя встречалось среди осужденных «по делу 193-х»...

— Так вот, знайте, — Колесова и есть Блавдзевич... Дочь полковника, служившего в Вязьме, примкнула к одной из групп «Народной воли». Романтичная, без всякого чувства реальности, искавшая в революции... Чего? Может быть, возможности «претерпеть» за идею, непременно на виду у всех, может быть, удивить, осчастливить «толпу» необычайным деянием... Помните работу Михайловского «Герои и толпа»? Ею зачитывались тайком многие. К тому же она любила известного террориста Ковалика... После ареста и суда четыре года пребывания в Петропавловке, болезнь и высылка на поруки. Но Клеопатра использует свою свободу для организации побега все того же Ковалика.

Серафимович слушал Алабышева и невольно вспоминал одну из лабораторий университета... «Лейденская банка»... Заряженная электричеством, она трещит, брызжет искрами. Но столь же быстро истощается. На днях он видел на мельнице эту бывшую Блавдзевич — перед ним сидела женщина с огрубевшими, мозолистыми руками, — слушал рассказ о ее далеком детстве, о юности, улавливая и жалобу на судьбу, и скрытый надлом... Фактически он уже знал финал той истории, которую ему рассказывал Алабышев. Мужеподобная женщина, отдавшая годы труда мельнице, живет сейчас в безрадостном браке с явно подвернувшимся человеком, живет во вчерашнем дне. Но что было в середине пути?

— Побег Ковалика, — продолжал Алабышев, — не просто провалился. Клеопатра Блавдзевич сама попадает на два года в Петропавловку, затем ее высылают в Архангельскую губернию. Но затем она исчезает...

История ее исчезновения и последующего существования под чужим именем была одной из знакомых версий жизни инкогнито. Серафимович заспешил узнать ключевую драму в цепочке фактов.

— Жив ли Ковалик? Насколько я уже представляю, он был ее главной опорой и манящим огоньком в революции...

— Вы, Александр Серафимович, мыслите как художник, но недалеки от истины... Ковалика к моменту ее исчезновения уже не было в живых — его застрелили при попытке к бегству... А Клеопатру вдруг охватило равнодушие ко всему, ей стало все равно. И вот она Колесова, жена арендатора...

Серафимович задумался. Сюжеты реальных судеб часто фантастичнее любого вымысла. Сломалось что-то личное в этой женщине, осталась неутоленной ее жажда власти над спасенным ею же кумиром юности. Истерлось о преграды, которых не одолеть с разбега, в романтическом порыве какое-то барственное начало характера. Телега жизни переехала ее. И вот тягостное доживание, потеря веры в дело, которому она лишь по инерции помогает. Да, «лейденская банка»! Чем тоньше был слой разночинцев-революционеров, чем уже их круг, тем болезненней протекали многие искания, тем глубже были надломы в душах. Исчез для Блавдзевич всего один человек, пусть любимый, — и уже рушилось все.

«Герои», наделенные в известной теории В. К. Михайловского правом осчастливить «толпу», не могут часто

построить семьи. Какое счастье для дела революции, что рождалась новая порода борцов, имеющая прочную опору в рабочей массе, порода людей, не подвластная вирусу индивидуализма, иным болезням духа!

Революционное движение в Азово-Черноморском крае и Донбассе, в портовых городах юга, Таганроге, Мариуполе, взрывы гнева рабочих и «иногородних», хлынувших на хлебородные равнины Кубани, Приазовья, в Область Войска Донского из центральных губерний — все это не просто расширило круг впечатлений Серафимовича. Самое главное — он фактически избежал увлечения либерально-народническими идеями о служении «маленькому человеку», поэтизации революционно-террористических актов, идеализации крестьянской общины. После петербургской судоверфи он вновь — это факт решающего значения — открыл рабочий класс как могучую политическую силу. И внешне прозаическое дело — распространение популярных брошюр о «труде и капитале», создание всякого рода политических обличений в форме фельетона, сатирической зарисовки — предстало для него как важное средство воспитания революционной активности рабочего класса.

А старые вожди народничества, известные и Серафимовичу, и многим участникам усть-медведицкого кружка, и в 90-е годы упорно игнорировали уроки истории... Они, в частности Н. К. Михайловский, с иронией писали, например, о нашествии марксистских брошюр, их распространении в рабочей среде, в среде интеллигенции. «Наука — в грошовых изданиях?! И на основании этих брошюр рабочие начинают самостоятельную борьбу? Какая неосмотрительная самоуверенность! Какое поразительное неумение подождать, пока их, рабочих, призовут друзья народа!»

В. И. Ленин, высмеивая подобные высокомерно-барственные суждения «друзей народа», писал: «То ли бы дело, если бы рабочие предоставили свою судьбу «друзьям народа», они показали бы им настоящую, многотомную, университетскую и филистерскую науку, подробно ознакомили бы их с общественной организацией, соответствующей человеческой природе, если бы только... рабочие согласились подождать и не начинали сами борьбы с такой неосновательной самоуверенностью»[1].

Н. К. Михайловский, ведущий критик и публицист

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 189.

журнала «Русское богатство», журнала, с которым были тесно связаны В. Г. Короленко и Г. И. Успенский, в эти годы, атакуя марксизм, обращался именно к разночинской, студенческой молодежи с истерически-спекулятивным внушением: «Марксисты лишают личность, «я» всякого содержания. Они заставляют интеллигенцию отказаться и от наследия героических поколений борцов, и от попыток личности играть какую-то роль в истории. Утрируя марксистское представление об истории, Михайловский писал: «Истина — по словам будто бы марксистов — состоит в том, что по имманентным законам исторической необходимости Россия разовьет свое капиталистическое производство, со всеми его внутренними противоречиями, с поеданием малых капиталов крупными, а тем временем оторванный от земли мужик обратится в пролетария, объединится, обобществится, и дело будет в шляпе, которую и останется только надеть на голову осчастливленному человечеству».

Яд этой иронии стал неощутим, он выветрился... Но если бы мы могли всмотреться в лица собеседников Серафимовича тех лет, то ощутили бы, что он еще действовал. А что действительно остается от моей *личной воли,* личной энергии, наконец, от «я», если все общественные деятели заблуждаются, считая себя деятелями? Все мы не деятели, а «деемые», марионетки, подергиваемые из таинственного подполья законами исторической необходимости?

Развеять эти сомнения, воздыхания, развеять идеалистический туман старых догм, освободить сознание для реального дела — эту задачу выполнил гениальный ленинский труд, вызревавший именно в эти годы, — «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов». Серафимович был чрезвычайно обрадован, когда в 1896 году его рассказ «Дежурство» был напечатан в журнале «Новое слово» рядом с работой «По поводу одной газетной заметки», подписанной «К. Т-н». Ранее за этой подписью в журнале появилась работа «К характеристике экономического романтизма», направленная против народничества.

Но еще ранее именно Ленин (он и скрывался за псевдонимом «К. Т-н») ответил на многие вопросы Серафимовича и его друзей. Нет, марксизм не нивелирует «я», не превращает историческую необходимость в некий божественный промысел. «...История вся слагается именно из действий личностей, — писал В. И. Ленин, — пред-

ставляющих из себя несомненно деятелей. Действительный вопрос, возникающий при оценке общественной деятельности личности, состоит в том, при каких условиях этой деятельности обеспечен успех? в чем состоят гарантии того, что деятельность эта не останется одиночным актом, тонущим в море актов противоположных?..»[1]

Возвращаясь после встреч с Алабышевым, бесед «на воде», на мельнице, к своему письменному столу, Серафимович ощущал, как велика ответственность художника перед временем, как тяжелы «позлащенные кандалы литературы».

Тот особый путь формирования личности писателя, который называют «горьковским», включал в себя множество испытаний. Он, этот путь, связан с революцией, с историческим творчеством масс. Связан со взлетами и спадами волн революции, с тревожными радостями глашатая бури, непонятными массе благоразумных «пингвинов» — обывателей. «Пусть сильнее грянет буря!» И с муками длительного непризнания, лишениями, даже одиночеством среди застоя духовной жизни.

...Серафимович в Усть-Медведицкой в 1890—1892 годы напоминает свифтовского проснувшегося Гулливера в силках лилипутов. Он постоянно ощущал то скопление мелочей быта, стук нужды в двери, которые угнетают, давят, терзают душу. Куда ни кинь — везде клин. Работы, кроме писания прошений, репетиторства, почти никакой. Выезды из станицы строго ограниченны. Получил он однажды разрешение на выезд в Пятигорск для лечения и не выехал в связи с отсутствием денег. И какие же «колокола» и просто полицейские «свистки» зазвучали вдруг! Всполошился атаман Терской области, в которой находился Пятигорск, — «не прибыл ссыльный Попов»... «Исчезнувшего» сына есаула Попова ищут по всей России — вплоть до архангельского жандармского управления... В Шенкурске, где жила А. С. Машицкая (Захарова), рождается своя версия поисков и слежки, продиктованная неумеренной полицейской ретивостью.

«При этом полагаю, что внезапное задержание писем, с разрешения г. министра внутренних дел, скорее может открыть местонахождения Александра Попова, чем обыск, по которому у поднадзорных, судя по прежним приме-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 159.

рам, редко открываются компрометирующие их вещественные доказательства», — писал ротмистр из Шенкурска.

В ближайшем окружении, кроме горстки близких людей, — то же захолустье мысли, владычество патриархальных традиций. Вечные сетования казаков на то, что редеют косяки коней, и с годами все труднее для многих казаков снарядить сына на службу... Вспышки злости на иногородних, посягающих на казацкую землю. В любом окрестном кабаке — одни и те же новости. О войне скорой с турками... О грамотке «с Афона, не то с Иерусалима», которую не может разобрать сам «архимандрит». О том, что конокрад Яшка опять объявился в округе... О том, что казенная водка «не в пример лучше той, что от Товия Ионовича»... «Ямщик седой — лихое время» тащил воз обывательской жизни, не тревожа спячки многих.

Донское казачество с особой внимательностью оберегалось царизмом от всяких «зловредных» идей, от неблагонадежных лиц.

Что тюремные стены — так ощущал порой Серафимович! — перед косной стеной быта, перед силой сплоченного мещанства, всего, что в массе становится во много раз сильнее! Мещанство незаметно разлучает молодость с мечтой, в соседстве с ним все замирает, останавливается, стирается, дешевеет.

Не жандармы в конце концов следили и за Серафимовичем всего пристальнее, а два бытовых соглядатая — забулдыга и жулик казак Евмен Медведев и вороватая солдатская вдова Марья Рябикина. Именно эти личности — не из полицейского, а скорее бытового окружения — и расписались в качестве свидетелей при обыске у Серафимовича 16 апреля 1892 года.

И можно понять писателя, когда он назвал из-за этой косности, засилья обывательщины город Новочеркасск «Мертвым городом». И не случайно герой рассказа «Стена» Павел Варуков, выражая накопившееся негодование автора, с острым сарказмом бросает на митинге в 1905 году в толпу разряженных адвокатов, коммерсантов, тех, что раньше меняли фамилии, оскверненные «преступлением» детей:

— Почему? Почему вы бросили ваши обязанности тюремщиков? Почему колыхнулись стены живой тюрьмы и вы пришли сюда слушать ваших узников?.. Где же вы были, когда бились ваши дети? И не вы ли сторожили

их, как заклятые враги, как жестокие тюремщики! Нет, не жандармы стояли по обеим сторонам торной широкой дороги, густо устланной костями борцов, торной дороге в Сибирь, на каторгу, на эшафот, а вы!»

Много же должен был накопить в душе ненависти к старому строю Серафимович, чтобы в разгар упоения царским манифестом вспомнить об этом!

Первый рассказ, созданный в Усть-Медведицкой в год возвращения, тоже не случайно назван «Бегство»... Это явное преодоление круга обыденности с его светобоязнью, вялостью чувств, почти гимн свободе, пусть недолгой и во многом иллюзорной. Вообще вся серия рассказов о детстве, о побегах в мир природы, простых людей были выходом наружу мечты. В мечте нет рек, текущих в болото мещанства.

В рассказе «Бегство» (первоначальное название «Бегство в Америку») опоэтизирован дух свободолюбия, кладезь неистраченных желаний и сил, которые таятся в юной душе. Герой его хочет бежать из привычного мира, бежать в таинственные, окруженные синеватой дымкой горы, в бесконечные дали... Эта бесхитростная природа, отнюдь не подавляющая героя, как в рассказах «На льдине» и «В тундре», не стала от этого менее волшебной. Она как будто не сияет «красою вечною» (Пушкин). Но во все подробности пейзажа словно вошло чувство окрыленности, в них разлились и застыли сложные жизнеощущения вчерашнего узника. Сквозь случайные приметы леса, степи видно вечное, насущно необходимое свободному человеку.

«Далеко синей полосой сверкнула река. И видно было, как по эту сторону ее желтели пески, а по ту сторону до самого края тянулись леса, и на самом краю за теми лесами стояли горы. И видны были их мощные бока, изрытые провалами, *словно нечеловеческие руки провели глубокие борозды исполинским плугом...* А у самых песков белел наш город, рассыпавшись крошечными домами вперемежку с зеленеющими купами деревьев» (Курсив мой. — *В. Ч.*).

Эти «нечеловеческие руки», «исполинский плуг», как и величественное видение в «Снежной пустыне» — северное сияние, образующее свод храма над тундрой, упряжкой оленей, со «служением неведомому богу», — чрезвычайно характерные элементы прозы Серафимовича.

Позднее многим, в том числе и К. Чуковскому, будет казаться странным длительное содружество Серафимови-



Мать писателя — Р. А. Попова.



Отец писателя — С. И. Попов.

Станица Усть-Медведицкая, ныне г. Серафимович.

Самая ранняя фотография А. С. Попова (Серафимовича). 1864.

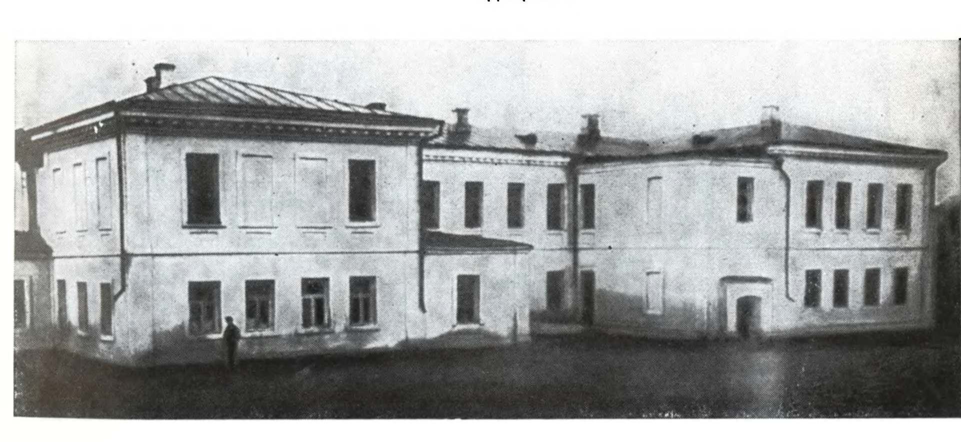


Улица в станице Усть-Медведицкой. Конец XIX века.



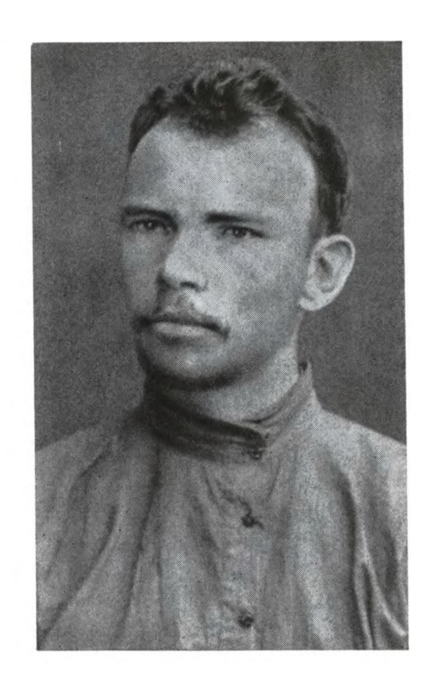
Александр Попов (Серафимович) в 1870 году.

Гимназия в Усть-Медведицкой.





П. А. Моисеенко.

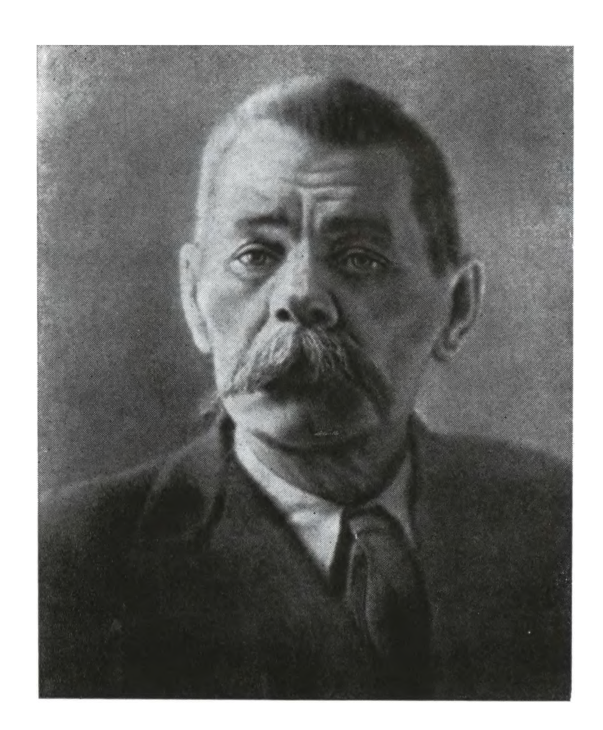


А. Серафимович. 1887.

А. Серафимович в Новочеркасске. 1898.

А. Серафимович в период работы в Мариуполе. 1897.

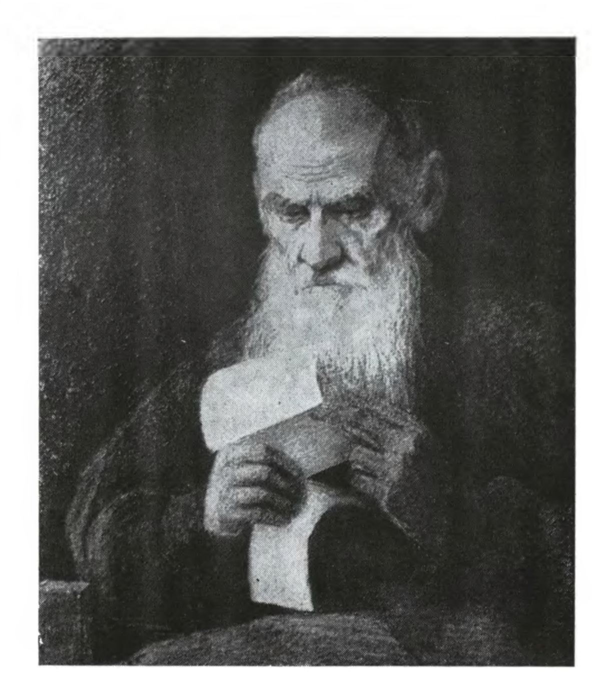
Новочеркасск в конце XIX века.



А. М. Горький.

А. С. Серафимович в гостях у А. М. Горького.

Л. Н. Толстой.



А. С. Серафимович с друзьями по «Средам».

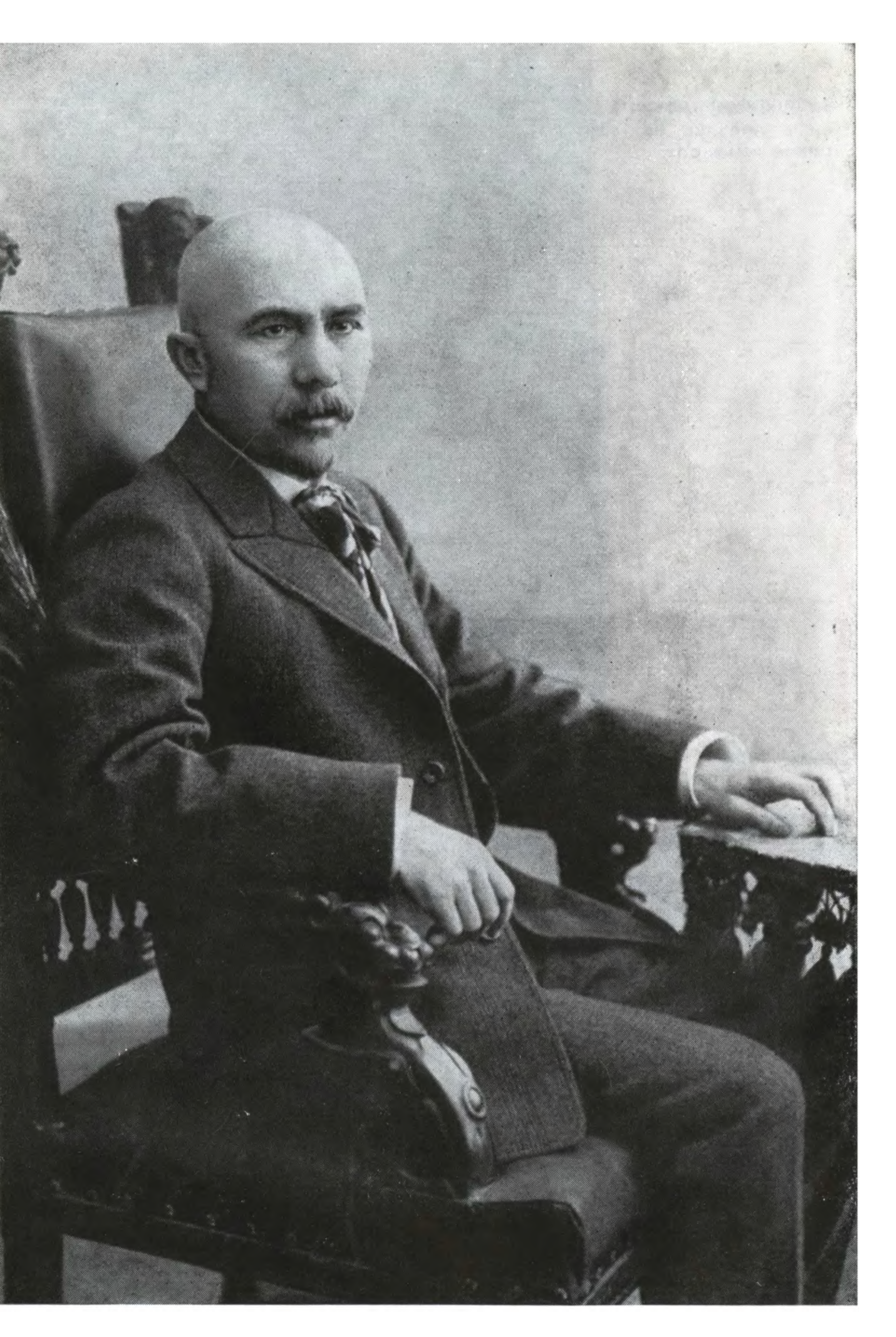
А. С. Серафимович.

А. С. Серафимович и А. А. Кипен.

А. С. Серафимович в Сочи в поездке на мотоцикле «Дьявол».



А. С. Серафимович в Ялте. 1906.

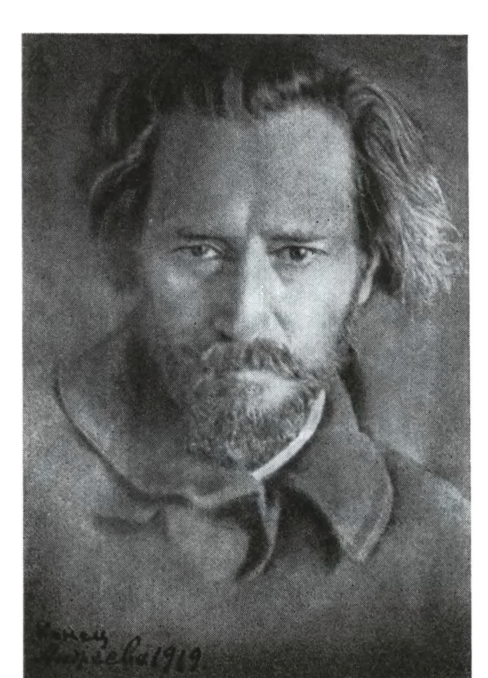


А. С. Серафимович в Петербурге. 1913.

На Галицийском фронте в 1915 году. А. С. Серафимович — второй справа.

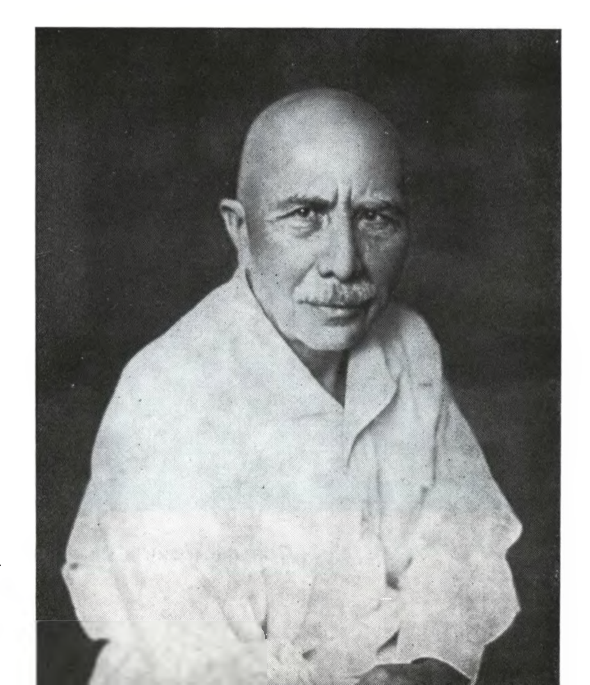
Красная Армия освободила Владикавказ. 1920.

А. С. Серафимович у В. И. Ленина. Фото с картины Б. Штраниха.



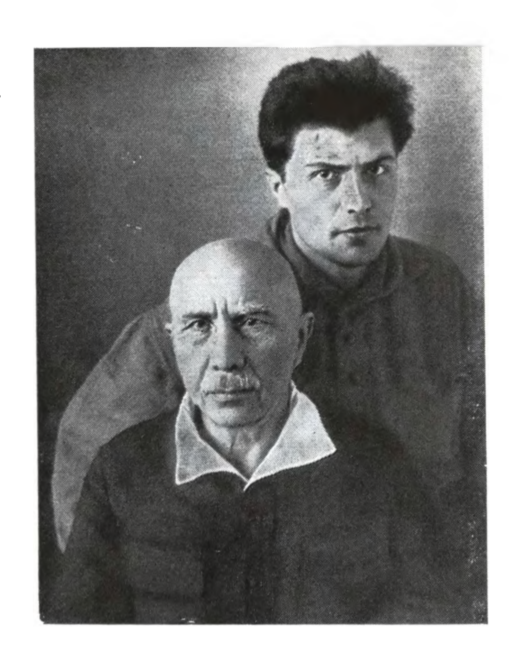
Л. Андреев в 1919 году. Рукой А. С. Серафимовича написано: «Конец Андреева».

А. С. Серафимович и
М. А. Шолохов.



А. С. Серафимович. 1929.

А. С. Серафимович с сыном Игорем. 1933.



А. С. Серафимович в Сталинграде. 1938.



А. С. Серафимович с внучкой Искрой. 1936.

А. С. Серафимович и Р. Островская на фронте. 1943.



Экипаж танка «Александр Серафимович».

ча, добросовестного бытописателя, с Леонидом Андреевым, художником явно метафизических крайностей, мучимым «демоном» галлюцинаций... На самом деле уже в начале творческого пути у Серафимовича были и типичные очерки с натуры вроде «На плотах», где создан и портрет сплавщика Кузьмы Толоконникова, нарисована серия его мелких и крупных поединков на реке, и рассказы, в которых он обнаруживал фантастическое в привычном... Северное сияние, степь, пески, мгла — сколько добрых и злых «демонов» витают над ячейками человеческого быта!

А старая мельница в «Песках»? Она как будто живет и одновременно уже замирает, то и дело испытывает приступы немочи: «Не мелькала белая пена, не неслась с шумом и грохотом вода, а чуть сверкала тоненькая жилка в желобе, стоявшем над землей на столбиках, и лениво, *задумчиво-медленно* поворачивалось старое, ослизлое, почернелое колесо, набирая, как в чашки, в медленно подставляющиеся коробки сонную журчащую воду, боясь уронить лишнюю каплю драгоценной влаги...»

Мысль, самая блестящая, будучи изреченной, как будто грозит обернуться ложью. Если для иных писателей неназванный мир — это несуществующий мир, то Серафимович любит мир, молчащий, не поддающийся «забалтыванию», сопротивляющийся всяким попыткам определить, сузить, остановить его жизнь.

Посылая рассказ «Бегство в Америку» Успенскому, Серафимович признается, что ему еще многое именно «не поддалось» как художнику: «Меня одно смущает, что, кажется, я никогда не сумел рассказать душу человеческую. Мертвая природа у меня выходит ярко и выпукло, а живой человек бледно и неясно».

Это признание — дань неубывающей застенчивости Серафимовича. В действительности именно в это время он создал рассказ «Стрелочник» — по-чеховски емкую историю одного дня из жизни загнанного, затюканного, вечно виноватого маленького человека. «Сцепщик» (1898), «Епишка» (1902), «Заяц» (1904) продолжали эту серию этюдов о маленьком человеке из низовой России. Наконец, прекрасные, психологически углубленные портреты множества буржуазных интеллигентов, кулаков в рассказах и повестях 1906—1912 годов — все говорит именно об умении раскрыть душу человеческую. И когда Серафимович признается в письме к Л. Андрееву: «У меня сонный мозг, медленный, и я с удовольствием заряжался у

тебя» (1904), — то это признание надо принимать с оговоркой. Редкой скромностью, неуместной в деловом мире, отмечены были и все попытки писателя издать первую книгу рассказов.

Два известнейших писателя — Глеб Успенский и Владимир Короленко — знали уже Александра Серафимовича по первым публикациям. К ним и обратился он с просьбой о помощи в издании книги.

Уже 27 июля 1890 года Короленко в ответ на письмо Серафимовича пишет ему:

«Ваши рассказы в «Русских ведомостях» я читал с большим удовольствием и очень рад буду сделать, что могу, для их издания. Жаль, что могу содействовать вам лишь посредством некоторых знакомств в Москве, куда я пишу завтра же. Я думаю, что издатель найдется».

Короленко выполнил свое обещание. Он написал о просьбе Серафимовича издателю Ф. Ф. Павленкову и Г. И. Успенскому. Просьба его пала, как семя, на плодородную почву человеческого доброжелательства. Глеб Успенский взял на себя переговоры с издателем Ф. Ф. Павленковым, высказал немало одобрений в адрес начинающего писателя, но издатель нашел, что рассказов все-таки пока маловато.

Что же делать? Успенский предложил редактору московского журнала «Русская мысль» В. А. Гольцову сделать единую журнальную публикацию трех рассказов: «На льдине», «В тундре», «На плотах»... «Если Вы просмотрите их, Вы увидите, что это большой художественный талант».

Из этого предприятия тоже ничего не вышло. И до выхода первой книги — целая полоса напряженных усилий. Она выйдет только в 1901 году (в издательстве Б. Звонарева) в канун его сорокалетия.

Но как радостно было для поднадзорного писателя то, что в эпоху безвременья, в дни его личной неустроенности, в час болезни (у Серафимовича постоянно обнаруживалось кровохаркание. — *В. Ч.*) в его талант верили замечательные художники. «Такого отличнейшего писателя необходимо непременно поддержать, особливо в труднейшую минуту тяжкой болезни», — вновь писал Успенский в одном из «прошений» за Серафимовича.

Интересно, что Глеб Успенский не оставлял своим вниманием Серафимовича в канун своей психической болезни, когда померкла навсегда мысль и Глеб Успенский был на 10 лет заключен в психиатрическую больницу...

Находясь в больнице, «святой Глеб», как он звал себя в состоянии помешательства, в одну из редких минут просветления, став земным «Ивановичем», вдруг вспомнил — это было по воспоминаниям лечившего Успенского доктора Синани в октябре 1892 года, — что «он вовремя не ответил Серафимовичу насчет издания его очерков»... И написал совершенно связное письмо!

Не преуспев с публикацией книги Серафимовича, Глеб Успенский нашел иной вид помощи нуждавшемуся писателю. Он обратился в Литературный фонд с ходатайством о выдаче Серафимовичу трехсот рублей... Часть денег Серафимович получил. Удалось основательно подлечиться, и вскоре после возвращения с курорта Серафимович писал Успенскому:

«Дорогой Глеб Иванович, еще в конце августа я воротился с Кавказа в Усть-Медведицу. Теперь живу здесь. Дело в том, что я все еще прикреплен к месту, и хотя я внутри области и отлучаюсь куда нужно, выехать в один из городов России не могу до июня будущего (92-го) года. Живу здесь уроками (пока всего один — десять рублей в месяц получаю), но, думаю, еще будут. Положение в материальном отношении не особенно обеспеченное, но это еще туда-сюда, а главное, что я теперь здоров, следовательно, могу работать, да и мир божий кругом веселей стал».

Увидеться писателям так и не пришлось. Но на всю жизнь сохранил Серафимович благодарную память об Успенском — художнике и человеке.

Заботы Успенского, вера его дали Серафимовичу то, что чрезвычайно важно для писателя: самоуважение, внутреннее достоинство. Не самолюбие, что есть лишь повышенная чувствительность кожи, возбудимость, апломб, а самоуважение. «Самолюбие — нечто внешнее, нечто вроде шелковой юбки, самоуважение — это внутреннее, это — как сок, как кровь», — говорил Горький.

Приближался 1892 год... Серафимович с нетерпением ждал окончания срока полицейского надзора. Множество нерешенных, а попросту «остановленных», отложенных на будущее дел тревожило его.

Он ощутил, что прозябать в сумерках глухой провинции больше нельзя. Среди провинциальной интеллигенции начинались и глохли всяческие «микродвижения», искания. В сущности, уже завершился в этой интеллигенции

тот сдвиг, который Короленко назвал — «крупная ссора с меньшим братом», ссора с тем народом, которому ранее пробовали нести разумное, доброе, вечное. И началось движение под лозунгом: «Надо и нам!» Хватит одарять вечным, разумным и добрым мужика, надо что-то оставить и себе. Глеб Успенский в одной из статей в «Отечественных записках» иронически выразил эти интеллигентские настроения безвременья так: «Что в самом деле: мужик заполонил всю литературу. Мужик да мужик, народ да народ. *Мы* тоже хотим... Надо и нам».

Началась полоса увлечений всяческими «само» — самоуглублением, самоусовершенствованием, самообразованием. Начала звучать и чеховская тема, тема Треплева и Нины Заречной, угасающих в тех же сумерках провинции и осознающих это, тема «трех сестер», выдумавших себе далекую, сказочную «Москву». До всего этого мысль Серафимовича, конечно, добиралась с трудом. Но он понимал, что век кружков, своего рода интеллигентских «скитов» для самоусовершенствования явно кончался. Обособляясь в кружки, интеллигенция не выплатит, говоря по-народнически, своего долга народу. Надо было искать связи с рабочим классом, настоящим, а не условным мужиком на почве иных, не книжных, интересов. Иначе все зыбко, все может кончиться драмой Клеопатры Блавдзевич...

Последний акт этой драмы разыгрался на глазах у Серафимовича. Он был связан с разгромом усть-медведицкого кружка.

Жандармы и на этот раз применили тактику «медвежатников». Не в силах разгадать уловки конспираторов, они попросту вломились в дом к Поповым, на мельницу к Знаменскому и Блавдзевич с обысками. В личном деле Серафимовича есть протокол последнего — перед снятием полицейского надзора — обыска в его доме в Усть-Медведицкой. Из него мы узнаем:

«При обыске у Александра Серафимова Попова не было обнаружено социально-революционных изданий или каких-либо взрывчатых веществ... было обнаружено три тома сочинений Добролюбова, несколько тетрадей собственноручных сочинений Александра Серафимова Попова и переписка его с писателями-народниками Глебом Успенским и Короленко, которые, судя по письмам, принимают живое участие в судьбе Попова и стараются помещать произведения его для печатания в журнале «Русская мысль» и в газете «Русские ведомости»...

Это из протокола от 22 апреля 1892 года.

В другом донесении говорилось, что «Александр Попов иногда по ночам занимается какою-то работою на холодном чердаке своей квартиры в надворном флигеле, и работа эта производится Поповым даже в холодное время года...»

Много лет спустя, вспоминая об Усть-Медведицкой, о годах ссылки, об отъезде из станицы в Ростов, Серафимович говорил друзьям: «...Чем же все-таки хороша мне Усть-Медведицкая? Близким выходом Дона в море? Но есть места к нему и поближе. Крутой, обрывчатый берег, террасами спускающийся с большой высоты к самому Дону, где в укрытии от степных ветров и степных вихревых пыльных завертей приютился целый рыбачий флот — и шлюпки, и струги, и баркасы, и пассажирские катера. С высоты Усть-Медведицкой далеко видать округ...»

Стихия народной жизни с богатством человеческих характеров, звучанием доподлинной живой речи, яркостью пейзажных красок преобразила художественную память Серафимовича. Усть-Медведицкая «населила» его память множеством жизненных ситуаций, неповторимых по драматизму схваток в казачьей среде. С этих высот действительно было далеко видно вокруг...

ГАЗЕТНЫЙ «ПЕРЕКРЕСТОК» ЛИТЕРАТУРЫ

— Вы должны избегать волнений. Вы занимаетесь, вероятно, каким-нибудь изнурительным трудом?

— Я писатель, — ответил больной и улыбнулся. — Скажите, это опасно?

Доктор приподнял плечо и развел руками.

— Опасно, как и всякая болезнь... Лет еще пятнадцать-двадцать проживете. Вам этого хватит?

Л. Андреев. Книга (1901)

Ежегодный обед акционеров «Приазовского края» — первой в Области Войска Донского ежедневной газеты — в 1897 году являл собой подлинное торжество денежного мешка в так называемой «сфере гласности».

На самом видном месте возвышался ростовский табачный миллионер Кушнарев, крупный акционер газеты.

Золотая цепь на животе — для «котов ученых» — газетчиков, — устало-презрительное выражение в умных глазах вчерашнего мужика, начавшего с лаптей и кончившего миллионными оборотами... Роль покровителя отечественной печати была для него явно лестной.

Рядом с ним сидели акционеры помельче, далее блистали полковничьими погонами чиновники атаманской канцелярии из Новочеркасска. Выделялся благодаря тучной фигуре редактор-издатель С. Х. Арутюнов, бегающие глазки которого и сейчас словно говорили: «Только в покое... только оставьте меня в покое... Что хотите — говорите, пишите, делайте, а меня в покое... я знаю свои три тысячи в год, и больше ничего».

Звучали тосты в честь процветания промышленности, кредита, гремел оркестр. Подвыпивший поэт читал беззубо-сатирические стихи, льстившие самолюбию табачных, угольных, хлебных толстосумов Юга, подогревавшие отрадное чувство взлета, бума:

> В Таганроге стало шумно.
> В уши словно бьют колокола:
> Гомерические куши,
> Миллионные дела.
> Рельсы, шпалы, банки, вклады —
> Ничего не разберешь...

Именно в это время В. И. Ленин писал о стачке, промышленном подъеме Донбасса, Азово-Черноморья, всего русского Юга: «Насколько Урал стар и господствующие на Урале порядки «освящены веками», настолько Юг молод и находится в периоде формирования. Чисто капиталистическая промышленность, выросшая здесь в последние десятилетия, не знает ни традиций, ни сословности, ни национальности, ни замкнутости определенного населения. В Южную Россию целыми массами переселялись и переселяются иностранные капиталы, инженеры и рабочие» [1].

Александр Серафимович, сотрудник «Приазовского края», заведующий мариупольским отделением газеты, видел уже подобные пиршества. Ростов, не запечатленный в летописях тысячелетней истории, не знавший былин, чудотворных мощей, с конца XIX века вдруг стал подавать голос гудками заводов, трубами сотен пароходов на причалах, а также в портах Таганрога, Мариуполя.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 488.

До десятка имен миллионеров — среди них хлебный экспортер Парамонов, табачные фабриканты Асмолов и Кушнарев, промышленники Кошкин и Шушпанов — гремело в Ростове. Задолго до Рябушинского, завладевшего в начале XX века московской печатью, к борьбе за овладение прессой приступили именно короли угля, металла, хлебные торгаши. «Приазовский край», харьковский «Южный край» Юзефовича, орган съездов горно-промышленного синдиката — таковы первые вехи капитализации русской печати, до того захваченной только бумажными фабрикантами («Русское слово», «Одесские новости»).

Из русских писателей XX века почти все — начиная с А. М. Горького, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна и кончая К. И. Чуковским, И. Г. Эренбургом, сотрудничавшими в «Речи» и «Биржевых ведомостях» петербургского миллионера Проппера — прошли через газетный «перекресток»» литературы. Для кое-кого он оказался и тупиком. Серафимович не раз впоследствии весело смеялся, когда Е. Н. Чириков, прошедший ту же школу подневольного труда и унижений в провинциальной прессе, рассказывал о «кормлениях» цензоров.

— Цензора у нас в газете угощали с шуткой, улыбкой, с особыми иносказаниями. Шустовская водка — «передовая», коньяк — почему-то «телеграммы», вина — «иностранные известия»... Так и слышишь:

— А не принять ли рюмочку «последних известий», почтеннейший Петр Семенович?

— Не могу, милейший, уж больно «передовицы» у вас крепки...

— Так я вам «хроники»? Шампанского? Из подвалов Голицына...

Великое самообладание, чувство пути надо было иметь, чтобы не испачкаться в этой атмосфере делячества, цинизма, мелочной игры самолюбий, в «буфетных революциях» журналистской богемы.

...Отделение «Приазовского края» в Мариуполе — это, собственно, две комнаты на Георгиевской, одной из центральных улиц города, один корреспондент (он же и заведующий), посыльный мальчик и... бесконечная россыпь фельетонов, заметок, очерков под рубрикой «Мариуполь» в газете... Это и поездки по округе, встречи с очень многими людьми, и постоянная самооборона от обывателя, жаждущего пригнуть тебя до своих «высот».

Серафимович порой шутил:

— Что такое провинциальный корреспондент? Это бескорыстное, то есть неоплачиваемое, злополучное существо, живущее «на бегу». Зарабатывает он ничтожно мало, а преследует его вся округа тысячью способов. Анонимными письмами, отказом в лавке оптовых товаров, косыми взглядами квартирных хозяев. И конечно, доносами по начальству.

Но вначале — после вынужденного затворничества в Усть-Медведицкой — Серафимович испытывал ни с чем не сравнимое чувство радости от жизни на людях и «среди людей». Пусть скудна и неблагодарна та «нива», которую ему надо обрабатывать в газете — критика безделья городской думы, проделок купцов, переписка объявлений, — но зато сколько неожиданных встреч, сюжетов судеб! Истоки множества произведений писателя — в этом периоде газетных мытарств...

...Мариуполь — крупнейший порт хлебной торговли. Рядом с ним — угольный порт. Окруженный хлебными амбарами, где денно и нощно ссыпался, перегружался хлеб, он был похож на не закрывающуюся никогда ярмарку. Нестройный гул, гам, пришлые артели грузчиков на причалах, суетящиеся маклеры — и перетолченная сотнями подвод грязь на улицах. Осенью эта грязь выглядела, как и в иных хлебных городах, золотой: так плотно замешена она была на зерне... Стаи птиц слетались на дороги, площади перед ссыпками и клевали зерна.

Но что творится в этих амбарах, на пристанях, на «подступах» к городу!

Однажды на исходе лета Серафимович поехал по бойкой степной дороге мимо сел, где уже гудели молотилки, на конезавод. Дорога как дорога. Но степь никогда не оставляла его равнодушным. Она была в те годы просторна, не стеснена постройками. Общий тон ее был серовато-зеленый, однообразие нарушалось яркой краской некоторых трав, стоявших еще в цвету. Колыхались на ветерке светло-голубые звездочки петрова-батига, рядом с ними белела россыпями зонтиков кашка, перевитая каким-то ползучим вьюнком с розоватыми цветочками, напоминающими садовую повитель.

Прекрасна степь — извечная колыбель казачества! Серафимович подумал, что не прав, пожалуй, был в одном его любимый Глеб Иванович. В очерке «Тише воды, ниже травы» он сказал: «Даже степи, еще только начинающиеся у истоков Дона, по временам сильно допекали меня.

И, кажется, чему бы тут допекать? Горизонт, не представляющий взору ничего, кроме длинной, туманной нити земли и неба; упорный ветер, неутомимо несущийся навстречу одинокому нищему пешеходу, терзающий одинокую ветлу, бьющий в задок кибитки ровно, мерно, скучно...»

Нет, степь не однообразна, и допекать она не может. Допекает — и всерьез — нечто иное...

На дороге неожиданно возник затор. Двигавшиеся в сторону города мужицкие брички с зерном вдруг остановились, сбились в кучу, из придорожных канав к ним кинулись какие-то странные люди... Начался спор, торопливый торг.

— Что за суета?

Возница, стегнув коней ременным кнутом, нехотя ответил:

— Каждый год такое творится... Амбарщики хлебушек выколачивают... Встретили мужичков заранее, высмотрели, сейчас будут хватать за вожжи, кричать, гнать коней к своему амбару... Гляди, гляди — и сивуху уже достали... Ну тут уж мужик не устоит. Цену собьют, объегорят, добро, если коней не подменят. Да и в амбаре обвесят — весы беспременно с погнутыми стрелками, гири подпиленные...

На дороге и впрямь закипало суетливое пиршество. Из широкогорлой бутыли, обернутой в солому, хлестала сизоватая жидкость... Распаренный мужик, ухмыляясь, диковато оглядев проезжих, держал кружку, а багроволицый, подпивший уже приказчик амбарщика торопливо помечал мешки на бричке...

В самом Мариуполе Серафимович очень скоро разглядел еще одну разновидность маклера — лощеного проныру, рыбу-прилипалу к каждой сделке, подряду. Этот вертится в пространстве между амбарщиком и экспортером. Разнюхает, у кого сколько товара имеется, узнает цену — все сообщит экспортеру. И если продажа происходит через его посредство — ему с обеих сторон следуют «куртажные».

— Помилуйте, неужели нельзя без него обойтись? Это же паразит? — возмутился однажды Серафимович.

— Обойтись-то можно, — пояснил его друг грек Георгий Псалти, — но с ним купля-продажа творится както «веселее». Он начинен сплетнями, анекдотами, при завершении сделки — застольный оратор. Знает все вертепы, играет во все карточные игры, конечно же, сводник...

Уже первые очерки Серафимовича «В пяти верстах от Мариуполя», «В лапах амбарщика», «Объегоривают мужика», «Страшно жить» резко выделялись среди прочих газетных материалов «Приазовского края». Он не умел воротилам хлебной и угольной торговли «истину с улыбкой говорить». В газете, которая была задумана как «фасадное» украшение королевства угольных, хлебных, табачных прибылей, вчерашний поднадзорный писал с ошеломляющей прямотой.

Заметив, например, как вгрызаются в тело России иностранные капиталисты, грабя ее богатства, оправдывая грабежи «просветительской миссией», он с сарказмом отмечал: «Жадной толпой сбегаются они «на ловлю» не чинов, а денег (впрочем, при случае и от чинов не откажутся), употребляя все усилия, чтобы высосать вокруг себя своим капиталом все, что только возможно. Чуждые народу, они идут сюда только *нажиться, а не жить*. Можете себе представить, как они относятся ко всему, что их окружает. Для них, что называется, нет ни веры, ни закона: второе заменяет уложение о наказаниях, первое — барыш. Не подумайте, что я хочу унизить иностранного капиталиста перед нашим «расейским», о нет! — я слишком далек от этого. Эти господа все одним миром мазаны. Я только хочу поумерить восторги тех, кто захлебывается культурной миссией иностранцев» (13 мая 1897).

Наблюдая быт Мариуполя, Новочеркасска, Ростова, Серафимович все чаще приходил к мысли, что большинство обывателей, босяков, завсегдатаев «Палермо» (увеселительный сад с театром и рестораном в Ростове) живет, как будто пятясь... задом к пропасти! Они знают, что сзади пропасть, в которую могут упасть всякую минуту, но не смотрят в нее, а целиком захвачены тем, что видят.

Во время поездки на одну из шахт — в Области Войска Донского был и шахтерский Александров-Грушевский район (г. Шахты) — Серафимович встретился с такой застылостью патриархального сознания, одичанием — с обеих сторон! — что на минуту показалось: не остановилось ли время? Старик шахтер чуть ли не прослезился простодушно, вспоминая «понятное», по старинке творившееся грабительство недавних времен:

— Как же! А простор какой был! Дикие козы в степе ходили, сказывают, из-за Каспия добегали, сайгаки, ейбо! Разве нынешние времена? А шахта? Прибежище и сила. Бывалыча, с каторги убегет человек али попрактикуется грабежом — куды, куды? — на шахту. «Есть пач-

порт?» — «Извините, сделайте одолжение...» — «Спущайте». Спустют голубчиков и-и как у Христа за пазухой: полиции, как и нет ее. Иной год, два... по пять, по десять лет не вылазили, ей-бо! Ну, слова нет, денег им, почитай, не платили, разве товарищи водки принесут, ну, зато полиция не касается...

Приезжая в Ростов, Серафимович любил бывать там, где копошащаяся людская масса живет наиболее открытой, даже «наглядной» жизнью.

...Вот он, с неизменной щетиной усов, бородкой, в аккуратном костюме, идет по одному из мрачноватых уголков старого Ростова — району мелких скупщиков, торгашей, идет, пристально всматриваясь в суетящихся оборванцев. Босяки, «огарки», как назовет их С. Скиталец, бывшие люди, еще не явившиеся публике на сцене Художественного театра, в горьковских пьесах — как муравьи в улье. Сопровождающий его репортер «Приазовского края» Петр Гольденов — своего рода ростовский дядя Гиляй — обращает внимание писателя на очередной интересный человеческий тип. Гольденов тронул его за плечо:

— Фармазон идет... Приглядитесь-ка к нему...

Из узкого и кривого переулка, как будто протиснувшись между старых и мрачных лавчонок, действительно вынырнула подвижная фигура оборванца. Быстро осмотревшись по сторонам, он остановился как бы в нерешительности. Усилия мысли были явно трудны для него. На испитом лице его, заросшем черной бородой, — спешка и беспокойство.

Фармазон не обращал никакого внимания на двух любопытствующих господ. Сжимая что-то завернутое в тряпицу, он двинулся к одной из «темных» лавок, где торговал известный старьевщик Авдеич.

— Сейчас он, видно, сбыть что-то хочет. И боится продешевить, и держать у себя опасно: самого обворуют. Подойдем послушаем. Меня здесь знают как своего...

— Значит, и здесь с «седьмой заповедью» плоховато... Как и в Мариуполе...

Гольденов рассмеялся.

— Да, принцип «не укради» давно утратил всякую святость. Все, что украсть можно, — украсть до́лжно... У нас каждый хозяин половину сил тратит на то, чтобы скопить добро, другую — на то, чтобы охранить его от соседа-вора, от босяка, дармоеда. Если в среде биржевиков, воротил с Садовой эта новая заповедь смягчается не-

гласным примирительным соглашением, то здесь она действует свирепо. Сейчас вы увидите...

— Почему его зовут «Фармазон»? — спросил Серафимович, следуя за Гольденовым.

— Это его кличка среди городской голытьбы. Слывет за мелкого и опытного воришку. Своей «специальностью» он избрал проверку незапертых парадных ходов, откуда удачно похищает шубы и пальто. Не брезгует также и калошами... Иногда, правда редко, делает и стремительный «осмотр» квартир... Но умеет так искусно обделать свои «дела», что... не навлек на себя подозрения полиции. Секрет его удачи прост: он работает один, без помощников, которые, по мнению его, только «дело портют». К тому же умеет «валять дурака», притворяться сиротой казанской... Полиция знает его как горчайшего пьяницу. И только...

Фармазон между тем подошел к одной из «темных» лавок, где торговал и часто ночевал старьевщик Авдеич...

Дверь лавчонки, обитая рогожей, была полуоткрыта. На витрине за толстой решеткой лежали связки аксайских кос, замки, подковы, куски мыла и поношенные сапоги...

— Чего засиделся, старый хрыч? — сердито заговорил Фармазон.

— Говори уж, зачем пришел...

— Вот, — Фармазон, видимо, развернул сверток. — Господь за труды послал честному человеку. Серебро восемьдесят четвертой пробы...

— Серебро... Это серебро надо еще посмотреть, — бормотал Авдеич. По глухому звону металла можно было догадаться, что он дрожащими руками принимал от Фармазона ложки, ножи. — В теперешнее время и господа фабриканты мошенством стали заниматься. Выпускают заместо серебра поддельное аплике...

— Ладно, не бормочи, знаем твои подходы. Аплике... Сам ты на аплике похож... Ты вот доставай деньги, а там уж будешь рассматривать...

— Чего спешишь? Деньги... А много ли этих денег хочешь?

— Что с тебя взять? Человек-то ты свой... Давай десятку.

В этот момент Гольденов подхватил Серафимовича под руку и спешно повел прочь от лавки. И своевременно. Фармазон от, вероятно, неожиданной затрещины вылетел из лавки и чуть не упал в грязь. Но тут же вско-

чил и, не дав Авдеичу, суховатому, но еще крепкому старику, захлопнуть дверь, опустить решетку над витриной, ринулся вновь в глубь лавки...

«Да, это уже болотное дно, которого знать не хотят отцы города», — думал Серафимович.

Сам Гольденов — он же «П. Луганский, П. Южный» — в газете фигура тоже в известной мере «огарочная», обломок личности. Хороший репортер с бойким пером, он мог написать при нужде вполне приличное стихотворение. Одно из его стихотворений появилось в коллективном сборнике, изданном «Нивой», рядом со стихами августейшего поэта «К. Р». Эту потрепанную со временем книжку он и предъявлял порой друзьям с озорной гордостью. Гордился он — чаще в пьяном виде — и тем, что в молодости пил с Куприным, с «великим Власом», то есть В. М. Дорошевичем. В редакции пробовали лечить его от алкоголизма у врача-гипнотизера. Сеанс проходил вроде успешно, но позднее Гольденов признавался, что у врача он... притворяется.

Босяки особым чутьем чувствовали в нем своего поля ягоду.

Изнанка пресловутого капиталистического бума, обилие «человеческой пены» на задворках больших городов, жалкий вид всего покосившегося, временного, измятого и искалеченного — было от чего прийти в ужас и негодование! В мамаевом плену нищеты, бессмыслицы бытия, кулачного права находилось множество душ. Наблюдая эту изнанку торгашеского преуспеяния в Ростове, Новочеркасске, Мариуполе, Серафимович оттачивал аппарат художнического зрения, слуха, вырабатывал особый повествовательный жанр.

Что это за жанр?

Многочисленные зарисовки, очерки, фельетоны Александра Серафимовича, опубликованные в «Приазовском крае», можно было объединить, опираясь на давнее определение Александра Блока: «Это, собственно, не литература, а человеческие документы». Когда появляется такого рода литература? Александр Блок, живший часто в атмосфере камерного, рафинированного слова, далекого от «подлого» языка улицы, чутко ощущал увеличение разрыва между живым словом и книжным. Разрыв этот преодолевался часто стихийно... «Есть у нас, кроме не вытанцовывающейся «золотой середины», еще один род литературы, постепенно делающийся периодическим. Это, собственно, не литература, а человеческие документы.

Когда воздуха не хватает, отдельные люди и целые группы людей начинают задыхаться и кричать.

Кричит ли это вся больная Россия, или это отдельные вопли тех, кому мать молока не дала. Короче, в этих книгах есть не одни чернила, но и кровь... Книги в лучшей своей части косноязычны, но ведь и настоящие мученики чаще всего косноязычны, а не красноречивы».

Мысль о «документе-вопле», о необходимости прорвать остывшую груду мертвых слов, гладкопись символизма, вообще ввести в литературу новые фигуры, речь, обжигающую новизной, неистовостью страстей, была очень верна. Чем победил когда-то меланхолию сентиментализма Пушкин? «Молодой Пушкин черпал золотым ковшом народную речь, еще не остывшую от пугачевского пожара», — скажет по другому поводу А. Н. Толстой. На рубеже XX века А. М. Горький входил в литературу и с новыми героями, и с речью, уже раскалявшейся от грядущих пожаров. Резко повышалась «температура» страстей, речей, грознее становился драматизм конфликтов и в рассказах Серафимовича. В них как будто тоже был уловлен крик, а отнюдь не спокойная жалоба.

...Однажды мальчик-посыльный Саня, единственное «подчиненное лицо» Александра Серафимовича в Мариуполе, пригласил его по просьбе отца, безногого рыбака, в гости. В небольшом домике на берегу Азовского моря, в застольной беседе писатель услышал несколько житейских историй. Будничное и страшное смешалось в них. И «смесь» эта была тем более страшной, что сам очевидец и участник этой жизни, отец Сани, Фрол Спиридонович, не видел часто ужасного ожесточения схваток с нуждой, извращающего людские характеры духа наживы, говорил о них обыденно-спокойно:

— Завелся у нас однажды «ледяной вор», захребетник, браконьер по-вашему... С порчей человек, полегче норовил прожить. Шастал зимой по льду, искал чужие лунки и выбирал рыбу...

Серафимович знал, как расправлялись с конокрадами казаки. Избитого всей станицей конокрада, вернее его окровавленное тело, сволакивали к границе станичного юрта и сбрасывали на землю «чужой» станицы или в овраг... Но здесь! Месть отца и сына, поймавших браконьера, поражала страшным спокойствием деловитости.

— Поймали этого Петра Дранько, «ледяного вора», прямо у лунки. И куча рыбы у его ног... Он сразу понял, что смерти ему не миновать, боролся отчаянно. Но ста-

рик с сыном, не сговариваясь, припомнили, видать, каждый про себя и обмороженные ноги, голод, все страхи нашего промысла. Сил это, значит, прибавило им. И скрутили. А дальше... И мы, рыбаки, ужасались долго: продернули веревку подо льдом и давай его таскать понизу, живого, из одной лунки в другую... А когда совсем заледенел, покрылся панцирем, поставили на лед, вморозили вертикально, ровно статуй... Еще и весной носило льдину с ним, с вором, по морю...

Побывав впервые на шахте — эта поездка воссоздана в очерке «Под землей», — Серафимович был вновь потрясен обыкновенностью в глазах окружающих каторжных условий труда. Эта тревога за человека, готовый вырваться крик разлились по всей ткани очерка, превратившегося в одно из первых в русской прозе обвинений Молоху капитализма.

«Тягальщик, надев лямку, поправил ее на груди, потом стал на четвереньки и, подогнув голову, изо всех сил натянул веревку. Но трудно было сдвинуть придавленные тяжелой грудой салазки. Руки и ноги скользили по мокрому полу. Он цеплялся за все неровности, пробуя ногой и ища точки опоры, дергал то в одну, то в другую сторону, как лошадь.. Раза два я видел, как разъехались у него руки и ноги в полужидкой грязи, сочившейся на полу, и он ударился грудью о плитняк.

На него тяжело было смотреть — это была агония труда...»

Сам спуск в шахту — с визгом и грохотом — был страшен. Шатая в темноте по проходу, улавливая из-за уступов хищные, как волчьи глаза, огоньки шахтерских лампочек, Серафимович с грустной иронией вспоминал частушку подвыпивших шахтеров:

Шахтер кутит по ночам,
Не сдается богачам...
Эх, а если прозевал,
Засыпайся под обвал...

Подобные зрелища наполняли сердце Серафимовича глубокой печалью и гневом. Если труд — проклятье, а земля приравнена к «юдоли слез», если запуганный, забитый человек творит из покорности единственную свою мудрость, то о каком процветании края можно говорить?

Что думал о материалах Серафимовича редактор-издатель С. Х. Арутюнов?

На первых порах он как человек, не читавший вни-

мательно своей же газеты, приезжавший в редакцию попить чайку да побалагурить, ничего не замечал. Но затем и он понял, что фельетоны Серафимовича, его выпады против местных негоциантов, иностранных вкладчиков раздражают акционеров газеты. «Эти заводчики, фабриканты, горнопромышленники, — вспоминал сотрудник «Приазовского края» М. С. Барабанов, один из помощников фактического редактора газеты Н. И. Розенштейна, — вложившие в газету миллионную часть своих барышей, нанимали своих редакторов и сотрудников — или, во всяком случае, смотрели на них как на рабочих, которых нанимали на фабрики, шахты и заводы. С одним, правда, отличием — прибавочная стоимость в ее материально-денежном выражении ввиду ее относительной скромности могла их не интересовать. Для получения ее в их распоряжении был источник более обильный. Но их не могла не интересовать, так сказать, «дифференциальная рента», которую приносила газета как аппарат воздействия на общественное мнение, как средство давления на правительство, как орган агитпропа капитала».

Вызов в Ростов — это было в конце декабря 1897 года — «для объяснений с редактором» не был для Серафимовича неожиданностью. Он понимал, что пишет не просто «радикально» для провинции. Он, по докладам негласного цензора, — «человек с пессимистическими взглядами на все окружающее его, того же направления его корреспонденции». С. Х. Арутюнову, вероятно, это негласное для Серафимовича замечание было известно.

Понимал и все же писал не просто «радикально», но с явным презрением даже к либералам! И презрения нескрываемого, как в статье «Разговор по душе», было предостаточно:

«...Но больше всего мне доставляет наслаждения, когда я отравляю ваше буржуазное спокойствие, ваше счастье, если только оно есть... яркими картинами и образами гнетущей нищеты, людского горя, страданий и несчастья. Эти мрачные люди, бродяги, рабочие, босяки, измученные, забитые женщины, девушки, выброшенные на улицу, умирающие с голоду дети, оборванные, голодные, с мольбой в глазах окружают вас со всех сторон, смотрят на вас со страниц газет... И вы не можете оторваться от них, не можете не читать о них, потому что это «интересно».

Арутюнов вовсе не был настроен изгонять Серафимо-

вича. Этот хроникер, «разгребатель грязи», явно помогал повышению тиража, росту его, Арутюнова, влияния. Редактор вообще был убежден, что печать и должна... э, как бы «полировать» Русь-матушку, как самовар к торжеству чаепития. Даже и «золой» из печки!

Но тут в действие вступили иные силы.

— Меня вызывали в жандармское управление, — начал он неприятный разговор. — Еще раз рассказали о вашем прошлом... Я человек добрый, я на многое закрывал глаза. Но ваши нападки на мариупольскую думу, на многих предпринимателей?! В жандармском управлении увидели особый смысл в ваших, очень интеллигентных корреспонденциях и заметках... Я услышал, что вы принадлежите к той части нашей общественности, в общежитии именуемой интеллигенцией, которая имеет одну, преимущественно ей присущую особенность... Какую, спросите вы?

Арутюнов выдвинул ящик стола и, не вынимая листочка бумаги, прочитал записанное им, вероятно, по памяти после посещения управления:

— «Она, эта интеллигенция, которую нельзя смешивать с образованной частью общества в целом, принципиально и при этом восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленные на дискредитирование государства, а также духовно-православной власти. Ко всему остальному в жизни страны она индифферентна...»

Ощущалось, что плохо переваренный циркуляр министра внутренних дел В. К. Плеве, с которым ознакомили Арутюнова в жандармерии, потребовал от него для усвоения слишком много усилий недалекого, но хитроватого ума.

О продолжении работы в «Приазовском крае» не могло быть и речи. Серафимович съездил еще раз в Мариуполь и вернулся в Новочеркасск.

•

В Новочеркасске, столице Войска Донского, к моменту изгнания Серафимовича из «Приазовского края» события шли своим чередом. Шла подготовка к сооружению на главной площади памятника покорителю Сибири Ермаку. По проекту скульптора Микешина Ермак Тимофеевич должен был быть изображен стоящим на скале, держащим в одной руке казачье знамя, а в другой... Другой он протягивает царю сибирскую корону...

Принимающее корону, вообще верную службу казачества самодержавие предлагалось вообразить каждому самостоятельно: ширь небесная была беспредельна. Надпись на цоколе? Всплыла было поговорка ермаковской дружины: «Отвага мед пьет и кандалы трет...» Кое-кто припомнил старую формулу: «Царствуй, царь, в кременной Москве, а мы, казаки, — на Дону и Волге». В итоге восторжествовало самое скромное: «Ермаку — донцы».

Серафимович и ранее не раз задумывался о прошлом и настоящем казачества. История была рядом — Старочеркасск, станица на острове среди Дона, где еще в начале века на майдане продавали разные товары и пленных. Пестрота доспехов и одежд была невообразимая: атласные шальвары соединялись с дырявыми чеботами, бархатный кафтан прикрывал рубище продранной сорочки, на старой сермяге блестел золотой пояс, и вместо плаща могучие плечи облегал персидский ковер, или на них же развевалась турецкая шаль.

Со школьных лет звучала в душе и суворовская похвала казакам: «...Не могу довольно похвалить отличную храбрость донских казаков при низвержении не токмо кавалерии, но более пехоты пиками их...»

А слова Кутузова из письма к основателю Новочеркасска М. И. Платову? «Почтение мое к Войску Донскому и благодарность к подвигам их в течение кампании 1812 года... пребудет в сердце моем... Сие чувствование завещаю я и потомству моему...»

Но что происходит с казачеством сейчас, на исходе XIX века? Казачьи струги плывут лишь в песнях. Грозный царь дарит соболиные шубы в легендах, а сейчас гордые потомки Ермака залезают в долги, чтобы «справить» коня для службы, купить керосина в лавке явного инородца.

Да, казаки вынуждены выбирать между традицией и «новой» необходимостью. Традиция говорит казаку: ты — воин, а не пахарь, не фабричный рабочий, не горожанин... За тобой и родом твоим числятся боевые заслуги, подвиги, доблестные дела. Ты — глаз и ухо армии во время войны. Будет война — поправишься, а пока терпи до последнего предела, хотя бы даже без надежды быть... атаманом. Но капитал не знает почтения к традициям. Уже трудно снарядить сына, а предприимчивый «инородец», торгаш, мелкий коммерсант, завоевывает себе в станице значительную роль. Старая хлеб-соль забывается, «капитал» — орудие ломки — врезает свою

колею в твердыни быта, творит такой переворот в душах, что невольно возникают суеверные догадки: «мир кончается», «комета землю запалила».

...К счастью для Серафимовича, он очень скоро нашел в Новочеркасске и новую работу. Газета «Донская речь», считавшаяся изданием канцелярии атамана Войска Донского, выходившая два или три раза в неделю, остро нуждалась в пишущих людях. Ее издатель — размагниченный, добрейшей души человек А. И. Шепкалов — охотно взял опытного литератора, резко выделявшегося не только на новочеркасском фоне, в сотрудники. «Рассказы его (Серафимовича. — *В. Ч.*), время от времени появлявшиеся в «Донской речи», — писал в своих воспоминаниях М. С. Барабанов, — могли бы составить украшение любой столичной газеты. Выделялся он среди прочей новочеркасской братии и определенным политическим лицом, примыкал к социал-демократии, в то время как другие новочеркассцы не шли дальше расплывчатого демократизма... По недостатку работников он должен был вести текущую работу, делать газетные вырезки и т. п. Казалось, что на такого рода работу он смотрел как на тяжелую повинность. Во всяком случае, на руководящую роль в газете Серафимович не претендовал».

Итак, снова редакция... Мелькает в табачном дыму силуэт метранпажа, таскает в типографию гранки сторож, корректор время от времени, насаждая грамотность, заливается смехом. Репортер с видом бродячей собаки, возвращенной с живодерни, обжигаясь чаем, смотрит свои гранки.

Газета была солидной, с неким «универсализмом» интересов, размахом. Делались попытки дать полную опись событий дня, уловить в словесную снасть все, что видит око и до чего журналистский зуб досягает. «Правительственные распоряжения», «Внешние известия», «Внутренние известия», «Телеграммы», «Злоба дня», «Чем хата богата», «В степи мирской», «Станичные этюды», «Зигзаги», «Отголоски», «Станицы, хутора, села» и т. д. — так назывались рубрики газеты. За неимением сотрудников многим приходилось выступать в двух, трех лицах под псевдонимами «Домосед», «Скептик», «Городской», «Не наш», тот же П. Южный и П. Луганский...

Направление? О нем Серафимович, хорошо знавший добродушного редактора-либерала, не спрашивал. Официальные сообщения, хроника смотров полков и училищ

и лишь подспудно — сквозь строки сообщений — критика многих сторон жизни в благоденствующей в целом Области Войска Донского. «Донская речь» велась в общем осмотрительно, без резких выстрелов в «крупную дичь», вроде акционеров «Приазовского края». Но и ей — ведь это были годы, предшествующие революции, — был присущ неизгонимый иронический настрой в освещении медвежьих углов быта, многих сторон жизни.

«В степи мирской, — начинает автор одной из статей, — «таинственно пробились», только не три ключа, а бесконечный ряд крайне сложных, разнохарактерных явлений. Если идти дальше путем сравнений, то можно с полным правом сказать, что нет здесь недостатка ни в больших многоводных реках, ни в весело-игривых малых речушках, ни в излучистых ручейках, ни в лужах, ни просто в лужицах и также, разумеется, в болотах. В отношении последних, впрочем, эпитеты таинственности совершенно неуместны, так как именно степь наша мирская славится с тех пор, когда на свете божием появилась пословица: было бы болото, а свиньи найдутся. Кто кого воззвал к бытию: свинья ли болото или болото свинью?»

Серафимович никогда не был «тенором журналистики», как говорили тогда о популярных Александре Амфитеатрове или Власе Дорошевиче. В его пере всегда было многовато «свинца». Он не брал высоких нот — для этого он был слишком серьезен, задумчив, углублен в свой предмет. Не умел он быстро переходить от серьезности к шутке, хотя ценил легкость и блеск иронии, без обиды сносил — даже изобретательно «провоцировал» их! — добродушные шутки над собой.

Степан Скиталец, поэт, сотоварищ Серафимовича по литературному кружку «Среды», вспоминал о Серафимовиче-журналисте: «Серафимович... часто страдал безденежьем... Он вынужден бывал иногда прибегать к «скорописи», но живой талант выручал его и в таких случаях... «Скорописные» рассказы печатал тайно от друзей-писателей, обыкновенно это был традиционный рассказ из народного быта, на котором Серафимович набил руку, — о старичке с посохом и котомкой, который куда-то идет.

— И старичок-то хороший, а идет! — не без юмора рассказывал о своем поспешном творчестве сам автор. — Куда идет и зачем — сам не знаю и куда придет в конце рассказа — неизвестно мне!

В конце концов «хороший старичок» благополучно попадал в редакцию и, право же, выглядел неплохо».

В «Донской речи» Серафимович впервые обрел подобие литературной среды, небольшое окружение, где ценили не сходство с окружающим провинциальным фоном, а непохожесть, свободу от этого стандарта. Здесь ценили остроумие, могли восхититься изящным, даже претенциозным образом, способным всколыхнуть, «завести часы» в душе, костенеющей в сонной одури.

— Смотрите, как пишет о пасхе этот Джеймс Линч в «Курьере», — говорил, разворачивая московский «Курьер», кто-либо из редакционной братии. — «Зима ушла, и только грязно-белый кончик ее мантии волочится по улыбающейся земле...» Изысканное, брат, воспитание...

— А я не вижу за этим никакой весны — «мантия» убивает зрительный образ, — возражал Серафимович. — Это то же самое, как пресловутый «золотой иконостас заката»...

— Ты старовер, а тут иная школа... А дальше еще занятнее: «Словно сальное пятно, оттаявшее на солнце, Москва расплывается вширь...»

Серафимович подходил к читавшему и через плечо рассматривал заголовок фельетона в «Курьере»: «Когда мы, живые, едим поросенка...» Улыбка невольно топорщила его усы: возвышенно-трагическая пьеса Г. Ибсена «Когда, мы, мертвые, пробуждаемся» была у всех в памяти... Он не знал, что под псевдонимом Джеймс Линч писал в «Курьере» Леонид Андреев.

Дар иронии, искусство хлесткой зарисовки, внешне как будто похвальной, были не чужды многим сотрудникам «Донской речи». Чиновники атаманской канцелярии, коммерсанты негодовали порой, читая в газете насмешливые описания «степи мирской». Но как ухватить ядовитого писаку?

«Подле шумного, смрадного, преисполненного ожесточения Ростова приютилась чистенькая, красивая Нахичевань, по своей опрятности, — писал один из журналистов, — напоминающая те голландские уголки, где коровам на ночь хвосты подвязывают, дабы они хвосты не загрязнили... Но и в этой ровной идиллической тихой жизни есть кипучие струйки. Нахичеванец смотрит не в небо, это раб факта, действительности, и он всеми фибрами своего существа прилепился к земле и к ее радос-

тям. «Я лучше поищу, и крепко поищу здесь, на земле, того, что мне надо».

Этот шутливый тон, а тем более прорывавшиеся на газетные полосы сообщения о махинациях, жульничестве, о разного рода «незаживающих язвах», «гангренах» (так назывались фельетоны А. Серафимовича о нищенстве и проституции) давно уже не нравились в атаманской канцелярии.

...Ростов, куда вскоре после прихода Серафимовича переехала редакция «Донской речи», в те годы встречал прибывших блеском витрин на Садовой, гулом летнего сада и театра «Палермо», где хозяйничал ловкий делец Карапет Чарахчиан. «Шустовская водка несравненна», — безмолвно внушал полноватый блондин с рекламного стенда. Таинственный, в темных очках «врач» рядом с ним, казалось, нашептывал на ухо: «Мужчины, пишите мне. У меня есть для мужчин лучшее в мире средство. Оно называется Амрита. Оно уничтожает случаи слабосилия, последствия излишеств и...» Одесский цирк Морица ошеломлял ростовских удальцов «приглашением»:

«Вызов!

Так как я некоторое время уже нахожусь в городе Ростове-на-Дону, ожидая разрешения на борьбу, то по получении такого я сам вызываю всех профессиональных борцов вступить со мной в единоборство по французскому или швейцарскому (на поясах) методу. Плачу тому, кто в состязании по правилам поборет меня в течение 10 минут, премию до 500 рублей.

С совершенным почтением Д. Поль Абс,
чемпион-борец Европы».

Первая полоса «Донской речи» — реклама, вести о крупных сделках, сообщения с биржи — ласкала взгляд промышленников, либеральной интеллигенции. С удовлетворением читали именитые казаки, богатеющие верхушки станиц сообщения о том, что «30 июня войсковой наказной атаман произвел строевой смотр юнкерам новочеркасского юнкерского училища... прибыл в лагерь, смотрел сменную езду, рубку хвороста, уколы пикой, поблагодарил за лихость, выказанную при джигитовке».

А что это рядом? Очерк «На заводе» А. Серафимовича, от которого так и веет ощущением скрытого неблагополучия. Герой очерка рабочий Никита не просто работает... «Никиту захватило, как зубьями огромного мель-

кающего маховика. Изнемогая, задыхаясь, в жару, в угаре, в угольной пыли, он все кидал и кидал лопатой руду в подъемную машину, и пот, стекая, разрисовывал по его лицу причудливые узоры...»

Для управления Россией достаточно сорока тысяч чиновников! Эта аксиома еще успокаивала умы власть имущих. А тут вдруг зубья незримого маховика, какие-то «вненачальственные» закономерности, управляющие судьбами россиян, всякие «антагонизмы», противоречия... Казачьей верхушке, новоявленным магнатам угля, стали, торговли Серафимович показывал трюм, неприглядную кочегарку, где создается новая действительность, не управляемая уже канцелярией, действительность острой классовой борьбы.

Почти одновременно с Горьким Серафимович стал писать об обитателях «дна» — ночлежек, городских трущоб. Шикарная Садовая улица в его фельетонах представала в неожиданном свете: фанерный фасад благополучия ломался, вновь, как и в корреспонденциях из Мариуполя, обнажалась изнанка капиталистического процветания.

«Вы встретите тут, — писал Серафимович, — бледные, истомленные лица и наглые, пьяные, калек безногих, безруких, безглазых и здоровеннейших субъектов, бритых, с фонарем под глазами, мальчишек юрких, проворных и плутоватых, и девочек-подростков, при виде которых у вас сжимается сердце: через два-три года они будут выходить на улицу с другой целью» («Незаживающая язва»).

Царская администрация к началу XX века уже научилась — при всем обилии среди нее дубовых голов! — отличать приятных, неопасных «марксистов», занимавших профессорские кафедры и мечтавших о «гуманном капитализме» без эксплуатации и экспроприаторов, от опасных, пробуждающих призрак классовой борьбы. Первые были не просто приятны. «Тряпичные» бунтари, маргариновые оппозиционеры, они были даже нужны. «...Они с серьезным видом департаментского чиновника, — писал В. И. Ленин, — намеревающегося облагодетельствовать Россию, принимаются сочинять комбинации такого устройства, когда бы и волки были сыты и овцы целы» [1].

От сочинений Серафимовича веяло духом классовой борьбы. Сам труд для его героев — это проклятье, это

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 246.

Молох, а не Прометей-созидатель. Пусть еще среди его шахтеров, железнодорожников («Сцепщик»), металлистов («На заводе») нет бунтарей, есть лишь страдальцы. Но ведь это терпение не вечно.

Несколько лет спустя А. М. Горький обратит внимание Серафимовича на то, что не одно страдание — удел пролетариата. Прочитав рассказ «Маленький шахтер» (1895) — один из самых гуманистических в раннем творчестве Серафимовича, — он, раздумывая вслух по обыкновению, скажет автору...

«— Хорошо! — сказал он, нажимая на «о». Да вдруг поднялся во весь свой рост, протянул руку и проговорил взволнованно: — Вы не забывайте: шахтеры — ведь это же рабочие! Они ведь создают все, что кругом. У вас же они только бедненькие, забитые — жалко их... А ведь это не вся правда. Шахты-то кто прорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От воды-то захлебываются — кто откачивал? Вот у вас этот мальчонок — ну, жалко его, конечно. Но вырастет, он-де настоящий потомственный шахтер будет! Перед ним земля-то, недра раздвигаться будут. Это вот, знаете, забываем мы все».

О длительной работе писателя в газете при таком тоне публицистики говорить не приходится. В Новочеркасске к Серафимовичу, крамольному автору, пригляделись — прежде всего в атаманской канцелярии — еще быстрее, чем в период его работы в «Приазовском крае». Особенно большой шум вызвал его фельетон о ростовских спекулянтах шерстью Мелконове и Езекове, которые, узнав о повышении цен на шерсть — в Лондоне! — быстро скупили шерсть в округе по прежней, низкой цене. «Как видите, в этом случае не только овцеводы стригли овец, но и банк стриг овцеводов», — закончил писатель свой фельетон «Как в мутной воде рыбу ловить».

Последовало письмо в редакцию банковского дельца А. Бермана, который защищал г. Езекова как представителя старинной крупной фирмы, и выражал удивление нападкам «на личности, которые в торговом мире пользуются уважением».

Серафимович еще раз ответил разоблачительной заметкой «Павших щадить»...

Но его собственная участь была — закулисно — и на этот раз предрешена.

Что случилось — об этом лучше всего рассказывает сам писатель в письме от 3 января 1901 года к В. Г. Короленко:

«Многоуважаемый Владимир Галактионович! Я к вам с просьбой. Около трех лет работал в редакции газеты «Донская речь». Последний год газета издавалась в Ростове-на-Дону. Город коммерческий, деловой и мошеннический... Недавно я рассказал о проделках одного крупного воротилы из местных банков. Статья произвела огромную сенсацию в городе. Через неделю «Донская речь» была куплена этим самым воротилой, само собою разумеется, я очутился на улице...

Не будете ли Вы так добры оказать мне содействие пристроиться где-нибудь, в столице или в провинции — все равно — у меня семья, и плохо приходится».

«У меня семья...» Впервые мы встречаем в переписке среди забот писателя эти слова. Впоследствии они будут встречаться часто, и нередко в соседстве с неприятными словами «нужда», «в долг»...

Уже в Мариуполе Серафимович ощущал, что на его холостяцкое одиночество совершается деликатно некое покушение.

В доме местного грека Георгия Псалти, когда он бывал там в гостях, частенько стала появляться подруга Алины Ивановны Псалти. Это была девушка, претендовавшая на успех в литературе, печатавшая в «Приазовском крае» переводы с французского под псевдонимом «М. К.». Для роли жены, домоправительницы ей не хватало главного: она явно неумеренно поглощена была «проблемами», «вопросами»... Не семья сложилась бы, а дискуссионный клуб по проблемам социологии, философии, права! Тень несчастной и деспотичной Клеопатры Блавдзевич словно нависла над Серафимовичем. У таких теоретических, эмансипированных «кошечек» действительно слишком деспотичный нрав. Они не любят, не ведут хозяйство, а литераторствуют во всем. Из мужа они стремятся воздвигнуть живой монумент... своей книжной мечты о совершенстве!

Но скоро с одиночеством было покончено. В сентябре 1898 года Серафимович женился на коренной новочеркасской казачке Ксении Александровне Петровой. Это была величественная, наделенная крепким здоровьем девушка. И при всем этом — красоте, природном уме — она была и образованной. К. А. Петрова окончила в Петербурге Бестужевские курсы, владела иностранными языками.

НА ГРАНИ ВЕКОВ

В истории революций всплывают наружу десятилетиями и веками зреющие противоречия. Жизнь становится необыкновенно богата... Масса делает героические усилия подняться на высоту навязанных ей историей гигантских мировых задач...[1]

В. И. Ленин. Что происходит в России? (1905)

В январе 1902 года Серафимович получил короткое письмо из Москвы. Его нельзя было просто прочитать и отложить в сторону. Надо было принимать решение, вновь менявшее его судьбу. И не только его. В маленькой семейной квартирке писателя на Комитетской улице в 1899 году появился сын Анатолий. Серафимович еще раз пробежал взглядом по торопливо набросанным строчкам письма:

«Милостивый государь!

В «Курьере» подбирается хорошая компания беллетристов, и мне, как заведующему этим отделом и ценящему Ваш талант, очень хотелось бы привлечь Вас как сотрудника.

Плата — 7 коп. строчка.

Если Вы согласны, будьте любезны, уведомьте.

С искренним уважением Л. Андреев».

За дверьми кабинета слышались женские голоса — бабушки и Ксения Александровна, видимо, снаряжали на прогулку Толю. Как двинуться с таким малышом в далекий город? Он вспомнил, что когда «Донскую речь» перевели из Новочеркасска в Ростов, то и тогда ему пришлось переезжать одному.

К тому же Москва — крутая горка, способная «укатать» любого сивку. «Особенно, если ему... под сорок», — усмехнулся Серафимович.

Совсем недавно по пути в Петербург он не спеша проехал по Москве... Город рыхлый, явно купеческий. Лицо Москвы, как писал в «Курьере» тот же Леонид Андреев, — широкое, бородатое, слегка заспанное и умытое так, как умываются ребята в угольных лавках: нос и щеки чистые, а от скул по шее и ушам идет резкая полоса грязи...

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 208.

Но это лицо стремительно менялось... У Красных ворот, как свежий прямой гриб сквозь палую листву, пробился вполне буржуазный «небоскреб» — доходный дом, построенный купцом Афремовым. Извозчик, показывая кнутовищем на последний, восьмой этаж, покачал головой:

— Вавилон, ваше степенство, а не дом... И какой дурак туда полезет жить-обитать!..

Извозчик не знал, что Афремова быстро «перешибет» другой домовладелец, инженер Нирнзее, выстроивший в Гнездниковском переулке десятиэтажный дом. Его перекупит, правда, вскоре петербургский банкир, пресловутый Митька Рубинштейн. И вскоре один из поэтов скажет: «Ты Канадой пропахла, Тверская...»

Еще сохранялись глухие московские дворики с беседками, с чаепитиями под березами. Здесь по обычаю в описи приданого для невесты после иконы «божьего благословения» следовал всегда самовар... И пейзаж, быт Замоскворечья был почти таким, каким его увековечили Поленов и Саврасов, Перов и Прянишников.

Однако в поезде сосед по купе, московский старожил, пожаловался Серафимовичу на особый вид аферизма, совсем не старомосковского толка.

— Москва и раньше часто горела... Горят и сейчас Бутырки, пылают домишки в Дорогомилове. Пожарные обозы несутся, гремят колокольцами... Но нельзя уже ничему верить! Пожарам стали способствовать сами... страховые общества! Их у нас в Москве более десятка — «Россия», «Русь», «Надежда», «Меркурий», «Саламандра»... И они спекулируют на пожарах. Ради наживы, страховых премий поджигаются безжалостно склады, магазины, фабричонки... В общем, получается так:

В саду ягодка-малинка
Под прикрытием росла...

Серафимович невольно подумал, что Москва любит людей оборотистых, по-своему жестоких. «Москва бьет с носка», «Москва слезам не верит»...

Легко ли будет выдержать террор среды, одержимой спешкой приобретательства, азартом махинаций?

Долговечен ли, наконец, сам «Курьер» — детище либеральной московской интеллигенции?

Серафимовичу была известна и горькая доля всей русской прессы. При кажущейся свободе, «игривости» изо-

бличительной мысли иных властителей газетной полосы, королей фельетона, всегда ясно ощущался очень короткий «поводок», привязывавший их к денежному мешку. Как козы на привязи, эти короли фельетона вытаптывали лишь строго отведенные участки. Только что засверкала в Петербурге солидная газета «Россия» — блеск ее был, правда, желтовато-либеральный, — собравшая тоже «хорошую компанию» (В. М. Дорошевич, А. В. Амфитеатров, В. А. Гиляровский, проф. П. И. Ковалевский, журналисты Я. А. Рубинштейн и Л. Ю. Гольдштейн), как выяснилось, «поводок» действительно коротковат. Истинный хозяин ее, директор московского отделения одной немецкой фирмы М. О. Альберт, был, в сущности, недооформившимся кадетом.

Как у всякого либерала, у него была одна мечта — научиться на английский манер делать реформы без революций! Смелости М. О. Альберта хватило на выпад по поводу семейно-бытовых склок Романовых, «господ Обмановых», — публикацию нашумевшего фельетона А. В. Амфитеатрова... Газета вскоре исчезла с горизонта...

Трудно было ожидать какого-либо свободомыслия, чего-либо иного, кроме «кокетничанья с марксизмом 90-х годов» (так оценивала ленинская «Искра» позицию «Курьера»), от Я. А. Фейгина, редактора-издателя «Курьера», его помощников И. Д. Новика и Е. З. Коновицера, тесно связанных с коммерческим миром Москвы. Собственно, деньги двух простоватых московских купцов, братьев Алексеевых, и были «душой «Курьера», хотя журналисты, как убедится затем Серафимович, видели этих купцов лишь на редакционных собеседованиях в ресторанах «Эрмитаж» или «Континенталь»... «Собеседования» под шартрез были поразительно похожи на обеды акционеров «Приазовского края».

Но иной легальной прессы практически не было... Надо было решаться на переезд. Плата по 7 копеек за строку была достаточно высокой. Даже А. М. Горький в «Самарской газете» получал, будучи уже автором «Старухи Изергиль» и др., всего по 2 копейки за строку, а В. Г. Короленко, Гарин-Михайловский получали там же по 5 копеек.

Позднее Серафимович узнает, что Леонид Андреев в первые дни своей феерической славы едва не продал очередной рассказ «Русскому слову» (газета И. Д. Сытина) на таких условиях: «десять копеек строка и пятнадцать рублей авансом». Правда, за день до заключения договора

пришла книжка журнала «Русское богатство» со статьей Н. К. Михайловского о книге Л. Андреева. Посланец Сытина М. М. Бойкович объявил Андрееву:

— Леонид Николаевич! Иван Дмитриевич Сытин согласен на ваши условия...

Леонид Андреев указал на страницу журнала с рецензией Н. К. Михайловского и сказал:

— Сегодня условия другие: 25 копеек за строчку и 50 рублей аванса!

В 1901 году вышла наконец первая книга Серафимовича «Рассказы и очерки» (издание Б. Н. Звонарева, Спб.), включавшая рассказы «На плотах», «В тундре», «Поход», «Стрелочник», «Месть», «Прогулка», «Под землей», «Под праздник». Книга вышла по предложению самого издателя, заплатившего автору 300 рублей. С грустью подумал тогда Серафимович о том, что он лишен возможности подарить ее Г. И. Успенскому, — он был еще жив, но беспросветная тьма давно уже надвинулась и окутала некогда глубокий, светлый ум. Он умер в марте 1902 года.

...Знал ли Серафимович, раздумывая о переезде в Москву или Петербург, что его решение в известной мере было предопределено? Что за него «решили» — отчасти, конечно, иные люди, обстоятельства, новые закономерности литературного процесса, рожденные надвигающейся революцией? Едва ли... Человек вяжет свой чулок, не часто оглядываясь окрест, ему кажется, что он и предполагает и располагает.

Конец XIX — начало XX века — это время стремительного успеха А. М. Горького, который сам по себе стоил целой литературной группы. Началось восхождение новых литературных звезд — Андреева и Бунина, Куприна и Чирикова, Найденова и Шмелева... Рождалась — в противовес прежде всего символизму, социально-эстетической позиции, выражавшей политическую реакцию по всей линии, — новая «литературная галактика», в центре которой был буревестник, «буреглашатай» революции Максим Горький. Многих из его друзей — и Серафимовича, конечно, — недруги называли «подмаксимками».

И создавалась она не стихийно, не в силу некоего «чувства стадности», усиленного в писателях XX века засильем газетных империй, испугом перед толпами сплоченных дельцов. «В нас много тяжелой восточной лени, мы предрасположены к созерцанию, ленивы и бездеятельны.

Со всем этим в русской душе надо бороться упорно, постоянно, не покладая рук» — эту мысль Горький не только повторял в эти годы. Он выступил организатором революционных и демократических сил в литературе, научил многих — прежде всего на примере собственных произведений — осознать огромную социально-преобразующую роль художественной мысли, вдохновленной грядущей революцией.

В 1896 году в Нижнем Новгороде, в редакции «Нижегородского листка», где работал и будущий ответственный секретарь «Курьера» Николай Ашешов, стал появляться вместе с Горьким здоровенный волгарь — поэт Степан Скиталец. Бывший архиерейский певчий, он был «тенью» Горького, а скорее всего «собратом» горьковских босяков. Скиталец и одет был, как его кумир, — длиннополое ватное пальто с хлястиком, крылатка. Под пальто у него, как и у Горького, была черная блуза с кожаным поясом.

В 1898 году (17 апреля) Горький писал редактору «Журнала для всех» В. С. Миролюбову из Нижнего Новгорода о другой будущей звезде своей галактики: «В пасхальном № московской газеты «Курьер» помещен рассказ «Бергамот и Гараська» Леонида Андреева, — вот бы Вы поимели в виду этого Леонида! Хорошая у него душа, у черта! Я его, к сожалению, не знаю, а то бы тоже к Вам направил. С Потапенкой-то скучновато...»

Леонид Андреев не только искомый, но и «ищущий». В письмах к Горькому он жалуется на то, что «от курьерской фельетонной работы меня тошнит и временами не на шутку хочется удавиться» (24 ноября 1901 года). Но, с другой стороны, и он испытывает острое желание создать круг друзей, единомышленников, даже школу Горького: «В «Курьере» в противоположность «Русским ведомостям» — буйство сил, школа Горького, герои-босяки, место действия — подвалы и трущобы, речи — проклятия имущим. Л. Андреева фельетонисты прозвали «Полугорьким»... Эх, хочется мне сделать в «Курьере» хорошую беллетристику. Теперь зову Серафимовича» (из письма 7 января 1902 г.). Кстати, уже 3 декабря 1901 года Горький в письме К. П. Пятницкому тоже просит привлечь А. С. Серафимовича в затевавшийся в Москве журнал «Правда».

Подобные письма, сигналы ориентации и начавшейся организации новых литературных сил вокруг Горького — нередко самим же Горьким! — можно встретить в эти же годы и в переписке И. А. Бунина, Е. Н. Чирикова,

А. И. Куприна, Н. Д. Телешова, Н. М. Тимковского, В. В. Вересаева.

«С Потапенкой-то скучновато...» Скучновато и с Боборыкиным, и с Златовратским, и с Засодимским, и с Н. К. Михайловским... Еще скучнее среди писателей-коммерсантов, которые толпою жадною окружали «Ниву», «Живописное обозрение», «Пробуждение».

Дух коммерции, газетный бум, способный «истолочь» в душах всякую память о Пушкине и Достоевском...

А рядом звучные призывы к «возвышению» над социальной борьбой, как призрачной суетой, призывы ощутить дыхание бесконечности, бежать от «загрязненного» исторического места, называемого Россией.

> Окно мое высоко над землею,
> Высоко над землею...
> (З. Гиппиус)

В 1893 году появилась работа Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной литературы» — первый в ряду множества последующих манифестов декадентства, в которых проводилась ревизия гуманистических принципов и этических идеалов великой русской литературы. Душой множества новейших групп символизма, поэтического богостроительства надолго станет страх перед реальностью, перед реальной, а не мистифицированной историей, «миром как данностью» (Бердяев). В конечном счете страх перед народом и его революционными деяниями. В работе «Грядущий хам» тот же Мережковский отождествит народные массы — в его интерпретации толпы посредственностей, всецело довольных миром видимым, осязаемым, — с внутренней «желтой опасностью» для культуры: «Разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться. И прямой белый свет европейского дня становится косым «желтым»... Небесная империя, Срединное царство по всей земле от Востока до Запада, окончательная «кристаллизация», всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая шар земной, «паюсная икра» мещанства, и даже не мещанства, а хамства, потому что достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство и есть хамство».

«Школа Горького» — это и кружок «Среды», и издательство «Знание», и журнал «Жизнь» (редактор В. А. Поссе), и «Журнал для всех» В. С. Миролюбова. Их истори-

ческое значение в борьбе на два фронта: с откровенно коммерческими изданиями и с антиреализмом, дегуманизацией литературы, мережковщиной всех видов.

Еще до переезда в Москву в апреле 1902 года Серафимович посылает в «Курьер» небольшой рассказ «О том, как Епишка встречал светлое Христово воскресение». Он появился в газете 14 апреля 1902 года.

Внешне это типичный пасхальный, или святочный, рассказ. Как и андреевский «Бергамот и Гараська». Бедный сапожник Епишка, которого только три раза в жизни назвали Епифаном Васильевым Кокмаревым, злая и сильная жена его Акулина, согрешившая в няньках у купца и без угрызений совести вышедшая замуж за Епишку, нахлебник-солдат, живущий у Епишки в доме. Конечно же, он любовник мстящей миру Акулины... Куличи, звон колоколов, сборы в церковь... Епишка берет грех на душу, работает спешно и в пасхальный день. В конце рассказа, как и у Андреева, следует трагическая оглядка забитого ремесленника на свою жизнь, проскальзывает гримаса, совсем не обязательная для пасхального этюда, чудится вздох души доброй, сострадательной. «Так пусть же его, Епишку, только три раза в жизни назвали Епифаном Васильевым, пускай он кормит полюбовника своей жены, пускай он праздник встречает с шилом и дратвой в руках, пусть нищета, проголодь, пусть злая жена, неустанное горе, пусть так, но ведь есть же где-то большая правда для трудового народа, только Епишка никак не может ее угадать».

Но рассказ не был подражанием «Бергамоту», подобных кустарей Серафимович давно уже знал и в Усть-Медведицкой, и в Мариуполе. Жили они на грани нищеты и босячества. «Епишка» открывал серию прекрасных новелл Серафимовича из жизни городского полупролетариата: «Заяц» (1904), «Мышиное царство» (1913), «Странная ночь» (1913).

В августе 1902 года Серафимович появился в редакции «Курьера» на Петровских линиях... Началось торопливое вживание в среду Москвы газетной.

Как и в Ростове, здесь тоже «газетную опару» начинали творить прежде всего с заготовки вырезок, с подклейки их. Собственных корреспондентов у «Курьера» не было. Все сообщения о «действиях правительства», о «международной жизни» брались напрокат, то есть черпа-

лись из правительственных вестников, из столичных газет.

Во второй половине дня приносили сообщения с биржи. Газета неукоснительно и подобострастно — и Серафимович понял это — помещала на определенном месте краткую «сводку финансовой погоды».

«Сегодня биржевое собрание прошло для большинства дивидендных бумаг в слабом настроении, исключение представляют нефтяные ценности».

В это же время обычно из зала суда приходил репортер уголовной хроники, статью об очередной художественной выставке приносил С. С. Голоушев, близкий друг Л. Андреева, врач-гинеколог, писавший под псевдонимом Сергей Глаголь.

Сообщения о съезде криминалистов, информация о заседании комитета музея изящных искусств под председательством И. В. Цветаева (отца М. И. Цветаевой), о концерте А. Н. Скрябина, после которого публика поднесла композитору три лавровых венка... Наконец, неизбежная статья В. Фриче «Письма с Запада» и давно набранный рассказ Д. Н. Мамина-Сибиряка... Газета печатала даже меню ресторана «Россия». Причем не на задворках, а на первой полосе!

Но вопреки всему — и Серафимович это заметил! — «Курьер» все время казался правительству органом оппозиционным, бунтарским. На страницах газеты печатались рассказы, статьи, стихотворения В. Г. Короленко, А. И. Куприна, Д. Н. Мамина-Сибиряка, И. А. Бунина, В. В. Вересаева, Н. М. Тимковского, К. В. Бальмонта, В. Я. Брюсова, В. А. Гиляровского... А. М. Горький прислал сюда «Буревестник», но цензура возвратила его в редакцию изуродованным донельзя правкой черными чернилами.

Незадолго до приезда Серафимовича испуганные издатели «Курьера» уволили либерала В. А. Гольцева, чье присутствие в газете пугало и цензуру, и даже министра внутренних дел В. К. Плеве. На его место по рекомендации А. М. Горького был взят из альманаха «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая» В. П. Потемкин. Участник студенческих волнений, высылавшийся из Москвы на время коронации Николая II, в будущем видный деятель большевистской партии, советский посол в Греции и Италии, Владимир Потемкин в те годы был очень молод, имел поэтический, «блоковский» вид.

Откидывая назад волну длинных волос, вслушиваясь

в свои же фразы, бросаемые легко, по-жонглерски, свободно, он объяснил Серафимовичу цель его работы.

— Есть известный «наркоз» — газетных новостей, известий... Читатель хватает их, ловит, избегая внутренней сосредоточенности. А безликие репортеры, поставляющие эти «происшествия», носятся как зачумленные от одного случая к другому, не замечая ни небес, ни звезд. Сегодня пожар, завтра загадочное дитя — подкидыш, пара ограблений... Леонид Николаевич уже внес в этот жанр «заметок»... обаяние ума, личности, дух анализа. Я думаю, что лучше всего для отдела и газеты, если, Александр Серафимович, вы усвоите эту же форму беседы... Не регистрация происшествий, а «письма» о случившемся... читателю. Обо всем как будто впопыхах, врасплох...

— Не произойдет ли утраты формы?

Потемкин оживился, его голос с гортанным оттенком зазвучал уверенней.

— А вы обратили внимание, как говорят сейчас, разворачивая газету? «Есть материал Дорошевича», вчера «выступил Амфитеатров»! Личность обозревателя, его «письма» сейчас важнее всякой формы... Литература и та рассыпается сейчас на серию личностей... Дать резкую и личную формулу какого-то всеобщего настроения, набросать очерк фигуры, которая всех давно уже давит, — это очень серьезная услуга прогрессивной части общества. Кстати, вы слышали что-нибудь о Бадмаеве?

— Совсем немного. Какой-то врачующий лама в Петербурге, модный среди наркоманов, спиритов, истериков из высших сфер...

Потемкин рассмеялся.

— Насчет ламы — это вы хорошо сказали... Но дело сложнее, чем чудеса тибетской фармакологии, иглоукалывания, гипноза. Не займетесь ли этой темой? Модой на услуги всяческих шарлатанов, манией самолечения как чертой общественного помешательства верхов?

...Серафимович давно уже обращал внимание на многозначительные объявления: молодой блондин с лицом самоуглубленным вещает с плаката: «Сила внутри нас! Раскуйте ее!» Рекламирование модного самоусовершенствования, гипноза, пробуждения «спящих сил» в человеке поражала его безнаказанной свободой.

— Страшное дело! Значение вещей, которые даже для специалистов являются все еще загадочными, разъясняется улице, полупросвещенной массе...

Бадмаев — крещеный бурят, насаждавший методы

тибетской медицины и ее лечебные препараты, политический авантюрист, подталкивающий царизм к безрассудным завоевательским «трансазиатским» акциям на Дальнем Востоке, в будущем друг Распутина — прямой организатор этого психоза толпы. Огромная навязчивая реклама окружала уже это имя. Не знать его, не восхищаться им — признак невежества.

— Не знаете Бадмаева?! Помилуйте... да это тот... насчет тибетской медицины... удивительно; разрушенные легкие восстанавливает заново, прогрессивный паралич, — понимаете ли, прогрес-сивный паралич... излечивает совершенно!!

Далее — уловил Серафимович — обычно следовали рассказы вполголоса о доме Бадмаева в Петербурге в китайском стиле, о даче, где его племяши устроили лабораторию по приготовлению лекарств, о лечении им высочайших особ...

Серафимович подумал, что такой скоротечный успех «чудотворца», как и взлеты иных авантюристов, — плата за социальную неуверенность верхушки общества. Это прикрытие невежества. Появление в быту лжепророков, временных, но деспотичных властелинов — крах устоев здоровой личности, нравственное безвременье. Чем «темнее» смысл речей иного шарлатана, тем лихорадочнее внимает ему полуобразованная толпа, подвергая эти речи бесконечным толкованиям. Свой фельетон «Бадмаевы» — он появился в «Курьере» уже 14 сентября 1902 года — писатель начал в духе письма читателям:

«Случалось ли вам забредать в лесную глушь? Неподвижная тишина. Пахнет прелым листом и плесенью загнившего озера. По поверхности лежат лопухи и кувшинки. Синее небо с белыми облаками сонно отражается в просветах. Неморгающими глазами смотрит небо.

И вот рассеянная рука бросит ветку или упадет камешек. И побежит по заплесневевшей поверхности, расходясь все больше и больше, морщина. Заколышутся лопухи и кувшинки, заколеблется синее небо с белыми облаками, а потом снова все успокоится, опять сонная тишина, запах прелой плесени и неподвижно выпуклые жабьи глаза.

И русская общественная жизнь, по крайней мере своей внешней, видимой стороной, производит впечатление такого глухого уголка... И вот уронит кто-нибудь слово,

факт, сообщение — и все заколеблются, подхватят и заговорят на тысячу манер....»

Фельетоны и очерки Серафимовича, публиковавшиеся в «Курьере» с осени 1902 года до конца июля 1903 года, были остросовременны, богаты подробностями изменчивой действительности. Это своеобразная хроника, которая запечатлела вторжение капитала в быт, его жестокое шествие через человеческие судьбы, через дворцы богачей и трущобы босяков.

«Рабочие морильни», «Золотой телец», «Кавказские разбойники», «Закон Плевако», «Суворины сыны», «На дне» (очерк-рецензия о спектакле в Художественном театре), «Человек во фраке», «В мутной воде» — таковы кадры этой хроники.

Серафимович понимал, конечно, что у газеты нет «вчера», тем более «позавчера», есть только «сегодня». Газета — ежедневный каскад впечатлений, фактов, «стираемых» с доски, как рисунок мелом, набором новостей следующего дня. Но они, если их объединяет единая позиция автора, — это не пыль на ветру. «Капля точит камень не силой, но частым падением» — этот эпиграф к истории всех газет можно отнести к его газетным материалам.

Движение капитала как бы пересыпало, перемалывало, смешивало все атомы былого национального и исторического бытия страны, рождало новые типы отношений, новые проблемы... Писатель, не имея возможности говорить прямо о главных виновниках катастрофического хода жизни, невольно вселял мысль об ответственности власть имущих за судьбы смятых, полураздавленных временем людей, о грядущем возмездии.

Серафимович из номера в номер повторяет все тот же вопрос: почему столько человеческих сил гибнет в непролазных дебрях быта, имущественных отношений? Почему ненормальность становится то и дело нормой?

Где-то помещик обсчитал работника и выгнал его вон («Закон Плевако»), а другой избил чабанской палкой своего же пастуха. На Кавказе разбойничество окончательно приняло разъедающий и опустошающий характер, убив «всякую инициативу в хозяйственной области» («Кавказские разбойники»)... В Таганроге босяки, живущие в пещерах, стали просто опасны.... А что такое поголовное пьянство, как не замедленный геноцид всего здорового, жизнеспособного в народе?

Нельзя отделаться карикатурой, шаржем от наше-

ствия человеческих типов, несущих ожесточение, одичание, нормы кулачного права. Нельзя «отшутиться» от них в эпиграмме. Новый человеческий тип — гибкого, эластичного дельца — какая-то роковая сила. Тот же адвокат-«народолюбец», который умело поднимает дело об увечье рабочего, бесспорное, выигрышное дело, и, легко «ободрав» капиталиста, забирает все деньги пострадавшего... себе. («Увечное дело».)

Что это за характер? Осталось ли что-то от человека в нем? Жестокость — родная, естественная стихия нового типа. Он не знает понятий «нравственно», «безнравственно» — это не человек, а вещь, функция капиталистической машины. Перед этим новым типом, избавленным от химер морали, от объема духовной жизни, запросов совести, невольно ощущаешь свою обреченность на заклание.

Неужели только машинная энергия разрушения, истребления, энергия крупной и мелкой корысти, которой доверчиво поклоняются русские простецы, будет разливаться по лицу родной земли? Среди миллионов человеческих действий, управляемых силами стяжательства, преступного самоутверждения, все труднее отыскать то, что зовется «доброй волей», услышать благую весть.

Серафимович горько улыбался, увидев, как сытая буржуазная публика на спектакле «На дне», где создана «иллюзия факта», действительности, ничуть не пугается: она видит в театре лишь театр, игру, декорации, зная про себя свою «практику», куда более жестокую.

«Сказка жизни» Леонида Андреева в 1902 году была раскрыта на счастливой странице. В этот год он весьма громким криком с нотой болезненного аффекта возвестил о начале своей поразительной карьеры.

Читатель еще помнил чудесные, полные света гуманистической мысли, первые рассказы Андреева «Бергамот и Гараська» (1898), «Петька на даче» (1899), «Жили-были» (1900), «Кусака» (1901). Казалось, что писатель и дальше будет работать в духе гуманистических и демократических традиций. И образ Глеба Успенского, о котором он, Андреев, сказал в том же 1902 году, — «бескорыстный, до крайности сузивший свои потребности — разве не бродил он по лону земли русской, как ее встревоженная совесть?» — будет его незримым ангелом-хранителем. В это время Андреев, как никогда впоследствии, был близок к Горькому, хотя... Хотя следовал он за ним

не без внутреннего трепета, растущего протеста против наставлений «Большого Максима». «В одной тряской корзинке не могут улежаться железный горшок с глиняным; ты железный, ты некоторых толчков и не заметил, а мне было больно, ибо я глиняный... Я примирился с тем, что неизбежно: быть тебе только товарищем, служить честно *под твоим знаменем...* под твоим знаменем я работаю... ты для меня дух свободы», — писал Л. Андреев Горькому в январе 1903 года.

Но именно в 1902 году появилась «Бездна», рассказ, в котором человек представал рабом низменных инстинктов, плохо «экипированным» зверем... Никакие протесты, в том числе протест С. А. Толстой, возмущенно писавшей о «грязном воззрении Л. Андреева на вопросы семьи», не могли ослабить, затормозить процесс «саморазорения», болезненного распада андреевского таланта. Писатель нашел и своих издателей, извлекших немалую выгоду из эксплуатации болезненного дарования Л. Андреева, и необозримый контингент жаждущих захватывающе-острого, пусть и неглубокого, освещения «вечных» вопросов — грехопадений, предательств... Как бывает заласкан и замучен ребенок в усердных обезьяньих лапах, у груди обезьяны, подражающей движениям настоящей матери, так Андреев был «заласкан» до смерти мещанской публикой. Он задохнулся среди галлюцинаций, вызванных его же плодовитой, отравленной мещанским анархизмом фантазией.

Но осенью 1902 года, когда Серафимович ехал в Царицыно на дачу к Андрееву, шел, говоря на языке пьесы Л. Андреева «Жизнь человека», еще «первый акт»... Андреев недавно женился, в декабре 1902 года у него появится сын Вадим. Письма Горького к Андрееву полны приветствий-лобзаний. «Разумница моя», «Милая моя Леонидушка!» В доме писателя — нашествие гостей, жаждущих экспромтов, импровизаций модного писателя.

Все это вселяло почтительную робость в душу гостя с Дона. В 1904 году Серафимович даже признается в письме к Андрееву:

«Смешно, но ведь я ужасно боялся, чтоб не вышло, что я трусь около тебя. Поглядишь, бывало, в Художественном, да и так в разных местах: публика норовит походить с тобой или посидеть, и не потому что, ну, случайно пришлось или действительно есть чем перекинуться, а потому, что посидел около тебя, вроде как Анну на шею получил 2-й степени и с бантом...»

Одно, пожалуй, уже сейчас смущало Серафимовича в успехе Андреева, в его методах штурма судьбы. Серафимович не любил среду буржуазной адвокатуры, ее максимально-упрямое срывание «кущей» на громких процессах. Призрак высокопарной лжи вставал из-за плеч этих ораторов в суде.

Леонид Андреев был когда-то помощником присяжного поверенного. В свете судебных разбирательств он видел всю жизнь как вулканический выброс, скопление обломков семей, личностей, достояний и т. п.

«Да, суд — интересная, но и опасная школа жизни для писателя, — думал Серафимович. — Это место, где деспотично царствует логика адвоката, где инструмент ума творит свои «версии», заменяющие и отменяющие часто действительность. Здесь правдоподобие важнее правды... Все измельчено, искрошено, захватано. Повседневность исколота на душераздирающие драмы, их лихорадочно ждет, как острого спектакля, от адвоката-актера и «автора» публика. Странная иллюзия возникает порой! Взгляд скоро привыкает к «изломам», к миру на изломе, в сплошных трещинах, и кажется часто — еще одно усилие, и ты поймешь сокровенный смысл! Но это иллюзия. Ведь от речи адвоката с его взываниями к совести, с его софизмами, психологическими «шурфами» в груде материала до психологизма Достоевского и Толстого — огромная дистанция».

Догадки Серафимовича оказались весьма прозорливыми. Адвокат Федор Костомаров в пьесе Андреева «Анфиса» говорит о заветной, самой сладостной победе своей в будущем: «...Я возьму большой уголовный процесс. Пусть это будет о любви, о ревности и чьей-то страшной смерти, о чьей-то печальной и темной душе... Ты понимаешь, Петр Петрович, что это значит: взять в руки человеческий слух, взять в руки его строптивую душу, его пугливую и недоверчивую совесть, взять его чувство красоты, великое чувство, которое одно является источником всех религий, всех революций и переворотов — и над всем этим утвердить свое «я», свою волю и царственную мысль...»

Серафимович высоко ценил интуицию, цепкость и богатство воображения в художнике. Но принцип адвокатизма, риторическое навязывание своей «версии» событиям, опровергающей все реально свершившееся, ему глубоко чужды... В 1902 году он закончил рассказ «Степные люди», один сюжет которого, рассказанный матерью,

«осуждал» варварское вторжение капитализма в патриархальный мир ярче любых речей судебных златоустов.

Он вспомнил Новочеркасск, тихую беседу с матерью, потрясший его сюжет... Казак Иван Чижиков, отбыв свой срок службы на кордоне, идет через солонцеватое пространство калмыцкой степи домой... Встреченная старая калмычка — на коне, с выбившимися из-под шапки жидкими седыми косичками — вдруг странно перегнулась на скаку, со свистом пролетел аркан. И вот уже казак, стянутый по рукам и ногам, тащится ею на спине по степи. Он видит порой хвост лошади, задние ноги, слышит дикий вой старухи... Ободранный, с залитым кровью лицом, он не может понять: что за смерч подхватил его! За что она хочет погубить его, сбросить в страшную яму? Счастье Ивана, что он очнулся и узнал, что калмычка мстит и железной дороге, прошедшей через степь, и купцам, забравшим скот, расплатившимся когда-то фальшивыми деньгами. И его она сейчас, повторив свои проклятья, столкнет в круглую узкую дыру в земле. Оттуда тянуло трупным запахом.

— Восемь вас, девятый будешь... — бормотала она.

Казак — Серафимович видел всю сцену — собрал силы и с отчаянием ужаса схватился за калмычку. «Не ожидавшая ничего подобного старуха дико закричала и изо всех сил стала спихивать его в дыру... Они возились на самом краю, задыхаясь, цепляясь друг за друга, отрывая один у другого руки, роняя осыпающуюся вниз землю...»

Перед этими трагедиями обмана, слепой мести — кому? за что? — перед фантазиями самой жизни меркли для Серафимовича самые роскошные видения кабинетного сочинительства. Адвокатская «очевидность» часто имеет лишь весьма малое сходство с действительностью, хотя и обладает признаками реальных событий. События эти группируются так, что иллюзия «стечения обстоятельств» минутна, эфемерна. Это взбитая пена, словесно «нарисованное пламя».

Серафимович почувствовал, что этот «адвокатизм», а точнее — произвол сочинительства будет все больше отрывать Андреева — да и его ли одного! — от действительности. Интересно, что в 1905 году В. И. Ленин, не менее глубоко понимавший пошлый произвол адвокатского «я», мелочное позерство судейских «Шопенгауэров», творивших мир как свою волю и представление, писал в «Письме Е. Д. Стасовой и товарищам в Москов-

ской тюрьме» о сдержанном отношении к защитникам-адвокатам. «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает... Убеждений подсудимого не касайся, об оценке тобой его убеждений и его действий не смей и заикаться. Ибо ты, либералишко, до того этих убеждений не понимаешь, что даже хваля их не сумеешь обойтись без пошлостей» [1]. Сказано как будто о позднем Леониде Андрееве, авторе «Тьмы» (1907).

...Андреев — смуглый, с черными жгучими глазами, со столь же черными с синеватым отливом волосами — встретил Серафимовича с тем спокойным радушием, которое создается привычкой. Беспрерывно встречать и провожать гостей, просителей, заказчиков, плыть в волне почтения, славы ему становилось привычно. Не замечая смущения гостя, он сразу провел его на веранду, где попыхивал самовар, пригласил к столу. На этот раз гостей в доме не было. Познакомив Серафимовича с женой, Александрой Михайловной Велигорской, — она ждала ребенка и избегала шумных бесед, волнений и потому скоро ушла, — Андреев наполнил две рюмки водки, пододвинув к гостю тарелку с кусками пирога...

Серафимович не успел толком рассказать о начале работы в «Курьере». Он поблагодарил Андреева за приглашение в Москву. Преодолев смущение, робко попросил хозяина:

— Если это удобно —скажите при встрече о моем глубоком уважении к нему... Алексею Максимовичу. Нужно потолкаться среди серой публики, особенно провинциальной, — а я потолкался предостаточно, — чтобы понять, какой громадный толчок общественной мысли он дал и дает...

Андреев заставил себя незримым усилием воли услышать просьбу... То, что позднее называли «безудержная вакханалия талантливости» (так говорили об А. Белом. — *В. Ч.)*, уже овладевало этим человеком. И сейчас он, что было нетрудно при скромности собеседника, превратил весь разговор в длинный, как всегда, напряженный монолог. Ощущалось, что видно и по письмам Андреева тех же месяцев 1902 года, что возмущение лучшей части общественности его «Бездной», сердитое высказывание о ней самого Толстого все же очень волновали его. Скандал, популярность, плен славы... Но и отлучение от ве-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 171.

ликой гуманистической традиции, «пересадка» с родного корня на космополитический пенек?! Художник вне родного дома — дитя без отца и матери. Он невольно оправдывался, «мял» слова, искал сочувствия.

— Замечали ли вы, дорогой Александр Серафимович, что мы живем в странном, оцепеняющем индивидуальную мысль мире. Ваш герой — сапожник Епишка — один сражается с магазинами готовой обуви. Но ведь все наше время — благополучное время готовых платьев, механических идей, время предписанных традицией или привычкой поступков. Привычек — целая армия! Они вторгаются в свободную сферу души и оккупируют ее. И вот каждый из нас в тюрьме, ключи от которой в собственном кармане. Бутылка водки для многих — уже полунамек на свободу... Но, когда попробуешь указать нынешнему двуногому существу, которое овладело только внешним стандартом культуры, что оно осталось в значительной доле побуждений и инстинктов животным, поднимается такой крик!

Серафимович с изумлением слушал эту исповедь. Он впервые встречался с такой доверительностью. Первая встреча, малознакомый человек — и вдруг такая открытость, такая нарочито-художественная, талантливая исповедь!

«На всех московских есть особый отпечаток», — вспоминалась строка из бессмертной, рожденной, кажется, на паркете барских усадеб Москвы комедии Грибоедова. Но неужели этот «отпечаток» ныне — отпечаток взвинченности, самовозбуждения, неврастении?

— Мне прямо в лицо кричат: «Семья — родник бытия человеческого! Здесь «ткется» самая нежная ткань всей его структуры!» — продолжал Андреев. — Мне говорят, что грязь в «Бездне» — не в наборе грязных предметов, а в способе моем будто бы воззрения на предметы... Природа, мол, невинна, и в совершенно нагом своем виде она не приобщается греху... И ссылаются на глубоко нравственные сцены родов Кити или грехопадения Катюши Масловой... Но ведь Толстой и для меня...

Андреев искал и не находил того высокого слова, которое передало бы любовь к его великой моральной опоре. Не найдя и заметив, что его монолог затягивается, махнул рукой и замолк, сунул руки в карманы черной бархатной блузы.

— Это все похоже на самооправдание в несодеянном грехе. Париться вениками вечного и дикого покаяния

для объевшейся хлебом духовным русской интеллигенции — любимое занятие...

При прощании Андреев сказал после минутного раздумья:

— Вашу просьбу я не забыл... Горькому я обязан почти всем... И положением «дутой» знаменитости, как пишут критические недоумки. И поддержкой во всем. Я знаю, что проскользнул в те широкие ворота, которые он, Алексей, пробил в равнодушии публики. Мы — одного куста ягоды... Скоро он приедет в Москву... Я не только передам ему вашу благодарность, — он давно уже знает ваши рассказы, — но и познакомлю вас лично. А в ближайшие дни вы должны предстать на «Средах» у Телешова...

Работа в «Курьере» продолжалась... И постепенно, помимо разного рода социальных язв, Серафимович стал открывать ту Москву, о которой М. Ю. Лермонтов сказал: «Каждый камень ее хранит надпись, начертанную временем и роком. И надпись эта обильна мыслями, чувствами, вдохновением для ученого, патриота и поэта». В письме к В. Г. Короленко в марте 1903 года Серафимович отметит, что его «Москва привлекает своей большей простотой и сердечностью в противовес деловому и холодному Петербургу».

Москва в те годы действительно отличалась от града Петрова на Неве с его резной, четкой и нерусской красотой. Множество пухлых особнячков, похожих на кованые сундуки с бляхами замков, кривоколенных, кривоникольских переулков, «рядов» — каретный, садово-черногрязский, охотный — все доносило дыхание истории, часто допетровской, очень далекой. Москва была для Серафимовича не просто частой сетью улиц, площадей, переулков и тупиков, агломератом домов, скоплением камня, железа, дерева. Леонид Андреев в одном из интервью на вопрос «Какой вы находите Москву?» ответит не без поверства: «Она вся кажется мне... «поставленной» Станиславским». Теплые камни Москвы, декорации великих событий и страстей, о которых напомнил и Суриков, и «Борис Годунов — Шаляпин», населяли память множеством видений. В Москве действительно еще был жив умысел великого «режиссера» — истории. В ней, как в живом организме, переливалась кровь, свершался не прерванный никем обмен между прошлым и настоящим.

Чем-то родным, с детства знакомым пахнуло на душу Серафимовича, когда он увидел праздник широкой масленицы или «сырной недели», которая выпадала на начало перелома от зимы к весне. Балаганы на Девичьем поле, крики зазывалы с помоста:

Заходи, публика,
Не жалей рублика!

В торговых палатках — мешки с пряниками, горячие блины и пироги, звучали шарманки и гармошки... Купцы выезжали на «своих» лошадях, украшенных тряпичными и бумажными цветами.

В книжных развалах у Китайской стены — сытинские «лубки» с картинками, старопечатные книги. Здесь можно было встретить и В. И. Ключевского, и А. П. Чехова, и историка Москвы И. Е. Забелина.

Один из новых знакомых Серафимовича, писатель Николай Дмитриевич Телешов, коренной москвич, прекрасный знаток народного быта и истории Москвы, порой превращал обычную прогулку по московской улице в увлекательное путешествие «через» историю, язык, этнографию. Из «Москвы грибоедовской» было еще рукой подать до «Москвы Островского». А сквозь тесноту купеческих переулков Замоскворечья, Марьиной рощи, Черкизова порой пробивались и зыбкие отблески опричнины, Смутного времени. «Широк русский человек — не мешало бы сузить...», — говорил Достоевский. Москва все еще не делала русского человека бледнее, трафаретнее, у́же, не ампутировала многих удалых порывов.

И «Среды», литературный кружок, называвшийся «Московским Парнасом», сохранил в себе к 1902 году черты старого интеллигентского быта. В жизни Серафимовича он сыграл огромную роль, особенно после закрытия «Курьера».

До 1899 года в Москве существовал литературно-художественный кружок писателей, артистов, адвокатов, который был чем-то средним между старым «аглицким клубом» и художественным салоном. Он несколько раз менял свой адрес — то помещался на Мясницкой, то на Тверской и, наконец, на Большой Дмитровке. В залах его были и выставки, и концерты, и балы. Но было и кафе, и игра в преферанс, пивные бочки с надписями «in piwo veritas»[1] и т. п. Общественная программа его была доволь-

---

[1] «Истина в пиве» *(латин.)*.

но расплывчатой. Новых людей встречали не по одежке — по таланту и обычно приветствовали стихами. Когда появился в этом кружке Д. Н. Мамин-Сибиряк, его «оглашали» так:

С далеких гор угрюмого Урала,
Из глубины сибирских деревень
Он к нам пришел, как рыцарь без забрала,
Избытком сил вся кровь его играла,
В груди его лежал талант — кремень...

Но с началом XX века, приближением революции, особенно со вступлением в «Среды» А. М. Горького, дух кружка, особенно писательской его части, резко изменился. Серафимович застал уже сложившееся ядро демократических писателей-реалистов. У Николая Телешова на даче или в его квартире собирались два брата Бунины — Юлий и Иван, Степан Скиталец, Николай Тимковский, доктор Сергей Голоушев, беззаветно любивший живопись, театр (он же «Сергей Глаголь» — автор «Курьера»), С. А. Найденов, Е. Н. Чириков, В. В. Вересаев, бывший портной Иван Алексеевич Белоусов, он же поэт-самоучка, переводчик Т. Г. Шевченко, наконец, Леонид Андреев... За беспредельную честность, доброту и редкое понимание горестей и неустройств писательской судьбы Белоусов был сделан своеобразным казначеем кружка.

Позднее появятся И. Шмелев, А. Кипен, И. Сургучев, С. Гусев-Оренбургский, земляк Серафимовича К. А. Тренев, будущий автор «Любови Яровой», окончивший — по иронии судьбы — духовную семинарию вместе с Г. Гапоном... Перед самой революцией Серафимович сообщит А. А. Кипену: «На «Средах» утвердилась молодежь — Окулов, Лидин, Соболь...»

Что делали на «Средах»? В одном из писем к Горькому Андреев сообщает, например, что целых два вечера слушали доклад В. А. Гольцева о философии Ницше. В другом он же пишет: «Шаляпин был у нас на «Среде» и пленил всех своей многообразной талантливостью. Хороший человек! Немного огорчил он меня своей наклонностью к анекдотам; наши литераторы начали состязаться с ним, и получилась такая похабщина, от которой на улице фонари тухли».

В те годы входили в моду Г. Ибсен, М. Метерлинк, К. Гамсун... Множество новых явлений возникло в литературе, живописи, музыке... Где иначе могли узнать обо всем, оценить многое и недавний гусляр Скиталец, и

поп-расстрига Гусев-Оренбургский, и бывший ссыльный Серафимович, как не здесь, на «Средах»? Благодаря авторитету Горького именно к «Средам» примкнули старые писатели-народники Н. Н. Златовратский, С. Я. Елпатьевский, упомянутый уже сибиряк Д. Н. Мамин-Сибиряк, «московский Золя» П. Д. Боборыкин. Редко, но бывали на «Средах» А. П. Чехов и В. Г. Короленко...

Социально-политические взгляды участников кружка были весьма неоднородны. С одной стороны, в ней участвовали Горький и Серафимович как художники, тесно связанные с социал-демократическим движением; с другой — писатели народнического толка, «беззубой» идеологии; с третьей — художники буржуазно-демократического лагеря, не принявшие впоследствии Октябрьской революции. И, пожалуй, была еще четвертая группа — стихийные бунтари, «социалисты чувств» вроде Куприна и особенно Скитальца, чья «программа» была словно взята из правосознания бурлацких ватаг, из песен Степана Разина.

Скиталец, высокий, здоровенный волгарь, в блузе с бантом, как раз для митингов, выходил — в канун революции 1905 года — на эстраду Колонного зала, тогда Благородного собрания, и громобойно бросал в публику, как камни с откоса, слова, более чем грозные по форме:

Я к вам явился возвестить:
Жизнь казни вашей ждет!
Жизнь хочет вам нещадно мстить —
Она за мной идет!..

Но эта публика, прекрасно одетая, слышавшая здесь же на концертах голоса скрипок, арф, ничуть не пугалась вещателя бунта, «бессмысленного и беспощадного», кстати говоря, зятя богатого симбирского купца Ананьева. Она ревела, требовала новых острых ощущений, яростных инвектив, напряженно ждала скандала. Скиталец выходил вновь и, поправляя пенсне, неожиданное на его простоватом лице, читал нечто еще более злое:

Я ненавижу глубоко, страстно
Всех вас; вы — жабы в гнилом болоте!

По воспоминаниям одного из членов «Сред», выкрикивая это, Скиталец метался по сцене, тряс головой, подыгрывал на гуслях:

Мой бог — не ваш бог; ваш бог прощает...
А мой бог — мститель! Мой бог карает!

Мой бог предаст вас громам и карам,
Господь мой грянет грозой над вами
И оживит вас своим ударом!

Еще Салтыков-Щедрин высмеивал либеральных бунтарей, жаждущих не то конституции, не то осетрины с хреном. Сейчас дурман «красных гвоздик» в адвокатских петлицах достигал такой степени, что порой неловко становилось от этого ажиотажа, внешней революционности Горькому. Во время спектакля «Дядя Ваня» публика, привыкшая к наркозу скандала, узнав, что в театре находится Горький, стала... забыв о Чехове, который тоже был в зале, реветь: «Горького на сцену!» Пришлось Горькому выйти в публику, сказать в разъяренную, жаждущую зрелищ, а не идей толпу:

— Что вам от меня нужно? Зачем вы сюда пришли? Смотреть на меня? Что я вам — Венера Медицейская? или балерина? или утопленник? Нехорошо, господа. Вы ставите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем: ведь идет его пьеса, а не моя. И притом такая прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович — в театре.

Шумные, эстрадно-бутафорские бунты, буффонады, расплывчатые пророчества и проклятья... Видя подобное, вспоминая скандал в Благородном собрании в декабре 1902 года с участием Скитальца, Серафимович приходил к одной мысли. Революция надвигалась... И не убийства царских министров — Н. П. Боголепова в 1901 году студентом П. В. Карповичем, Д. С. Сипягина в 1902 году С. В. Балмашевым, наконец, В. К. Плеве Г. Е. Сазоновым — двигали ее, как казалось эсерам-боевикам, собратьям Савинкова. При свете разгорающегося пламени все, от Скитальца до Мережковского, до будущих авторов «Вех», становились на время чуточку... «краснее»! Незабытая дружба с Александром Ульяновым, с Моисеенко, работа в кружках Василия Алабышева дали Серафимовичу способность отличать дело революции от фразистики, истинную революционность рабочего класса от недолгого «красного отблеска» на фигурах либералов, истерических бунтарей, анархистов. А их — деятелей, воплощавших дух «революционной Обломовки», — было неисчислимо много в те годы!

Серафимович интуитивно ощущал, что крикливая либеральная, «порозовевшая» после 9 января буржуазия, эти купцы, воротилы, жертвующие на революцию (впоследствии в кассы эсеров, кадетов, октябристов!), стремятся оттереть рабочий класс от руководства револю-

цией... «Во время военных столкновений народа с силами самодержавия либеральные буржуа прячутся по своим норам. Они против насилия сверху и снизу, они враги и произвола власти и анархии черни. Они выходят на сцену по окончании военных действий, и в их политических решениях ясно отражается перемена в политической ситуации, произведенная этими действиями... Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти» [1], — писал об этой «смелости» либералов В. И. Ленин.

Но для Серафимовича-художника главным в «Средах» было то, что он обрел круг друзей, искренне любящих слово, дорожащих высшими завоеваниями отечественной культуры. Здесь обсуждались замыслы будущих произведений, уточнялись названия их (так, пьеса «На дне» именно по совету Андреева была названа так, было — «На дне жизни»), подсказывались темы... И, скажем, о «зайце», несчастном мастеровом, едущем пароходом на похороны жены, о страшной забаве команды, решившей провезти его в наказание на самый низ Волги, о «зайце», бросившемся в воду и утонувшем, впервые рассказал Серафимовичу тот же Андреев. В отсутствие Серафимовича Андреев прочел его рассказ «Заяц» Горькому («в одном месте сей нелепый человек прослезился»), а затем прочел и на «Средах», сообщив автору:

«Милый мой Лысогор. Прочел твоего вонючку на «Среде» у Голоушева. Вначале хохотали, потом развесили рты и, наконец, того, разогорчились, и некоторые, преимущественно особы нежного пола, даже до покраснения носа и глаз. Впечатление рассказ произвел сильное и хорошее... выделили его безыскусственность, мягкость и юмор. «Среда» одобрила единогласно, и не просто так, от доброты сердечной, а серьезно и с весом».

На «Средах» читался и рассказ «В пути» (1904), на суд Горького — через Андреева — попадали рассказы «Среди ночи», «Похоронный марш», «На Пресне», «Погром», позднее «Человек в скуфейке»... И наконец кульминация прямой революционно-пропагандистской деятельности Серафимовича — чтение им вслух рассказа «У обрыва» (1906) на многочисленном вечере-митинге в Политехническом институте, подвергшемся затем нападению казаков и полиции, — все стало возможным для Серафимовича после уроков «Сред», школы Горького. Ведь в лице его в Москву прибыл человек, глубоко застенчивый, стыд-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 11, с. 149.

ливый, не решавшийся вначале даже идти на «Среды», где будет цвет интеллигенции... «Я до такой степени одичал в холодных мезенских лесах, что просто боялся таких блестящих представителей интеллигенции», — признавался он. А рисуя свой автопортрет, он с редкой открытостью напишет такие чуждые самовосхваления строки: «Одним из недостатков (Серафимовича) было жить долго прошлым, трудно раскачиваться, чтоб войти в новое. Серафимович понимал, что он смотрит на себя всегда со стороны, что это отвратительно; в нем странно мешались искренность, правдивость, прямота и вместе (с тем) хитроватость, себе на уме».

Этот недостаток, правда, помог ему не потерять себя, не утратить слух в газетной шумихе, помог выполнить предназначение, таившееся в судьбе, не измельчить, не зачеркнуть постыдной суетой то, что «на роду написано». И прежде всего не дать поглотить и переварить себя и «Курьеру», и иному газетному левиафану!

Но в последнем случае огромную роль снова сыграл Горький...

Когда осенью 1905 года Валентин Серов писал известный портрет Максима Горького — в блузе, с патетически отведенной к груди рукой, — тот был, бесспорно, самым знаменитым писателем, единственным, может быть, «легальным революционером» в России, защищенным славой от репрессий, от критики, от бытовых неудобств. Даже арест его в январе 1905 года и месячное заключение в Петропавловскую крепость — с группой либеральных профессоров — был мотивирован не мелко: он обвинялся в намерении организовать «временное правительство России».

И все-таки на портрете Серова Горький, писатель с самой зрелищно-экзотической в XX веке биографией, удивительно беспокоен, тревожен, искателен. Он словно еще спорит с кем-то, утверждает себя в мире и свой, горьковский, путь в литературу в непрерывном поединке. Покоя нет, рука отведена к самому сердцу, взгляд устремлен в зыбкое, колышимое и колышущееся океан-море русского мира. Все впереди — и борьба, и горение мысли, и споры. Даже с друзьями. «Я шел босым сердцем по мелкой злобе и гадостям жизни, как по острым гвоздям, по толченому стеклу... Когда жизнь неприглядна и грязна, как старое, засоренное пожарище, приходится чистить и укра-

шать ее на средства своей души, своей волей, силой своего воображения», — словно говорит серовский Горький словами из рассказа «Герой» в знаменитом цикле «По Руси».

Первая встреча Серафимовича с Горьким произошла с ошеломляющей простотой, с неожиданной заурядностью.

Андреев выполнил свое обещание... Узнав, что Горький в Москве — шли последние репетиции «На дне» в Художественном театре, — он сообщил Серафимовичу:

— Приезжай ко мне, на московскую квартиру. Будет Горький... У него есть дело к тебе.

...Волнение в прихожей, развеселый Леонид — то ли от выпитого, то ли в возбуждении прерванного монолога — общий поклон множеству гостей Андреева. Андреев успел громогласно провозгласить, смутив гостя:

— Сюда, сюда... Это Серафимович... Или дружище мой Лысогор... А главное — славный человек и писатель превосходный.

Серафимович узнал Ивана Бунина, уже за столом ему представился Гусев-Оренбургский.

Серафимович помнил, что в окнах книжных магазинов и даже табачных лавок уже мелькали открытки, на которых был изображен молодой человек с пристальным взглядом, с крутым изломом прямых, падающих на висок волос, в белой или черной косоворотке. В его сознании жили горьковские босяки — пророки в лохмотьях, взыскующие истины не однодневной, не узкой, звучало обличение Фомы Гордеева своей среды: «Я пропал... знаю! Только не от вашей силы... а от своей слабости... да! Вы тоже черви перед богом... И погодите! Задохнетесь...»

Горький... Но где он здесь?

Горький, стараясь не перебивать хозяина, начавшего новый монолог — о некой «иррациональной близости, которая между мужчиной и женщиной создает любовь, а между мужчинами — дружбу», — вышел из-за стола и сам подошел к Серафимовичу.

— Познакомимся. Горький...

— Серафимович.

— Я знаю о вас давно. Но здесь поговорить нам не удастся. Разумница Леонид посещает пропасти черных тайн и «проклятых вопросов» столь же свободно и подолгу, — Горький добродушно улыбнулся, — как гусляр

Степан Скиталец — трактиры для простонародья... Не будете ли добры прийти ко мне... Потолковать с вами желательно...

Дела Серафимовича в «Курьере» шли успешно. Он попрежнему вел две рубрики — «Заметки» и «Обо всем». Они заменили постоянно появлявшиеся ранее фельетоны Л. Андреева. Но в целом дела газеты, особенно цензурные, складывались все тревожнее. Андреев как-то сказал ему:

— Цензор «курьерский» самый звук «Максим Горький» считает непозволительным и выкинул его из моего фельетона. В некотором роде выселил Горького и из... Арзамаса, ибо весь Арзамас-то в очерке остался. А Горькому, к кому, собственно, я и ездил, в нем места нет.

Но не только дух Горького, поднадзорного ссыльного, пугал цензуру.

Цензура постоянно ощущала, что существуют «сношенья между редакцией «Курьера» и неблагомыслящими и неспокойными элементами студенчества». Серафимович не знал, что и к его материалам относилась такая оценка цензурного комитета: «Курьер» вообще «старается постоянно изобразить наших рабочих всяких категорий в виде страдальцев, терпящих всевозможные угнетения».

Потемкин, ставший редактором «Курьера» с ноября месяца, однажды показал кое-кому из сотрудников стихотворение «Гусляр» все того же, «как вином опьяненного мечтами» Скитальца. Некоторые строки были заранее подчеркнуты самим Потемкиным. Серафимович спросил:

— Что это значит?

— Да, это, вероятно, съест цензура... Складно ли, связно ли будет выглядеть оно без них?

Серафимович перечитал стихотворение вновь. Типичный удар растопыренными пальцами по воздуху, что же тут крамольного?

Я вхожу во дворец к богачу
И ковры дорогие топчу:
Полны скуки, тоски и мольбы,
Там живут сытой жизнью рабы.
Я пою им, шутя и смеясь:
«На душе у вас копоть и грязь!
Не спою я вам песни такой,
Чтобы вас очищала собой!»

Потемкин, человек с большим вкусом, и сам понимал, что бунтарство в этих строках весьма ограниченное, скорее «шумовое». Но что делать?

К удивлению его, цензура на предварительном просмотре не заметила ничего. «Гусляр» появился в газете 13 декабря 1902 года. И тут же последовал взрыв начальственного недовольства. Министерство внутренних дел отдало распоряжение изъять газету из розничной продажи и временно приостановить ее издание до февраля 1903 года.

Записка от Горького, доставленная Серафимовичу в редакцию накануне этого удара, — «Обращаюсь с просьбой, не будете ли Вы любезны зайти сегодня ко мне до 7 ч. вечера: Гранатный переулок, д. 22, квартира Скирмунта. Очень обяжете» — была не просто утешением на зыбкой площадке «Курьера».

Горький встретил Серафимовича как человека, с которым надо прежде всего решить одно из множества дел... А их у автора «Мещан» и «На дне» было чрезвычайно много! В Художественном театре шли последние репетиции «На дне», и он обнаружил, что... слишком убедительны речи Луки, и Москвин, гениальный актер, делает праведника чуть ли не положительным героем... На столе лежала гора неотправленных рукописей и писем в Петербург К. П. Пятницкому в издательство «Знание» с неизменными советами: «Исправь рассказ...», «Сократи...» Здесь же нечто вроде авторского шутливого комментария к создаваемой вещи, снова в письме: «Учусь играть на пианино... Сие мне необходимо, ибо я задумал одноактную пьесу «Человек». Действующие лица — Человек, Природа, Черт, Ангел... Это — требует музыки, ибо должно быть написано стихами».

Горький был организатором и в частных письмах. Они сейчас кажутся неестественно умными для бытовой, дружеской переписки. Ожидая начала разговора, глядя на работающего Горького, Серафимович не знал одного. Еще находясь в Нижнем Новгороде, Горький написал в Петербург К. П. Пятницкому письмо о будущей книге Серафимовича:

«У него набралось 15 рассказов, из них, по-моему, должна выйти довольно интересная книжка. Рассказы я все прочитал, автор сделал нужные сокращения и поправки, на днях Вы получите от него весь материал... Я стою за выдачу ему денег. Он — крайне стеснен, и это давит его, мешая работать. Думается, что от него

мы можем ждать большего, чем от тошнотворного Елпатьевского...»

Но вот дописано последнее спешное письмо. Горький вышел из-за стола.

— Дело мое к вам, Александр Серафимов, вот какое... В ближайшие дни вам надо познакомиться с Константином Петровичем Пятницким... Он директор-распорядитель издательства «Знание»... Кстати, сколько вы получили за лист у Звонарева?

— По тридцать пять рублей...

— Вот уж кровопивец! Коммерсант, да еще плохой коммерсант. Все хотят наживаться на писательском труде, и никто не возьмет в толк, что русская интеллигенция, исторически сложившаяся, а не те или иные лица, отдельно взятые, — явление исключительное, чудесное почти... К русскому писателю надо относиться вдвойне уважительно, ибо это лицо почти героическое, изумительной искренности и великой любви сосуд живой... У нас в «Знании» вы будете получать по триста рублей.

Горький говорил как волжанин — округлое «о» с мягкой, приглушенной интонацией придавало его речи доверительность, простоту... Он продолжал:

— За объемом гнаться не будем. И участников этого дела надо будет строго отобрать. Если сборники «Знания» составятся из работ Чехова, Андреева, Куприна, Юшкевича, Телешова, Скитальца, Бунина, Чирикова и наших с вами, и если все лица постараются написать хорошие крупные вещи, — это будет литературным событием. Один Леонидище — это изящный вороной коренник... А Чириков с Куприным — пристяжные...

Предвидения Горького сбылись — с 1903 по 1913 год, вплоть до финансового краха «Знания», вышло 40 книг, сыгравших большую роль в собирании, активизации демократических сил. В. И. Ленин отмечал, что это были «сборники, стремившиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы» [1].

Горькому, несомненно, нравилось перебирать в памяти любимые идеи, людей прошлого, разглядывать и уточнять многое в них. Так же, вероятно, разглядывал он старинные монеты или гравюры. Казалось, что он говорит не только для слушающего, но и для себя. Может быть, раздумье вслух было подготовкой к передаче задуманного на бумаге? Как морская волна обтачивает и

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 48, с. 3.

шлифует камешки, так Горький, говоря о писателях прошлого, о любимых идеях, гранил и шлифовал свои афоризмы...

— Только... — Горький поднялся во весь рост, поднял палец, — ...только, чтобы писатель давал лучшее, что может дать. Каждый писатель у нас в «Знании» должен походить на себя в лучшие мгновения, быть в фокусе таланта, давать золото чувств и мыслей. Ведь читать будут сотни тысяч, а в дальнейшем и миллионы. Революция созревает, рабочий класс все более революционизируется, и в этой атмосфере даже легальная (и потому охватывающая широкие массы), но честная литература сыграет большую мобилизующую роль...

Неожиданно Горький прервал речь, всмотрелся пристально в лицо собеседника.

— Как у вас со здоровьем?.. Я вот сегодня восемь часов из-за стола не вылезал. В нашей стране столько намечается радостных возможностей, столько зреет и гнева, и нежных чувств, и мечтательности, что нужна упорная работа... Нужны верующие в революцию люди, фанатики, даже пророки. Но прежде всего труженики... О нас, русских, говорят — по «Обломову», — что русский человек родился после... халата. Сначала, мол, халат, потом русский. Я осуждал и буду осуждать многих интеллигентов, зараженных ленью, социальным безразличием тучных пингвинов. Осуждаю даже целые поколения испуганных, растерянных, кои и поколениями могут быть названы разве что от слова «околевать»...

В первом сборнике «Знание» за 1903 год появился рассказ Серафимовича «В пути». Рассказ появился вместе с такими произведениями, как «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева, «Человек» М. Горького, «Перед завесой» В. Вересаева, «Чернозем» и «Стихотворения» И. Бунина, «Между двух берегов» Н. Телешова... В этом же году вышел и первый том рассказов Серафимовича.

Потемкина и кредитора газеты «Курьер» Алексеева вызвали в Петербург в последний раз. Внешне приветливо встретив их, Плеве сразу положил на стол свежий номер газеты:

— За эти выходки вы как-нибудь хотите отвечать?!

Плеве ткнул пальцем в короткое сообщение... Потемкин склонился и сразу заметил тенденциозную опечатку,

Алексеев долго искал ее, а найдя, густо покраснел. Опечатка была со смыслом, с издевкой. В бюллетене о состоянии здоровья императрицы, неожиданно заболевшей в Скерницах, была эта опечатка. Во фразе «императрица спала с перерывами» буква «п» была в сказуемом заменена буквой «ц».

Алексеев, осознавший кошмарно-издевательский смысл опечатки, сказал, обращаясь к министру:

— Мы готовы немедленно уволить наборщика. Это его просчет. Мы добросовестно и с особым вниманием печатаем правительственные сообщения.

Потемкин, со своей стороны, попробовал спасти положение более умно:

— Господин министр, я не допускаю, чтобы с этой прискорбной опечаткой вышел весь тираж «Курьера». Мы внимательно вычитывали корректуру и не могли не усмотреть этой опечатки.

Плеве, сдержав гнев, оценил дальновидный поворот этой мысли:

— Да, часть тиража действительно выпущена без опечатки. Нет ее и в экземплярах, поступивших к государю в Царское Село... Об этом мы позаботились. Но не ожидайте, что мы не понимаем вашу уловку. Она и для вас, господа, и для нас ненова. Вы и прежде часть тиража выпускали без ошибок...

В. К. Плеве, излишне умный для жандармского корпуса, для своего места, был убит эсером Сазоновым 15 июля 1904 года. Но месяцем раньше — 4 июня 1904 года — он успел подписать циркуляр о закрытии «Курьера».

...Ксения Александровна Попова даже в недолгий, безоблачный период ее жизни с Александром Серафимовичем изнемогала душевно от странных, во многом придуманных мучений. Прекрасно игравшая на рояле, знавшая иностранные языки, к тому же одна из создательниц городской библиотеки в Новочеркасске, она уже в 1900 году, сразу после рождения Анатолия, ощутила себя грубо отброшенной в косный быт, возвращенной к извечной бабьей доле. Выйти из мира, данного ей — как матери, жене, домашней хозяйке, хранительнице семейного очага, — в некий книжный, во всем гармоничный мир оказалось невозможно. Тем более в Новочеркасске. Ропот, все более ощутимый, поселился в ее душе. И вместо по-

коя Серафимович получил «женский вопрос» прямо на дому.

Несколько страничек дневника Ксении Александровны 1900 года... Удивительно детские для двадцатичетырехлетней красивой женщины сетования и обиды, трогательная и несколько сентиментальная путаница порывов, ожиданий. Печальные предчувствия, увы, оправдавшиеся через десять лет, вселяет этот пролог семейной жизни двух по-своему хороших русских людей. Говорят, что хаос рождает нетерпеливое ожидание порядка. Здесь под порядком, стройностью уже ощущается готовая сотрясти дом драма. Даже со стороны Ксении Александровны мелодрама, по-провинциальному пылкая и безрассудная.

«4 марта... Что за тяжелая семейная жизнь? Неужели она везде так? По крайней мере, во всех семьях, которые я знаю, — масса неурядиц. У нас еще лучшие условия — мы любим друг друга, желаем счастья, добра друг другу, и все-таки тяжело. Отчего это?

7 марта... Что за нелепая глупая жизнь! Сегодня, что вчера, вчера, что сегодня. Теперь как подумаешь, для чего я так долго училась? Неужели мне образование нужно было, чтобы только готовить обеды и менять пеленки ребенку? Я в доме старшая нянька, кормилица ребенка и жена мужу... С таким положением в семье я никогда не примирюсь.

9 марта... Дорогой, милый Александр! Я его очень люблю. Когда я посмотрела на него, на его хрупкое сложение, на его милую, кроткую, нежную улыбку, у меня все кругом переворачивалось. В душе к нему явилась бесконечная жалость...»

Не многовато ли перепадов чувств, сетований и покаяний для обыденного житья-бытья? Стыд рождается после грехопадения, стыд есть начало самосовершенствования. Ксения Александровна возводит обвинения, которые по отношению к честнейшему Серафимовичу, озабоченному заработком, своим духовным ростом, попросту наивны, грешны. Она это чувствует, стыдится, кается, но жажда эмансипации, уроки Веры Павловны, усвоенные по-провинциальному прямолинейно, заставляют ее вновь негодовать, глядеть на любимого человека отчужденно, видеть то, чего вовсе в нем нет.

Письма Серафимовича жене — в частности, осенью 1905 года (в октябре — из Новочеркасска, в декабре — из Москвы) — говорят о том, что ущемления ее духов-

ной личности в семье не было. И деспотом, поклонником тройственной узды для женщины на прусский лад (кухня — дети — церковь) Серафимович не мог стать.

«Дорогой Ксенурок, тут, в Новочеркасске, большая каша. Происходили демонстрации, а теперь происходят патриотические манифестации. Черная сотня намерена разгонять митинги и избивать ораторов. Организуется милиция. Ростов разграблен босяками и горит. Казаки стреляли в самооборону. Целую крепко, крепко. Завтра опишу подробно» (8 октября 1905 года).

«Дорогой дружочек, никак не могу отсюда выбраться: билеты выдают только до Козлова, а до Москвы не дают. В Новочеркасске вся публика разбилась на две части: одна — патриоты, другая — левая. Патриоты ходят по улицам с портретом царя, поют «Боже, царя храни». Левая ходила с красными флагами, пела «Дубинушку»... и проч... И знаешь ли, как охватывает это настроение?» (23 октября)

В Новочеркасске Серафимович стал после событий 1905 года столь известен, что в одном из писем И. А. Белоусову он мог даже шутливо заметить: «...Вы напрасно беспокоитесь насчет моего адреса. Ежели потеряете, пишите просто: Новочеркасск, Серафимовичу. Все равно как прежде писали: «Гумбольдту, в Европу»...

В письме из Москвы в Ялту 19 декабря 1905 года вновь обращение к жене — другу, единомышленнику по общественной борьбе и одновременно милому, слабому существу. Никакого игнорирования духовных интересов Ксении Александровны нет и в нем:

«Знаешь, я как ошалелый первое время был: ведь дом-то наш весь изрешечен был пулями; пришлось бежать, жил у Андреева (Леонида. — *В. Ч.*), потом искал квартиру, ее нету, денег нет, надо дописать во что бы то ни стало рассказы; и тут надо бегать по городу за квартирой, а тут мысль о тебе измучила меня, я себе представлял, в каком ты отчаянии без денег и без известий о нас...

Сейчас дописываю о кровавых событиях в Москве. Поздравляю тебя с Новым годом. Крепко, крепко целую. Я встречаю его за письменным столом с пером и рассказом. Дети спят...»

Письма Серафимовича явно «опротестовывают» весь дневничок Ксении Александровны. Из них мы узнаем и еще одно обстоятельство.

Дети?.. Да, их было уже двое. В 1903 году родился

сын Игорь. И оба мальчика — семилетний Анатолий и двухлетний Игорь — часто находились целиком на попечении отца. Порой невольно разделяешь его тревогу за детей в Москве 1905 года: «...нет продовольствия, нет воды, на улицах настоящая революция и под шальные пули попадают обыватели. Без ребят бы ничего, но с ребятами жутко: мог бы выйти на улицу и не вернуться...»

Временами кажется, что дети и особенно мать больше, чем жена, понимали, что Серафимович и по роду своих занятий очеркиста, фельетониста, репортера, и в силу внутреннего влечения к новым характерам, подробностям быта должен много ездить. В доме у него всегда были наготове два объемистых чемодана, перетянутых тугими ремнями. И сыновья, как свидетельствует один из них, Игорь Александрович Попов, сразу, едва эти чемоданы извлекались на свет, догадывались, что отец опять — на многие недели или месяцы — уезжает по делам из дома. Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Нахичевань, Таганрог, Бердянск, Ейск и Новороссийск (и прилегающее побережье), Екатеринодар (ныне Краснодар), Керчь и крымские курорты — все эти города, все стороны жизни азово-черноморского края были ему прекрасно известны. Он бывал в Юзовке (Донецк) на металлургических заводах, на многих станциях строившейся железной дороги Царицын — Тихорецкая, где почерпнул много впечатлений, отразившихся в романе «Город в степи». Пассажир 3-го и даже 4-го классов железной дороги, путешественник на палубах Азовского, Черноморского, Волжского пароходов, «гость», живущий в номерах гостиниц всех разрядов, любитель поездок и в крестьянской арбе, и верхом в седле, он, как заметили многие исследователи, удивительно напоминал этой пестротой быта А. П. Чехова, В. Г. Короленко, Г. И. Успенского, молодого А. М. Горького.

Иначе он жить не мог — «хворост» впечатлений быстро сгорал в процессе труда, и нужно было искать новых дорог, встреч. А что же семья? «Мать без отца, — вспоминал И. А. Попов, — безусловно, скучала, а когда он приезжал, начинались ссоры, распри, и не только из-за денег (хотя и деньги тут играли большую роль), влияли на мать и насмешки окружающей (в Новочеркасске, Ростове. — *В. Ч.)* интеллигенции над его, с их точки зрения, непонятной направленностью в описании «бедненьких и забитых». Вскоре это и оказалось основной причиной их полного разрыва».

Да одни ли дети, мать, лечившаяся в Ялте, жена были в это же время на иждивении, а точнее — в озабоченной, вечно тревожной памяти Серафимовича?

...Осенью 1904 года после закрытия «Курьера» Серафимович выехал с семьей в Ялту. Сезон заканчивался. На бульварах — столики и зонты пустующих кафе. Белые прогулочные катера большей частью простаивали у пристаней. В книжной лавке караима Синани, «ялтинского Смирдина», еще много знакомых москвичей, петербуржцев. С наступлением холодов все больше больных часами полулежало на верандах в спальных мешках, в пледах, шалях. Бездельные до весны гиды для прогулок в горы — молодые татары — кучками толпились на набережной возле кофеен. Можно было и отдохнуть и поработать.

Но ни отдыха, ни сосредоточенного труда не получилось. Весной 1904 года был арестован и заключен в тюрьму младший брат Серафимовича Вениамин Попов, член Екатеринодарского комитета РСДРП.

Это не было неожиданной новостью для Серафимовича. Гимназический кружок в Усть-Медведицкой, пламенное увлечение брата Писаревым и Чернышевским...

В Петербургском университете Вениамин Попов — участник студенческой демонстрации 1901 года — был подвергнут «дознанию»... До ссылки к холодному морю дело не дошло, но высылки на родину (в Новочеркасск), под надзор полиции он не избежал. Вениамин проделал тот же путь, что и он сам. И даже вступил в партию, а после II съезда РСДРП решительно пошел за В. И. Лениным.

Когда Серафимович узнал об аресте Вениамина, о заключении в одиночную камеру и о голодовке, объявленной им, он, не раздумывая ни минуты, выехал в Екатеринодар. Как старший в роду Поповых он уже болезненно осознавал, помимо ответственности за близких, и одну особую опасность для здоровья Вениамина в сырой камере. Весной 1904 года от чахотки умер средний брат — Сергей Попов.

Сам Серафимович то и дело болел, у него часто открывалось кровохарканье...

Как же выручить Вениамина?

Скрепя сердце обратился Серафимович к нелюбимому им клану адвокатов. Редактор-издатель «Знания» К. П. Пятницкий по указанию Горького помог изыскать деньги на оплату услуг адвоката, лечение, деликатно и

дружески сняв всякий привкус одолжения: «Берите же пока из «Знания» сто, если мало — сто пятьдесят рублей в месяц... Не стесняйтесь тем, что наши финансы не блестящи; у Вас дело идет не о прихоти; Вы берете только свое; Вы имеете дело с товарищами».

К весне 1905 года Серафимовичу удалось освободить брата и вывезти его в Ялту. Здесь же находилась и вся семья самого писателя, жена Вениамина, Мария Михайловна Костеловская (член РСДРП). Собралось также немало литераторов-знаньевцев. Грузный, с татарским лицом Александр Куприн, создавший совсем недавно «Поединок», Леонид Андреев, с несколько новым, горделиво-театральным трагизмом в манерах, С. И. Гусев-Оренбургский, сохранявший в своем облике черты и степенные движения сельского священника, каким он и был незадолго до этого.

Горький приехал в Ялту после того, как 14 февраля 1905 года ему удалось освободиться из Петропавловской крепости. Там он успел закончить пьесу «Дети солнца».

Начавшаяся революция, особенно впечатления от событий 9 января 1905 года, многое изменили в Горьком. Даже внешне он выглядел иначе. Никакой блузы. Обыкновенный пиджачный костюм, просторный, не стеснявший движений. А многие вроде Скитальца «донашивали» горьковскую блузу, повторяли его позу, романтический стиль, его ставшие штампами словосочетания вроде «хамоидолы», «кухарь», «народушко», «богохулители», «великого и малого Египта свинарь», «олоферна пестрая, эфиопская»...

Горький жил уже в стиле зрелых реалистических новелл, жил под впечатлением сормовской стачки.

Наиболее чуткие друзья заметили эту перемену. Куприн избегал при Горьком по-армейски грубых шуток, Андреев оставлял позерство, забывал силуэт герцога Лоренцо из будущих «Черных масок», в образе которого он часто жил наяву. И тогда проглядывал в нем простой орловский приказчик...

Революция оказалась ближе и реальнее, чем ранее казалось, самодержавие рыхлее, слабее, а рабочий класс гораздо серьезнее, решительнее, чем предполагали многие либералы. И выяснилось, что иные интеллигенты, кричавшие громче всех о свободе, равенстве, братстве, ничего не умеют, кроме как излагать книжные тезисы Михайловского, Струве, даже Плеханова. Они попросту боятся даже приступить к делу революции.

Один академик, по воспоминаниям А. Н. Тихонова (Сереброва), в эти же ялтинские дни спросил Горького:

— Как вы представляете себе самый момент переворота, захвата власти? Любопытно...

Для почтенного академика-либерала это был вопрос отдаленного, теоретического будущего.

— Что же тут-то сложного? Займем арсенал, возьмем главный штаб, телеграф, государственный банк, — просто и коротко ответил Горький. Он устал уже от наивной болтовни, созерцательства. Он думал о новых сложностях, внесенных в ход событий именно массовым революционным движением в городах, деревне, на флоте.

Когда Горький отошел от собеседника, академик многозначительно вздохнул, разведя руками:

— Однако как наивно и несложно представляет себе наш дорогой Алексей Максимович пути истории!

Но наивен был ученый муж, коему революция была «мила как дальность», как исторический мираж... Он, как и многие обыватели, способен был лишь созерцать события с позиций зевак да «литературствовать». На излюбленные в кругах либеральной интеллигенции темы. Что важнее для России — революция или реформация? Есть ли в премьере С. Ю. Витте хоть что-то от железного канцлера Бисмарка? Не из маргарина ли слеплен вытанцовывающийся вождь либералов — историк П. Н. Милюков? И не слишком ли жестоко по отношению к дворянским гнездам, давшим все-таки Тургенева и Толстого, называть пожары в них, как это делал московский либерал М. Герценштейн, «иллюминациями революции»?

Серафимович по просьбе Вениамина, установившего связь с нелегальными организациями Ялты, Севастополя, преодолев немалое смущение, обратился к Горькому с просьбой:

— Алексей Максимович! Местная интеллигенция ищет и не находит пока способа побеседовать с вами... Если бы вы согласились прочесть что-либо на вечере...

Он назвал дачу на Массандровской улице, которую, веря в удачу всей затеи, заранее подыскал Вениамин, назвал день встречи — 19 апреля...

Горький, озорно улыбнувшись, глухо кашлянув, разгадав, что за «местной интеллигенцией» скрывается много совсем иных лиц, сразу согласился.

— Буду читать рассказ «Тюрьма»... Вы его, вероятно, знаете. Он вышел в четвертом сборнике «Знания».

По воспоминаниям Е. П. Пешковой, жены Горького, написанным в 1959 году, Горький вначале читал этот же рассказ на квартире Серафимовича в Дарсане в весьма узком кругу местной интеллигенции. Здесь же было решено устроить чтение рассказа «Тюрьма» для более широкой аудитории.

Никогда, пожалуй, большая дача на Массандровской улице Ялты не знала такого нашествия гостей, как вечером 19 апреля. Ее заранее снял Вениамин Попов. Он же распространил среди знакомых билеты на этот вечер. Выручка пошла на оплату найма дачи и в партийную кассу.

Серафимович, сидевший неподалеку от чтеца, прекрасно понимал, почему Горький вторично читает именно этот с трудом прошедший через цензуру рассказ. В январе 1905 года пал Порт-Артур. Это был пролог капитуляции царизма. Одно поражение за другим терпели в Маньчжурии армии генерала Куропаткина. Бездарность офицерства и возмутительное отупление солдат, «серошинельной скотинки», было в центре внимания всех. Сколько людей, и прежде всего передовых офицеров, солдат, должно было глубоко понять смысл надвигающихся событий!

Сюжет рассказа — о студенте Мише Малинине, «минутном» революционере, бунтаре по вдохновению, попавшем в тюрьму после уличной импровизации о свободе, и о последующих беседах студента с тюремщиком, старым надзирателем Корнеем, — как вольтова дуга с ее полюсами задевал сознание всех. Ведь рядом был Севастополь, грозный флот, где также шло брожение. Там еще не взметнулся красный флаг на «Потемкине», и романтичный лейтенант П. П. Шмидт еще не принял командования флотом. Как поведет себя армия, опора «тюрьмы»? Этот вопрос волновал всех...

Горький неторопливо, словно разъясняя слушателям что-то в них самих, с улыбкой подавал первые, «вождистские» ощущения Миши, импровизатора бунта, в тюрьме:

«Общая волна недовольства жизнью уже успела коснуться его души, возбуждая в ней смутное, но здоровое желание протеста, но он еще не успел понять, куда, на что именно следует обратить этот протест. Теперь, чувствуя себя героем, он с жадностью юноши поглощал новые впе-

чатления, наполняя ими огромную емкость молодой души».

Вся Россия в тот миг была огромной — и просторной, и гулкой! — аудиторией, «огромной емкостью» для революционных импровизаций! Все как будто хотели возбужденной игры в революцию, мнили себя — без всяких оснований часто — творцами событий. Серафимович вспомнит это на Пресне семь месяцев спустя, увидев, как вначале на сооружение баррикад выбегали даже... дворничихи, няни, горничные из интеллигентских квартир... А сколько либералов вело себя подобно Мише Малинину!

Этот второй, главный смысл рассказа приоткрывался постепенно. Глаза Горького делались теплее, игра мышц на лице сложнее. Драма сознания совестливого тюремщика Корнея, драма народа, который не знал, что ничем не хуже был бы его удел, «когда б он менее терпел», разворачивалась с захватывающей очевидностью.

«Корней много видел, много пережил, но все впечатления жизни перепутались в памяти его в огромный клубок несчастий, бессмысленного труда, унижений и каких-то безотчетных поступков...»

Уже и Мише чем-то тусклым кажется его подвиг, он видит себя смешным студентом, размахивающим руками... Начинают приходить и к нему иные мысли, твердые, холодные, точно куски льда. «Они ставили перед юношей железное требование работы, долгой, трудной, незаметной, — великой работы, полной непоколебимого мужества, спокойного примирения с простой, скромной ролью чернорабочего, который очищает жизнь огнем своего ума и сердца от гнилого, ветхого, уродливого хлама предрассудков и предубеждений, авторитетов и привычек...»

Дочитать рассказ Горькому не удалось. Пристав второго участка города Ялта Чижевский, явившийся на дачу с тремя городовыми, прервал чтение и потребовал объяснений от «дачника» Вениамина Попова. Объяснение было импровизированным...

— У нас новоселье, мой брат писатель Александр Серафимович, читал друзьям свой рассказ.

Пристав пожал плечами, недоверчиво покачал головой:

— Не многовато ли друзей... И кажется, еще не сезон... Во всяком случае, прошу публику разойтись... Согласно пункту об усиленной охране губернии.

Горький, сознательно устраненный Вениамином Поповым и Серафимовичем от объяснений, молча наблюдал за всем. Серафимович видел лишь, что ходили желваки на скулах, а морщины, уходившие к оттопыренным усам Горького, стали острее, глубже. В момент, когда пристав собирался сунуть протокол в кожаную сумку, он встал и подошел к столу.

— Ценю ваше благородство и ловкость, — обратился он к Александру и Вениамину. — Чувствуется изрядный опыт обращения с властями... Но мне неудобна невольная роль человека, прячущегося за чужие спины... Полагаю, что сей человек, — он кивнул на пристава, — мне как раз менее опасен.

Алексей Максимович Пешков, писатель... Позвольте прочитать сию бумагу...

Пристав со сдержанной учтивостью приветствовал недавнего узника Петропавловки, отдал протокол, и Горький приписал к нему:

«Вероятно, из желания не подвергать меня возможным неприятностям гг. Поповы допустили в показаниях неточность: читал не А. С. Попов, а я свой рассказ «Тюрьма», напечатанный в сборнике «Знания» № 4-й. Приглашен я был Александром Поповым на новоселье к его брату.

А. М. Пешков».

Серафимович долго не мог забыть этого вечера. Он вспоминал самые яркие вечера в доме Н. Д. Телешова, вечера «Сред». К Телешову однажды приехал даже Шаляпин и после слов «Братцы, петь хочу» попросил вызвать Рахманинова. «Вы здесь меня слушайте, а не в Большом театре» — так, кажется, говорил он в тот вечер и пел, пел так, как, вероятно, никогда не пел. Чтение было отменено, все вплоть до нервно дергающегося, вечно сердитого Тимковского, профессора Грузинского, забыли о литературной части вечера. Горький создал иную атмосферу традиционной литературной встречи. Его слово обостряло ощущение времени, было не откликом на события, а самим, пусть малым, событием идущей революции.

Вскоре началась первая всероссийская забастовка, массовые крестьянские волнения. Участились единичные террористические акты. Правительство, пробуя отвлечь внимание от «беспорядков», приказало генералу Куропаткину начать бессмысленное наступление на р. Хун-хо. Затем наступила трагедия Цусимы. Оборвалась целая цепь

политических притязаний царизма, в том числе претензия на роль противовеса революциям в Европе, что вызвало сильный шок в буржуазной Европе.

Историю приходилось измерять днями. Манифест царя об учреждении Государственной думы (6 августа 1905-го), манифест от 17 октября 1905 года о даровании населению «незабываемых основ гражданской свободы», колебания либералов всех мастей, которых революция лишила права на половинчатость, наконец, декабрьское вооруженное восстание пролетариата в Москве...

В декабре 1905 года Серафимович поселился в Волковом переулке, на Пресне. Окно одной комнаты выходило на каланчу Кудринской площади (пл. Восстания), из других комнат был виден Зоологический сад.

В Новочеркасске, где он провел лето, шли бурные споры интеллигенции. Либеральны были как будто все. И громкие речи, тезисы статей лидера кадетов П. Н. Милюкова, обличавшего царских министров, военного прокурора в таком духе — «достаточно взглянуть на это сонливое, шамкающее царство теней, чтобы почувствовать себя в каком-то гнилом, заплесневелом склепе, уцелевшем по какому-то капризу судьбы среди новых, чуждых форм живой жизни», — встречались многими с восторгом. Словами бросались, но... «рукам волю не давали». При самой мысли об оружии, о восстании либералов бросало в дрожь.

В суматохе дней никто не замечал, что слова часто не превращались в дела. А в тогдашнем либерализме, как в зерне, хранились возможности всех направлений, еще связанные морозом предшествующих лет. Но Серафимович — автор революционных рефератов, пламенный оратор на митингах в читалке — ощущал и тогда, что истинная оценка событий, тем более власть над ними — у партии рабочего класса, большевиков-ленинцев. Листовки РСДРП не были похожи на блистательное литераторство Милюкова, Стаховича, но эти листовки говорили о более существенных противоречиях...

В канун баррикадных боев на Пресне в газете «Новая жизнь» была напечатана статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», которая провозгласила, что «литературное дело должно стать *частью* общепартийного дела». Серафимович уже в летние и особенно осенние месяцы 1905 года страстно стремился най-

ти новые формы участия в революции. Он писал жене из Новочеркасска:

«...Я пишу воззвания, буду читать лекцию для народа... Стыдно мне ничего не делать, когда кругом народ бьется за свободу» (26 октября).

«Сегодня в читалке перед 300 серыми людьми читал реферат о манифесте. Слушали с затаенным дыханием. Реферат революционный».

Но от чтения рефератов, лекций до создания рассказов и повестей о героях революции — нелегкий путь творческого роста. Архив Серафимовича за эти месяцы 1905 года позволяет увидеть, как настойчиво искал он и новых интонаций повествования, форм прямого воздействия на события. Вся прежняя повествовательная манера казалась ему вялой и бессильной. В поисках образца он нередко обращался к «огненному» слову прокламаций, листовок, к стихам неведомых ему поэтов-самоучек из пролетариата, беднейшего крестьянства. Листовки толкали мысли и чувство каждого к действию. В них звучали мотивы столь непримиримой ненависти не только к самодержавию, но к власти капитала, что многие либералишки испуганно морщились.

...Кто золото добыл для царской короны?
Кто сталь для солдатских штыков отточил?
Ткал бархат и шелк на богатые троны,
В ненастье и холод за плугом ходил? —

спрашивал один из стихийных обличителей неправедного антинародного строя жизни. Кто он — таких листовок со стихами, лозунгами в обороте было много! — этого Серафимович не узнал. Но важно ли это? И как ясно передают листовки главную цель: рабочему классу не отводилось места на подмостках политического торга между царизмом и буржуазией, он с оружием в руках должен заявить о своем праве отстаивать свои цели в революции!

С особым вниманием Серафимович собирал, изучал листовки большевиков Дона и Кубани. Донской комитет РСДРП распространял листовки, призывавшие к захвату оружия, к борьбе с невежеством, с подкупом прессы.

Важно было также остановить еврейские погромы, спровоцированные мастерами иезуитски сложной политической игры, биржевиками от политики.

Кубанский комитет РСДРП в листовках 1904—1905 годов обращался к теме, которая станет ведущей в «Желез-

ном потоке», — он боролся против умело насаждаемой розни между казаками и иногородними.

В Москве эти разрозненные впечатления, ощущения великой бури не просто пополнились картинами борьбы на баррикадах. Серафимович увидел, как реально утверждается новая форма народной власти — Совет рабочих депутатов, как рождается зрелый государственный разум в рабочем классе.

Серафимович слышал, как на одном из митингов рабочий Прохоровской мануфактуры, размахивая газетой с царским манифестом, говорил о маневре царизма:

— Самодержавие отступило! Этой бумажонкой оно хотело вырваться из тисков, в которые зажала его всеобщая стачка... Но мы ведем не торг за крупицы свобод...

Писатель пристально вглядывается в человеческие лица, запоминает реплики на митингах, неожиданные суждения молчавших годами людей. Вот вместе со всеми строят баррикаду два человека—подмастерье из портняжной мастерской и заводской слесарь. В первом точно радостное похмелье разливается по всему тщедушному телу, пробивается непривычным румянцем на бледных щеках. Второй уверенно делает свое дело, кладет в основание баррикады перевернутые конки, звенья забора, камни, подбадривая соседа.

— Нашему брату, рабочему, понять только все, взяться за дело, а там захватит и поволокет... Гаркнуть бы всему рабочему люду: сторонись, богачи!

Улицы и переулки Пресни, ощетинившиеся баррикадами, походили, как отметит П. Бляхин, друг Серафимовича, будущий автор «Красных дьяволят», на бурное море, внезапно застывшее с поднятыми вверх гребнями волн.

Ночное небо над Москвой, над фабриками Пресни багровело: горели полицейские будки, бросали ввысь искры костры за баррикадами, у которых грелись дружинники.

Слышались одиночные выстрелы и порой суровая перекличка:

— Стой! Кто идет?

— Свои!

— Пароль?

— «Свобода или смерть!»

— «Победа!» Проходи...

Подростки всех дворов, «красные дьяволята» 1905 года, помогали стаскивать на баррикады бочки, тумбы, за-

боры, а порой, осмелев, стаей нападали на городовых и отнимали шапку или револьвер «Смит и Вессон»...

Мало кто еще знал в лицо руководителей московских рабочих и их боевых дружин — Р. С. Залкинд, которую называли больше подпольной кличкой Землячка, В. Л. Шанцера, З. Я. Литвина-Седого, М. Васильева-Южина. Гораздо больше знали — и Серафимович в особенности — «литературно-лекторскую группу» Московского Совета, в которую входили М. Н. Покровский, М. Г. Лунц, В. А. Обух, В. М. Фриче и будущий редактор «Известий» И. И. Скворцов-Степанов. Но все понимали, что новая, действующая где-то в подполье власть — Совет рабочих депутатов — грозно держит в оцепенении и адмирала Дубасова, и все иные власти. Совет продумывал — и весьма деловито — смысл и результат каждого своего действия.

Всем ли, например, надо бастовать?

Совет учел опыт Октябрьской всеобщей стачки и предложил в декабре: не бастовать пекарям и рабочим водоснабжения. От недостатка хлеба больше всего страдал сам рабочий класс, вообще беднейшая часть населения, не имевшая — в отличие от богачей — запасов. Совет разрешил открыть булочные во время забастовки на окраинах при условии, что не будут повышены цены на хлеб. Как отметил один из руководителей Совета, М. Васильев-Южин, «было добавлено еще, что выпекать должны преимущественно черный хлеб».

Рядом с баррикадами на домах, даже в дни боев, рабочие вывешивали плакаты «Смерть ворам!». На Пресне были закрыты все винные лавки, пивные, исчезло мародерство, пьянство.

Серафимович видел, как пресненские работницы сражались рядом с мужьями-дружинниками на баррикадах... И моральное превосходство восставших над дубасовской полицейщиной, драгунами, шедшими в атаку на горящую Пресню, — их часто подпаивали водкой! — было особенно очевидно.

Серафимович написал в дни восстания и сразу после него несколько небольших рассказов, скорее взволнованных очерков — «Похоронный марш», «На Пресне», «Среди ночи», «Бомбы». Они появились затем, после цензурных проволочек, в сборниках «Знания».

Значение их в творческом развитии писателя трудно переоценить. Почти одновременно с Горьким, создателем актуального романа «Мать», Серафимович создал и свою

Ниловну — работницу Марью, забитую нуждой, пугающуюся собраний, сходок, неприязненно встречающую агитаторов, но затем активно помогающую мужу и его друзьям («Бомбы»). Не герои-одиночки из народнической беллетристики с бомбой, а сами массы сражаются с порабощающим их строем. «Мы увидели наше глубокое рабство, мы увидели наших поработителей... и поняли мы: нет нам примирения», — говорят дружинники Пресни («Похоронный марш»).

Время не уменьшило значения этих скромных как будто открытий. Многие из собратьев Серафимовича по «Средам», по «Знанию», исключая, конечно, автора популярного романа «Мать», и после 1905 года будут видеть саму революцию в образах то условно-риторических, то полумистических. Она, революция, будет пламенеть в яркой охре полотен, скажем, Ф. Малявина («Вихрь»), оживать в образах заговорщиков, террористов, весьма далеких от реальных героев революции, во внеисторических образах у Леонида Андреева, тоже очевидца событий 1905 года:

«Буря еще не началась, но море и небо уже готовы принять ее. Море темно и местами почти лишено блеска и как бы погружено в ночь, иными же местами оно зыблется в зловещем и тусклом свете, — *словно тысячи змей,* поблескивая холодной и влажной чешуей, играют между собой и ударами хвостов поднимают брызги...» («Анатэма»).

Изысканно, красиво? И только... Поразительно одно — это отметит Серафимович про себя, — как быстро низводит среднее интеллигентское сознание эпическую по смыслу народную борьбу до фона к своим философским упражнениям, до зрелища, до антуража в дачных спорах обывателей. Но ведь поединок рабочего класса с царизмом не застывшая декорация! Непосильное, «излишне» тяжелое, земное, грубое для болезненного индивидуалистического сознания объявляется вообще ненужным или непознаваемым. Из истории уходит какой-то главный ее смысл...

Заснеженные баррикады Пресни, кучки дружинников у костров, плохо вооруженных, но уверенных в одном — «не хватит сил сейчас, одолеем в будущем», — их Серафимович не забыл никогда.

В его очерках, кажущихся эскизами какого-то не сложившегося еще эпического полотна, встречаются фрагменты, передающие не внешнее движение революционных

масс, а их внутренний рост, ускоренное познание самих себя. Дыхание эпоса... Серафимович впервые почувствовал его в декабрьские дни 1905 года.

ЧУВСТВО ПУТИ

Те люди, которых мы привыкли считать революционерами, — только реформаторы. Само понятие революции — должно углубить.

А. М. Горький — Е. П. Пешковой (1906)

...Снова Петербург, «самый умышленный город на земле» (Достоевский). Он всегда обрушивался на Серафимовича праздной мозговой игрой интеллигентских салонов, подавлял его вечным поспешанием толпы на Невском. «Тут бешено живут, бешено работают, бешено конкурируют, бешено пьянствуют», — писал он жене в ноябре 1906 года.

В петербургской толпе, заряженной беспощадной энергией выживания, острых ощущений, ему трудно было порой разглядывать отдельные лица. Это была та людская «многоножка», ползущая, голосящая, которую время ссыпало, как скажет А. Белый в романе «Петербург», «в одно сырое пространство» и потеряло над ней власть.

Вот мелькнула афиша — брюнет-художник с горящими глазами зазывал на свою выставку-сюрприз: «Я разорвал кольцо горизонта! Я выловил себя из мути реальности!» В очередной «редакции-муравейнике», где «сервируется» свежий номер газеты, на Серафимовича вдруг уставились столь же заряженные и бездушные, невидящие глаза, в которых не уловишь ничего, кроме раздражения к очередному просителю-простаку... Петербургские лица были похожи на афиши, а реклама выглядела «одушевленнее» людей.

Сейчас, в мае 1906 года, либеральный Петербург жил новинкой — в апреле в Таврическом дворце открылась I Государственная дума. Торг самодержавия с буржуазией принял форму игры в парламентаризм. Большевики бойкотировали Думу, прозорливо увидев, что «новая Государственная дума — это все тот же российский полицейский участок в расширенном виде»[1]. Зато кадеты,

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 11, с. 182.

оформившиеся на недавнем съезде в партию, получив большинство в Думе, продвинув профессора С. А. Муромцева (дядю В. Н. Муромцевой — жены И. А. Бунина) в председатели Думы, находились в сладостном плену конституционных иллюзий. Они видели себя «дрожжами для законодательного теста», которое и призвана была готовить Дума, — «без дрожжей получится лепешка». Вождь кадетов М. М. Винавер говорил уже столь властно, ощущал такую мощную поддержку международного космополитического капитала, что даже в кулуарах Думы звучало: «Кажется, у нас новая династия... Винавер Первый!» (Впоследствии М. М. Винавер будет искать союза с Деникиным для борьбы с Советской властью. — *В. Ч.*)

Развертывая по утрам в скромном номере меблированных комнат «Бель-Вю» на Невском кадетскую «Речь» или «Русские ведомости», Серафимович поражался и близорукости либералов во главе с «министром-маклером», «агентом биржи», «министром-клоуном» графом С. Ю. Витте, вынудившим царя открыть эру парламентаризма, и одновременно их цинизму в минуты торга с царизмом, палачом рабочей Пресни. Еще пылали крестьянские восстания, в разгаре было революционное брожение на флоте, пролетариат стачками продолжал доказывать вопреки самомнению либералов, что на арене политического движения в России действуют не две силы, буржуазия и царизм. А либералы, возмущаясь тупостью, медлительностью правительства в уступках, высокомерно внушали царизму с трибун съезда кадетов и октябристов:

«...Ясно, что независимые русские люди, очень правые по своим убеждениям, собравшись в Москве, не могли не сказать правду: «Правительство осилило бунт, и мы были на его стороне, теперь оно хочет осилить Россию, этим оно теряет право на наши симпатии».

Серафимович резко отложил газету. Возмущение переполняло его. «Значит, пока генерал Дубасов и командир Семеновского полка Мин громили Пресню, «осиливали, так сказать, бунт», господа гучковы и винаверы были едины с царем. Сейчас же, когда царь берет назад уступки либерализму, когда он спровадил в отставку Витте, — его действия кажутся либералам попыткой «осилить Россию»... Снова «Россия — это мы!».

Кто только не вставал в эту импозантную позу?.. От имени России будет скоро говорить и недавний саратовский губернатор Столыпин, обращаясь к новой Думе:

— Если вы скажете правительству: «Руки вверх!» — оно ответит вам: «Не испугаемся...» Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

От имени «спасаемой» России будет кричать вкрапленная во все три официальные России — «Великую», «Белую» и «Малую» — четвертая, «черная Россия», выросшая из охотнорядцев-мясников, инвалидов провалившегося порядка, полных бессильной коммерсантской злобы ко всему, что выходит за пределы понятий «купить подешевле — продать подороже»... И она, «черная Россия», будет убеждать царизм устами вождя «Союза русского народа» А. И. Дубровина, что сорока тысяч чиновников сейчас уже недостаточно для управления Россией и, дескать, нужна «народная партия», то есть его, дубровинский, «Союз русского народа» или другой черносотенный «Союз Михаила Архангела» и т. п.

Впрочем, и само самодержавие, заключив мир с Японией, получив крупный заем у французских Ротшильдов, принялось активно отбирать даже крохи свобод, дарованные манифестами царя в 1905 году.

Конституционная монархия — «усеченный» конус... В лице III Думы — после 3 июня 1907 года — царизм вновь, почти до самого пика конуса, восстановил иерархию «слушаний» и «повиновений». Вслед за этим последовали три пышно отмеченных монархистами всех мастей юбилея: 19 февраля 1911 года — полвека царского манифеста об отмене крепостного права, 26 августа 1912 года — 100-летие Бородинской битвы, и, наконец, 1913 год — 300-летие дома Романовых... Они были призваны нанести позолоту на явно проржавевший фетиш — идею самодержавия.

Но это все еще было впереди...

Сейчас же, обходя редакции журналов, издательства Петербурга, посетив кружок молодых писателей (в нем были М. П. Арцыбашев, В. В. Муйжель, А. П. Каменский, Л. И. Андрусон), Серафимович увидел, что многих собратьев по перу уже разъедает роковая болезнь малодушия, плохо скрытого ренегатства, вероотступничества. Революция шла на спад, наступала ночь после битвы, явились литературные мародеры.

«Какой-то немец, бактериолог, сказал однажды: холера — экзамен желудка. Русская революция, видимо, была экзаменом мозга и нервов для русской интеллигенции, — писал А. М. Горький К. П. Пятницкому в это же время. — Народ наш проснулся, но пророки ушли по кабакам, по

бардакам. Вижу, что К-н, Андреев — талантливые люди идут рядом с хулиганами».

Серафимович в годы реакции был одним из немногих, кто последовательно и систематически вел борьбу с ренегатством, упадочничеством в литературе. Увы, множество исследователей его творческого пути, спрямляя этот путь, постоянно игнорировали одну сложность, «неудобную» для всякой схемы. Как получалось, что, во всем соглашаясь с Горьким, Серафимович долго, вплоть до 1916 года, отделял Леонида Андреева от декадентов всех мастей? И нередко... противопоставлял его им! Между тем в рассказе «Мысль» Андреев уже говорил о ненадежности мысли, разума и о возможности «бунта» мысли против ее обладателя. В 1909 году в пьесе «Черные маски» писатель будет говорить о зыбкости сознания, о черной ночи безумия, постоянно осаждающей мозг... Что это, как не стремление к разрушению личности? Но даже в 1909 году Серафимович в одной из лекций о литературе говорил, что «Андреев создал еще невиданный на Руси мощный язык, кованый, как звенящая медь...». И первый свой роман «Город в степи» (1912) Серафимович посвятил Леониду Андрееву...

Истоки глубокого заблуждения, противоречивой дружбы, диссонирующей с горьковским отношением к Андрееву, совсем непросты. С одной стороны, Серафимович явно преувеличивал значение антибуржуазных, антимещанских мотивов в творчестве Андреева: в них было много типично мелкобуржуазного анархизма. А с другой? Замкнутый, с трудом выносивший высокомерие, барственный стиль обращения и символистов, и иных «знаньевцев» — очень трудными, порой враждебными были его отношения с И. А. Буниным, В. В. Вересаевым, — Серафимович буквально согревался душой у вечно открытого, безмерно доброго к нему Андреева. К тому же и в 1904-м и в 1905 годах, когда Серафимович, обремененный семьей с двумя детьми, жил на милостивые подачки либеральных газет, именно Андреев самым активным образом держал его «на плаву».

Едва в «Знании» зашла речь о выпуске чеховского сборника, как Андреев пишет Горькому: «И если, наконец, ты принял к участию в сборниках Чирикова, Найденова, Гусева, то почему ты отверг мое предложение привлечь «Среду», то есть Серафимовича, Телешова, Елпатьевского и т. д.» (8 октября 1904 г.). Справедливости ради следует отметить, что Горький сразу же принял

пожелание Андреева. И 24 октября 1904 года писал: «Собери и пришли мне сюда скорее портреты: твой, Телешова, Серафимовича... Торопи Скитальца, Бунина, Серафимовича, Телешова». 14 ноября он вновь напоминает Андрееву: «Что Серафимович? — Слова другие — до личной встречи».

Даже когда выяснилось, что готовый рассказ Серафимович отдал В. С. Миролюбову в «Журнал для всех» — и аванс, конечно, давно «проел», — Андреев просит Горького включить в сборник новый, пишущийся Серафимовичем рассказ: «Получил сейчас от Серафимовича письмо. Он анафемски хочет в «Сборник», клянет аванс и садится за новый рассказ. Я ответил ему: торопись. Какой он хороший человек, если бы ты знал, Алексеюшка!» (14 ноября 1904 г.).

В. Н. Бунина, рисуя литературный быт начала века, вспомнила — с неприязнью, не остывшей за много лет, в мемуарах «Беседы с памятью», — как скромно, незаметно держался Серафимович даже на ужинах «Сред». Он молчалив, у него «калмыцкие скулы и почти совсем голый череп», а Ян (И. А. Бунин. — *В. Ч.)* после ужина сказал ей: «Юшкевич (писатель-знаньевец. — *В. Ч.)* нравится мне, он всегда несет и с Дона и с моря, но человек талантливый, живой, органический, а вот Серафимовича терпеть не могу. Обратила ты внимание на его лошадиные зубы?» Какое ледяное безразличие и какой очевидный контраст по сравнению с любовью к Серафимовичу Леонида Андреева!

Одним из издательских «кормильцев» бывших «знаньевцев» — и Серафимовича, конечно, — был Н. Н. Михайлов, хозяин издательства «Прометей», родственник — по первой жене — Леонида Андреева. Да и косвенно, как невольный «коренник» в упряжке, Андреев нередко вез на себе многие коллективные сборники. 23 сентября 1908 года Серафимович писал, например, И. А. Белоусову: «Напишите, как идет дело сборника. Прислал ли Андреев? Пишите ему, самое лучшее — съездите к нему... Его участие — три четверти дела... Ах, Андреева, Андреева непременно заполучите. Он нас всех стоит».

Но не только чувство благодарности, редкая доверительность Андреева заслоняли для Серафимовича до поры перемены, свершавшиеся в будущем авторе «Тьмы». В ноябре 1906 года скончалась от послеродовой горячки жена Андреева, Александра Михайловна Велигорская-Андреева, незабвенная «дама Шура», «предприимчивый

человек» (в переписке Горького с Андреевым), верный друг и умный критик писателя. Страшная депрессия с ее неизбежным спутником — алкоголизмом — потрясла Андреева. Важная для душевного равновесия опора «подломилась», и уже в июле 1907 года он сообщает Горькому: «...Спасаюсь на день, на два (от любопытствующих друзей, «званых» и «незваных» гостей, как в «Черных масках». — *В. Ч.*) на Черную речку, но и там — пронюхали. Купил там кусочек горки и строю крепость, куда буду прятаться зиму и лето». Речь шла о даче-крепости в Ваммельсуу, на которой не раз затем бывал и Серафимович. Он-то понимал прекрасно, что при всем позерстве, игре в герцога Лоренцо, Давида Лейзера, пирата Хорре («Океан») Андреев был искренен в своем бегстве из Москвы, Петербурга к безлюдной стихии моря...

Серафимович, отделяя Андреева от расчетливых проповедников деморализации, пессимизма, от бесчисленных кумиров бессемейного, раздавленного судьбой люда, подготовленного несчастными жизнями к ожиданию всяческой грязи, «арцыбашевщины», понимал, что Андреев искренне напуган не просто мещанством... Не мещанственно ли всякое буржуазное существование, всякое бытие, а не просто быт? Не окутывает ли человечество тьма египетская варварства, аморализма? Этот титанизм мещанства, обывательщины, его глубокое якобы проникновение в природу человека и любого общества стал источником трагедий для героев андреевских драм — от «Жизни человека», «Анатэмы» до «Океана» и «Черных масок»... Героев этих то побивает камнями толпа (Давид Лейзер), не поняв их высокой мысли, то она же изгоняет в безначальную стихию «океана». «Некто в сером», или ползающий Анатэма — его играл В. И. Качалов, — олицетворял роковую и бессмысленную необходимость, крушащую все виды бунта, благородства, подвигов разума.

Ради того чтобы вглядеться в этого маниакально-навязчивого «врага» человека и человечества, Андреев, что с тревогой отмечал уже в ноябре 1906 года Горький, шел на опасный для художника отрыв от конкретно-исторической действительности: «В жизни твоего человека — почти нет человеческой жизни, а то, что есть — слишком условно, нереально... Вообще ты слишком оголил твоего человека, отдалив его от действительности, и тем лишил его трагизма, плоти, крови».

Серафимович не просто созерцал настигающее Андреева бедствие — иссыхание его таланта. Стихийно, как че-

ловек, в характер которого донские черноземы «надышали» много здоровья, как активный участник революционного движения в молодости, он угадывал: «взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа — это порождение отчаяния, и его психология — это «психология выбитого из колеи интеллигента или босяка, а не пролетария» [1]. Но он все же пытался остановить процесс угасания, помочь Андрееву избежать затворничества на пресловутой вилле «Аванс». В этот приезд в Петербург он еще сумел увлечь его одной реальной человеческой судьбой, в итоге родился прекрасный рассказ, высоко оцененный Л. Н. Толстым, — «Рассказ о семи повешенных»...

...Судьба, видимо, давно повелевала случайностями, задевавшими прямо или косвенно Серафимовича. То и дело в зоне его мысли и чувствований свершались взрывы, вулканические выбросы, потухали уголья страстей. В Петербурге он пережил состояние человека, рядом с которым произошел чудовищной силы взрыв, прошла, едва не задев его, взрывоопасная комета...

Он все еще жил в Петербурге — на этот раз в «Пале-Рояль» на Пушкинской улице. «Тут рубля на $1^1/_2$ ничего номер...» Было утро, предстояли очередные хлопоты в редакциях. С горечью пишет Серафимович милому другу Ивану Алексеевичу Белоусову в Москву... О чем? О вечной нужде в деньгах, о литературных нравах, о том, что здесь «жизнь жуткая по сравнению с Москвой». С особым сожалением сообщает о судьбе «Знания»: «В «Знании» идет какой-то разброд; что-то у Пятницкого с Горьким нелады. Умирает «Знание». Жалко. Не найдется человека, который бы стал преемником».

«Знание» угасало в силу многих причин. В июле 1907 года Л. Андреев настойчиво просит А. М. Горького: «По-моему, например, необходимо пригласить теперь же: Блока, Соллогуба, Ауслендера... Вообще, веришь ли ты, что я не подведу? Выбор материала будет у меня параллелен моей собственной работе: буду помещать только то, что ведет к освобождению человека». Горький в ответном письме деликатно, не говоря прямо о расплывчатости, анархизме «платформы» Андреева, дает убийственные характеристики предлагаемых авторов. «Сей юноша (Блок. — *В. Ч.*), переделывающий на русский лад дур-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 378.

ную половину Поля Верлена, за последнее время прямо-таки возмущает меня своей холодной манерностью... Нет, ты оставь его в покое года на три, может быть, он подрастет за это время и выучится говорить искренно о простых вещах... Старый кокет Соллогуб, влюбленный в смерть, как лакеи влюбляются в барынь своих... фигура лишняя в «Знании» (12 августа 1907 г.).

В годы реакции далеко откатились друг от друга и сами знаньевцы. Распадались былые привязанности. И следует отметить, что И. А. Белоусову да еще Александру Абрамовичу Кипену, автору повести «В октябре» о революционных событиях в Одессе, специалисту по виноградарству, Серафимович писал особенно часто и охотно. И не случайно.

«В «труппе» писателей-знаньевцев был, как водится, и свой «трагик», склонный рвать «страсть в клочья», жаждущий острых, риторических спектаклей, — Леонид Андреев. Было несколько «резонеров», неоклассиков, академиков, склонных к резонерству и утонченной лирике, — «Ванечка» Бунин, Евгений Чириков и «Вересаша» (Вересаев). Были размашистые «простаки» — Гусев-Оренбургский, Куприн и Скиталец. А где-то на стыке актерской «труппы» и, вероятно, толпы статистов, суфлеров был простодушный Белоусов, поэт-самоучка.

Когда-то в юности он прочел тетрадку стихов и песен русских поэтов — «Стонет сизый голубочек», «Среди долины ровныя», «Не брани меня, родная» — и с тех пор стал пленником этой полуфольклорной лирики. Как профессионал портной он однажды попал к А. П. Чехову и прочел ему — естественно, после удачной примерки — простодушные свои вирши о деревенской природе, о весеннем солнышке... С тех пор — с 80-х годов XIX века — Белоусов выпустил множество книг для детей («Росинки», «Ласточки», «Искренние песни», «Птичья стая» и др.), перевел «Кобзаря» Т. Г. Шевченко. И неожиданно расцвел как самый домашний, задушевный человек на «Средах».

Своей простой и скромной песней
Не зло людское я карал,
Как ручеек в лесной долине,
В траве скрываясь, я журчал...

«Идеи»? Какие же идеи у Белоусова, особенно если поставить его рядом с И. Буниным, И. Шмелевым, Л. Андреевым? Дальше традиционного, для эпохи революции уже «карамельного» сочувствия маленькому че-

ловеку, тому же портному, которому надо сдать заказ, а дома в деревне умерла жена и остались дети-сироты, Белоусов, конечно же, не шел:

Низко склонившись над спешной работой,
С впалою грудью, усталый, больной,
Целую долгую ночь без разгиба
Шьет он, махая проворной иглой.
Спешное дело кончает он в срок,
Думой от дела он, бедный, далек;
— Эй, торопись, попроворней махай!
Шей-пошивай!

Для Серафимовича, написавшего рассказ «Заяц» о такой же житейской ситуации и с таким же характером, было очевидно, что коротки психологические «тени» в подобных плачах. Его герой тоже жалок, унижен, но не только... Он едет «зайцем» на похороны жены, едет неохотно. Он уже и вкусил от «древа познанья» городской жизни, обнаглел, утратил деревенскую простоту. «Отвык от деревни, отвык от жены, от семьи, в городе у него была любовница». До этих подробностей, осложняющих характер, И. А. Белоусов, конечно, не добирался.

Но именно Иван Алексеевич был неоценим как друг, сострадательный к безденежью. К нему, не стыдясь нужды, можно было обратиться в горький час. К тому же он не оставил совсем портновского дела: его маленькая мастерская давала небольшой, но прочный заработок, из которого он не раз по первой просьбе одалживал Серафимовича. Вдвойне дает тот, кто скоро и без упрека дает...

Но очередных писем И. А. Белоусову, А. А. Кипену, наконец, Ксении Александровне Серафимович в то утро не дописал.

В дверь постучали. О его пребывании в Петербурге, оказывается, узнали. Пришедшая к нему девушка — ее звали Лидия Стуре — объяснила, что на вечере в Политехническом институте, где его, автора рассказов, очерков о восстании на Красной Пресне, хотят послушать студенты, будут также Вера Фигнер, знаменитый народоволец, шлиссельбуржец Николай Морозов...

— Вечер официально разрешен директором. Пожалуйста, Александр Серафимович, не беспокойтесь ни о чем... Прочтите что-нибудь...

Серафимович, как былой конспиратор, сразу же понял многое. Даже то, о чем эта красивая, одухотворенная каким-то опасным делом, — конечно, куда более опасным, чем данный вечер! — не сказала. Сама она была не из

Политехнического... Перед ним, бесспорно, была революционерка, напоминавшая былых динамитчиков... Она была, как выяснилось, эсеркой, террористкой, как некогда и В. Фигнер. Для нее «левее» в революции тот, кто ближе стоит к опасности, чье дело «смертельнее» и для врага, и для самого борца...

О чем вспомнил после ее визита писатель, что пронеслось в его памяти? Что рассказал он об этой Л. Стуре некоторое время спустя Леониду Андрееву? Это произошло позднее, когда по доносу провокатора — эсера Евно Азефа — были схвачены семь бомбометателей, готовившихся убить дядю царя Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова. Фотографии семерых схваченных и приговоренных к повешению — среди них был и портрет Лидии Стуре — мелькнули в тогдашних газетах... Серафимович сразу узнал ее.

Мало кто знал, что уже до этого два арестованных эсера-террориста — Зильбергер-Штифтар и Сулятицкий — успели через защитника передать в ЦК партии эсеров, что они осуждены не на основании показаний свидетелей. Есть предатель в Центре, стоящий за кулисами! И в том и в другом случае, как свидетельствует В. Н. Фигнер в книге «Запечатленный труд», охранке помог ее агент Азеф. Сама она долго не верила в провокаторство Евно Азефа и защищала его на тайном суде эсеровской верхушки с участием Савинкова.

И вот теперь Серафимович ясно видел все — очередные идеалисты пошли на эшафот...

Вымысел писателя часто страшнее документа. Что пережили эти юные идеалисты, жаждавшие подвига, осознав, что на все их верования умело, с адским умыслом плеснули грязью азефовщины? В печати скоро появились разоблачительные материалы об Азефе, агенте охранки. Серафимович вспомнил и заговорщиков 80-х годов, и надломленную морально Клеопатру Блавдзевич из Усть-Медведицкой. На его глазах высокая трагедия народовольчества выродилась в савинковско-азефовский фарс!

Вероятно, это же он говорил и Леониду Андрееву, рисуя образ Лидии Стуре, ту страшную ловушку, что подстроена была ей и похожим на нее идеалистам. И рассказ его был, вероятно, столь ярок, что Муся из «Рассказа о семи повешенных Л. Андреева, показанная накануне казни, — имевшая прототипом Л. Стуре, жертву Азефа, — стала характером, в котором трагическое ослепление идеализма выразилось с поразительной силой:

«Муся шагала — и оправдывалась перед людьми, волнуясь и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню, подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какою умирали до нее настоящие герои и мученики... ей было совестно до красноты. Точно, умирая на виселице, она совершала какую-то огромную неловкость... И, как меркнет свеча в блеске взошедшего солнца, тусклой и темной казалась молодость и жизнь перед тем великим и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову». Она чувствует себя как Христос от революции, восходящий на свою Голгофу! И не знает, что в толпе, криво усмехаясь, глядит на ее смерть Иуда, вожак боевых дружин Азеф!

Как катастрофически усложнились все драмы, трагедии в узком слое бунтарей-заговорщиков с их дружинами, демонической игрой в рыцарей «плаща и шпаги», увлекавшей Савинкова, с их негласными «трибуналами», почти неизбежными провокаторами! Серафимович не раз ловил себя на одной сложной мысли. Он приходил к ней все чаще и чаще. Как спасти множество молодых бунтарей, пополняющих боевые дружины Савинкова, от трагических заблуждений, направить эту энергию в иную сторону?

Не слишком ли долго бытует мнение, что жандармы — это такая тупость, безмозглость, стена, которые ничем, кроме ящика с динамитом, не прошибешь? Он тоже знал — в связи с террористами — картинные рассказы о побегах, о тонкости ума убегающих и о вялости энергии преследующих их... фамусовых и скалозубов в жандармских мундирах. Это была идиллия революционной борьбы! Оказалось, что полиция, почуявшая смертельного врага в революционерах, сплела чудовищный по аморализму узор провокации.

Она, словно взяв за образец саму концепцию индивидуалистов от революции, их идею не штурмовать крепостных стен, не побеждать огромных ратей, а убивать полководцев, терроризировать «верх», тоже многому научилась. Что толку разить десятки, сотни студентов, ученых идеалистов, если новые тысячи, как тургеневская девушка из рассказа «На пороге», самозабвенно идут в революцию, а не на государеву службу? Не лучше ли поразить—предварительно осквернив, загрязнив,—саму идею, веру в руководителей? Ведь именно Азеф, руководитель боевых отрядов у эсеров и провокатор на жалованье, и

посылает молодежь на смерть! Азефовщина — это комок разъедающей грязи, брошенный в самое цветение интеллигентского идеализма. Это попытка вывести «Иуду» от революции против ее «Христа», чудовищный замысел, способный, как казалось его «авторам», рассыпать в прах саму идеальность революции.

...Вечер на окраине Петербурга, куда пригласила Серафимовича Лидия Стуре, где он встретил героя своей юности, знаменитого узника, народовольца Николая Морозова, превратился в революционный митинг. Серафимович вспомнил, готовясь к нему, встречу с А. М. Горьким в Ялте, чтение им рассказа «Тюрьма». Рассказ может звучать как прокламация для тех, кто ощущает главную тревогу момента! У него был такой рассказ. Недавно законченный, подготовленный для очередного выпуска альманаха «Знание». Он назывался «У обрыва».

Обычный перевоз через Дон, фигура традиционного деда-перевозчика, горящие дворянские усадьбы, рыскающие по степи казачьи патрули... Дед убеждает казаков свершить немыслимое — нарушить присягу, отпустить «арестованных» забастовщиков...

Слушатели — в большинстве своем студенческая молодежь, пришедшая легально приветствовать и Морозова и В. Фигнер, — осознавали сюжет рассказа, как туго сжатую, тревожно разжимающуюся пружину. В самом воздухе эпохи и сейчас носилось ожидание: на чьей стороне будет армия, когда же она дрогнет? В каждой революции бывает мгновение, когда тонкая переборка присяги, инерции повиновения в армии рушится, начинается братание, переход армии на сторону штурмующих. И слушатели, жившие под наркозом вестей о делах карательных казачьих отрядов, о казнях, не замечали, что доводы старика перевозчика, своего рода стихийного праведника, похожи отчасти на резоны горьковского Луки... Все доводы против присяги были если не убедительны, то все же... своевременны!

«— Присяга! — Голос старика зазвучал желчью. — Присяга!.. Вот она, присяга, — и старик вдохновенно поднял руку, — перед святыми звездами, перед ясным месяцем, перед темным лесом, перед чистой водой, перед зверем лесным... Вот она, присяга истинная! Вот кому присягали мученики... Жисть, вот она кругом, — он широко повел рукой, — ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями, да колете пиками, да рубите шашками...»

Вечер кончился тем, что самому автору, как и многим участникам вечера, пришлось спасаться бегством от конной полиции.

От ареста Серафимовичу удалось уйти, но, перелезая через заборы, автор «У обрыва» претерпел немалую беду. «Стал спускаться, да как загремел и повис вниз головой, зацепился одной ногой за ветряк на заборе. Голова кровью стала наливаться, никак не подымешься в шубе, — писал Серафимович жене. — Не помню, как освободился и спрыгнул в сугроб. Еще с полчаса ходил по колено в снегу, пока наконец не выбрался».

Впечатление от встречи с Лидией Стуре и от ее последующей судьбы долго не проходило. Серафимович вновь и вновь всматривается в знакомые ему со студенческих лет фигуры революционеров-максималистов, сеятелей ужаса в сердцах губернаторов, министров, великих князей.

«Оцененная голова» (1907)... Герой рассказа террорист Богун, ведущий страшную, безвестную для мира жизнь, как будто слившийся с бомбой, с пачками динамита, гроза дворцов и царских поездов, решается на отчаянный вызов. Кому? Своим преследователям. Он явно искушает судьбу, игра со смертью увлекает его, срывает с орбиты борьбы. Как в карточной игре, где карты, скользя через руки людей, в сущности, ведут свою безумную жизнь, смеясь над усилиями людей, «капризничая», обманывая, в конце концов совлекая и их с колеи обыденной логики и разумности! Он решил повидать жену и дочку не где-нибудь, а в своем доме, презирая всякую слежку! Все его счастье нескольких дней — продолжение борьбы, ее кульминация, вызов. Это моральная победа над преследователями, торжество силы свободного духа.

Герой, конечно, гибнет, насладившись все-таки... вызовом, безумством сладостного хождения над пропастью. Писатель, не осуждая героя, все же доносит до читателя мысль: беспочвенные бунтари-одиночки, сражающиеся вне народа, благородные заговорщики живут на грани кризиса, нравственной катастрофы, безверия.

Рассказ «Сопка с крестами» (1907) — очередной, последний, пожалуй, поклон бунтарям 90-х годов и прощание с ними.

Первоначально он назывался «Свидание», что отвечало внешнему сюжету рассказа: истории поездки героини в

Акатуй к любимому, пожизненно погребенному там... Но содержание рассказа — и прежде всего драма верности, драма идеального чувства, медленно умирающего в душе, — оказалось богаче. Рассказ перерос тему «свидания» — это поистине поэма о жизни человеческого сердца, сдавленного печальными обстоятельствами, не знающего выхода из них, но не умеющего расстаться с дорогой мечтой, оказавшейся попросту... книжной.

Множество судеб промелькнуло перед писателем, когда он писал этот прекрасный рассказ. Энергия любви в идеалистах 80—90-х годов, сила вызова косной материи быта, обывательской инерции, разливавшей вокруг немногих «светильников разума» свою тьму, — все выражено уже в описании дороги героини в Акатуй. Бесконечная дорога, глушащая порывы, охлаждающая сердце...

«Мороз лежал на всем, густой, тяжелый, прозрачный, и снежные очертания были жгучи.

Молчаливая пустыня раздвигалась скупо, отовсюду волнисто загораживая снежными искрящимися линиями, и язык молчания спокойно и холодно говорил, что нет места здесь живому... Усилием воли она отодвигала вздымавшиеся вокруг горы, и ей чудилась сопка с крестами, особенная, не похожая ни на одну гору в мире. И стояла она, огромная, таинственная, касаясь белой вершиной небес. И черной ратью покрывают ее кресты. Они густо чернеют, как лес, молчаливыми стражами потухших жизней, схороненных страданий».

Зрелый мастер, окончательно нашедший себя, понимающий каждый свой «маневр», писал этот рассказ. Предметы становятся почти одухотворенными, древо реальности «выбрасывает» полуфантастические ветви, молчание звучит. Красочное, подвижное и тонкое изображение поверхности душевного процесса, особый «струящийся» мазок, как у импрессионистов, становятся чертой мастерства художника.

И сколько оттенков чувства, подголосочных мелодий вокруг главного мотива — драмы верности!

Героиня едет в Акатуй, стремясь уцелеть нравственно в мире отступников, маловеров, среди мародеров. Этот «подтекст» говорит о высоте гражданской позиции Серафимовича в 1907 году, в «ночь после битвы» (В. В. Воровский). Она жаждет найти опору в прошлом, уцелеть от потопа малодушия хотя бы на печальной сопке. Из двух форм жизни, говоря языком Горького, — гниения и горения, — она знает лишь одну, бережет в себе

жажду жить в пламени ярких чувств, самопожертвования. Встреча с любимым, встреча молчаливая, по законам конспирации — ведь она приехала в сопки инкогнито, как научный работник — прощальный аккорд величественной музыкальной картины. И до этого звучала на все лады мысль о неестественности того «порядка» жизни, что подавляет лучшие чувства. «Визжат скрипучими голосами полозья», молчит «тишина, пропитанная тьмой и морозом», пятно света кажется «трепетным зародышем жизни и дыхания». В финале эти ощущения сливаются воедино:

«Какая-то противоестественная сила с уродливой, бессмысленной, отвратительной головой стоит между их молодостью, их страстью, их яркой жизнью, стоит и слепо смотрит на обоих, смотрит неуклюжими, черными, плохо обметенными от снега сапогами».

Но не похожи ли эти герои в эпоху массового пролетарского движения на одинокие, беззаконные кометы? Конечно, похожи... И в повести «У холодного моря» (1909), в известной мере завершающей этот своеобразный цикл, писатель не случайно выдвигает на первый план характер ссыльного Основы, прототипом которого был П. А. Моисеенко, организатор исторической морозовской стачки. Именно этот реальный характер и живые впечатления борьбы рабочих на Красной Пресне, сложившись воедино, вывели раздумья писателя о новом типе революционера-пролетария из сферы мечтаний.

В мае 1906 года Л. Н. Толстой записал в дневнике: «Старый порядок проходит, и терпеливость русского народа проходит, а что выйдет — неизвестно».

Все эти годы, вплоть до февраля 1917 года Серафимович ощущал себя в кипучем мире, полном обломков старого и кристаллов новых образований. Тянулись бесконечные, усыпляющие речи думских златоустов, а он отчетливо видел, что Дума всего лишь одна из скважин, сквозь которую дышит живой вулкан. Возникали новые течения в модернизме, обещавшие невиданное обогащение искусства, но очень быстро они оказывались бледными, немочными орхидеями, под которыми нет земли. Неистовое строительство воздушных замков в поэзии, «цветущее» всеми оттенками словоговорения в Думе, где один оратор брал кусок речи, другого и «мял» его доводами, цифрами, наконец, смрадное дыхание распутинщины — все рож-

дало в Серафимовиче сложную работу сознания, нравственного чувства.

Он пристально наблюдает в эти годы за эволюцией Ивана Бунина, соратника по «Средам» и «Знанию». Страшное, загаженное и обреченное место — бунинская деревня Дурновка («Деревня»), где ни пьянство — сущее гниение народа, ни воровство — чудовищная «вшивость» государства! — не встречают отпора, где течет жизнь без идеи, без веры в будущее. «О Русь, куда несешься ты?» На этот гоголевский вопрос Бунин отвечал часто в состоянии предельного безверия: в мрачный овраг Дурновки валилось, сползало без надежды выкарабкаться все, что было дорого Бунину. И писатель уходил в герметичный мир «путешествий в воспоминаниях», в метафизическое исследование глубинных основ характера русского народа. «Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собой плачет» — так думает мудрец Тихон Ильич из «Деревни». В дальнейшем Бунину почти ненужными стали минутные стрелки на циферблате истории, все «текущее», ежедневное...

С горестным сожалением наблюдал Серафимович за эволюцией Куприна после «Поединка», удивляясь и непостижимой власти богемной стихии над беспечным русским талантом, и силе таланта создателя «Изумруда», «Суламифи», порой опрокидывающей даже одуряющее пьянство, иссушающий мозги алкоголь.

Неожиданный взлет Ивана Шмелева, сына лесоторговца из Москвы, в повести «Человек из ресторана» (1911) очень обрадовал Серафимовича. Официант Скороходов, герой повести, всю жизнь рысью подающий одно блюдо за другим, предстал открытым, обнаженным «кирпичиком» лакейства в огромной пирамиде скрытых, благородных лакеев. «Но у Шмелева нет внутреннего стержня убеждений», — с грустью отметил Серафимович.

«А у кого он прочен, не зыбок, этот стержень убеждений?» — порой спрашивал Серафимович.

Однажды в кафе Серафимович услышал разговор двух — начинающего и опытного — юрких коммерсантов из окололитературного ряда. Один из них жаловался, что на службу ни в Петербурге, ни в Москве не устроился, что заработки сейчас «не тверды». Другой прервал поток жалоб и сразу дал совет:

— Это скучно слушать! Затевай журнал?

— Журнал? А соберешь ли подписчиков?

— Мало ли люда на Руси... Велика Россия. Охотники найдутся.

— Да слышал я толки: надуют, мол, деньги возьмут, а журнала не выпустят... И старые-то журналы — «Русский вестник», «Русское богатство», «Современник» — еле дышат...

— Знаешь что, тогда издай альманах!

— Да как же так?

— Обегай господ литераторов, попроси несколько сочинений, в долг закажи виньетку. Заглавие? Его придумай и тисни с богом.

— Да я ни с кем не знаком...

— Что за беда! Скажи, что ты юный питомец муз, начинаешь солидное дело...

Собеседники говорили бойко, поднимали бокалы за успех «дела», за процветание нивы словесности. Серафимович невольно рассмеялся: а ведь коммерсанты угадали свое время! «Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ея», — вспомнил он нечто из Нового завета. Эти дельцы угадывают наклонность к идейному блуду по поднятию век и глаз писательских на феномен денежного мешка.

Громоздкий, толстый журнал действительно изнемогал под собственной тяжестью. И прав был, пожалуй, дежурный критик основанной Баком кадетской «Речи» К. Чуковский, когда в новогоднем обзоре писал: «На сцену русской литературы вновь, через 70 лет, запыхавшись, вбежал альманах. Случайный наездник, — отчасти мародер, — без мысли, без смысла, без программы, но с полными горстями беллетристики» («Речь», 1 января 1908 года). Альманахов — «Шиповник», «Факел», «Корабли», «Проталина», «У горна», «Сполохи», «Белые ночи», «Земля», «Стожары», «Цветник Ор» и др. — выходило много. Да и внешний вид их поражал. Былые аскетичные обложки книг сменились усложненно-красивыми. Целый огород символов, знаков на обложках символистских книг, ошеломлявший всех, дававший «впечатления» до чтения, «перетек» и на обложки иных изданий.

Многие из альманахов, венчая часто распад литературных школ, не просто «вбегали запыхавшись». Крепким потом коммерции, чесноком из острых ресторанных подлив и сытой отрыжкой честного гешефта попахивали многие альманахи. «Нужно соприкоснуться с литературным миром, чтобы понять ту ужасную борьбу, которая

кипит внутри него», — говорил Серафимович в лекции «Литература и литераторы», объезжая в 1908—1910 годы некоторые города Юга России.

Образ жизни его тоже в известной мере определялся стихией литературных заработков. И прав один из серьезнейших академических исследователей творчества Серафимовича, Г. Н. Гай, проследивший и маршруты бесчисленных поездок писателя, и его встречи.

«Перед нами — писатель, газетный работник, интеллигентный пролетарий, общающийся с самыми разнообразными кругами населения — в редакции, в порту, на рынке, на фабриках, в рыбацком баркасе на Дону и в открытом море, странник и пешеход, ночующий в степи, любитель поездок на лодке, на мотоцикле, верхом в казачьем седле и на тяжелых снопах пшеницы, наваленных на арбе».

Необходимость писать на потребу журнала, газеты, альманаха определяла очень многое. Случалось порой так, что ради аванса, для прокорма семьи он сдавал в редакцию лишь начало и... конец рассказа, в нумерации листов рукописи за двадцатой страницей следовала сороковая... Когда редактор — через месяц-два — начинал готовить рукопись, то Серафимович вдруг получал паническую телеграмму:

«Затерялась середина рукописи с 20 по 40-ю страницу, извиняемся, просим возобновить».

Серафимович, успевший, конечно, к этому времени дописать рассказ, высылал «затерянные» страницы...

Но ни гримасы делячества, являвшиеся на «лике» безвременья, ни неумолимый стук нужды, властно диктовавший свою программу житейских хлопот, не заслоняли и в эти годы главные рубежи идейной борьбы. Он ясно видел и свое и — особое — место Горького в ней.

Горький в 1907—1916 годы не просто тяжело переживал утрату «Знания», превращавшегося в обычное коммерческое дело, утрату многих единомышленников, оказавшихся типичными реформаторами или бесхарактерными анархистами, маньяками индивидуалистических идей. Он сожалел и о «пленниках славы» — Андрееве, Куприне: ведь слава — это «зверь», из природы которого устранено насыщение... Он всеми силами, на разных фронтах, боролся с «разрушением личности» в литературе, с утратой доверия к человеку, к разуму и чувству трудового народа.

Серафимович одним из первых ощутил, что после ре-

волюции 1905 года Горький — особенно в книге «По Руси», в трилогии о детстве и юности — рисует не прежний босяческий тип, живописного бездельничающего пророка в лохмотьях, вещателя под сводами ночлежки.

«Русь изобилует неудавшимися людьми, я уже немало встречал их, и они всегда, с таинственной силой магнита, притягивали к себе мое внимание. Они казались интереснее, лучше густой массы обычных уездных людей, которые живут для работы и ради еды, отталкивая от себя все, что может огорчить кусок хлеба... Было в них что-то непобедимо зимнее», — писал он, объясняя свой интерес к босякам, светящимся «летним» натурам. Но сейчас стало яснее, что они... «Да, светится, но чаще всего обманчивым светом гнилушки: присмотревшись к нему, понимаешь, что это лентяй, хвастун, человек мелкий, слабый, ослепленный самолюбием, искаженный завистью, а расстояние между словом и делом у него еще глубже и шире, чем у зимнего человека».

Поиски новых характеров, способных будить в читателе не энергию вспышки, а упорной работы, развивать сознание красоты Родины, прививать чувство радости видны в целом ряде новелл горьковского цикла «По Руси».

Уже в рассказе «Рождение человека» поражала здоровая красота героини, чуждой тоски и надломленности прежних босяков. Этот тихий стон, человеческий стон роженицы звучит словно голос самой природы, уверенно и без скепсиса исполняющей свой долг. Глаза орловской крестьянки, «насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви».

А рядом с этой крестьянской мадонной Горький создает в рассказе «Ледоход» фигуру плотничьего старосты Осипа, который в ледоход переводит свою артель с одного берега на другой. Какой героизм, соединенный с лукавой и живописной манерой выражать настроения, с народной сметкой и догадливостью, живет в этом человеке! Зайцем скачет он со льдины на льдину, кажется, играет с рекой: «Она его ловила, а он, маленький, увертывался, умел легко обмануть ее движение, обойти неожиданные западни». Горький не скрывает, что в эту эпоху безвременья, «уверений», что Русь «ларинскую» теснит Русь «карамазовская» (Карамазова-отца и Смердякова), что «человек человеку бревно» (А. Ремизов), ему отрадно видеть таких людей: «Я не знаю, нравится мне Осип или

нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно, — хоть снова через реку, по льду, ускользающему из-под ног». Характеры из горьковского цикла «По Руси» с их здоровым нравственным миром невольно, вне прямой полемики, отстаивали множество гуманистических позиций в литературе. Надо только представить на миг, что одновременно на разные лады звучали, особенно в критике тех лет, мысли о том, что «народилась в мире новая мозговая линия» (А. Волынский-Флексер) или, что... «титаны исчерпали содержание здоровой психологии своими волшебными ковшами, может быть, надолго, и после Толстого нам уже все сейчас в реально-нормальной области кажется перепевом... Мне кажется, что в литературе близится пора повышеннейшего интереса к психологическим бурям, извержениям и экстазам. Рядом с естественной страстью и развернется драматизм экстаза, приближающего здорового человека к больному и действительность к кошмару. Больной, неврастенический, психопатический век идет навстречу этой школе» (А. Измайлов. «Литературный Олимп», 1911).

Поэзия деяния, активной борьбы за свое достоинство и, с другой стороны, — трагедийное волнение при описании тех мерзостей, которые раньше казались деталями живописного «быта» (этим отмечены великолепные новеллы «Страсти-мордасти» и «Двадцать шесть и одна»), — все в цикле «По Руси» поражало Серафимовича новизной и углублением представлений о жизни.

«Язык и литературные формы коренятся в неисчерпаемых глубинах народного характера, народного духа... Мистика, уродливо насаждаемая модернистами, и крайности индивидуализма чужды русскому народу, чужды и русской литературе» — к этим выводам приходил Серафимович, опираясь прежде всего на творческий опыт Горького.

«Жизнь моя, полная буйных приключений, наконец, улеглась в широкое, тихое, спокойное русло старого Дона Ивановича. С нашей дачки виден далекий поворот такой завороженной речки. Дон Иванович радует сердце. Лучше, чем в Крыму, проще, естественнее и сердечнее, и ближе к Богу природы» — так писал Серафимович Н. А. Лазареву в апреле 1908 года.

Счастливые жизнеощущения приходили к Серафимо-

вичу в минуты полного душевного равновесия, когда ничто уродливое, бездуховно-механическое не примешивалось к его жизни. Здоровье нравственное, покой ему были просто необходимы даже для напряженной работы. Донские степи должны были «дышать» на него крепким настоем трав, чернозема, смывая налет болезненной усложненности декаданса. Он своеобразно «перерабатывал» впечатления от неистовой петербургской жизни, от напора страстей внутри «литературных орденов» и цехов.

«Милый Леонид, — писал он Андрееву в августе 1916 года, — мы с Толкой таскались в горах. Пешком исходили верст 170 (вероятно, больше). Ты не можешь представить, как чудесно.

Поднялись от моря по главному хребту. Картины — одна чудеснее другой. Налево — море синих гор Кубанской области, направо — море синих гор Черноморья с замыкающим блеском Черного моря. Мы шли по степному травянистому хребту, иногда широкому, а временами — по карнизу в две четверти (шириной) над гигантским обрывом, голова закружится. Подошвы на башмаках от горной травы отшлифовались, как паркет, и я, грешный человек, моментами лез на четвереньках.

Я все тебя вспоминал: хоть бы разок так тебя потаскать, вот бы все болезни с тебя слезли! Ей-богу!»

Эта убежденность, что природа соскоблит всякую «коросту» интеллигентских суеверий, позерства, модной болезненности духа, экстаз театральщины, действовала на друзей Серафимовича очень сильно. И тот же Андреев, к этому времени совершенно изнемогший в словесных турнирах, ставший глубоким провинциалом на подстоличной даче, отвечал ему в том же духе:

«Послушай, друг, на лето мы едем в шхеры, там тихо, красиво, и камни горячие, а вода глубокая и зеленая, и небо там играет, и это многократно, и вечность хватает тебя за нос, и жизнь видна и назад и вперед. И я буду жить там голый, и если ты приедешь, мы поразим мир влодейством обнаженных, прекрасностройных, тучных тел».

Здоровый человек, чуждый неврастении и болезненной экзальтации, как правило, и в друзьях рождает теплые, естественные душевные порывы. Сотни писем писал Серафимович и еще больше получал их, во многих письмах «знаньевцев» друг к другу мелькает его имя. И всегда будто солнечный лучик улыбки мелькает при упоминании его, излучающего доброту понимания.

«Леонид мне пишет, — сообщал Белоусов, — не видал ли ты проклятого Серафимыча, неверного друга души моей? Пропал и молчит. Присутствие его можно обнаружить по зареву на небе: это значит его мысль отбрасывает лучи...»

Серафимович не случайно — едва появлялась возможность! — уезжал на Дон, пускался в длительные путешествия на мотоцикле (он называл его «Дьявол»), любил часами вести неспешные дорожные беседы с людьми разных профессий, судеб, возрастов. В дороге — часто вдоль Дона, через степи — он в своей среде. Молчаливый, чаще всего слушающий других в интеллигентских салонах, как бы «бестелесный», он здесь наиболее открыт, заметен.

Вот одна из дорожных встреч. В купе поезда, идущего из Новочеркасска в Ростов. Дон широкой лентой тянется среди лугов за окном вагона, пропадает в степной синеве. Седые гребни волн, набегая друг на друга, шумят. Несколько лодок «трясется» на волнах. Старик — сосед по купе, судя по всему, иногородний, с тихим подростком Омельком, глядя на реку, вздохнул:

— Розгулявся кормилец...

Серафимович посмотрел на смазанные дегтем сапоги, корявые руки, загорелую шею с россыпью морщин — их белые линии образовывали почти геометрические фигуры. Вежливо спросил:

— Куда везете хлопчика?

— Лыхо гонит с хаты... В кишени пусто, аж гуде... Судите сами, земли нэма, работал он в подпасках все лето... А где пасти худобу? «Толока» узкая, бычки, коровы разбегаются. С одного бока — пшеница, с другого — жито, а впереди — просо и гречиха. Бычки разбредутся — и всюду «шкода»... Бегает, бегает мой Омелько, аж черевики развалились, а все шкода.

— Ну и кляти ж вони! — подал голос и мальчишка, сидевший до этого тихо.

— Да и не в худобе дилю... Набегут приказчики верхами, вроде бы допомогти Омельке. Только не разбираются — где худоба, где пастух. Раз бычка или корову стегнет, два раза — Омельку. Вот и везу в город, а там — на шахту. Мабудь, визьмут погонщиком коняки.

Человек есть часть того, что он видел... И не потому ли оживет столь быстро в сознании писателя все детство Кожуха, героя «Железного потока», подпаска из иногородних, не единожды битого, что память Серафимовича цепко хранила все?

Но, помимо впечатлений, живого слова, эти поездки давали Серафимовичу еще одно бесценное духовное богатство. Окружавшие его в литературном мире люди часто страдали чем-то вроде дальтонизма, извращенного понимания реальности. Любую теорию, очередное открытие они нередко — достаточно вспомнить множество деклараций, «платформ»! — превращали чуть ли не в религиозную догму. Сумасшествия переставали стесняться, оно становилось «нормой» существования. И здравый смысл андерсеновского мальчика, увидевшего, что «король-то голый», становился высочайшей ценностью в среде высокоталантливого безумия, лихорадочного, взвешенного существования, в царстве мнимостей, имевших, увы, значение фактов.

В 1909 году на петербургской литературной улице запестрела одна новинка — повесть о хлыстах Пимена Карпова «Пламень». Словно бычий красный язык — изгибающаяся полоса пламени на обложке, овал из колючих терниев, листьев, где «завязли» нагие фигуры мужчин, женщин. В предисловии автор — курянин из города Рыльска — не без хитрого расчета и претензии писал: «Эту книгу преследовал какой-то злой рок. Любовно заносил в нее мысли и наблюдения о сектантском движении в народе и о том священном огне, который теплится в нем, но который расхищается интеллигенцией, а с другой, гасится мракобесами и угнетателями».

И что же содержалось в самой повести? Серафимович как-то раскрыл «Пламень» — наугад, на первой развернувшейся странице, — и на него буквально двинулись, подавляя зрение, слух, дешевые картонные кошмары радений. «Сатанаилы», окружившие беснующуюся девицу Неонилу, крики «Истому маешь?», нож, который девица заносит над юным отроком, «сладострастный выгиб райски-прекрасного тела», намеренно-спутанные обличения вкривь и вкось... Это было невыносимо читать.

Как ни странно, но и в салоне «премудрых» Мережковского — Гиппиус, и в башне «литературного колдуна» Вячеслава Иванова, и на даче Андреева были некие «ниши», пустые до времени, для подобных выходцев из народа, «экспертов» по народной душе, косноязычных вещателей, ряженных под старинку. И о повести П. Карпова, как ни странно, писали многие мудрейшие «простаки» — А. Блок, Д. Мережковский, Д. Философов, В. Розанов... Репортеры «Биржевых ведомостей» проникли — по поводу «феномена Пимена Карпова» — даже в

Ясную Поляну. И Л. Н. Толстой, справедливо увидев в П. Карпове вариант хитроумного «толстовца», сказал, что тот имел смелость «обличить интеллигенцию, а это построже, чем обругать начальство».

«И все же этот «Пламень» — чистейшая распутинщина! — подумал Серафимович. — Ученые мужи нашли «мужичка», наделенного модными пороками обличаемого им же города, и услышали те «вопли», которые им удобны, нужны для гаданий о народной душе. Комична эта слепота ученых, но беспочвенных людей... И эта интеллигенция есть «создание Петрово», есть «прорубленное им окно в Европу», как писал один из авторов «Вех»? Что она увидит в Европе, если здесь, на Руси, клюет на хитроватого мужичка?»

В 1916 году С. Есенин, угадав предписанную роль ряженого, кудрявого «Леля» из угодий рязанских, влез в «нишу», сыграл эту ожидавшуюся роль. На экземпляре книги «Радуница», подаренной Л. Андрееву, он с великой пышностью начертал: «Великому писателю Земли Русской Леониду Николаевичу Андрееву от полей рязанских, от хлебных упевок старух и молодок на память сердечную о сохе и паневе...» А в душе посмеялся над премудрыми книжными пескарями, «клюющими» на дешевую наживку: «Любопытно уж больно потешиться над ними, а особенно когда они твою блесну на лету хватают, несмотря на звон ее железный. Так вот их и выдергиваешь, как лещей или шелесперов» (Из письма А. Ширяевцу).

Какая огромная духовная самооборона нужна была, чтобы не утонуть среди фальшивых ценностей! Эта сила устойчивости, нравственной цельности не просто нашлась в Серафимовиче: в годы отлива, безвременья он создал несколько лучших, самых зрелых своих произведений — и среди них большой рассказ «Пески» (1908) и роман «Город в степи» (1912).

Секретарь Л. Н. Толстого Н. Н. Гусев записал в своем дневнике в феврале — марте 1908 года:

«19 февраля. Чтение вслух рассказа Серафимовича «Пески», который понравился Толстому «художественностью положений и обрисовкой личности одного из действующих лиц — мельника». По мнению Толстого, это настоящее художественное произведение, но «описания природы искусственны».

9 марта. Чтение рассказа Л. Андреева «Иван Иванович». Толстой находит в рассказе, как и всегда у Андреева, «отсутствие чувства меры» и удивляется «славе этого человека». «Куприн, Серафимович, Арцыбашев — гораздо талантливее его».

25 марта. Толстой опять говорил о рассказе Серафимовича «Пески»: «Это — такая прелесть...»

Рассказ «Пески» возник в творчестве Серафимовича как одна из главок цикла. В нем была счастливо достигнута «мгновенная полнота жизни сердца», сделались неощутимыми черновой труд, предварительный замысел, строительные леса. Пространство зрительного восприятия слилось с пространством воображения; тишина, мгла, «пески», то есть вся надвигающаяся на человека природа была одухотворена без очевидных усилий... Не стало громоздкой описательности, неподвижных декораций. Писатель словно «освободил» стихию музыки из сковывающей ее предметной оболочки. И в то же время он избежал самодовлеющей, самоцельной напевности, которая царила в бесплотных «цветниках» поэзии поэтов-символистов.

...Рассказ начинается с томительно-глубокого, приглушенного, как эхо в колодезном срубе, музыкального пролога. Древняя, как на старинных фламандских полотнах, мельница с готовым вот-вот остановиться колесом, с еле живым мельником-стариком. Тень старика в полдень растворяется в песке, а движения тонут в тишине, засасывающей любой звук. Это не вспыхнувший светильник жизни, как в драме Леонида Андреева «Жизнь человека», а огарок свечи, оползший, но еще способный выживать, тянуть пряжу дней. И манить, как болотный огонь, других в ту трясину, что съела чью-то юность, священную энергию души.

Какое сиротство, какое отчуждение человека от людей! Ни преданий старины глубокой, ни будущего у старика мельника нет. Но и у старика, и у молодой батрачки, «запродавшей» себя ему в жены, есть все же одна иллюзия. Они верят, что мельница, собственность, даст им независимость, свободу. Эта иллюзия чуть скрашивает одинокую, сиротскую жизнь двух людей, враждебных друг другу, приглушает драму ненависти и отчуждения. Из покорности судьбе сотворена ими некая мудрость жизни, из страхов перед будущим — смирение в настоящем.

Пейзаж в рассказе — история души, ропот страстей, изломы чувств, метания искалеченной молодости. Звучащая материя природы — свидетельница затяжной драмы

умирания и увядания — удивительно многоголоса. Те же лунные ночи, делающие мир — и чувства героев — отчетливее, бестелеснее:

«Листва — странно белая, и от мельницы сплошь густая горбатая тень. В желобе вспыхивают фосфорические блестки, и медленно и мрачно, покрытое тенью, чудовищно ворочается колесо.

Звенит вода, звенит призрачным, голубовато-прозрачным звоном. И старик, как колдун, ходит в завороженном царстве.

— И скажи на милость, куда делась? А?

Пески узко и вороватo желтеют по лесу тонкими, неподвижно пробирающимися языками».

...Сразу же после пролога, где обозначены все действующие силы — мельница с ее колесом, символ собственности, человек, раб этой собственности, природа, как подвижная грозная декорация событий, — взрыв страстей, трагический поединок душ на аршине пространства! Эта ветхая мельница, слабеющий фетиш, в сущности, блуждающий болотный огонь, оказалась способной втянуть в свою орбиту новую жертву: в жены к мельнику, в рабство к идолу собственности брошена — опять какой-то зловещей роковой силой! — молодая батрачка. Она поверила, что мельница, медленно перетирающая зерно, даст ей уверенность в жизни, независимость. Сама слабосильность мельницы — залог надежности! Можно представить, что Толстой отметил этот неожиданный, «нелогичный» внешне довод старика мельника: «Так-тося, касатка, скажем, у иных-прочих плотины рвет, а то и мельницы сносит, а у меня стоит как у Христа за пазухой. Бежит себе вода по желобу тихим манером, хочь тебе весна, хочь лето, хочь зима, все одно, потому вода родниковая, одинаково не боится там суши али морозов».

В таких-то неожиданных, «неправильных» поворотах мысли — истинная прозорливость художника! Из убогости бытия, покорности судьбе творится героями некая мудрость, из страхов перед бесчеловечным миром — рабская привычка довольствоваться малым, «по одежке протягивать ножки»!

Но не изжитая в любви, в активном жизнетворчестве энергия молодости ищет выхода, бьется в коконе рабских привычек. Батрачка, как некогда сам старик, выходит на бугор и всматривается в темное безмолвие степи, ее мучат «мутные дни без солнца, без красок, без линий». Вечерами она на фоне тупо глядящего силуэта мельницы

поет о несбывшейся любви, о суженом, у которого: «...а на правой на ручeньке родимое да пятнышко»... А потом — страшная вражда, кончающаяся отравлением старика мельника, торжество «власти тьмы».

Толстой не случайно отделил Серафимовича от Андреева. Он ощутил глубокое отличие, еще не определенное ни Серафимовичем, ни Андреевым, в их подходе к человеку. Создавая свои рассказы о маленьком человеке, стихийно отстаивающем свое достоинство, смутно представляемую им «правильность» жизни, Серафимович отправлялся не от того или иного этического парадокса, как автор «Тьмы» и «Иуды Искариота». «Предатель Иуда?» Так и слышите этот саркастический вопрос на устах Андреева. И ответ — цепь опровержений ходячего предрассудка... «Но... это только потому, что люди не сумели постичь за две тысячи лет величие предателя, его «царственный закат»!

Так рождались многие замыслы-парадоксы у Андреева. Ставился «вопрос», начиналась игра абстракциями, комбинировались обстоятельства, положения. Но кто был поставлен в эти обстоятельства — это для Андреева, «искусственного соловья» (Чехов), было безразлично. Вдумчивый читатель отвечал писателю тем же.

Серафимович не только в «Песках» сковывал читателя и героев живыми связями сочувствия, сострадания. Пусть наивен, смешон в своих жалобах старик виноградарь, который после эпидемии, скосившей его семью, вырастил единственного сына, поднял сад, но не сумел удержать сына при земле («В винограднике»). Но в его жалобе «Нету ее, правильности в жизни, нету ее... И откуда оно?.. Жить бы в правильности, горя бы не было» — звучит стон беспомощной, наивной патриархальной души. Полной безнадежностью веет от сцены расставания матери с дочерью Гашей («Чибис») из семьи иногородних, кочующих по заработкам, «по наймам» — везде девушка становится объектом грязных «притязаний» хозяев, их сынков. И вот мать отсылает ее в город. Нельзя остаться безучастным в момент прощания матери с дочерью, юной батрачкой:

«Они стояли так в нескольких шагах, смутно различая только белеющие пятна. И вдруг материнскую шею обвили крепкие руки, и в самое ухо теплое дыхание:

— Страшно, мамунька!..

Так они стояли, крепко держа друг друга, роняя слезы на грязные шеи».

В «Песках» эти сковывающие нити сочувствия еще крепче. Крутится мельничное колесо как особый маятник, наползают пески на мельницу, на жизнь, а на этом пятачке идет захватывающий поединок нескольких душ. Множество мелодий тоски, отчаяния сходится в некоем контрапункте. Сжимается сердце в страхе за людей, приносящих бессознательные жертвы идолу собственности. Тщетно желание, опираясь на бездну, выпрыгнуть из бездны!

Поединок героини, незаметно постаревшей, ожесточившейся, с молодым батраком, в свою очередь, «запродавшим» жизнь тому же идолу, — еще страшнее. В парне острее вспышки протеста против железного предначертания. Он уходит с пятачка в мир, возвращается вновь, ползает, сдаваясь, у ног беспощадного идола:

«И снова попреки, незасыпающие подозрения, снова раздирающие душу крики избиваемой женщины, и все один и тот же, ничего не говорящий мертвый взгляд вещей».

В драме вновь принимают «участие» все предметы окружающего мира — пески, жернов, вновь звучит их косноязычный говор. Тема «каменного гнезда» (Х. Вулийоки), захлестывающей до удушья стихии стяжательства, прозвучала в рассказе с трагедийной силой:

«Своеобразный, особенный, никому не понятный язык, но с человеческими мыслями. И, как проносящийся над рекою осенний туман, мысли эти неясно, разорванно, меняясь и тая, неуловимыми очертаниями смутно складывались в: «Ты — мой... ты — мой... не уйдешь... Ты — мой».

Нет оснований предполагать, что высокая оценка Толстым его труда дошла в те же годы до Серафимовича. Л. Андреев, побывавший в Ясной Поляне незадолго до смерти Толстого, мог бы рассказать великому художнику что-то о своем друге. Но скорее всего ничего этого не произошло. Ведь 13 мая 1910 года, как записал Н. Н. Гусев, в Ясной Поляне состоялось чтение пролога к пьесе Л. Андреева «Анатэма». Отзыв Толстого: «Это что-то сумасшедшее, набор слов...»

Да и не столь важна прямая встреча, если *направление* пути Серафимовича-художника было определено толстовской традицией гуманизма.

Уже после ухода и смерти Л. Н. Толстого Серафимович напишет об адвокате мужицкой России специальную

статью «Два момента», напишет в духе, близком к ленинской оценке противоречий великого писателя:

«Толстой — это огромная глыба мужичьего чернозема, над которым только солнце, только ветер, дожди, да почти человечьи отношения с овцами, лошадьми и быками, — и надо всем тысячелетия... Успенский удивительно изображал мужика, но *изображал*. Толстой сам поднимается из чернозема и, не подозревая того, не изображает, нет, он *чувствует*, так, как чувствуют в тех черноземных глубинах. Он несет стихийные народные ощущения, может быть, звериные, звериные не в смысле жестокости, а в смысле первичности. Так зачем же ему астрономия и железные дороги?

Но ведь — граф! Но ведь утонченнейший из людей!»

...Флобер заметил как-то, что не следует прикасаться к кумирам: «позолота прилипает к рукам».

Серафимовичу не угрожало разочарование в Леониде Андрееве, он не имел склонности к идолопоклонству. И хотя позолота андреевской славы к началу десятых годов уже «прилипла» к рукам ретивых поклонников, репортеров, кумир зиял чудовищными «проплешинами»,— Андреев как художник еще не упал в его глазах. И его грандиозная, неуклюже-монументальная вилла в Финляндии, где хозяину было удобно писать о «вневременном» и «внепространственном», долгие годы оставалась для Серафимовича желанным домом. Этот дом с башней, построенный П. А. Олем, мужем сестры писателя Риммы Николаевны, мать Андреева, Анастасия Николаевна, подолгу жившая здесь, наконец, сам кабинет с бронзовой статуей Медичи, картиной Рериха неоднократно будут упоминаться в письмах Серафимовича, в набросках.

Но это не означало, конечно, застылости взгляда, непонимания им перемен, свершавшихся в Андрееве. Не остались незамеченными эти перемены и в октябре 1910 года, когда он довольно долго жил в гостях на даче в Ваммельсуу.

...Уже с утра, когда еще не все домочадцы и гости воспрянули после сна, из кабинета порой доносился голос Андреева. Кто-то неловким возражением, не зная темперамента хозяина и его очередной увлеченности (Андреев только что написал драму «Океан»), заговорил о преимуществах гор перед однообразным побережьем

моря. Андреев сразу оживился, собрался с духом, и... началась вдохновенная импровизация.

— Я гор не люблю... Я вижу в них только мертвые, застывшие громады камня без всяких тайн. Они тупы, резки и давят меня своим физическим превосходством. И вот еще — я чувствую их притяжение. На море же, как бы ни ходила под моими ногами палуба, я чувствую твердость и прочность. Это потому, что на море притяжение вертикально, а в горах...

Собеседник на этот раз не сдавался, упрямо твердил свое:

— Нет, Леонид, ты все-таки видел их из окна вагона или с террасы отеля. Близко к ним ты не подходил. Надо пережить ночную грозу в горах, и ты поймешь их голос...

— Я не понимаю, — уже горячился Андреев, — как можно физически близко подойти к горам. Но видел я их достаточно...

— Ты говорил, что горы бедны комбинациями. А море? Там вообще только небо да волны. Большего однообразия вобще нет.

— Вот тут-то и говорит в тебе прозаический склад зрения... А горизонт! Эта движущаяся, кажущаяся простой линия, бесконечно волнующа, разнообразна. Идти к этой обманчивой линии — идти к новым целям, стремиться к иным мирам. И хорошо, что она бежит по волнам, что она зыбка, окутана туманом, размыта. Великая, возвышенная и так манящая душу линия... А посмотри в горах — там отчетливо видна точка, вершина, до которой можно дойти. Я могу заинтересоваться ею как альпинист, скалолаз, но психологического интереса нет. Дошел, оседлал — и надулся самодовольно... Обрати внимание, что существует целый мир художников-маринистов. А где художники-монтенисты?..

— А может, их отпугивает облик гор, громадность их?

— Эко что нашел? Бога и того с небесных высот стаскивали, а тут груды камней испугались.

Литератор Василий Брусянин (он же Базилевич), постоянно живший в доме Андреева, превратившийся постепенно в секретаря Андреева, позвал Серафимовича, стоявшего у окна в соседней с кабинетом комнате.

— Пойдемте, Александр Серафимович... Он любит видеть вас в числе слушателей. Не стесняйтесь...

За завтраком, в огромной, «похожей на корчму в Царстве Польском», как отметит в письме Серафимович, сто-

ловой беседа продолжилась с шутки. Андреев предложил прочитать заметку репортера о провале одной из андреевских пьес и о том, что «домашние Андреева, оберегая жизнь вспыльчивого хозяина, отныне убирают — от греха подальше! — ножи, вилки, топорики для разделки мяса». Это развеселило гостей. А хозяин, испытывая какое-то странное возбуждение, предложил матери:

— И огурцы со стола убери! Не ровен час — могу подавиться... И сочтут за самоубийство...

Оставшись наедине с Серафимовичем, Андреев мог и внимательно слушать, и спокойно поддерживать беседу. Он грустно рассмеялся, когда Серафимович во время прогулки обратил внимание на «пеструю» судьбу их общего собрата Степана Скитальца.

— Вижу его на литературных вечерах. Не скандалит уже, не «скитается» по трактирам. Но промышляет на сцене гуслями, стихами, сшитыми из какой-то несколько устарелой ткани... А порой и просто... невероятной ткани... Помнишь его строчку:

«Ночь укутала нас бархатной тафтой...»

Критики уже смеются над Скитальцем: нет такой ткани; бархат — сам по себе, тафта — сама по себе... Я гляжу на Степана и думаю: как несоизмеримы масштабы его, и моего, вероятно, дарования и запросы, неумолимо предъявляемые к нам жизнью. Не все стихийное — великолепно...

Я думаю порой, что у меня сонный мозг, медленный, это я у тебя заряжаюсь. Старость подступает, одну природу любить маловато, нужны люди. А я не умею до сих пор подойти ко многим... И вот роман, сейчас он у меня на столе, в памяти, но после баррикад Пресни он порой кажется узким, провинциальным, что ли. Сердце болит, не знаю, что выйдет, — в голове «живет» довольно ярко, на бумаге бледно...

Андреев слушал внимательно, но едва он заговорил, как Серафимович понял, что его тревоги лишь разбудили мысль Андреева. «...Угол зрения у него все-таки иной», — отметит позднее Серафимович (письмо к А. Кипену 2 мая 1915 года). Он, не отвечая прямо на вопросы Серафимовича, вдруг прочел несколько стихотворных строк:

Лихо ко мне привязалось давно, с колыбели,
Лихо за мною идет неотступною тенью,
Лихо ужасное, враг и любви и забвенья,
Кто тебе дал эту силу...

Андреев помолчал, припоминая продолжение, но, видимо, не вспомнил и заговорил иначе.

— Это сын сапожника Тетерникова, решивший явиться в литературе только под графским именем Федора Соллогуба... Горький его не любит, да и ты, конечно... Но меня мучает ощущение вмешательства в жизнь каких-то злых сил, собственных пороков человека, являющихся к нему на жизненном маскараде. Моя трусость, мое тщеславие, моя порочность — вся является ко мне же как званые и незваные гости... Моим мыслям не за что ухватиться, у них нет отправной точки в мире. Дар предвидения? Его нет у меня, я не в силах удержать настоящее. Тираническая власть одной мысли, затем другой... Как совладать с ними, с миром, если и в него вошло скрытое безумие, соллогубовское «лихо». И знаешь, Серафимыч, мне тоже не по себе, когда я сижу в первом ряду, когда пишут, что после меня в литературе начинается обрыв... Меня подтянули к потолку, откуда я непременно сорвусь. Я создан из $^1/_5$ таланта, $^1/_5$ неожиданности и $^3/_5$ удачи. Той таинственной силы, которая идет к одним и отвертывается от других. Ее нельзя предусмотреть, ухватить за шиворот, притянуть к суду... А часто я ищу дороги и бываю похож на слепого щенка, потерявшего материнскую сиську. Пахнет молоком, а как до него добраться, не знаю. Потому от иных похвал бывает так скверно на душе, как будто я чужую шубу с вешалки стащил...

Андреев помолчал, поглядел на пламенеющие в сосновых верхушках скупые солнечные лучи... Серафимович смутно чувствовал, что хотел сказать Леонид. А тот уже не мог остановиться. Мысли, за минуту до этого рассеянные, сгруппировались, «клубок» раскатился:

— Я где-то и когда-то потерял себя и никак не могу найти... Сижу порой осенью на даче, чувствую, что на версту нет ничего живого, кроме разве покинутых клопов на пустых дачах...

Горький осадок возникал в Серафимовиче после всех феерических взлетов и парений мысли Андреева, создателя «внепространственных» драм тех лет «Анатэма», «Океан»... «Что-то неладно у него до сих пор в личной жизни. Жаль его безгранично. Атмосфера в доме тяжелая, удушливая... При множестве народу, который окружает Леонида, он совершенно одиноким себя чувствует. И это одна из трагических черт его судьбы», — писал Серафимович неизменно ровному И. А. Белоусову.

Итак, «Город в степи», вначале даже просто станция и груда землянок возле нее. И безмолвная, беспредельная степь. Впечатления второй половины 90-х годов, когда Серафимович прожил некоторый срок на станции Тихорецкая и наблюдал первые, первозданно-варварские шаги капитала через степь, через судьбы людей, определили характер романа.

Роман «Город в степи» начинается с эпизодов, воскрешающих атмосферу рассказов «Семишкура», «Маленький шахтер»... Зверский, аморально-жестокий, ликующе-грубый характер обретающего силу капитализма ужасает. Целый человеческий материк — от торгашей до патриархальных мужиков — был внезапно переброшен в новую действительность, в которой предоставлен полный простор для грубейших обманов, цинизма, беспощадного грабежа. Откуда этот новый «простор» взялся, мало кто понимает. Всех подхватили и завертели зубья какого-то сверхличного маховика.

В реке вина, «отворенной» кабатчиком Захаркой Короедовым, живущим с собственной дочерью Карой, плывут уже не осколки человеческого духа, а надгробные маски убитой человечности. Над бескрайней ширью степи висят тяжелые тучи горя, недугов. Океан пьянства поднимает свои волны, смывает в безумной и обараненной толпе остатки человеческой доброты, стыдливости.

«Дымки поднимаются над глинистыми бугорками. Когда приглядишься, это — мазанки и землянки, далеко разбросанные то кучками, то врозь, без улиц, без переулков, без церквей... Словно неведомая орда шла по степи и заночевала, и над становищем подымается пахучий кизячный дым».

Но если орда — это исторический пустоцвет, перекати-поле, то здесь все прочно, необратимо. И трактир Захарки Короедова — это одна из незыблемых опор нового порядка. Здесь, как среди героев «Фомы Гордеева» Горького, царит одна мораль: «Всех грызи — или лежи в грязи». Впрочем, здесь и в грязи лежат, и грызут. Налево и направо грызут — было бы мясо в зубах. Все «плывет» сюда — под мрачные своды трактира, ночлежки — и вор и убийца.

Но впечатления 90-х годов, схватки Серафимовича в Ростове с биржевиками и воротилами вроде Езекова и Парамонова-младшего, остепенившегося после 1905 года в «кадета», были лишь исходным материалом. Впечатления стачек 1903—1905 годов, бои на Пресне убедили писа-

теля: «Широк и могуч политический размах рабочего класса. Как силен каждый его удар. Сколько неистощимой энергии таится в этом классе, выкованном в горниле нужды и лишений...» Революция 1905 года, не позволившая быть половинчатыми, кулуарными бунтарями либеральным интеллигентам, до этого возмущавшимся «грязными» методами того же Захарки Короедова, «досказала» судьбу инженера Полынова и бунтаря на час студента Пети: они деградировали, впряглись в упряжку того же Захарки. И финал романа, когда рабочие бастуют, сражаются не только с царской жандармерией, но и с либеральными, «чистенькими» коммерсантами (кадетами), предвещает уже новую революцию.

Но Серафимович не зря учился, и уроки рассказов «Пески», «Сопка в крестах», «Чибис», «Странная ночь» не прошли даром — быть выше факта, документа, чистой социологии. Его внутреннее стремление к победе над заземленностью, к созданию романа о судьбе России, страны в чем-то ошеломляющей, невероятной, выразилось в особой форме лиро-эпического построения романа, в изобилии «демонических» сил, вмешивающихся в судьбы людей, в события.

Что окружает этот «город», где воинствует грабитель Захарка, где ведет дело инженер Полынов, где «телега жизни» переезжает судьбы Даши, Липатова? Прежде всего «громада молчания», в которой тонут страсти, голоса, «тьма», поглощающая огни, вспышки, и, наконец, «степь», которая, как удав, глотает судьбы, дела, страдания людей.

От главы к главе нарастает значение этих «демонов природы», космоса сверхчеловеческих сил, окружающих героев романа и их земные дела.

«Дела людские — крохотный островок, потонувший в океане неподвижной сухой тьмы... И стоит громада молчания, и ждешь чего-то, — точно невидимая птица, задевая крылом, посылает тонкий, за душу щемящий крик, беззвучно умирающий в темноте».

К. Чуковский еще в 1907 году писал, что «покуда то, что зовется декадентством, не растворилось в нашем быту, нося все следы высокой чужой культуры, — оно было чрезвычайно ценно. Но стоило ему войти целиком в наш обиход и отразиться на вывесках ресторанов, на дамских прическах... как снова обнаружилась опять-таки вся несостоятельность русской культуры». Об этой же несостоятельности русской культуры и декадентства свидетельство-

вало, по мнению К. Чуковского, то, что А. Серафимович в рассказе «Похоронный марш» написал: «Потух смех... Настала звенящая тишина и все больше заполнялась звуком шагов. Исчезло пространство смерти, затопленное бесчисленными черными рядами».

«И темп, и расстановка слов, и эпитеты — все взято из декадентского ритуала», — торжествуя, отметил критик.

Но истоки и природа этого импрессионистического стиля, несомненно, сложнее, чем полагал когда-то К. Чуковский.

Дм. Фурманов, куда более вдумчивый читатель Серафимовича, был прозорлив и точен, когда отводил автору «Города в степи» почетное место среди тех художников слова, что и в годы реакции «в нетронутой чистоте сохранили верность рабочему делу». Весь роман кажется развитием, не иллюстративным, а художественным, ленинской мысли: история капитала есть история насилий и грабежа, крови и грязи! Даже маневры буржуазии до революции 1905 года и после нее, ее попытки то «подогреть» Россию (чтобы вырвать уступки у царизма!), то «подморозить» ее (опираясь на царизм в борьбе с пролетариатом) воспроизведены в романе с глубоким проникновением в диалектику реальной истории.

Захарка Короедов в романе объясняет мелкому торгашу Борщу, почему он сбил цены, «пожалел» вдруг народ: «Одначе, чем мы питаемся? Народом. Забери в десять раз больше лавок, домов, лесных складов, сядь посередине степи и сиди один. Да сиди ты хочь тыщу лет, гроша не высидишь. То-то и оно: народом кормимся. А народом кормимся, уж и о народе не подумать? Ну, драли с живого и с мертвого, ну будет, надо и по-божьему. От того самого и скостил на всех товарах...»

Но откуда взялись «степь», «молчание», «громада тьмы» и другие символические персонажи в пространстве романа? Как возникли постоянные лирические отступления, почему столь обостренно стремление писателя дать цельный образ России в ее движении?

Роман создавался в годы реакции, в атмосфере, когда упадок, деморализация, расколы, разброд, ренегатство стали определять поведение либеральной интеллигенции.

Маленькие, скучные людишки
Ходят по земле моей отчизны,
Ходят и уныло ищут места,
Где бы можно спрятаться от жизни, —

этот лейтмотив обличения «дачников», ренегатов уже звучал в пьесе Горького «Дачники».

«Главная моя задача, — говорил в дни работы над романом, над такими рассказами, как «У обрыва», Серафимович, — была не дать распространиться панике, показать, что народ одобряет революцию, помогает ей».

В этих условиях даже сомнение в вечности царства капитала, созидаемого и «украшаемого» Захаркой, Полыновым, отступником революции Петей, было по смыслу революционным. Молчащая степь, вся бурная предшествующая история народа выглядели обещанием новых перемен, нового бушевания смерчей! Ужасно было бы, если бы навеки воцарились те короткие торгашеские измерения событий, к которым «приучали» Россию и утонченные «аршинники» в Думе, и «англоманы» вроде Милюкова, и «германофилы» вроде С. Ю. Витте.

Но символические образы «степи», «громады молчания», эти однообразные декорации — они явно навеяны Андреевым и не зря уже в «Песках» показались Л. Н. Толстому искусственными — приобретали порой чересчур самодовлеющую роль. И степь, и громада молчания, и бури, как безначальные стихии, как бы поглощающие деляческий мирок Захара Короедова, порой превращаются в условность, в те замкнутые врата, которые в пьесе «Анатэма» Л. Андреева знаменуют «предел умопостигаемого мира». «Грядущие годы таятся, — думал Серафимович порой, — если и не во мгле, то в тумане, довольно плотном». Пробить завесу грядущего он пробовал часто в романтических догадках, вымыслах, пробить как мечтатель, лирик.

Но при всем этом есть огромное различие в отрицании царства капитала, в догадках о грядущем новом штурме твердынь буржуазного мира Серафимовича и в проклятьях царству торгашей, «року» буржуазной цивилизации, которые звучали в эти же годы и в поэзии символистов. Андрей Белый в эти годы стремился тоже как будто «одухотворить мир», зажечь Россию огнем объединяющей всех бури, а проще говоря, обновленной религии.

> Рыдай, буревая стихия,
> В столбах громового огня!
> Россия, Россия, Россия,
> Безумствуй, сжигая меня! —

так писал он, видя в самой революции в судьбе России — «в пространство пади и разбейся!» — промежу-

точный акт бог весть какой космической драмы. Родина для него была лишь страницей в мистической книге вселенной...

В письмах к друзьям, описывая школьные успехи сыновей Анатолия и Игоря, Серафимович называл их, как гоголевский Тарас Бульба: «Одним словом, два Бульбенка...» И нередко добавлял о другой стороне своей семейной жизни: «Одно горе — так же, как у Бульбы, есть мать, но нет жены» (из письма к А. А. Кипену. 31.XII—1913 года).

Лишь бы у детей была мать! И хотя бы продлилось блаженное неведение детства... Ради этого он сносил с озорной улыбкой все — и вынужденную бездомность своего существования, и поспешную работу для газет.

Когда к Серафимовичу обращались за рассказом для «праздничных» номеров провинциальных газет, рассказом о традиционном «замерзающем мальчике», спасенном чудом, писатель принимал вид заядлого ремесленника и, зная, что с ним будут торговаться, завышал гонорар, просил его «с запросом». Заказчики, естественно, «ужасались»:

— Александр Серафимович, уступите? Нельзя ли подешевле?

— Можно! — охотно соглашался писатель. — Но только уж, конечно, работа будет не та!

— Хуже?

— А как же? Не та отделка! Полировки не будет!

Заказчики мялись, крякали, чесали затылок и чаще всего соглашались:

— Ну что делать? Валяй с полировкой!

Ксения Александровна Попова не обладала спасительным юмором — богатством бедных, и ей подобное лукавство, озорство казались непонятно как уцелевшим в душе мужа «детством». В ее душе давно чередовались приливы и отливы любви и раздражения, «сбалансировать» которые она, как видно по дневничку 1900 года, и ранее не могла. Сознание неполноты собственной жизни терзало ее сердце. Вечная нехватка денег (она, правда, имела и свое достояние!), смешное и даже неприличное с точки зрения новочеркасской казачьей верхушки положение «поденщика прессы» («а ведь ему под пятьдесят!»), в котором пребывал Серафимович, начинали угнетать ее. К тому же новочеркасская интеллигенция все чаще подавляла Ксе-

пию Александровну насмешками над направленностью творчества мужа-писателя. Если о Горьком после выхода повести «Городок Окуров» столичное «Новое время» писало — «представить Россию, как страну поголовных тупиц, уродцев, увидеть в России только мордобой, оподление, обозвать все русские порыванья порождением трактирного полуугара — какое надо иметь беззастенчивое копыто», — то в отношении Серафимовича стеснений было еще меньше. «Природный казак, оставил родной курень, «связался», как и его кумир Горький, не просто с иногородними, а с «иноверцами», с газетными дельцами Моисеева закона...»

Ксения Александровна, бесспорно, слышала эти характеристики. Новочеркасские черносотенцы, безусловно, не смягчали своих оценок. Эти нападки усилились в связи с рассказами «В семье», «Порядок жизни», пьесой «Разбитый дом», в которых Серафимович изобличал казаков как злейших пособников погромщиков, притеснителей местечкового еврейского пролетариата.

«Отец стал уезжать из дома все чаще, пребывание его в семье, в Новочеркасске, становилось все реже и реже»,— вспоминает сын писателя И. А. Попов. Но разлука — смягчая удары! — уносит любовь...

И вот уже в 1913 году Серафимович пишет А. Кипену: «Насчет своих семейных дел окончательного решения не принял. Мальчики — вот всему загвоздка. Мальчики, брат...»

В письме к сыну Анатолию 30 мая 1913 года Серафимович печально констатирует свершившееся: «Не зашел я к Вам попрощаться потому, что, когда уходил, Ксения Александровна кинулась на меня с кулаками... Если б пришел прощаться, разыгрался бы скандал, а я устал от скандалов... А ведь, поймите, я — писатель, Толя. У меня творчество, ведь это же, как небо от земли — от механического труда. Ведь пишешь кровью сердца и соком нервов. Ведь, ты знаешь, я иногда, как дурак, реву, когда пишу о ком-нибудь измученном, изломанном жизнью, потому что он стоит перед моими глазами во всей своей измученности, во всей горечи своего несчастья... Ты подумай, при таком напряжении всех душевных сил как страшно врывается в душу малейшее волнение, малейшее внешнее недоразумение».

В 1915 году в переписке К. А. Поповой с друзьями Серафимовича — и они посвящены были во все — мелькают подробности сложного скандала в семье на денеж-

ной (вернее, традиционной «безденежной») основе. Писатель Николай Тимковский объясняет Ксении Александровне превратности материального положения литератора.

Леонид Андреев также, получивший, видимо, «обвинительное» по отношению к Серафимовичу письмо Ксении Александровны, ответил с блеском, как всегда величественно и торжественно:

«Позвольте мне уклониться от исполнения Вашей неожиданной для меня просьбы.

И если Вы любите Ваших детей, я искренне и по-дружески, желая только блага Вашей семье, посоветовал бы Вам не вмешивать третьих лиц в Ваш интимный спор между мужем и женой. Помимо того, что Вы не найдете себе сочувствия ни в ком, кто знает Александра Серафимовича, — Вы и себя поставите в фальшивое положение и детей, для которых он не меньше отец, чем Вы мать. И чем с большим уважением, доверием и несебялюбивой любовью Вы будете относиться к Вашему мужу, которого уважают все как писателя и человека, тем больше благодарности заслужите Вы от Ваших детей, когда они вырастут и станут сознательными» (3 января 1914 года).

Но никакое адвокатское красноречие не могло спасти положения. В годы первой мировой войны семья Серафимовича фактически распалась. К. А. Попова умерла в 1930 году в одной из психиатрических больниц.

Вспоминая в эмиграции о начале споров «знаньевцев» с декадентами, с их главным — в определенные годы — печатным органом «Весами», И. А. Бунин писал:

«А как обмеривали, как обвешивали эти «Весы»! Вес «своих» всегда оказывался огромный, вес чужих — смехотворный. Например, все участники «Знания» назывались в «Весах» неизменно «всероссийскими бездарностями». Про меня — я вскоре почел за благо удалиться из этого литературного лабаза — было однажды сказано так: «Произведения Бунина подобны солдатским сапогам, поставляемым интендантствами, — сапоги с бумажными подошвами».

О Серафимовиче «Весы» писали в 1909 году как писателе городского плебса, певце озлобленного «дна»: «Сволочь» — любимое выражение г. Серафимовича, благодаря частому повторению ставшее характерной особенностью

его стиля, — этим энергичным прозванием г. Серафимович заклеймил почти весь род человеческий. Исключение он допускает лишь для студентов, курсисток и мастеровых».

Глумление надо всем, что запечатлевало не туманный, а определенный ход миров, отождествление реализма, скуки и пошлости вызывало в Серафимовиче активный протест... Надо спорить с аршинниками из «Весов», надо бороться с явной мистификацией истории!

В провинциальных газетах 1908—1910 годов сохранилось изложение содержания лекций Серафимовича «Литература и литераторы» — это и был его способ борьбы с декадансом. В письме к организатору «Сред» Н. Д. Телешову (13 марта 1909 года) сам лектор изложил ее программу. Серафимович просил «Митрича», как звали часто Телешова в «Средах» (после публикации его рассказа «Елка у Митрича»), повторить лекции в Москве... Эта программа, как и известные выступления А. М. Горького в защиту культуры, гневные обличения И. А. Бунина расхитителей драгоценных качеств русской литературы (речь 6 октября 1913 года в Москве), статьи В. В. Воровского, свидетельствуют о гражданской зрелости Серафимовича-полемиста, мастера культуры горьковской школы. Итак, пункты программы...

Железный закон мира — борьба.
Ритм литературной борьбы.
Не всякий победитель прав.
Шахматный игрок или Валерий Брюсов.
Несчастье г. Мережковского.
О чем думает Зинаида Гиппиус, когда ей не спится.
Злоба, которая сама себя съела.
Истерика Андрея Белого.
Литературное колдовство.
Тление.
Что в будущем?

О чем же говорил Серафимович? Прежде всего он терпеливо разъяснял слушателям, что газетные комбинаты, манипулирующие вкусами полупросвещенной толпы, создающие искусственных соловьев с нешуточной властью над душами, не всегда правы. Прожектор прессы, высвечивающий вдруг очередного гения деградации, шарит в потемках литературного Олимпа вовсе не стихийно. Искусство подмены истинного таланта чучелом, шарлатаном, клоуном с определенной ролью усложнилось. Не волей случая вовсе «победил» всех на бирже популярности

Арцыбашев со своим «Саниным» (1907), романом, полным сентенций такого плана: «Чай и сливки на столе — выше революции». И капризное лицо судьбы не само по себе сложилось в благосклонную улыбку по отношению к Ф. Соллогубу, И. Северянину, З. Гиппиус. Модернизм всех видов стал господствующим литературным «орденом» благодаря щедрым подаяниям мецената — капитала, русского и космополитического. Он, модернизм, «покоряет» наивных простаков, любивших еще недавно и Пушкина, и Глеба Успенского, благодаря сложным, взаимосвязанным усилиям господствующего класса.

«Не всякий победивший прав, — говорил Серафимович. — Да и помимо этого надо помнить, что для писателя недостаточно, как говорил Щедрин, только поплевать на перо. Есть синтез, есть новаторство, мы знаем, что это такое, но мы знаем также, что такое чепуха. Даже модная... И я не хочу быть разрекламированной бессмыслицей».

Символисты, прежде всего Дм. Мережковский с его фейерверком слов «Богосыновство», «Человекобожество», «смиренномудрие», с треском пророчеств, З. Гиппиус, твердившая без конца с кушетки в салоне «Окно мое высоко над землей», пугавшаяся слов «с подолом грязным», некоторые другие символисты представали не просто замкнутым орденом. Они в глазах Серафимовича — островитяне в океане русского мира, актеры последнего акта трагедии либеральной интеллигенции — трагедии полного разрыва с народом.

Время смягчило, конечно, некоторые частные оценки Серафимовича, уточнило их... И Валерий Брюсов, и Андрей Белый, впоследствии принявшие Октябрьскую революцию, сейчас выглядят духовно значительнее оценок Серафимовича 1908 года. Но в драке волос не жалеют, о нюансах не думают...

Впечатление от лекций Серафимовича — а нередко он выступал после Ф. Соллогуба, И. Северянина — было исключительно ярким. Перед слушателями возникали не просто портреты «литературного колдуна» Вячеслава Иванова, одержимого культом греческого бога Диониса, или сцены метаний, неудержимого фантазерства Андрея Белого...

Зарождалось сомнение в гуманизме и — хотя бы относительном — патриотизме этой изысканной поэзии. «В Россию можно только верить», — писал когда-то Тютчев. А сколько «пулеметных» строк выпустили символи-

сты, убеждая русского же читателя в обратном: не нужно верить в нее, это бесплодно, опасно, провинциально... Единственное назначение России — быть грудой хвороста в весьма зажигательной игре неких мировых сил, быть средством приближения непостижимого чуда.

Как все беспочвенное, антинародное, модернизм, говорил Серафимович, не знает и глубокой, до самозабвения, убежденности ни в чем. Начав со скандала, он «черпает» убежденность в своей значительности, в своей «непризнанности» — в продолжении скандала, состояния вызова. «Если меня ругают, если я «ошеломляю» непрерывно, — значит, я есть».

«...Дело веры, — говорил Серафимович, — не нуждается в тромбонах, тимпанах и колокольном звоне словесности. Боится и бежит оно витиеватости и диалектических приемов, если только оно исходит из сердца, а не из головы.

Ведь вот и Толстой говорит о своей вере, о своей религии, но даже у несогласных с ним шевельнется ли мысль не доверять искренности великого старца?»

После победы Октября в скромной квартире Серафимовича в Большом Трехгорном переулке не раз будут собираться молодые литераторы. Еще неостывший, «горячий» язык недавних войн, революций внесут они в литературу, войдут в нее вместе с новыми героями. Здесь будут читать свои произведения Федор Гладков, Дм. Фурманов, Ал. Неверов, М. Шолохов.

После этих встреч Серафимович нередко вспоминал давние свои лекции в российских городах... Не для развинченных интеллигентских натур, не имевших никакого понятия о народе, говорил он и тогда. Дума о будущем, жажда увидеть «племя младое, незнакомое» действительно молодым и духовно здоровым заставляла его идти против разрыва с традициями, против модернизма.

Что говорил когда-то в Екатеринодаре, в Ростове пророк нового художественного сознания Федор Соллогуб? Какая талантливая и болезненная мечта об искусстве влекла его? Серафимович раскрыл старую газету, сохранившуюся в его архиве:

— «Искусство должно пересоздать мир — в духе и плоти. Первая ступень — создать новый мир в видениях искусства, наперекор действительности и жизни. Вторая ступень — пересоздать плоть мира, самую жизнь, превратить действительность в восторг, уничтожить грань

между должным и сущим, слить их воедино, чтобы мир жизни был так же радостен и эстетичен, как мир искусства».

Что же, все знакомо, все еще на слуху! «Беру кусок жизни, грубой и некрасивой, и творю из нее сладостную легенду!.. Вижу, как Дон-Кихот, крепкую и грубую крестьянку Альдонсу и создаю вопреки всему сказочную Дульцинею!» «Дульцинирую», как любил говорить Соллогуб, жизнь... Странные, болезненные донкихоты декаданса! Они не заметили даже простой истины: один Дон-Кихот — это забавно, оригинально, даже увлекательно... Но тысяча слепцов, дальтоников, деланных гениев! С ними построишь балаган, но никогда — Родину...

Серафимович не искал позы провидца... Но как хорошо, думал он, глядя на новое поколение литераторов, что кое-что подсказало и ему чувство пути. Кое-что угадано им, к счастью, точно. Хотя бы вот это:

«Мистика, уродливо насаждаемая модернистами, и крайности индивидуализма чужды русскому народу, чужды и русской литературе. Неотъемлемым достоянием ее останется реализм... но реализм, углубленный синтезом.

Да, русская литература пойдет своим путем, пойдет со своим лицом, которое ей дала судьба и родина».

ПОД НЕБОМ ГАЛИЦИИ

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится!

И. С. Тургенев. Рудин.

...«Какая-нибудь проклятая глупость на Балканах» — повод для мировой войны, по предсказанию Бисмарка,— стряслась в Сараеве 28 июня 1914 года. И едва выветрился пороховой запах из пистолетов сербских студентов-националистов, убивших в сей день эрцгерцога Франца-Фердинанда, как престарелая, расползающаяся на части Австро-Венгрия с непостижимым для исторического пустоцвета воинственным азартом начала обстрел Белграда. Вначале, правда, дипломатический... Вслед за Австро-Венгрией, страшась войны на два фронта, проклиная славян, которых, конечно же, как завещал тот же Бисмарк, «надо

прижать к стенке», германский кайзер нажал кнопку с надписью «мобилизация». Одновременно это сделала и царская Россия. Скрип ржавых сцеплений, рулей, притирка уключин — и механизм войны, втягивая в свою орбиту миллионы судеб, заработал во всю мощь.

Уже 19 июня 1914 года Серафимович — он жил под Москвой в Люберцах — писал А. А. Кипену: «Каша-то заваривается какая! Ведь это что же такое — океан крови!» Но в нем еще теплится наивная надежда, отчасти внушенная патриотическим угаром, газетным шумом, что «война продлится месяца 2—3». События нередко опережают представления о них и догадки.

Война вторглась в самую сердцевину обыденщины, без всяких предугаданных сроков. Полосы света, брошенные этим пламенем, ударили в глаза многим и ослепили на время. Маленький механизм собственных хлопот еще продолжал работать по старинке. Серафимович по привычке пишет Кипену о собрании пайщиков книгоиздательства, о том, что в Москву съехались и Иван Бунин, и брат его Юлий, Шмелев, Чириков. Хозяйка дачи — француженка — по вечерам, как обычно, читала вслух гостям модную книжку «Уменье хорошо одеваться» (1914 год), составленную модистками-парижанками... «Ручеек» ее голоса говорил об уюте, тепле, праве женщины на каприз.

— «Вы, может быть, думаете, что зонт, — читала она, — служит для защиты от солнца? Вы заблуждаетесь. Он создан, чтобы дать возможность женщине принимать красивые позы и открывать психологу состояние ее души... Что касается меня, то я ценю в зонтах только цвет...»

Но уже погибла в болотах Восточной Пруссии, выполняя союзнический долг перед тем же Парижем, армия генерала Самсонова. Мир прочно помешался на пушках, удушливых газах, дредноутах и победных реляциях.

В декабре 1914 года Серафимович пишет тому же Кипену: «Взялся... писать небольшие фельетоны в «Русских ведомостях», уже дал несколько. Хотя это и не наше дело беллетристов, но я взялся, помимо мамоны, еще и потому, что придется влезть из-за этого в *кипящую кругом жизнь*, чего иначе не сделаешь».

Вновь — в пятьдесят с лишним лет! — Серафимович начинает упорно искать... Чего? «Открытые», не засыпанные словесным сором участки «моря-окияна» народной жизни, точки, где сталкиваются возвышенные идеи и на-

стойчивые факты. Покой, ясность — там, где кипит осознанное или стихийное историческое творчество.

Из официальных объявлений, из пространных обзоров событий в журналах, газетах, наконец, из статей, стихов С. Городецкого, Н. Гумилева, философских «взглядов и нечто» М. Волошина, М. О. Гершензона можно было узнать весьма немногое.

Скоро возникнет и официально-утвержденная фигура легендарного воителя Кузьмы Крючкова, замелькают лубочные вирши о нем.

Храбрый наш Кузьма Крючков
Нижет на пику врагов
По возможности, елико,
Сколько влезет их на пику...

Солидные журналы откроют свой «счет» побед, радостных сенсаций. Чему радовался, например, «Вестник Европы»? Раскрыв очередную книжку его, читатель узнавал: «Наблюдая уличную жизнь, порой можно даже забывать о войне. Улица не шумит, ибо в ней и тени нет разогретого вином бахвальства... Как против немцев, страна единой волей и единой мыслью встала против многовекового отравителя народа — против спирта, в каком бы количестве градусов он ни предлагался... По единодушному общему отзыву, «отсутствие водки переродит народ».

На даче вместе с Серафимовичем жил в это время старший его сын Толя. Наблюдательный, способный сопоставлять факты из различных областей, он давно был для отца серьезным собеседником, как и надежным другом в путешествиях.

Прочитав статью в «Вестнике Европы», Серафимович обратился к Толе:

— Слышишь, Толечка. Одну историческую победу мы, оказывается, уже одержали... даже сгубив армию Самсонова, допустив тевтонов под Варшаву... И без единого выстрела.

— Какую же, папа?

— Победили... зеленого змия. Загнали его в пещеру...

Толя привык к лукавым отцовским шуткам. И, посмеявшись вместе с отцом над победой — с помощью Вильгельма, — он сам протянул ему газету с реляцией о другой «победе».

— Сколько споров было о «польском мессианизме», о равноправии наций, о сепаратизме. А посмотреть, папа,

едва началась война, и этот гордиев узел — на радость нам, на страх врагам — разрубили.

Серафимович молча отложил газету. Невольно вспомнился памятный день детства... Летнее утро, поход отцовского казачьего полка в Стопницы, шпили польских костелов, разрывавшие утренний туман, первая в жизни поездка в седле... Бои сейчас шли в Польше, Галиции, мелькали знакомые названия городов, местечек.

Встретившись в Москве с одним знакомым либеральным издателем, конечно же, патриотом-оборонцем, Серафимович возмущенно, с тревогой за блистательных борзописцев и тех, кого они вводили в заблуждение, сказал:

— Война — огромное страдание, миллионы сирот, океан крови! Почему же так радуются «очищающей грозе» войны? Кричат, что, мол, мы «обрусеем» в страдании? И радуются как раз те, кто до этого как раз прибыльно «онемечивался» в делячестве? Откуда эта взвинченность вчерашних неврастеников, крашеных женщин, нарядных акцизных у нашей интеллигенции? Я понимаю официальную печать, которая на свой лад оправдывает «освобождение» поляков, украинцев, русинов из-под «гнета» Австрии... Но в конце концов нельзя же одной бедой — войной — лечить вековечные болезни — пьянство и национальную рознь? Какое дело этим русинам, полякам, местечковой шляхте до имперских вожделений Сазонова, Гучкова и других?

Издатель ответил не сразу. Он показал на торговые ряды, знакомые вывески лавок, видневшиеся из окна кабинета, на огромный плакат.

— Сколько смеялись, помните, над долгополым купчиной — аршинником, самоварником, кувшинным рылом! А сейчас? Смотрите внимательно... Я не нахожу ничего комичного в том плакате. Ну, конечно, петушки, подковы, расписные блюда, шитые ткани. Но сам тип — это истинно народный тип, воплощение немерянной силы России. И пусть в нем нет этого машинного немецкого лоска, австрийского ранца... Но моральный кислород, которым дышит война, создает он...

Серафимович подошел к окну. Среди букета вывесок на почетном месте виднелся чисто «кустодиевский» купчина с широким, как медный поднос, лицом, весело призывающий подписываться на военный заем: «Патриотично и выгодно!»

Серафимович не успел подивиться удивительной перемене либерала, которого во времена русско-японской войны знал как яростного пораженца, борца за конституцию. Сейчас он, пожалуй, способен повторить всерьез ироническую шутку Козьмы Пруткова: «При виде исправной амуниции как ничтожны все конституции».

Во многих домах в 1915 году замелькала вдруг — тоже на видном месте, там, где раньше висел непременный Арнольд Беклин, чаще всего его «Остров мертвых» — небольшая картина художника И. Я. Билибина «Берега Англии».

Облагороженные лубки Билибина, его иллюстрации к «Сказке о золотом петушке», его заставки, виньетки, почтовые открытки Серафимович знал.

— А знаешь, Александр Серафимович, что выдвинуло именно эту картину вперед? — заговорил как-то Голоушев. — Таких «берегов» — крутые, со слизанной ветрами и волнами растительностью, с крутой кромкой берега, с узкой полоской воды — и раньше было много... Но, как вы знаете, немцы все эти месяцы беспрерывно атаковали Британию... Крейсера, цеппелины... И публика побаивалась, что англичане не выдержат, капитулируют, будут жар загребать нашими и иными руками. Ведь то, что «англичанка гадит», не забыто. А тут, пожалуйста, — не берега, а... неприступная крепость, сила, от которой отскочит все... Если хотите — и патриотично и художественно...

С Леонидом Андреевым встреч не было, письма становились редкими. Но голос его, преисполненный крикливого шовинистического бряцания, голос певца, «поющего с листа», не замечая, что вся музыка была заказана странной компанией — царским министром А. Протопоповым и миллионерами Блохом и Шайкевичем, — доходил нередко, своеобразно преломляясь, до Серафимовича.

Вдруг один московский прогрессивный адвокат, мастер «бархатных» речей, в 1905 году совавший в десницы чугунных монументов красные гвоздики, флажки, яростно ополчился против пацифизма, толстовства и... историка Грановского!

— Помилуйте, но при чем же добрейший Николай Тимофеевич?

— А вы знаете, что писал он в дни осады Севастополя, «русской Трои», в 1854 году?

— Признаться, не помню, — ответил Серафимович.—

Но, кажется, Грановскому должно было быть безразлично все — и осада и падение...

— Не совсем так... Он писал: «Падение Севастополя заставило меня плакать. Будь я здоров, я ушел бы в милицию, без желания победы России, но с желанием умереть за нее...» Вот ужасная формула, которая нас обессилила! Русский писатель только сейчас, ценой великих мук, борьбы с подобными формулами, с целой традицией, обретает раскованность, отдается естественным порывам.

— Каким порывам? От чего «раскованность»?

— От пацифизма, мешающего принять войну. В мире нет иной страны, может быть, кроме Индии, где толстовство, любовь к миру, отвращение к войне имели бы такой всеобщий категорический характер. Всякое пролитие крови осуждается. Посмеиваясь над крайностями толстовского учения о непротивлении злу насилием, мы всякий раз, когда дело доходило до факта, становились на сторону Толстого, отдавая все свои бессознательные симпатии жертве. Кто бы она ни была. Пусть даже лошадь с разорванным брюхом...

Что-то очень знакомое, вплоть до андреевского словоговорения по наитию, в состоянии пьяной эйфории, проступало в тренированной патетической тираде адвоката-патриота.

Собеседник, не замечая догадок писателя, взяв его за локоть, «заполучив» накрепко, продолжал:

— Вот говорят — и вы повторяете это — жертвы, трупы, лишения в тылу, сироты?.. Да ведь мы привыкли ставить видимое выше воображаемого, острее чувствовать видимое! И наш писатель неизменно терял истинное представление о целях, которые всегда живут только в сумме, в движении фактов или в воображении. Мы видим и сейчас только трупы. А цель войны?

И еще одно. Как можно любить войну, не любя победы. Леонид Николаевич Андреев прав... Победа давно перестала быть мечтой интеллигенции. Вот вам повторение позиции Грановского... Мы готовы умереть за Россию, но реально любим поражение ее, мечтаем о поражении больше, чем стремимся к победе.

Серафимович перебил собеседника. Напоминать фразистому обывателю, давно сбросившему всякое бунтарское «оперение», о былых грезах не хотелось. Но неужели он не видит, что...

— А вы обратили внимание, кто больше всех жа-

ждал военной победы в 1905 году? Кто жаждет ее и сейчас? Откройте «Земщину», черносотенное «Русское знамя»...

Адвокат вздохнул. Он еще не свыкся, видимо, с той компанией, куда его неумолимо заносила властная сила обстоятельств.

— Да, все высокие слова оказались раньше нас, демократов, захвачены и опорочены этими, как их, «союзниками». И нам трудно называть себя патриотами, русскими людьми, национальными деятелями, — на всем этом стоят надписи «Союза русского народа», «Истинно русских людей»... Мы не обратили внимания на это так же, вероятно, как на малую провозность русских дорог...

Как мало стоило в народной жизни адвокатское глубокомыслие, показала первая поездка Серафимовича на фронт.

Пробраться туда оказалось для него, бывшего ссыльного, делом не очень простым. Для Валерия Брюсова, Алексея Толстого, поехавших на фронт от «Русских ведомостей», для Николая Гумилева, Федора Степуна дороги на фронт были открыты. А надежды Серафимовича на кадетскую «Речь», на «День» лопнули сразу же. Когда писатель обратился в земский союз с просьбой зачислить его в один из санитарных отрядов, князь Львов, председатель союза, вдруг яростно запротестовал:

— Вот они где у меня сидят, эти литераторы! Нас уже предупреждали: под нашим флагом в армию лезут корреспонденты...

Слово «корреспонденты» звучало в его устах куда страшнее, чем казнокрады, даже шпионы.

К счастью, нашелся иной путь на фронт. Пироговское общество русских врачей весной 1915 года создало особый лечебно-санитарный отряд. В него и поступил — санитаром! — будущий создатель «Железного потока». Как в эти же годы Дмитрий Фурманов — братом милосердия. В Пироговском отряде, выехавшем в Галицию, работала и Мария Ильинична Ульянова. События вновь переплели путь писателя с семьей Ульяновых.

Галиция... Бесконечная толчея эшелонов с сермяжными ратниками в скотских вагонах, знакомые с детства названия городков: Подволочиск, Тысменицы, Стрый, Ста-

нислав... Скелеты сожженных домов, поваленные плетни, обессиленные батарейные лошади в колеях разбитых дорог... Слухи о передвижениях, австрийских шпионах, наступлениях. Хаос, сумятица, раздражение усугублялись тем, что десятки тысяч беженцев блуждали среди батарей, колонн, госпиталей. Солдаты и беженцы столкнулись на задохнувшихся от перегрузки дорогах. Солдаты показали Серафимовичу уже в пути на пустые местечки:

— Люди стали ощетинившиеся, как колючая проволока...

От августовского воодушевления, когда встречные эшелоны обменивались, как свидетельствуют очевидцы, надрывным «ура!», не осталось и следа. Фронт, как гангренозная рана, прошел через деревушки, городки с костелами, предгорья Карпат.

Жадно всматривается Серафимович в окружающее, все запоминая или занося в записные книжки. Серые лица окопников, офицеры, способные с внезапным раздражением заорать на денщика, подавшего холодную трубку:

— Сколько раз учить — с угольями подавай!..

Солдатики, получившие раны в живот, грудь, вначале робко просили воды, а затем начинали упрашивать:

— Ваше скоблагородие, дозвольте меня отослать в наш город... Там хорошо выпользуют, и жена... Курье, гуси, две коровы — все она, все у ей в руках... Темно жили, без понятия... уткнулись мордой в землю... Теперь бы все сказал, в ножки поклонился...

Песни солдат плыли в темном весеннем воздухе, сбиваясь в один ком — неразвеянной тоски, безысходного ожидания гибели.

> То не тучка к месяцу прижимается,
> Слезы льет жена, надрывается:
> — Ты вернись, вернись, сокол ясный мой.
> Я — что травушка, ты — как дуб лесной...
> — Брось, жена, рыданье понапрасное!
> Ты взойди-взойди, солнце красное,
> Кровь-войну пригрей да повысуши,
> Про житье солдатское да повыслушай:
> Как и день идешь, как и ночь бредешь,
> Крест да ладанку на груди несешь,
> Не унять в груди рану жгучую,
> Не избыть судьбу неминучую.
> А как всем людям здесь судьба одна,
> Как судьба одна — смерть — страшна война...

Усталость, апатия... Даже к врагам, австрийцам — никакой ненависти и особого интереса. Унылые атаки, в которых мешковатые, серые фигуры падают, виснут на кольях и завитках заграждений, множество убитых лошадей.

«Нет, из такой войны народ не выйдет прежним, — эта мысль все чаще приходила на ум. — Здесь не просто раздражение, сплошная бессмыслица... Но во что выльется зреющий гнев серошинельной России?»

Страшный образ, непохожий на множество описаний войны, возник в одном из первых очерков Серафимовича:

«Ночь. Золотая Медведица. Ухают коротко, без отклика, как будто не желая оставлять след в ночном, призрачном, свежем и пронизанном звездным мерцанием воздухе.

И невиданный темный паук за темным краем, обрезывающим звезды, делает какое-то свое дело. Он делает его мерно: и от этого мерно, как будто немножко с трудом, выбивается: тра-та-та...

Зловещий паук».

Очерки Серафимовича «В Галиции», появившиеся в «Русских ведомостях» в мае 1915 года, очерки о жизни тыла выглядели в общем потоке корреспонденций бескрасочными, полными печальных предчувствий. Ни разу не испытывают его герои того состояния, которое уловил в себе А. Куприн, надевший в начале ноября 1914 года мундир поручика: «А ведь счастье быть теперь военным!» Правда, Гельсингфорс, где служил Куприн,— нечто иное, чем заплывшие жидкой грязью окопы Галиции.

Нет в этих очерках и того ложнобылинного воспевания пахаря, оратая в шинели, который вдруг явился в цветнике поэзии с легкой руки Николая Клюева. Солдатская дороженька, курящаяся пылью, говорит у Клюева:

От того, человече, я куревом
Замутилась, как плесо от невода,
Что по мне проходили солдатушки
С громобойными лютыми пушками.
Идучи, они пели: «Лебедушку
Заклевать солеталися вороны».
Друг со другом крестами менялися,
Полагали зароки великие.
Постоим-де мы, братцы, за родину,
За мирскую Микулову пахоту...

Вдохновенный слепец!..

Серафимович уже в очерке «Воронье» (1915 год), когда миллионорукий Иван с угрюмым послушанием еще шел в атаки, передвигал горы земли, сооружая окопы, прозорливо предсказывал: «Какой-то огромный, быть может, трудно учитываемый сейчас переворот в головах... Ничего, пусть шумят с черными крылами и с карканьем переносятся с места на место, пятная города, пусть; совершается великая работа, пластами взрывающая русскую жизнь».

Главным же итогом поездки в Галицию, имевшим решающее воздействие на переход Серафимовича — задолго до Октября 1917 года — на позиции большевиков, было понимание смысла событий: лопается надежда буржуазной интеллигенции, последняя в истории попытка своекорыстно, расчетливо «слиться» с народом, «возглавить» его и увести прочь от революции! Все как будто бы сделали для этого недавние «веховцы». И постарались не замечать вонючий запах солдатских портянок, и «снарядов мата», прозаизма лазаретов, санпропускников. Либералы, не полагаясь на царизм, проделывали лицемернейший маневр, затянувшийся вплоть до Октября 1917 года: чтобы влиять на рабочих, буржуа должны прибегать к мимикрии, наряжаться социалистами, эсдеками, интернационалистами и т. д., иначе влиять невозможно. Они стали наряжаться! Они создавали большие и малые комбинаты лжи вроде псевдонародных, крикливо «патриотических» газет — «Дело народа», «Единство», наконец, «Русская Воля», куда, кроме Л. Андреева, привлекли И. А. Бунина, А. И. Куприна, Ф. Соллогуба, С. Н. Сергеева-Ценского, А. В. Амфитеатрова, профессоров В. Г. Тана, И. А. Гредескула, рассчитывали привлечь... Г. В. Плеханова и А. М. Горького. Псевдорусский журнал с явно шовинистическим направлением «Лукоморье» — вот, мол, где «русский дух, где Русью пахнет», — был снабжен характерной обложкой — толстый, откормленный кот ходит на короткой цепи вокруг дуба. И коты ученые, среди них многие поэты-символисты, дали себя приковать златой цепью к денежному мешку, зная заранее, что на ней можно «заводить песнь», идя исключительно... «направо».

Но достигнута ли была главная цель, та, о которой мечтали в интеллигентском угаре еще авторы «Вех», «этой энциклопедии ренегатства»?

Образно и по-профессорски книжно эту цель определил еще в 1909 году М. О. Гершензон:

«Наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевую жизнь... Внутри у нас по-прежнему клубятся туманы, нами судорожно движут слепые, связанные, хаотические силы, а сознание, оторванное от почвы, бесплодно расцветает пустоцветом».

Реально это означало только одно: вырвать рабоче-крестьянские, солдатские массы, идущие за большевиками, из-под их влияния, увести их с революционного пути на путь либеральных реформ! Кто сыграет роль «паровоза» — эсеры, меньшевики? На эту роль претендовали многие.

Прикрепить «паровоз», то есть буржуазное социальное сознание, к «составу», к движению революционных масс, увести «состав» в сторону от новой революции не удалось. Народ ни на фронте, ни в тылу не был очарован сладкоголосыми сиренами от либерализма. В новоявленных «республиканцах», «демократах» трудящиеся узнавали перерядившихся капиталистов.

...И снова Петербург, мир легальной прессы, тонкий слой книжной культуры, прикрывавший «непроглядный ужас жизни» (Блок).

Что стоит сейчас искусство, поэзия? «Предмет десятой необходимости. А может быть, двадцатой, сотой и даже никакой... Подешевела неосязаемая работа мысли и духа — творчество», — с унынием писала З. Гиппиус в газете «Утро России».

Серафимович в первые же дни заметил, что изменился, поскучнел и петербургский обыватель. Вечно взбудораженный и запуганный газетными заголовками, новостями, слухами то об очередной речи Пуришкевича в Думе, когда он якобы крикнул, что «Гришка Распутин страшнее Гришки Отрепьева», то маниловским мечтанием о скором мире, жил одной заботой: отпихнуть от себя тридцать три несчастья, запастись «на черный день», хапнуть побольше из матушки-казны.

Монархическая и черносотенная печать с унылой настойчивостью молила одряхлевший, выродившийся даже морально царизм о невозможном — явить силу и грозу власти. Газеты «Русское знамя», «Земщина» сетовали на то, что не видят центра для приложения усилий, «не вла-

деют рычагом». Этот рычаг — законная власть — якобы находится под стеклянным колпаком, его видно, но к нему не подступиться, не приложить сил.

Литературный «задник» эпохи был как будто пестр, ярок, но это была выморочная яркость. «Парнасские трофеи» поэзии были обширны и поразительно беспочвенны.

На витринах, прилавках книжных магазинов Серафимович увидел мир, как будто нарочито бестревожным, даже идилличным. Что предлагалось читателю?

«Попиада» Павла Радимова — поэма, написанная гекзаметром... Кумир парикмахеров, «острого общества дамского», солнцевеющий, эстетный и «окалошенный» И. Северянин. Он и в очередных книгах по-прежнему трагедию жизни претворял в «грезофарс». К. Бальмонт. «Осень. Видение древа». «Нарядный вереск» Георгия Иванова, апофеозы старинных красивых вещей, антиквариата:

> ...А вот кофейник, сахарница, блюдца,
> Пять чашек с узкою каймой
> На голубом подносе жмутся,
> И внятен их рассказ немой.

...Знакомая дорога до Райволы промелькнула быстро, и вот уже Серафимович входит в осевшую немного, раздавившую кое-где фундамент, дачу Андреева. Здесь тоже действовало предчувствие конца, сознание обреченности. Изо всех углов, несмотря на обилие печей, сквозил ветерок. Начинался последний акт «жизни человека».

Хозяин дачи тоже изменился. Тверже сделались черты лица, усы не скрадывали уже складок возле губ. Вся фигура погрузнела.

Еще 5 августа 1916 года Серафимович написал Л. Андрееву письмо, говорившее о близком и окончательном размежевании его с давним другом и покровителем. И о неотвратимом — хотя этого явно не желал еще, судя по письму Серафимович! — разрыве даже дружеских отношений.

Не желал разрыва, надеялся вовлечь Серафимовича в «свое дело», в газету «Русская воля», и Андреев. Но с честного и прямого отказа сотрудничать в этой газете и начинал свое письмо Серафимович:

«В газете, дружок, работать не буду. Нет, не лицемерие и не боязнь за репутацию, — если бы ты знал, как я терпеть не могу этих штамповщиков репутаций с Вереса-

шей во главе, — а свое сложное, где-то внутри выросшее, и не из головы, а изнутри где-то. Но об этом по многим причинам в письме неудобно, увидимся, поговорим... Мне хочется с тобой побыть в Финляндии, — в Петрограде тебя будут рвать, не поговоришь по душе. Может быть, оттого, что подолгу живем врозь, у меня к тебе особенно нежное чувство... А гляди, жили бы вместе, успели бы разругаться. А ведь у меня только ты да Абрамыч».

Решимость переступить даже через долголетние дружеские отношения во имя своей идеи дается нелегко. Тот Серафимович, который через несколько месяцев, после февраля 1917 года, войдет окончательно и бесповоротно в число сотрудников «Известий Московского Совета рабочих депутатов», угадывается лишь в признании о каком-то своем, сложном, «где-то внутри выросшем» убеждении. И, судя по другим письмам, Серафимович мучительно готовился к последней беседе с Андреевым. В письме к А. А. Кипену он задает себе вопрос, как бы исходящий от Андреева: «Конечно, «Русская Воля» такая же буржуазная газета, как «Биржевые ведомости», «Русские ведомости», «Речь» и проч. Раз люди работают в одной из последних, то почему не работать в первой?»

В самом деле — почему?

Серафимович искал и не находил сразу убеждающих— как будто еще можно было убедить Андреева! — слов. Слишком кошмарное «сцепление сил» порождало эту газету! Чуть позднее, в апреле — мае 1917 года, В. И. Ленин будет многократно объяснять суть этой газеты, давать ей такие оценки: «Газета «Русская Воля», основанная царским министром Протопоповым и презираемая даже кадетами»; «Было время, когда г. Плеханов был социалистом, теперь он опустился на уровень «Русской Воли» [1].

Серафимович знал, что не один царский министр Протопопов основывал эту газету. И потому-то, когда в феврале 1917 года сам Протопопов пал (он спасся, переодевшись в одежду своего дворника!), газета все же уцелела... Как доказать Андрееву, что двум другим хозяевам газеты, банкирам Блоху и Шайкевичу, уже не верившим в способность мелкобуржуазных партий «оседлать» революцию, нужна была предельно шумная, «патриотическая» газета! Свирепый запах шовинизма нужен часто «между-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 308.

народному» денежному мешку — он отбивает вопросы и недоумения российских простецов!.. И в предусмотрительности Блоху и Шайкевичу не откажешь: они поняли, чудовищно нажившись на войне, что тем не менее сейчас нельзя кичиться своей победой, мешками денег! Нужно скрыть тщеславие, не садиться в первый ряд, а наслаждаться властью за определенным фасадом — царя, Распутина, попов-содомитов, либеральных горлохватов, псевдопатриотов.

И вот вновь знакомый кабинет... Письменный стол как трон. Андреев по привычке, «перескакивая» с одной темы на другую, обрушился на Серафимовича:

— Мало пишешь, апатично живешь. Семейные дела твои я знаю, они плохи и к творчеству не настраивают. Что-то хрустнуло в твоей психике. Но этой странной, дикой вещи я не понимал и ранее: война отбивает у тебя охоту работать! Как это может быть? Беллетристика — ну, положим, для той время неподходящее, но ведь есть и кроме. Все взбаламутилось, пошло кверху дном, мир в небывалых корчах, надо строить ковчег, мысли и идеи стремительны, как пули... И вдруг — в такое время! — да молчать! Или это Москва тебя захлестнула с ее перинным благодушием?

В кабинет заглянула мать Андреева. Серафимович уловил ее многозначительный взгляд. Он означал одно: спорить о чем-либо с Леонидом нельзя, он не «спороспособен»... Но несколько слов Серафимович успел сказать:

— В перинной Москве я видел Голоушева. Он говорил мне о твоем письме и твоей просьбе — «обегай всю Москву и все редакции, ищи для «Русской Воли» настоящих работников». Не сердись на Москву, не в ее лени и благодушии дело... Поверь мне, когда я огрызком карандаша в халупе с просвечивающей крышей в Галиции писал о страданиях, об обманутой преданности родине ее лучших сынов, преданности не «козьмакрючковской», не выдуманной, — я не видел тоже, как не видишь сейчас и ты, одного... Миллионы людей, которые третий год жертвуют жизнью в окопах, не только страдают, но и размышляют о причинах войны, собирают силы, закаляют волю для новой революции... Твоя газета не для них... Может быть, вопреки даже твоим намерениям...

Серафимович, конечно, щадил самолюбие друга. Многих обстоятельств он, впрочем, еще не мог знать. Сколько недавних соратников по «Знанию», по «Средам» в эти ме-

сяцы великого размежевания — до февраля 1917 года и особенно после него — цеплялось за накренившийся склон исторической почвы, уходило от народа. Бывший участник сборников «Знание» Е. Н. Чириков пробовал «урезонить» революционных рабочих возгласом: «Не думайте, что в данный исторический момент вы одни призваны решать судьбу родины... Не пришел еще час ваш!» А журнал «Русское богатство», когда-то имевший своей программой: «Все для народа, все через народ», — теперь заявлял: «Многое ведь свершается не через народ».

...Развязка многолетней дружбы была, по крайней мере внешне, умиротворенно-задушевной. Андреев нашел в себе остаток спокойствия, память оживила многое, прежде дорогое обоим, и на развилке дорог осталось его последнее письмо, столь же короткое, как и первое письмо 1902 года:

«Милый Серафимыч! Мне нечего тебе сказать. Горьких слов я не хочу, а все другие слова будут неправдивы. И, конечно, не стану ни уговаривать тебя, ни убеждать, ни рассказывать. Иди своей дорогой, как я буду идти своей».

Куда привела своя дорога Серафимовича — об этом речь впереди...

О коротеньком бесславном отрезке дороги Андреева, оставшегося после Октября в Финляндии, больного, отчаявшегося, говорит его письмо Н. К. Рериху, написанное в 1919 году незадолго до смерти:

«Все мои несчастья сводятся к одному — нет дома. Был прежде маленький дом и Финляндия, с которыми сжился. Наступит, бывало, осень, потемнеют ночи, и с радостью думаешь о тепле, свете, кабинете, сохраняющем следы десятилетней работы и мысли. Или из города с радостью бежишь домой — в тишину и «свое». Был и большой дом — Россия с ее могучей опорой, силою и простором. Был и самый просторный мой дом — искусство, творчество, куда уходила душа. И все пропало. Вместо маленького дома — холодная, обворованная дача с выбитыми стеклами, а кругом чужая и враждебная Финляндия. Нет России, нет и творчества... Так жутко мне без моего царства, и словно потерял я всякую защиту от мира. И некуда прятаться ни от осенних ночей, ни от печали, ни от болезни. Изгнанник трижды — из дома, из России и из творчества, я страшнее всего ощущаю для себя потерю последнего, испытываю тоску по беллетристике, подобную тоске по родине».

БЕССМЕРТНЫЙ ЭПОС РЕВОЛЮЦИИ

...Ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша работа...

В. И. Ленин. Письмо А. С. Серафимовичу[1] *(21. V. 1920)*

...В первых числах декабря 1917 года Москва еще не стряхнула возбуждения и одновременно оцепенения недавних боев. Праздные толпы людей на улицах, освещенные подъезды банков, пышные витрины, экипажи на дутых шинах — все исчезло, спряталось в тени сражений красногвардейцев с юнкерами.

Ветер свистел в проемах окон, выбитых снарядами, — их в лучшем случае заколачивали досками. Хрустел под ногами отбитый камень, валялись кое-где доски разломанных заборов — их торопливо, оглядываясь по сторонам, тащили в холодные, плохо освещенные квартиры. Большой зал «Метрополя» так и зиял в мутно-серое небо голой незастекленной решеткой купола. В вихрях поземки шелестели, смешавшись со снежной крупой, обрывки газет, плакатов, старых афиш.

Ураган событий стремительно нарастал. И изнуренное столпотворением новинок, не успевающее объединить их и осмыслить воображение интеллигентного обывателя рождало миражи. Желание было «отцом» мыслишек, и то, чего так хотелось, вспыхивало сладостным видением. Учредительное собрание, которое отменит Октябрьскую революцию, и «селянский» министр во Временном правительстве эсер Чернов в роли нового премьера... Вмешательство союзников или приход вчерашних врагов — войск кайзера... Вспыхивала наконец надежда на генерала Корнилова, бежавшего на Дон. «Обманывали себя, грезили миражами все: от петербургской барыни, удравшей с одной переменой белья на юг, до премудрого профессора Милюкова, с высокомерной улыбкой ожидающего конца событий, им самим установленных в исторической перспективе», — вспоминал А. Н. Толстой.

В декабрьских сумерках Серафимович шел в глубокой задумчивости на традиционный вечер «Сред». Путь с

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 198—199.

Большого Трехгорного на Большую Дмитровку — трамвай не ходил, улицы не освещены — был опасен. И патрули красногвардейцев, которым он несколько раз предъявлял удостоверение большевистских «Известий», рекомендовали ему держаться в стороне от глухих переулков. В Москве, как и Петрограде, продолжалось уничтожение винных складов, борьба с хулиганскими бандами. «Известия» в эти дни часто помещали обращения:

— Арестовывать всех, опорочивших себя в пьянстве и разгроме.

— Не прикасайтесь к вину, это яд для нашей свободы!

— Не допускайте разгромов и эксцессов — это смерть для русской революции!

Но сейчас Серафимович думал не о гримасах на поверхности океана, не о мелком злобствовании мещанских углов. Лишь афиши кинематографа, сулившего сладостный плен в старом мире на час-полтора, заставили его улыбнуться.

«Король Парижа», фильм по роману Жоржа Оне, последняя новинка Ханжонкова... «Кровавое пятно» — психологический кинороман в 11 сериях... «Шум на троне», «Под душистой веткой сирени»...

Фильмы эти в глазах обывателя — зыбкий мосточек к старому миру, ветхая надежда, что все загладится, что революция «выгуляется», перебродит, выдохнется и придут добрые тихие времена.

Серафимович не раз слышал в эти дни:

— Посмотрите, как талантлив, изобретателен русский человек в быту, в своем дворике, в семье! И как бездарен, однообразен он же в этих сборищах, толпах на улицах... И поверьте, жажда уюта, домашнего счастья победит все. «Паучок», что соткал усердно русскую домашнюю жизнь с ее традициями, «выползет» и на улицу, заткет, заплетет узорами все провалы и трещины...

Московский «поленовский» дворик с травкой, тишиной, смиряющая всех работа природы стали в эти дни объектом философствований, надежд, своего рода идеологическим ресурсом старого мира.

Невольный выразитель этих надежд, Павел Муратов, автор книги «Образы Италии» (1912 год), кадетствующий философ, писал в статье «Простое чудо»: «Не без удивления вглядываешься теперь в простую траву, нежно зеленеющую в московских дворах... Все это, оказывается, существует и как бы упорствует в существовании. На наших

глазах свершается обычное, простое и ошеломляющее чудо весны... Будем ли жаловаться, что равнодушная природа не разделяет с нами страстей и печалей? Пожелаем ли, чтобы помутнел и иссяк этот единственный источник мудрости, которой, как очевидно, нет места в современной человеческой душе?

Блага подлинного мира мы лишились, по-видимому, основательно и надолго. История еще очень не скоро оставит нас всех в покое. Круги волн от камня, брошенного ее рукой в ровную поверхность жизни, будут расходиться до бесконечности. Ныне живущие поколения уже не увидят, вероятно, иных времен, кроме времен «исторических» («В ритме дней», «Наша Родина», 1918, № 5).

Ровная поверхность жизни... Серафимович не просто читал подобные статьи, улавливая их скрытый смысл... Сразу же после Февральской революции он начал активно работать в «Известиях Московского Совета рабочих депутатов», главным редактором которых был старый большевик, переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык И. И. Скворцов-Степанов. В апреле в газете появился его первый очерк «То, чего не простят», за ним последовали другие... В сентябре в очерке «Трещина» он яростно спорил с теми, кто жаждал установления «ровной поверхности» разбушевавшегося океана, заглаживания изломов, трещин.

Великая трещина пробежала между социальными слоями русской земли от взрыва великой революции. «И стали валиться туда, выворачиваясь, старые порядки, старые формы грабежа и угнетения народного, старые всосавшиеся привычки подавления народной воли, и по краям в грозной наготе глянули друг другу в лицо, — писал Серафимович. — Можно ли задержать опять этот провал? Можно ли засыпать пропасть, перекинуть мостик, замазать, чтобы дыры не видать было?

Нельзя, ибо бездонно.

«Нет, можно», — хором и хрипло подняли вой те, от кого, отрываясь, повалились в провал и прежняя власть, и сытость...

Чем же добиться?

Лганьем.

И их газеты, их журналисты, их ученые, их писатели, их ораторы лганьем, клеветой, искажениями, неверными сопоставлениями, умолчаниями, искусно ложным освещением событий стали засыпать роковую трещину».

С тех пор прошло еще несколько месяцев, прогремел

Октябрь... Миллионы рабочих и крестьян под руководством ленинской партии вступили на путь исторического творчества. В «Известия» шли рабочие, солдаты, которых «праздничная энергия революции» (Ленин), жажда выразить себя толкнули даже к наивному, но искреннему стихотворству. Вчера его пригласили в Моссовет и показали тюки писем, тетрадок со стихами. Надо было разобраться в этом потоке рукописей, ответить — хотя бы через газету — сразу всем.

— Вот, товарищ Серафимович, что нам присылают, приносят сами авторы каждый день. Из воинских частей, с заводов...

Он порылся, заглянул в одну, другую тетрадку. Нет, конечно, никакого опыта, ощущается власть лубка, штампа.

Тук-тук, молоток,
В каждой планке мой гвоздок...

Конечно, в этих стихах было и «восходящее солнце», и «мускулистая рука», и «пылающее счастье»... «Да ведь это же не стихи... Это — неудержимый крик, даже вопль... неугасимый голос слез, отчаяния, ужаса и вместе радости счастья, безмерности надвигающегося», — писал Серафимович позднее в статье «Откуда повелись советские писатели» (1927).

Этих новых реальностей мира, как оказалось, не знали, не видели многие собратья по «Средам». Для многих из них — и для глядевшего «кобриными глазами» (выражение Серафимовича) И. А. Бунина, и для Е. Н. Чирикова — это заседание было преддверием мучительных скитаний, разрыва с Родиной. И больше того. Е. Н. Чириков уже давно разорвал всякие отношения с А. М. Горьким и даже создал о нем памфлет-пасквиль «Смердяков XX века». «Вирус» скандала уже присутствовал в зале. И едва председательствующий — им был, конечно, Юлий Бунин, «бонза» — открыл заседание, как скандал начался. Незнакомый Серафимовичу журналист в форме штабс-капитана поднялся и, не попросив у председателя слова, сказал:

— Мне кажется странным, что среди нас появился человек, который сотрудничает в большевистской печати... В газете, ведущей поход против независимого слова.

Наступила тишина, какой, вероятно, никогда еще не бывало на собраниях «Сред».

— Господа... — сказал было, молитвенно сложив руки, председатель...

Но тишина вдруг взорвалась, послышались крики:

— Здесь не место утеснителю свобод!

— Господин Серафимович, с кем вы? Сделайте выбор...

Юлий Бунин, брат И. А. Бунина, бывший народоволец, когда-то участник бунтарского студенческого кружка в Москве, одутловатый, бросивший в 1915 году после лечения от склероза пить и курить (он умер в 1921 году), с явным сочувствием поддерживал нападавших на Серафимовича. От его революционности давно уже ничего не осталось.

Серафимович, как вспоминают очевидцы скандала, поднялся, отцепил от лацкана пиджака неизменное свое пенсне и неторопливо оглядел зал. О возможном скандале его предупредил еще утром по телефону так и не назвавший себя человек. Его интересовало сейчас поведение публики. Злобно кричавших о его сотрудничестве в большевистских «Известиях» было немного. Нашелся уже и человек, В. П. Ютанов, горячо защищавший Серафимовича. «Но почему молчат И. А. Бунин, Е. Н. Чириков? И где же председательствующий? Ведь я пришел не к этой публике, жаждущей разглядеть лицо «обвиняемого», — а к своим товарищам по литературному труду!»

Участник заседания, ушедший с него вместе с Серафимовичем, известный советский писатель Вл. Лидин, запомнил, что Серафимович среди наглых выкриков сказал:

— Вам нужно было тишайшее чтение мирных рассказов, возможно, с «передовым» направлением, но таких рассказов, докладов, из которых нельзя было бы сделать даже вывода, что в России произошла социалистическая революция... Меня лично не испугать ничем... Ведь всего можно ожидать от людей, у которых почва уходит из-под ног... Вы сейчас все теряете, я же все, самое нужное художнику, нахожу...

Вернувшись домой, Серафимович, как свидетельствует Р. Хигерович, отказался от ужина, сел за письменный стол. Утром старший сын Анатолий, проснувшись, увидел отца все в той же позе — он по-прежнему писал, с ожесточением макая ручку в чернильницу.

От сына у отца секретов не было. Серафимович рассказал Анатолию обо всем, что произошло на «Среде».

— Речь моя вчера, конечно, не прозвучала... Ее к тому же могли истолковать как самозащиту обиженного...

И только... Но сейчас дело не во мне, не в моем исключении из «Сред». Не исключили ли сами себя иные господа литераторы, может быть временно, — но в какой великий момент ее — из народной судьбы?..

Серафимович собрал исписанные листочки — это была статья, появившаяся затем в «Известиях» под названием «В капле», — и начал читать ее Анатолию...

Есть статьи, кажущиеся и моментальным фотоснимком душевного состояния, и раздумьем вслух, полным вопросов, и исповедью... Именно такой многоплановой была статья «В капле».

...Прежде всего как при свете молний увидел вдруг автор «Города в степи», «Песков» пустоту и бессодержательность демократизма многих недавних друзей! Ведь всю жизнь как будто боролся тот же Евгений Чириков с застоем духовной жизни провинции, с ужасом животного бытия? Не о мужичке ли, святом и косноязычном, вечно вздыхал Иван Бунин? Он писал — и писал глубоко, искренне:

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой
Тысячелетней рабской нищеты...

Конечно, психоз интеллигентской толпы, нажим крикунов парализовали их, как и В. В. Вересаева, Н. Д. Телешова. К галдящей толпе подойдешь вначале как зевака, а через минуту сам кричишь что-то, о чем минуту назад и не думал. Но как же все-таки могло случиться, что Иван Бунин, так тонко, так художественно писавший мужика, очутился по одну сторону пропасти, а эти мужики — по другую?! Как могло случиться то же самое с Евгением Чириковым, который тоже писал мужиков жалостливо и любовно, наконец, с Юлием Буниным, который в молодости боролся за мужика как революционер?

«Как могло случиться, что пострадавшие за мужика и рабочего, вплоть до каторги, с ненавистью говорили об этом мужике, рабочем и солдате?» — спрашивал самого себя Серафимович.

Гнев, личная обида не затемняли его мысль. Да и не «Среды» вовсе обличал он, а целую идейную позицию. «Среды» отмечали в 1916 году 15-летие, и как показатель полного «выветривания» революционного духа уже тогда звучала кантата...

От больших городов да от разных толков
Люди всякого знанья да званья,

И певец, и гусляр, и гудошник-боян
Шли, тащили на «Среду» по звенышку.
Зодчим был дух благой, он венец подводил,
Переходы срубили желания...

Вот тебе и «дух благой»!.. Он оказался сразу после Октября... одеколонным, отвлеченно-благородным.

В зоркости Серафимовичу не откажешь. Он запечатлел ту метаморфозу, которую разглядели в эти месяцы весьма немногие. Альберт Рис Вильямс, американский журналист, записал в эти же месяцы беседы с Мартовым в Петрограде на проспекте, заполненном демонстрантами. «Это не моя революция», — сказал он. Глаза его горели негодованием, жесты были такими лихорадочными, что я боялся, как бы он не уронил на тротуар пенсне... Они (интеллектуалы-социалисты. — *Примечание Альберта Р. Вильямса)* считали себя единственными организаторами революции, ее наставниками и опекунами. А тут вдруг массы безрассудно посмели взять дело революции в свои руки» (Альберт Рис Вильямс. «Путешествие в революцию»).

Серафимович вспомнил Андреева, проклинавшего рабочих, иных интеллигентов, почитавших мужичка до тех пор, пока он как сверчок знал свой шесток. Мужичок был «хорош» в роли страдальца, темного, забитого страдальца, с корявым «тае» на устах, как у толстовского Акима («Власть тьмы»).

«А когда он стал подниматься, широко разинул на сотни лет смежившиеся глаза, когда пытается заговорить не косноязычно: «тае», а по-человечески, — тогда от него слепота перекинулась на художников».

И что же они видят в этом психологическом состоянии? Куда девалась их зоркость?

«Все видят, как солдаты торгуют спичками, переполняют трамваи, ломают вагоны, разбивают погреба, как рабочие вывозят на тачках администрацию, как крестьяне разоряют именья; видят ошибки, падения и злоупотребления; и никто не видит колоссального, невиданного до того созидания народной власти. Даже не в центре, не в Смольном, а по всему лицу земли русской, в каждом уголке ее. После сотен лет рабства, угнетения, мертвой петли, убийства всякого почина русский народ выпрямляется, гигантски организуясь...»

Пройдет много лет, и изменится отношение И. А. Бунина — особенно в годы Великой Отечественной войны — к оставленной им Родине. Но сейчас Серафимович на

много порядков выше своих собратьев! Они были просто «посетившими» сей мир «в его минуты роковые». Они разминулись с главным мастером истории — революционным народом. Он же говорил вчерашним певцам маленького человека: ваше прошлое обвиняет ваше настоящее! Не ссылайтесь на него, как ссылался эсер Рафаил Гоц, пойманный в дни Октября революционными матросами Питера на пути в Гатчину, «за казаками», на свое революционное, террористическое прошлое...

Серафимович в числе немногих художников проложил первый, самый важный мостик к сокровищнице гуманизма отечественной классики. Не к уходящему миру обращался он, заканчивая статью в «Известиях», а к новым поколениям художников:

«Да, странное отмщение: слепота творческого духа. Мелкая злоба, мелкая и мстительная, заслонила вещие очи творчества.

Ну что ж! По ту сторону непроходимой пропасти, где сгрудились крестьянство, рабочие и солдаты, осталось чудесное писательское наследство — великая русская литература... Принимайте же, товарищи, это чудесное наследство и готовьте новое поколение, которое бы достойно умножило его!

И берегите как зеницу ока то, что родилось среди вас, родилось, развернулось в громадном даровании... и не оторвалось от вас!»

Сразу же после появления статьи Серафимовича в «Известиях» (12 декабря 1917 года) в адрес писателя стали поступать письма, отклики на изгнание Серафимовича из «Сред» и на его ответ братьям-писателям. Е. Чириков и другие на этот раз не промолчали, они заявили, что Серафимович «недостоин носить великое звание русского писателя». Прислал «объяснительное» письмо Серафимовичу и Юлий Бунин, в котором он признается, что на памятном собрании у него «не было и внутренних мотивов заступаться за Вас». Появились заметки «В защиту писателя Серафимовича», письма-приветствия Серафимовичу как стойкому борцу и защитнику трудящихся масс.

«Верьте, товарищ, что поступок Ваш, оставшегося верным народным идеалам, как и поступок писателей, прилагающих все усилия, чтобы замарать Вас, будет чуткой народной душой оценен по достоинству.

Вы с народом, народ с Вами!»

Так заканчивалось письмо Ковровского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Старший сын Серафимовича Анатолий и в дни революции, гражданской войны, когда события ускоряли свой бег, каким-то чудом успевал вести дневник. 21 мая 1918 года он записывает:

«...В общем, вулкан, на котором мы живем, продолжает действовать. И уж если жить в этом вулкане, то лучше в центре, на передовых позициях».

Редакция «Известий», где Александр Серафимович работал зимой и весной 1918 года, — одна из самых передовых позиций большевистской партии. Для «Известий» В. И. Ленин в правительственном поезде, вышедшем 10 марта 1918 года из Петрограда в Москву, написал программную статью «Главная задача наших дней». Он подчеркивал в ней, что история «летит теперь с быстротой локомотива» [1]. Из редакции «Известий», помещавшейся на третьем этаже бывшего дома генерал-губернатора (ныне здание Моссовета), приносил Серафимович вести о ходе мирных переговоров в Брест-Литовске, о борьбе Ленина с деятелями, опьяненными революционным фразерством, толкавшими Советскую Россию на войну с кайзером. 25 марта 1918 года «Правда» статьей «За хлебом», а вслед за ней и «Известия» определили очередную задачу дня: «Коммунистическая революция уперлась в буржуазную стену собственности на хлеб. И коммунистическая революция провозглашает: «Отмена собственности на хлебные излишки! Реквизиция всех хлебных излишков по устойчивой цене! Весь хлеб — всему народу».

Весной 1918 года на Серафимовича была возложена обязанность создать первый литературно-художественный журнал пролетарских писателей «Творчество». Здесь он впервые познакомился со стихами многих рабочих поэтов — среди них были Василий Казин, Григорий Санников... Позднее Серафимович, сменив В. Я. Брюсова, возглавит созданный А. В. Луначарским, наркомом просвещения, Литературный отдел Наркомпроса (ЛИТО).

«Он (Серафимович. — *В. Ч.*) был пожилым человеком, — вспоминал Г. Санников, — уже поседевшим, в лице доброта и мягкость, глаза, несколько утомленные или чуть печальные, светились радушием».

Но, пожалуй, только сыновья да некоторые старые друзья догадывались, какая сложная внутренняя работа шла в этом утомленном, создающем атмосферу простоты и сердечности человеке.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 82.

Прошлое, которое надо было заново осмыслить, то и дело напоминало о себе.

Однажды среди множества литературных посетителей, растерянных представителей былых течений — люди еще терялись среди новых вывесок, в коридорах новых учреждений и шли прямо к автору «Города в степи», — к Серафимовичу пробилась необычная посетительница.

— Может быть, вы меня помните, Александр Серафимович... Я — писательница Надежда Санжарь... Едва ли вы одобряли мои вещи раньше. Я прошу хоть какой-то литературной работы...

Серафимович видел, как трудно даются просительные слова этой женщине. Он прекрасно помнил — нет, не ее лично, — шумный, хотя и недолговечный успех этой писательницы в 1906—1910 годах. Она написала повесть «Записки Анны» откровенно, не без истерических нот, рассказала о положении девушки из народа, служанки в интеллигентских семьях. А вскоре она же, на мутной волне «успеха», сделала головокружительную житейскую карьеру. Серия изданий повести в России, за рубежом, иные успехи — и вот Надежда Санжарь — миллионерша! Теперь, лишившись всего, она просит места...

— Понимаешь, Толя, — говорил Серафимович сыну в этот вечер, — так недавно еще мы жили в эпоху, когда какой-то зловещий водоворот смешивал в людях воедино одаренность и извращение, дары образования и болезни духа... Что говорить о Санжарь или Пимене Карпове! Эти «эксперты по народной психологии» в глазах салонов — всего лишь мотыльки, пленники однодневной славы! Подумать только, как обесцветились, посерели многие былые интересные спутники моей жизни. Они еще живы, но сейчас ярче — и я еще никак не привыкну к этому — в моих воспоминаниях о 80—90-х годах, чем в нынешнем своем виде. Они словно пережили и «испортили» себя...

Анатолий знал, о ком думал отец...

Герман Лопатин с его фантастическими попытками освободить Чернышевского, Брешко-Брешковская, Плеханов... Кумиры отца в студенческие годы, в годы ссылки.

Собравшиеся вместе с Керенским, «исчадьем пустословия», и Л. Г. Корниловым на памятное августовское совещание 1917 года в Большом театре, они предстали вдруг невообразимо отставшими от народа, во имя которого страдали в ссылке, «освобождали» Чернышевского! А что произошло со «сверхреволюционером», магом конспирации и «поэтом» заговоров Борисом Савинковым, Ропшиным,

автором романа «Конь бледный», вождем динамитчиков-боевиков? Как легко он «поднырнул» под баррикады и очутился во Временном правительстве! Затем оказался у Деникина, стал создавать паутину заговоров против Советской власти...

Со скольких кумиров облезла позолота, сколько друзей утрачено! Легко же удавалось тому же Савинкову или Чернову перемещаться из лагеря бунтарей в лагерь врагов революции... Почему? Кто тут оставался обманутым?

В сентябре 1918 года Серафимович, словно подводя счет потерям, пишет А. Кипену:

«Шмелев уехал с сыном на Украину, теперь, кажется, в Крыму. Иван Бунин в Одессе. Писатели, артисты, музыканты — все это бежит за границу.

А тут кипучая жизнь, кипучая работа. И странно, все, с кем когда-либо близок был, с кем вместе работал, все отшатнулись, все стали чужими... Толя, мой артиллерист, на Двине с англичанами бьется... А я тут измытарился, страшно издергался в работе...»

Письма Серафимовича — лишь прерывистый пунктир его поездок, встреч, новых забот. Их было гораздо больше, чем могли вместить краткие, торопливые записки этих лет.

В мае 1918 года Серафимович — ему было 55 лет — вступает в партию большевиков. Чуть раньше в партию вступили и его сыновья — девятнадцатилетний Анатолий, едва не погибший в дни октябрьских боев в Москве в Кремле, и шестнадцатилетний Игорь. В партию Серафимовича принимали в Пресненском районе, где хорошо помнили его очерки о боях на Пресне в декабре 1905 года.

А с весны 1918 года в качестве корреспондента Серафимович выезжает на различные фронты разгорающейся гражданской войны.

...Одна из первых поездок — на Дон в марте — апреле 1918 года в качестве корреспондента «Известий».

Снег уже сползал, рушился в овраги, полая вода быстро стекала, и у бурых боков холмов в ясные дни стоял парок. Ветерок холодил спину, но теплые дожди, весенняя «спека» быстро оживляли землю.

Поезд, слепленный из дребезжащих и нетопленных вагонов, из Ростова шел в Новочеркасск... почти десять часов. В теплушке разговоры о недавних боях, о разгроме Каледина, застрелившегося 29 января 1918 года, о взятии войсками Р. Ф. Сиверса Ростова (23 февраля) и Новочеркасска... Оказывается, Каледин подкупал даже верные

себе части: суточные — 1 рубль, за день боев — по 3 рубля... И вот знакомый холм, купол собора, неизносимый булыжник на Платовском проспекте (ныне проспект Подтелкова), знакомая пойма Аксая и Тузлова. Новочеркасск пережил и недолгое господство Каледина, бегство атамана Попова. Последний, уходя в степной поход в феврале, прихватил и золотые запасы Донского казначейства.

Следы первых схваток, первые жертвы, среди которых, как узнал писатель, был и его друг студенческих лет Семен Брыкин... И начало организации новой власти, налаживание транспорта, просвещения.

Что особенно удивляло Серафимовича? Злейшая ненависть к меньшевикам, ко всей этой «профессорской» или «розовой» контрреволюции:

«Сколько ни пришлось мне изъездить юг, везде одна и та же картина: добивают последние группы помещиков и капиталистов и рядом добивают последние остатки меньшевизма».

«Калединцев, алексеевцев, корниловцев просто звали «кадеты». Кадет — враг народа. И народ правильно говорит. «Германские кадеты», — записал он в путевой блокнот.

Серафимович задумался о причинах такой «избирательной» ненависти, об эпически-суровой логичности народного отвращения к партии «народной свободы». Она «блистала» в думах, то и дело вступала в торг за места во Временном правительстве, в Предпарламенте («избушка на курьих ножках»), в Учредительном собрании вступала в торг с эсерами, меньшевиками. Он подумал:

«Маниловцы в политике, заболтавшиеся говоруны, они ждали, что с Учредительным собранием начнется этап парламентской легальности для контрреволюции! И в то же время они же кричали, что между жерновами большевизма и корниловщины раздавлена, исчезла как самодовлеющая величина демократия... В сложнейшие для Родины времена они вели себя как торгаши, умеющие литераторствовать с прилавка».

В Воронежской губернии, где Серафимович побывал вначале весной 1918 года, а затем в июне — июле 1919 года, он столкнулся с явлениями крайне сложными, оцененными позднее как левацкие перегибы в отношении казачества, ставшими одним из узловых моментов в гениальном «Тихом Доне» М. Шолохова. Серафимович не только первым запечатлел — речь идет об очерке «Дон» — события Верхнедонского восстания казаков, но и попытался

осмыслить их как художник эпического склада. Что спровоцировало восстание?

Успешно шло наступление красных, «шли вперед, почти не встречая сопротивления, и победы заслоняли всем глаза.

А население?

Его не видели. Мимо него шли к Новочеркасску. Победы заслонили и население, его чаяния, его нужды, его предрассудки, его ожидания нового, его огромную потребность узнать, что же ему несут за красными рядами, его особый экономический и бытовой уклад.

И никто-никто не крикнул:

— Товарищи, бейте тревогу, нас одолевают победы!

...Население Донской области за то, что мимо него проходили, как мимо порожнего места, жестоко отомстило... Огненная река восстания зловеще запылала в тылу армии» («Дон»).

Серафимович говорит и о «необъясненных населению возложенных на него тяготах». Он написал — почти по-шолоховски смело, — что с запозданием «пришлось расстрелять примазавшихся к коммунистам и даже коммунистов, опозоривших себя злоупотреблениями и насилиями, с широким оповещением населения о принятых мерах...».

Политика «расказачивания», грубейшего игнорирования всех особенностей казачьего быта, проводившаяся по прямому указанию Троцкого, наносила огромный вред делу революции. Для истинного революционера нет «порожних мест» в России, везде есть люди, которым надо нести свет революции, ее правду, а не просто подчинять, ломать по однообразной повелительной схеме. Ставленники Троцкого, «Левкины подручные», вели себя как завоеватели в чужой стране.

Осенью 1918 года Серафимович на себе почувствовал диктаторский прием хозяйничанья в армии крикливого «наполеончика» от революции Троцкого. Серафимович опубликовал превосходный очерк «Бой», где уже были страницы, предвещавшие по напряжению батальные эпизоды «Железного потока». И прежде всего сцена боя отряда ЦИКа с каппелевцами, с чехословаками в катастрофический час... Бегство врагов от атаковавших их в грозном молчании коммунистов, бегство «от страшных, молчащих красных штыков» — эскиз к великой панораме. Но именно после этого очерка фарисей Троцкий, как говорил о нем Серафимович, лицемерно твердивший, что армии нужна истина, потребовал отдать корреспондента

под суд... И Марии Ильиничне Ульяновой — судьба снова свела Серафимовича с ней — пришлось выдержать серьезное столкновение с подручными Троцкого.

...Дороги гражданской войны — это ободранные теплушки, разболтанные паровозы, которые двигались натужно, из последних сил, задыхаясь в «астматическом» кашле. Это полустанки с выбитыми окнами, без дверей. Это тиф, косивший целые полки, и призрак безначального анархического болота при малейшем ослаблении ведущей роли партии, падении дисциплины. Наконец, это и саботаж, и обилие всяческой самостийности, особенно на Южном фронте.

Серафимович, уже в предоктябрьские дни создавший по заданию Московского Совета рабочих депутатов серию агитационных брошюр «Учредительное собрание и политические партии», «Как устроить русскую землю», «Кому власть: царю или народу?», по просьбе Политуправления Южного фронта создал однажды листовку, разъяснявшую вред махновщины, «батьковщины», «атаманщины».

— Понимаете, Александр Серафимович, целым крестьянским уездам внушают: «Сиди дома и никого не пускай в село. Нехай соби воюют генералы з москалями, нам вид того ни холодно, ни жарко. Тильки б нас нэ займалы». А чтобы «не займалы», додумались до такой штуки: оборвали вокруг сел все провода, спилили телеграфные столбы, испортили чугунку, которая проходила вблизи, и успокоились. «Теперь — сам лях ни прийде...»

Что же тянуло Серафимовича — с такой неудержимой силой — в опасные районы сражений, в болевые точки новой действительности?

Известно, что Б. Кустодиев, больной, прикованный к креслу, в дни революции в Петрограде настойчиво, упрямо просил вывозить его на бурлящую улицу, извергающую массу невиданных типов, «композиций», живописных сюжетов: «*Такой* улицы надо сто лет дожидаться!»

Джон Рид в книге «Десять дней, которые потрясли мир» объяснил захватывающий интерес событий Октября, всей последующей борьбы так: «Старой России не стало. Бесформенное общество растаяло, потекло лавой в первозданный жар, и из бурного моря пламени выплыла могучая и безжалостная классовая борьба, а вместе с ней еще хрупкие, медленно застывающие ядра новых образований».

Вдохновение Серафимовича эпохой революции пита-

лось из многих источников. Раньше он бежал из бездарно-беспочвенного мира болтающих интеллигентских групп в безмолвие природы. Сейчас он, пасынок старой культуры, впервые ощутил себя своим среди тысяч активно творящих историю людей. Их самоограничение, даже аскетизм, были ему понятны. Всегдашняя его боязнь тихого угла, прозябания нашла свое выражение в стремлении к горячим точкам борьбы. В рассказе «Черной ночью», вспомнив былую беготню по редакциям, голод, призрачность дела, он сказал о революционной современности: «Самое страшное — не смерть, не потеря славы; самое страшное, когда отгородишься от настоящей подлинной жизни семейным уютом, достатком... Жизнь — там, где ее делают те, кого описываешь, делают ее, мерзкую и прекрасную, огромную и мелочную, подлую и великодушную. С ними нужно жить...»

На фронтах творился неповторимый язык революционной пропаганды, рождались новые говоры жизни. Как писатель он переживал, по сути дела, второе рождение среди народа-языкотворца. Е. Замятин, злобно говоривший о «Железном потоке» — «это железо давно ржавело в подвалах «Знания», — попросту не заметил огромной школы жизни, стремительно пройденной Серафимовичем.

Мог ли Серафимович пройти мимо самобытной фигуры Филиппа Миронова (1872—1921), командарма 2-й Конной, своего земляка, казака из Усть-Медведицкой, участника еще русско-японской войны? В январе 1918 года Миронов привел целый полк с румынского фронта и поставил его под знамена революции... И писатель, встретясь с Мироновым, запомнил все — его речь, «манифесты» уездного масштаба, характер, во многом родственный характеру Кожуха. Искусство диалога с многотысячной массой, жарко дышавшей партизанщиной, было вложено в характер Миронова самой революцией. Как умело загонял он «джинна анархии» в крепкий сосуд дисциплины!

«Товарищ красноармеец! Враг-белогвардеец надвинулся со всех сторон, враг напрягает все силы, враг... теснит нас.

И если теперь же не принять решительных мер против этой разнузданности и распущенности в рядах Красной Армии — земле и воле грозит тягчайшее испытание.

Таково мое мнение, так думаю я!

Скажи, красноармеец, как думаешь ты? Нужно ли с этим бороться, а если нужно, то скажи как?!»

Так написал Миронов свое обращение (13 июня 1919 года) к красноармейцам особого корпуса. В нем клокотала страсть вожака, державшего душу массы, часто безграмотной, в своих руках. В своих обращениях, манифестах Миронов часто использовал... даже самодельные стихи!

В квартире Серафимовича в Трехгорном переулке после каждой поездки прибавлялось число блокнотов с записями бесед, вырезок из газет, росли на шкафах горки плакатов тех лет.

— Нужно развить в себе чувство осязания строки, слова, — не раз говорил он. — Плакат, транспарант с лозунгом, призывы на первой полосе газеты, солдатские частушки — видимая часть событий, зримая сторона душевных движений масс. Но надо ловить не отдельные обороты речи, не записывать «тексты» — это песни без мелодии. Надо ощущать характер говорящего, голос массы — без этого мертвы и глухи записи слов.

Не забывал Серафимович по возвращении в Москву зайти и к Марии Ильиничне Ульяновой, работавшей тогда секретарем редакции «Правды». Он рассказывал ей о встречах на фронтах, о путешествиях в теплушках, ночевках на станциях, часто набитых тифозными больными.

Мария Ильинична помнила писателя по поездке в Галицию в 1915 году с Пироговским отрядом. Знала она, что неутомимому собирателю маленьких штрихов к большой картине уже под шестьдесят. А тут — теплушки, тиф, окопы то на Восточном фронте, то на Хопре... Не мешало бы и поберечь себя... Но какая увлеченность!

— Мне предложили поехать из штаба в дивизию. Поехали, — рассказывал однажды Серафимович об одной встрече на юге. — Это просто чудо, а не бойцы! Из бронзы отлитые плечи, руки, лица... Кто в запыленной, без пояса гимнастерке, кто в домотканой рубахе, кто в чекмене, и в разорванные дыры иной раз сквозит черное, прокаленной бронзы тело... В бою свалится с плеч излохматившаяся рубаха, боец перетянет пояском свое загорелое тело, заткнет наган за пояс и ринется в бой, странно выделяясь голым бронзовым торсом...

Первый рассказ о таманцах — о них именно говорил Серафимович — был устным, и писатель не придал ему

особого значения... Такие впечатления переполняли его. Рассказы писателя «с дороги», факты и наблюдения, будто выхваченные из горнила событий, по свидетельству старой большевички Е. Ломтатидзе, доходили через М. И. Ульянову до В. И. Ленина.

...А старый внутрилитературный быт после таких впечатлений продолжал умаляться, мельчать в глазах Серафимовича. Расцветали еще «литературные кафе», пожинали плоды своих недолговечных успехов всякого рода формалистические школки. Однажды, после одной из поездок на фронт, Серафимович, как председатель ЛИТО, должен был решать вопрос об издании книги стихов В. Шершеневича «Лошадь как лошадь».

— Поэт сей, если он уже считается поэтом, — с усмешкой сказал Серафимович, возвращая рукопись, — изо всех сил старается выкарабкаться из своей бездарности, как из скорлупы, ломанием языка, разными внешними фокусами.

Бесконечно однообразно, утомительно, скучно. Против издания — возражаю...

Но В. Шершеневич все-таки выпустил эту книгу! Но такова ирония судьбы — и Серафимович всякий раз смеялся этому! — книгопродавцы помещали этот сборник стихов, увидев название, в раздел... наставлений по коневодству! Но уже не смешон был апломб других собратьев Шершеневича, усердно утверждавших «величие» друг друга в разного рода литературных кафе.

Какие невообразимо уродливые гримасы литературного быта поражали посетителей пресловутого «Домино» на Тверской! Цирковых опилок, запаха пота «рыжих», правда, там не было. Но все остальное? Там вывесили пустую птичью клетку, черные старые штаны поэта-футуриста Василия Каменского, сделали яркий занавес с геометрическими фигурами и на сцене поставили усеченную пирамидку-трон, увенчали все стихотворным «эпиграфом»:

Будем помнить солнце Стеньку,
Мы от Стеньки, Стеньки кость!
И пока горяч кистень, куй,
Чтоб звенела молодость!!

И пошли «плясать в революцию»! На трон-пирамидку влезал вечерами тот же Каменский и начинал вещать:

В России пал царизм,
Скатился в адский люк...

Забавники, шуты, актеры детского спектакля! Какой «картон» вместо революционного пафоса, какая «фанера» в зодчестве, клоунская дешевизна приемов! Но поэт весело продолжал:

Теперь царит там футуризм:
Каменский и Бурлюк!

Брала невольная оторопь... от безоглядной наглости пустоплясов, иждивенцев новой эпохи! «И мы пахали...» Это было смешно, но не только смешно... Пена явно бежала впереди волны! Подлинные художники, певцы революции еще сражались в Первой Конной, как В. Вишневский, в дальневосточной тайге, как А. Фадеев, под Львовом, как Н. Островский, а... «трон» уже суетливо обсижен мелюзгой. «Трон» был, правда, бутафорский...

Оригиналов, путаников от искусства, озорных или застенчивых, чаще всего ошеломленных событиями, в эти годы было вообще многовато. Серафимович как редактор журнала «Творчество», как руководитель организации «Литературный фронт» и главным образом как председатель ЛИТО, распределявший в голодные годы «совнаркомовские» («академические») пайки, перевидал множество людей, в которых революция породила вдруг неожиданные стремления, сумбурные порывы.

...Новый знакомый Серафимовича Степан Нефедов, невысокий, беспокойный скульптор-мордвин, впоследствии ставший всемирно известным под именем Эрьзя, пригласил однажды будущего автора «Железного потока» к себе в мастерскую.

Мастерская Эрьзи на Садово-Кудринской вблизи кинотеатра «Аквариум» напоминала сарай. Пол был отчасти бетонный, отчасти земляной. Одна стена сплошь стеклянная. Три других глухие, без просвета. Раньше здесь была кузница. Скульптор сложил две печки, перевез материал, под потолком устроил клетушки вроде полатей, где и спал в холоде. Везде были разбросаны фигурки из глины, эскизы скульптора, в них на лету были схвачены выразительный жест, гримаса, поза. «Жест длится мгновение... Надо черпать вдохновение из пластики», — говорил Эрьзя, объясняя обилие эскизов.

Сейчас он, усадив гостя у одной из печек, подбросив в нее обломки доски, несколько кусков угля, возбужденно жестикулируя, говорил:

— Мечтаю поехать на Урал. Там есть хороший мрамор. Есть целые горы из мрамора, которые можно, сняв умелыми взрывами лишнее, превратить в гигантские памятники революции. Самые совершенные лица, фигуры «спрятаны» в природе... Скульптура не набор закругленных поверхностей. Наш рассудок с трудом воспринимает каждую поверхность как оболочку объема, «выталкивающего», если угодно, ее изнутри. Нет линий, нет поверхностей, есть объемы, есть глубина. Роден говорил: «Хорошо подчеркнутым бегом линий вы погружаетесь в пространство и овладеваете глубиной». Мне нужен «объем» горы. Это пространство и эту глубину я хотел бы обработать резцом...

Серафимович знал, что творческий путь этого человека был крайне причудлив.

Ученик иконописной мастерской в Алатыре, художник-богомаз, расписывавший соборы в уездах Поволжья, увидевший на выставке в Нижнем Новгороде работы М. А. Врубеля, К. С. Коровина, а за границей познакомившийся с Г. В. Плехановым (в дни 75-летия со дня рождения Герцена), он в 1910 году был замечен вездесущим журналистом А. В. Амфитеатровым. «Русский Роден», пылкий художник, в искусстве которого «зверь и бог встретились, чтобы смешением форм определить человека», — писал он о Степане Нефедове. Мода на «цивилизованных язычников» тогда держалась крепко. «Очеловеченные» корневища, едва проглядывающие из камня, дерева лица, фигуры... Наносный слой культуры в Эрьзе, как и в Сергее Коненкове, смоленском крестьянине, тоже новом знакомом Серафимовича, не скрывал, а подчеркивал огромную скалу природно-трудовых, даже «дикарских» художественных традиций. Ведь еще прадед Эрьзи «Нефедкин Буень» был некрещеным мордвином, поклонявшимся идолам, приносившим им жертвы...

«Русским Роденом» Эрьзю Серафимович не считал. Но в противовес бурлюкам и шершеневичам всех мастей считал необходимым поддержать, создать простор для творческих исканий и его и особенно Коненкова. Серафимовича привлекало в них то, что оба стремились к монументальному утверждению революции.

И не одни. «Яковлев Михаил Николаевич (художник Большого театра, друг Эрьзи. — *В. Ч.*) бьется над передачей Кремля обществу художников, — из Кремля сделают музей. Мысль», — писал Серафимович Кипену (15/1 1918 года).

Помощь Серафимовича выразилась и в предоставлении скульпторам «совнаркомовского» пайка, что весьма существенно облегчало условия жизни.

Но пайки пайками... Самое же главное — для начала собрать лучшие произведения того же С. Коненкова. «Видно, лесные люди, лесная жизнь, океан шумящих деревьев сделали Коненкова неподражаемым, неповторимым в творчестве по дереву, — писал Серафимович в журнале «Творчество» (1918, № 1). — Под его резцом из липы выходят подлинные живые люди: «Старичок-полевичок», «Старенький старичок», «Стрибог», «Монах», «Нищая братия». Да ведь мы их встречали на полях, в лесах, на дорогах... И неужели эти изумительные творческие создания все уйдут в частные руки и, может быть, будут увезены за границу? А русский рабочий? А русский крестьянин?»

...У Эрьзи в суровую зиму 1918 года, вплоть до отъезда скульптора на Урал, часто вместе с Серафимовичем бывали А. Кипен, М. Н. Яковлев, С. Глаголь (Голоушев), высоко ценивший скульптуру Эрьзи «Агриппина». Здесь Серафимович часто слышал и о первых попытках С. Коненкова запечатлеть в монументальных образах победу Октября. Эти попытки завершились, правда, весьма скромно. К ноябрю 1918 года скульптор создал в память павших за революцию бойцов мемориальную доску для кремлевской стены. При открытии ее прозвучала «Кантата», сочиненная С. Есениным, М. П. Герасимовым, С. А. Клычковым, начинавшаяся словами:

Спите, любимые братья.
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля...

Даже близко знавшие Серафимовича люди — пролетарские поэты «Кузницы», в сущности, «проглядели», не заметили сложную работу мысли, шедшую в писателе в 1918—1919 годы, корреспонденте «Правды» и «Известий», создателе новых литературных организаций. Учивший многому других, он страстно желал в эти годы сам научиться новому художественному языку для создания эпического произведения о революции.

...Серафимович снисходительно слушал слова Эрьзи о «горе-монументе», желал ему успеха, когда тот все-таки уехал на Урал, нашел в селе Мраморском материал. Но внутренне писатель не верил, что такой успех может быть легко достигнут.

Все великое создается благодаря внутренней сосредоточенности, благородной одержимости художника и одновременно благодаря непрерывно умножающимся, как будто «распыляющим» его взаимосвязям с людьми, событиями. Где эти связи у многих? Знают ли они реальных героев революции вроде Семена Буденного или Филиппа Миронова с его плакатно-величественными словами-жестами? Знают ли они промерзшие красноармейские теплушки с железными печурками посредине и идеальные помыслы таких, как его Толя?

«Сейчас многие мечтают о грандиозном, о горе, превращенной в монумент, о новой вавилонской башне в честь революции, — думал он. — Ходят уже слухи о зданиях-монументах с некими «висячими конструкциями», то есть самостоятельными зданиями, размещенными внутри открытого каркаса на высоте в 400—500 метров!»

Позднее выяснилось, что эти подвешенные к каркасу жилые объемы в форме куба, пирамиды, цилиндры по проекту В. Е. Татлина должны были вращаться вокруг собственных осей с разными скоростями. И такое здание-монумент («Памятник III Интернационалу») должно было вместить верховные органы всемирного социалистического государства будущего — Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов Земного Шара!

Здравый смысл, недоверие к гигантомании, «разрешавшейся» часто вспышкопускательством, как оказалось, не подвело Серафимовича. Дальше создания модели из реек, картона, бумаги, правда, «нашумевшей», дело у В. Татлина не пошло.

А вышло ли что-нибудь у Степана Нефедова, Эрьзи?

Вернувшиеся с Урала знакомые рассказывали Серафимовичу, что стараниями скульптора в центре Екатеринбурга (Свердловска) на каменный постамент, где до революции стоял памятник Екатерине II, была поставлена огромная статуя «Рабочий». Но какой рабочий!

— Как есть голый, — рассказывал один из сотрудников Серафимовича по ЛИТО. — Без всякой одежды... И даже без фигового листа. Уральцы называли эту статую «всемирным срамом», а вскоре вообще убрали...

Серафимович весело посмеялся:

— Нечего сказать, дерзнул наш друг. Ведь мечтал о мраморной горе, которую можно превратить в гигантский памятник революции...

Самого Серафимовича с некоторых пор не покидала

мечта о своем монументе, неповторимом и достойном мужества революционного народа.

Великие искания часто идут незаметно. Они затем — о слепота ученых! — не входят в историю создания произведения. Но уже в 1918—1919 годы Серафимовича не оставляла мечта о своем монументе, достойном мужества революционного народа. Монументе не бунтарском, не картонном, а способном сквозь десятилетия донести правду о революции! Он снисходительно относился к неудачам других, к малоподготовленным штурмам величайшей вершины. Разве не скатывались к подножию этой «вершины» собратья, поэты «Кузницы», рисовавшие революционного рабочего в виде безликого «железного Мессии»?

Трактором разума взроем
Рабских душ целину.
Звезды в ряды построим,
В вожжи впряжем луну...

Такие холодные и «безлюдные» в общем вирши — пусть их создавали в искреннем порыве воспеть грандиозность революции и величие революционного народа, создавали прекрасные люди, друзья — выглядели в глазах Серафимовича риторической претензией на художественный монумент революции.

«Безлюдные» оды в честь революции — бездушные, при всей пламенности словес, сочинения. А революция отнюдь не сплошной праздник, не шествие «множеств» через звездные миры. Сердце Серафимовича — ведь на фронтах гражданской войны сражались и оба его сына — Анатолий и Игорь! — не раз сжималось в тревоге. Хотя... Письма Анатолия Попова с фронтов, с Севера, из-под Котласа, с юга, с Дона, были неизменно бодрыми, даже восторженными.

Как и его дневниковые записи, о которых догадывались, конечно, отец и брат.

«Еду, еду на Дон, в батькины места, в самое пекло, — писал Анатолий в ноябре 1918 года. — Надо почитать о казаках! Настроение твердое. Я дьявольски счастлив и даже войне сейчас рад: разве есть наслаждение большее, чем драться за идею, в которую веришь?! Мы летим в истории! Россия — вся в будущем. В борьбе за это будущее — огромное, невероятное счастье!»

Серафимович, естественно, догадывался о том, как нелегко сыну с его восторженной душой в реальных условиях фронта. Прежде всего молодость... Едва команди-

ры, чаще всего военспецы из бывшей царской армии, узнавали, что комиссару 19 лет, как они, Толя признавался в этом ему, начинали «несерьезно улыбаться».

В письмах Анатолий, рассказывая о наступлении Колчака, о потерях Донской и Донбасской областей, порой жалуется... Но на что? «Беспредельно тяжело оттого, что... республика наша задыхается в когтях голода, что в таких муках начинается детство нашей социалистической республики». А его собственное детство, его юность?

Часто в очередной командировке, согреваясь у красноармейского костра или в шаткой теплушке, Серафимович думал о том, как радостно и мучительно, тревожно и героически началась юность его детей... Что вынесут они из жесточайших испытаний?

Ни в едином письме этих лет Серафимович не выдал напряженной тревоги за жизнь сына, не умевшего беречь себя ни от вражеских пуль, ни от тифа, ни от иных, как оказалось, более страшных ударов. В сентябре 1918 года он писал на Северный фронт Р. С. Землячке, опекавшей Анатолия:

«Дорогая Розалия Самойловна, страшно рад был Вашему письму. Ужасно рад, что Толя с Вами.

В Москве по-прежнему. Хотя она и опустела, но работа идет, встают новые работники...

После покушения на Ленина рабочие массы удивительно дружно и стойко сплотились, как ток пробежал по всем фабрикам, заводам, советам. Результаты как раз обратные тому, чего ожидали мерзавцы. Ильич здоров и опять с железной волей работает... За моего Толунка бесконечно Вам благодарен».

...Страшный удар — гибель Анатолия — выпал на долю Серафимовича весной 1920 года, в один из напряженнейших дней гражданской войны. В редакции «Правды», где работал В. А. Попов-Дубовской, дядя Анатолия, не сразу решились сказать Серафимовичу об этом. К тому же по одним слухам Анатолий умер от тифа в Козлове, по другим — убит (но кем, при каких обстоятельствах?), не успев прибыть в корпус легендарного Бориса Думенко, куда он был назначен комиссаром бригады. Мария Ильинична Ульянова, почувствовав глубокое душевное смятение Серафимовича, тоску, охватившую его, тоску безысходную, мучительную, при которой невыносимо сидеть на месте, предложила писателю поехать в командировку от «Правды» в 8-ю и 9-ю армии Южного фронта...

«...Как мало я все же знал сына! Революция растила его так стремительно!..»

Серафимович в частях, где сражался сын, узнавал множество трагических подробностей его борьбы с троцкистами, борьбы, требовавшей немалого мужества, принципиальности, честности перед революцией.

— Едва мы вступили в Донскую область, как Анатолий вынужден был повести борьбу с одним из приверженцев Троцкого. Тот сразу поставил казачество, всю область как бы вне закона. «Церемониться, мол, с казаками нечего. Рабочих тут нет... Вот и выходит — только силой, беспощадным террором мы и должны здесь наводить порядок. Да ты, Анатолий, не беспокойся, мы на развалинах казачьей Вандеи построим новый мир».

Но Анатолий Попов не просто волновался, видя то, что позднее будет оценено как «перегибы» по отношению к казачеству, что объективно спровоцирует казаков на восстание в тылу 8-й и 9-й армий.

В Воронеже на совещании, в котором участвовал член Реввоенсовета республики Троцкий, политотдельцы этих армий, как узнал Серафимович, стали свидетелями открытой схватки Анатолия Попова с самим Троцким.

— Как это было? Расскажите, пожалуйста...

Серафимович говорил тихо. Горечь утраты и одновременно невольная гордость за сына, которая еще более углубляла боль, слышались в его просьбах.

— Троцкий говорил резко, самоуверенно, не ожидая возражений. Он говорил по излюбленной своей схеме:

«Казачество — это класс, который избрало царское правительство себе в союзники, опора трона. Казаки подавили восстание 1905 года. Их история запятнана кровью рабочего класса. Они никогда не станут союзниками пролетариата. Уничтожить как таковое, расказачить казачество — вот наш лозунг! Снять лампасы, запретить именоваться казаком, выселить в массовом порядке в другие области. Только так мы можем утвердиться здесь...»

— И что же, никто не возразил? — перебил рассказчика Серафимович. — Это же издевательство, злобное, провокационное, нелепое, над традициями целой области...

— Многие были смущены столь жестокой программой действий. Но многим доводы Троцкого казались тогда убедительными... А дальше все было так... Ваш сын, правда, побледневший, встревоженный, встал и сказал:

— Простите, Лев Давыдович... Но «расказачивание казаков» — страшный лозунг. Ведь вот и я...

Троцкий высокомерно взглянул на Анатолия, спросил:

— Позвольте узнать, кто вы?

— Комиссар Попов...

— Ну, продолжайте, — Троцкий снисходительно разрешил спорить с собой.

— Я тоже казак. Что же, прикажете и меня выселять...

— Вы не казак, вы — коммунист...

Серафимович узнавал характер сына — свой характер. Когда Анатолий справлялся с волнением, когда железное упрямство, отцовское, дедовское, овладевало им, тогда неожиданно рождались неопровержимые доводы, мысль становилась яснее. Анатолий в довершение своей речи, как выяснилось, сказал:

— Да, я коммунист, но нельзя вычеркнуть из моей биографии то, что мои отец, дед были казаками...

В середине марта в тылу 8-й армии вспыхнуло восстание казаков, сразу охватившее станицы Казанскую, Мигулинскую, Вешенскую... Для подавления его был создан экспедиционный корпус из матросов, курсантов училищ (командир — Хвесин, комиссар — Анатолий Попов). Но и после этого продолжались провокационные перегибы, злоупотребления в отношении казачества. И 6 июля 1919 года Анатолий Попов обратился с письмом к В. И. Ленину. Серафимович отыскал и этот документ, называвшийся «Краткие тезисы и мероприятия при обратном отвоевании Донской области». Двадцатилетний коммунист Анатолий Попов писал, продолжая борьбу с троцкизмом:

«Удержание власти в Донской области и предотвращение новых восстаний возможно при следующих условиях:

1) массовая посылка коммунистов;

2) стройное и авторитетное проведение организации власти;

. . . .

6) минимальное количество расстрелов, и при непременном условии ясности причин их;

7) провести самую широкую организацию иногородних на платформе защиты Советской власти...

. . . .

9) оставление неприкосновенности всех земель казачества...»

Выяснить подробности и даже место гибели сына Се-

рафимович так и не смог. «Есть основание предполагать, что в его гибели были повинны троцкисты, которые мстили за письмо Анатолия Ленину от 6 июля 1919 года. В это время Секретариат ЦК изучал материалы о казачестве, там было и письмо брата. Оно противостояло позициям троцкистов на Дону», — вспоминает брат погибшего, младший сын Серафимовича Игорь Александрович Попов.

Удар, постигший старейшего художника, певца революции, друга семьи Ульяновых, глубоко опечалил многих искренних друзей Серафимовича. А их было к этому времени великое множество.

Двадцать первого мая 1920 года Серафимовичу было доставлено письмо В. И. Ленина. Оно воскресило его, вернуло в строй бойцов революции.

«Дорогой товарищ!

Сестра только что передала мне о страшном несчастье, которое на Вас обрушилось. Позвольте мне крепко, крепко пожать Вам руку и пожелать бодрости и твердости духа. Я крайне сожалею, что мне не удалось осуществить свое желание почаще видаться и поближе познакомиться с Вами. Но Ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как *нужна* рабочим и всем нам Ваша работа и как необходима для Вас твердость теперь, чтобы перебороть тяжелое настроение и *заставить* себя вернуться к работе. Простите, что пишу наскоро. Еще раз крепко, крепко жму руку.

Ваш *Ленин»* [1].

Когда писательская душа перенасыщена впечатлениями, когда для художника исчез разрыв между речью книжной и сферой живого языка, не «остывшего» от страстей и тревог, когда, наконец, в воображении царят грандиозные видения, то сюжет произведения легко «подвертывается»... Наступают состояния, когда эпопея созревает... до встречи с реальным сюжетом. Навязчиво повторяются одни и те же образы, теснятся воспоминания, писатель ничего еще не творит, а будто вспоминает, слышит одну и ту же «песню».

Встретить героя, тему, сюжет прежде всего необходимо... в себе. Наивны поэтому многие пояснения к «Железному потоку»: это, мол, он, Серафимович, взял «там-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 198—199.

то» у «того-то»... Нигде ничто не лежит готовым для создателя эпоса.

Этим не преуменьшается значение реального события, в конечном итоге находимого, вбирающего как в магический кристалл духовные порывы художника. Без такого события мечта превращается в грезу, в пустопорожнее томление.

Первое письменное упоминание о походе Таманской армии встречается у Серафимовича в 1920 году в записках о гражданской войне:

«...Дивизия. Отчаянные рубаки. С Таманского полуострова отступали. Устали за три года. У каждого четыре-пять котелков (то есть срубил 4—5 голов). Плохо одеты. Иногда одни штаны да рваные башмаки, а торс голый. Он подпоясывается, через голое тело надевает патронташ, засовывает револьвер... Война уже — ремесло».

Мимолетная подробность, частный штрих эпохи... Она могла и утонуть среди других, пополнить склад опыта, где хранятся частицы и всевозможные комбинации чужих жизней. Можно «нахлебаться» впечатлений, но остаться немым.

Но эта зрелищно-яркая подробность не пропала. К концу гражданской войны Серафимович все чаще приходил к мысли: «И мне нужна... гора или глыба мрамора для создания монумента революции. «Чем меньше отбито, тем лучше», — говорил когда-то Эрьзя. Очерки — это «крошки» горы. А где же неискрошенная гора?» Писатель трезво оценивал сделанное: «Ну я участвую по мере сил и разумения в этой невиданной в мире борьбе-строительстве — пишу воззвания, обращения, статьи, полемизирую, ругаюсь. В «Безбожнике» с художником Моором обличаю попов, затаптываю поминутно вырывающийся из-под ног смрад удушливого «опиума» с ладаном, шлю корреспонденции с фронта и... все-таки? Откуда это странное, постоянно живущее чувство: нет, не то, не такое ты делаешь. Какой-то иной нужен размах, замысел творения, хоть отчасти соответствующий тому, что творилось среди развалин, обломков старого».

Очерк — это жанр оперативный, требующий готовности к длительным поездкам, к невзгодам дорог, внезапных осложнений фронтовой обстановки. Он недолговечен часто... Но как быть ему, почти 60-летнему человеку, ощутившему в себе орлиный размах крыльев, величие мысли? На его глазах исчерпывал себя благородный подвижник революции Демьян Бедный... Он делал нужное, важное

дело, оперативно откликался на все. Взяли Казань 10 сентября 1918 года — вся страна слышит крылатые строчки Демьяна:

Товарищи! ура! Казань у нас в руках,
Играет солнышко на боевых штыках...

И так всю войну... Но эти огоньки гаснут, забываются... Хроника без эпического величия, «приклеенная» к газетной полосе, не все передает!

С 1920 года Серафимович получил рабочий кабинет в номере 408 гостиницы «Националь» (тогда она именовалась «Первый дом Советов»). Сюда были перевезены материалы его архива, по крупицам накопившегося за годы гражданской войны. Материалы не для одного «Железного потока». Эта повесть, первоначально называвшаяся «Между морем и горами», мыслилась им как составная часть цикла произведений об эпохе революции под общим названием «Борьба».

Вот письмо рабочего И. Нефедова в Совет солдатских и рабочих депутатов от 22/III 1917 года. Какой страшной ненавистью к былому, испепеляющим гневом дышит оно:

«За свет, хлеб и волю...

Хлеб — это эквивалент пота и крови. Есть хлеб, заработанный чужими трудами, несправедливо. Гоните на землю, в деревню всех хамов, а если не пожелают, раскалывайте их на дрова... для подтопки ада».

Свирепо, беспощадно, именно «каменно». Так будет писать в «Железном потоке» Серафимович о ненависти Кожуха, о его желании «каменно» послужить бедняцкой громаде.

Воззвания, письма, газеты... Нет, все это «крошка», разрозненные крупицы событий. Может быть, многие из них хороши для новеллы, очерка, но для эпопеи... «Нет, революцию во всем объеме в них... не уложишь, через случай, эпизод ее не выразить», — не раз говорил Серафимович, отвергая множество сюжетов.

...Одно давнее впечатление, связывающее писателя с погибшим сыном, все чаще вытесняло иные, все настойчивей становилось опорой для работы фантазии. В 1916 году Серафимович с Анатолием прошел пешком по водоразделу Кавказского хребта... Травянистый хребет, то широкий, то сужавшийся чуть ли не до каменного острия, позволял видеть и море, открывавшееся справа, и лесистые предгорья, степи Кубани. Подошвы на башмаках у отца

и сына тогда так отшлифовались о траву и камни, что временами, чтобы не соскользнуть в пропасть, оба путешественника лезли по тропе на четвереньках. Толя тогда крепился, подавлял испуг, но однажды не выдержал и спросил: «Папа, мы не погибнем тут?» Эта гигантская цепь Кавказского хребта с рокотом потоков, вершинами, скребущими небо, оживала в сновидениях воображения, как бездонная чаша, требующая наполнить себя.

Этот величественный пейзаж, неотразимо влекущее видение, обладал, как очень скоро почувствовал писатель, удивительной «способностью»: он как будто отталкивал, «отчуждал» от себя малозначительные события, характеры, факты и фактики, сюжеты, в которые «революция во всем объеме не укладывается».

Нужен был и герой-великан, и душевные движения не мелкожитейского плана!

Позднее Серафимович признавался, что ему приходил в голову сюжет о «бедном мужичке», который один бьется с природой, незнакомой и коварной, осваивает эту землю. Но сюжет этот сразу же отвергался.

«Нет, нет... нет! Про «бедного мужичка» слишком много писали, — бедного, темного, забитого. И я слишком много писал его таким. Ведь революция... Ведь он же бешено борется на десяти фронтах, голодный, холодный, вшивый, разутый, в лохмотьях, а страшный, — как медведь ломит. Разве это то же?

Нет, я напишу, как оно, крестьянство, идет гудящими толпами, как оно по-медвежьи подминает под себя интервентов, помещиков, белых генералов».

Пейзаж Серафимовича никогда не был просто природной средой событий. Ведь и первый рассказ «На льдине» он писал, будучи подавленным симфоническим звучанием северного сияния и малостью сил помора Сороки, замерзающего на льдине. Горный плацдарм, водораздел Кавказского хребта — это вновь гипербола человеческих возможностей, символ высоты деяний революции. И писатель вновь возвращается к мысли о «гудящих толпах»: «Хожу ли по ободранным улицам, спотыкаюсь ли молча в сугробах под обвисшими трамвайными проводами или в непроходимом махорочном дыму сижу на собрании, — то и дело мне слух и зрение застилает: синеют горы, белеют снеговые маковки... Понемногу в этой изнурительной борьбе с самим собой у меня в голове стало что-то оформляться. Хорошо. Я пущу по этим горам, ущельям, вдоль

моря по шоссе крестьянские толпы, которые не то спасаются, не то гонят кого-то».

Но скоро оказалось — и тут-то вспомнились писателю встречи с бывшими таманцами, — что вовсе не надо было пускать какие-то абстрактные «толпы», «множества», как делал А. Малышкин в повести «Падение Даира». Был уже реальный поход 1918 года, превосходивший по грандиозности любое романтическое видение...

Недавние события — мировая война, две революции, гражданская война — переносили человеческие характеры из одной эпохи в другую столь властно, «без спроса», что в Москву являлись люди яркие, талантливые как рассказчики, но оставшиеся зачастую неграмотными.

Ближайший соратник Буденного Ефим Щаденко едва начинал рассказывать, как умолкали все, замирая перед изумляющими драмами жизни. Серафимович успел записать часть их позднее:

— Казаки на Дону (прощенные и возвращенные домой врангелевцы) как-то сторонятся, бычатся, угрюмо, исподлобья смотрят. Никуда не ввязываются. В общественные дела не втянешь.

— Да чего вы?

— Хто ж ево знает, как оно, — чешут затылки.

— Да ведь прощены.

— Чего прощены! Кабы разложили да вкатили б плетей, ну знали бы: прощены, а то все сумлеваемся...

Но Щаденко сам не писал. А вот Артем Веселый — Николай Иванович Кочкуров, будущий создатель романов «Россия, кровью умытая» и «Гуляй, Волга», сын волжского крючника (грузчика), просто изнывал от безголосия, неумения писать. В 1920 году ему был двадцать один год, а за его плечами — и борьба с белочехами, «Учредилкой» в Самаре, и поход против Деникина, и картины, о которых он мог лучше рассказать, чем написать...

Скоро нашлись и таманцы... В Москве у Серафимовича был знакомый украинец Сокирко, коммунист, участник гражданской войны на Северном Кавказе. Однажды, когда писатель был у него в гостях, пришли трое друзей хозяина. Один — веселый, белокурый, как оказалось, чудесно пел украинские песни. Другой, спокойный, все курил. А третий — замкнутый, с лицом, будто отлитым из темной меди, — вначале угрюмо молчал.

— Ну, от вам и таманьцы, — заговорил Сокирко. — Воны и расскажуть про свой поход по Черноморью, тильки пишите. Сокирчиха моя заварит нам чаю, найдется кое-что и кроме чаю. А ты, Серахвимыч, слухай их, слухай...

Гости разговорились, они почувствовали в Серафимовиче человека, который все поймет. Беседу, затянувшуюся до утра, прервала хозяйка.

— Та спати вже треба! Целую ночь балакають, а у мэнэ голова нэ держиться на шее. Геть, хлопцы, до дому!

Сокирко, пригласивший таманцев и Серафимовича в гости, и сам мог быть одним из героев «Железного потока». Потомок запорожских казаков, «дід», как называли его за степенность, основательность, он с юных лет вел жизнь профессионального революционера. В 1905 году в Одессе «дід» вступил в партию. Февральскую революцию встретил в Ростове и сразу же стал по предложению профсоюза металлистов членом городского Совета рабочих и солдатских депутатов. В начале 1918 года выехал в Петроград, доложил ВЦИКу о положении на Северном Кавказе и, вернувшись на Кавказ, повел деятельную борьбу с самостийником Карауловым, стремившимся отделить Терскую казачью область от России. В связи с неустойчивостью положения на Тереке весной 1918 года именно он, «дед Сокирко», вывез в Москву из Пятигорска огромные государственные ценности...

О чем беседовал писатель с будущими героями повести?

Природа революционного быта видоизменчива, текуча, сами ситуации борьбы нельзя законсервировать в памяти. Особенно бойцам первого эшелона, встречавшимся с врагом лицом к лицу. От писателя требуется не дар реставратора «интерьера» событий, а граничащий с гением талант человека, сопереживающего исход борьбы.

Что прежде всего попробовал оценить и продумать писатель?

Серафимович вспомнил первую свою поездку в Ростов, Новочеркасск в марте 1918 года.

Еще царило мирное возбуждение, шел «митинговый» период революции. Оружия, правда, на Кубани, в Закавказье, было уже великое множество. Навстречу бежавшим с севера коммерсантам, офицерам двигались с конца 1917 года и до весны 1918 года эшелоны Закавказской армии, оставившей русско-турецкий фронт с неисчислимыми запасами оружия, обмундирования, соли, сахара.

С одним из эшелонов вернулся в станицу и будущий командир таманцев Епифан Ковтюх. Оружие оседало в станицах, но... еще не стреляло! И кубанцы, казаки и иногородние не поддержали «кадетов», офицерство. Генерал Корнилов только что ушел из Ростова с несколькими тысячами добровольцев-офицеров, с обозом, в котором тряслись и Родзянко, бывший председатель Думы, и писатель Чириков, и эсер-матрос Баткин. Это был «ледовый поход», цель которого — захват Екатеринодара, Новороссийска, пробуждение антибольшевистских настроений кубанского казачества. Этот расчет вел и... пока подвел генералов! Корнилов был убит случайным снарядом. «Первопоходники» рассеялись в Сальских степях, в предгорьях Кавказа, усвоив, правда, кое-что из уроков событий. «Белые нашли в нем впервые свой язык, свою легенду, получили боевую терминологию — все, вплоть до новоучрежденного боевого ордена, изображающего на георгиевской ленте меч и терновый венец», — писал А. Н. Толстой в «Хождении по мукам».

Но к весне 1918 года огромную остроту приобрел вопрос о земле. Иногородние предъявили свои права на землю. И казаки, смыкавшиеся с ними в вопросе о мире, столь же равнодушные к кадетским «плачам» о гибели России, о позоре «похабного» Брестского мира, вдруг неожиданной ненавистью встретили простой с виду вопрос безземельной голытьбы:

— Ну, як же ж нам пахаты? Треба землю делить, а то время упустишь...

И потемнела Кубань, померкла недавняя радость... Вскрылись источники древней вражды, разлились вширь. И вот уже летом 1918 года кубанские казаки восстали. Таманская армия, десятки тысяч бойцов, иногородних и их семей, были отрезаны от основных сил...

...Что разделяло кубанских казаков и иногородних? Что определило невиданное ожесточение борьбы?

Серафимович много раз бывал в Екатеринодаре. Здесь в 1902 году работал его брат Вениамин в качестве корреспондента «Донской речи». В 1904 году пришлось выручать Вениамина, арестованного в Екатеринодаре за революционную деятельность. Кроме Екатеринодара, Серафимович бывал в Новороссийске, Геленджике, Сочи, в Гудаутах (у писателя И. С. Шмелева), в Адлере и Красной Поляне. Уже тогда Серафимович поражался одному: как много украинизмов в речи кубанцев, как стойко держатся они в домашнем быту за обычаи, уходящие корня-

ми во времена Запорожской Сечи. Очарование дедовской «мовы», занесенной на самый край славянского мира, чудесные песни, воинские традиции степных рыцарей коня и сабли — все это неуловимым образом сливалось с кастово-сословной гордостью казаков.

...Славу Богу і Цариці і покій гетьману!
Залічили нам в серцях наших великую рану, —

эти строки из казачьей песни Антона Головатого, войскового судьи, вспомнились Серафимовичу, когда он, создавая «Железный поток», вынужден был заглянуть в историю кубанского казачества. У замечательных книг обширная историческая «окрестность», как и у событий, породивших эти книги. События для создателя таких книг не есть нечто безначальное, оказавшееся налицо без процесса возникновения. В любом вопросе, затронутом в эпопее, художник должен быть на высоте исторической государственной мысли.

«Великая рана» — уничтожение Екатериной II Запорожской Сечи, скитания рассеянного казачьего войска на временном поселении на Днестре, Дунае, горечь бездомности исторической. А «излечение» этой «раны» — переселение запорожских казаков на Тамань, «Жалованная грамота Екатерины II Черноморскому Казачьему войску» от 30 июня 1792 года. В исторической памяти многих поколений кубанцев отнюдь не потускнели торжественные слова императрицы:

«Усердная и ревностная Войска Черноморского нам служба, доказанная в течение благополучно оконченной с Портою Оттоманской войны, храбрыми и мужественными на суше и водах подвигами, ненарушимая верность, строгое повиновение начальству и похвальное поведение, от самого того времени, как сие войско по воле нашей покойным генералом фельдмаршалом князем Григорием Александровичем Потемкиным Таврическим учреждено, приобрели особенное наше внимание и милость. Мы потому, желая воздать заслугам Войска Черноморского... Всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение состоящие в области Таврической остров Фанагорию со всей землею, лежащей на правой стороне реки Кубани от устья ее к Усть-Лабинскому редуту, так чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли».

Та же история, что и на Дону... «Донская земля — донцам».

Еще в феврале 1918 года Серафимович читал перехваченное в Новохоперске и спешно обнародованное в «Известиях» письмо генерала Алексеева, создателя белогвардейской Добровольческой армии, во французскую миссию в Киеве. Генерал писал о главной своей надежде: «Я рассматривал Дон как базу для действий против большевиков, зная, однако, что казаки сами не желали идти вперед для выполнения широкой государственной задачи водворения порядка в России. Но я верил в то, что собственное свое достояние и свою территорию казаки защищать будут».

Надежды генерала тогда рухнули и на Дону и на Кубани. Но почему же не использованы были в дальнейшем выгодные для полной победы над контрреволюцией обстоятельства?

В одной из бесед уже в 408-м номере «Националя» Серафимович неожиданно спросил:

— А нельзя ли было все же предотвратить восстание казачества? Провести терпеливо разъяснительную работу? Отделить верхушку казачества от беднейших слоев? Кстати, кто был начальником гарнизона Екатеринодара?

Механика взаимодействия объективного и субъективного в истории была не всегда ясна, «трудна» для былых солдат Таманской армии. Ответ прозвучал не сразу. Кто-то вздохнул, кто-то кашлянул, не зная, с какого конца начать рассказ. Наконец, сам Сокирко, который чаще всего и собирал у Серафимовича таманцев, заговорил:

— Це дило треба розжуваты...

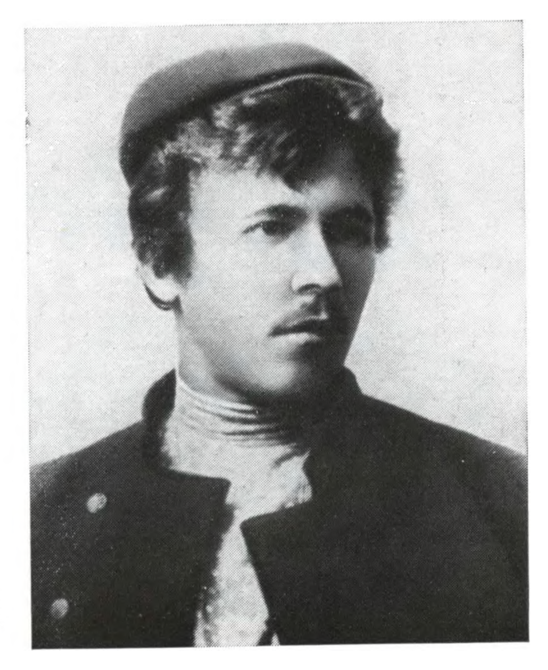
Но «розжуваты» оказалось не так просто. Надо было вынести вопреки некоторым последующим обстоятельствам приговор личности, яркому характеру, всей человеческой судьбе матроса Матвеева, оказавшегося волей случая начальником гарнизона Екатеринодара именно весной 1918 года.

Серафимович выяснил, что Матвеев, командир 4-го Днепровского полка, начальник гарнизона Екатеринодара весной 1918 года, позднее, после Таманского похода, был в не менее сложной обстановке за отказ наступать на Ставрополь расстрелян... Приговор по тем временам суровый и оправданный. С анархизмом, с партизанщиной, нарушениями дисциплины надо было бороться.

Но таманцы, знавшие Матвеева лично, не считали Матвеева ни предателем, ни тем более врагом революции. «Такой уж был человек... Твердил, что не ему, матросу, раскачивавшему царский трон, кого-либо надо слухать...»

Отец писателя — С. И. Скобелев.

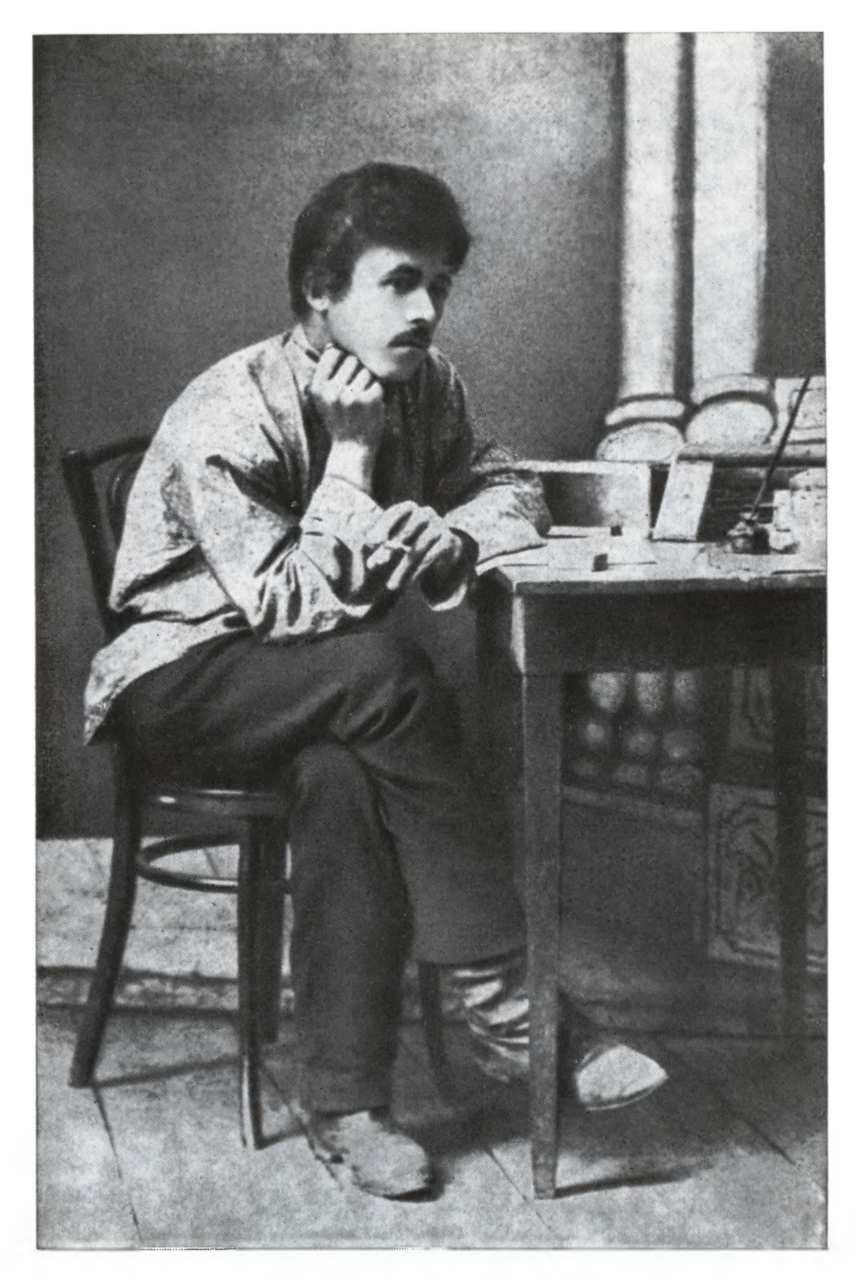




А. С. Неверов — ученик Озерской второклассной школы.

А. С. Неверов (третий справа в ряду сидящих) среди выпускников Озерской школы. 1906.

Озерская второклассная школа.



А. С. Неверов — сельский учитель. 1907.



А. С. Неверов с семьей.



А. С. Неверов — солдат Самарской дружины. 1915.



А. С. Неверов в годы первой мировой войны.

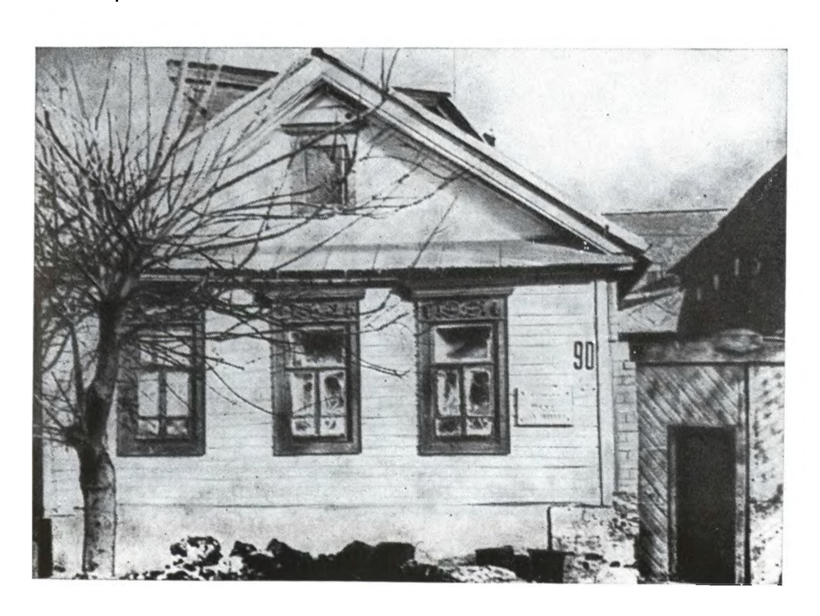


А. С. Неверов с другом - однополчанином.

А. С. Неверов — фельдшер самарского лазарета. 1916.



Дом А. С. Неверова в Самаре.



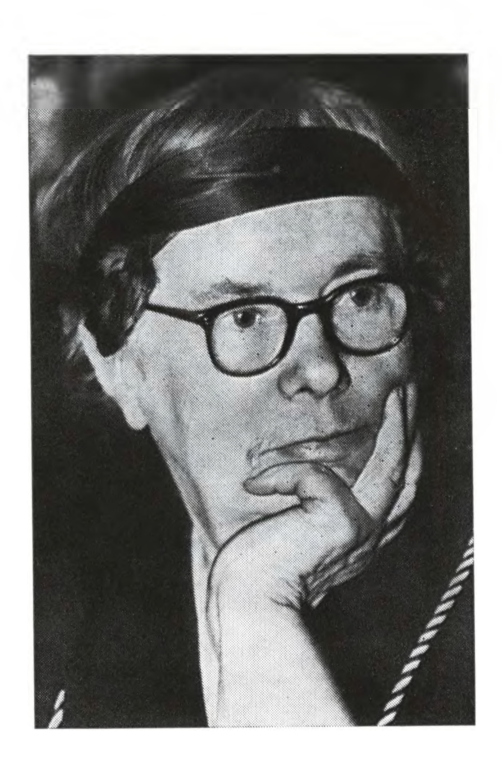


А. С. Неверов с друзьями П. Яровым и Т. Саровым. 1917.

Самара. 1914.

Самарский литературный кружок «Звено». А. С. Неверов — второй справа среди сидящих.

Е. Ф. Никитина.



А. С. Неверов с группой писателей из объединения «Кузница».



А. С. Неверсв.



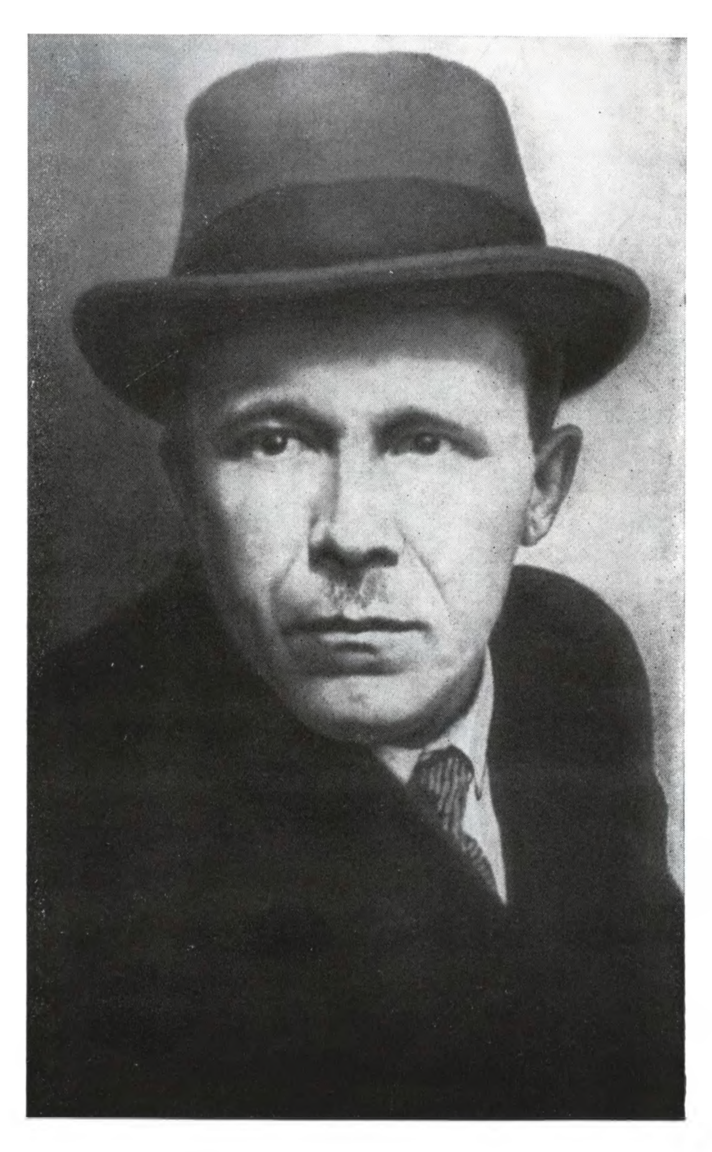
А. С. Неверов с женой П. А. Скобелевой-Неверовой в Москве.

А. С. Неверов среди сельских учителей Мелекесского уезда. 1923.

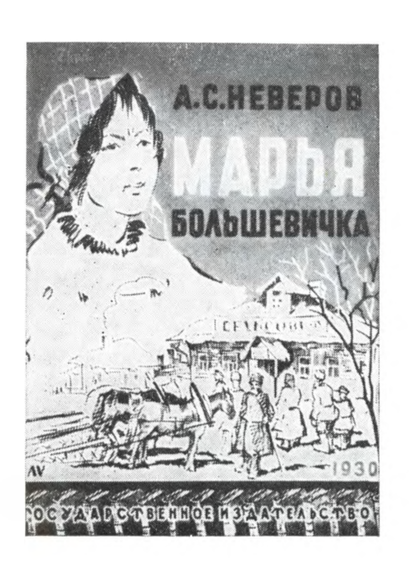




А. С. Неверов среди партийных и комсомольских активистов села Кошли. 1923.

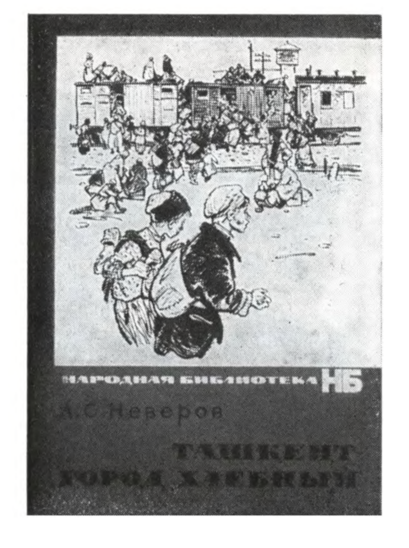


А. С. Неверов. 1923.


А.С.НЕВЕРОВ
МАРЬЯ
БОЛЬШЕВИЧКА
1930
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО


ТАК
А.НЕВЕРОВ.
ВЕЛИТ
ЖИЗНЬ
1926
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО


А. НЕВЕРОВ
ТАШКЕНТ-
ГОРОД
ХЛЕБНЫЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»


НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА НБ
А.С.Неверов
ТАШКЕНТ
ГОРОД ХЛЕБНЫЙ

Портрет А. С. Неверова работы художника А. Куренного.



У могилы А. С. Неверова на Ваганьковском кладбище в Москве: жена писателя — П. А. Скобелева-Неверова, сын — Б. А. Неверов-Скобелев, внучка Наташа.

Сваливать на него одного вину за восстание казаков они тоже не желали.

Матвеев — честолюбивый великан моряк, родившийся в Таврической губернии, всю жизнь провел на флоте. Кубани и проблем казачества он попросту не знал. В гражданскую войну он врезался, как сам говорил, «с морского залива»: в начале 1918 года Матвеев создал Днепровский красногвардейский отряд, с боями отошел в Крым; затем в Керчь и Новороссийск. Черноморский флот был потоплен в Новороссийске, часть кораблей вернулась в Севастополь, попала в руки немцев и Украинской Рады. Две революции, хаос отступлений вынес Матвеев. В нем совместились слабое понимание конечных целей революции и огромнейший запас сил!.. Такого человеческого материала тогда было много. На свою беду и беду для дела революции именно Матвеев стал начальником гарнизона Екатеринодара. Вместо планомерной черновой работы он решил сразу истребить «гидру контрреволюции». По его приказу было в начале лета расстреляно 77 казаков из станицы Новотитаровской.

Непредумышленная, но опасная провокация! Остро, мгновенно ощутили зловещие признаки восстания и Ян Полуян, старый большевик, другие члены ЦИКа Кубано-Черноморской республики.

— Кто принял решение о расстреле казаков? — запросил Матвеева председатель ЦИКа А. Рубин.

— Постановление революционного гарнизона, — ответил Матвеев.

— А комиссар юстиции знал об этом? ЦИКу вы докладывали?

Матвеев самоуверенно ответил, веря в свою непогрешимость и авторитет среди гарнизона:

— Революционная армия решила, и надо было это провести в жизнь... Если ЦИК хочет наказать меня за это, то пусть поговорит с гарнизоном. Я созову гарнизонное собрание или вышлю делегатов от гарнизона.

Грозные дни 1918 года оживали перед писателем, как правило, в записях устных рассказов. Протоколы собраний, спешных заседаний в те дни часто не велись. Или бывали сожжены при отступлении. Никаких фотодокументов...

— И что же дальше? Как повел себя Матвеев?

— Его временно обуздали... ЦИК Кубано-Черноморской республики создал следственную комиссию, опасаясь, что Матвеев вновь в ближайшую ночь расстреляет

группу казаков. Матвеев собрал собрание гарнизона, на котором обвинил ЦИК... в потакании контрреволюции. Но против него гневно выступил один из руководителей большевиков Кубани — Ян Полуян. Он сказал тогда:

— Произвели расстрелы. Но кого же стреляли? Генералов? Нет. Кого же? Простых казаков. Они составляют громадную массу населения. И если у них могут быть плохие настроения, то надо уживаться с ними, ведь половину Кубани не расстреляешь. Это неправильные, нереволюционные действия.

В воображении Серафимовича разворачивались события, в которых никто не действовал вполнакала. Этот Матвеев — в «Железном потоке» он явится как Смолокуров, барственно-самодурный командир всех колонн, был человеком отчаянной храбрости и редкой доброты, вспыльчивый и в то же время доверчивый до простодушия.

На совещании таманцев в Тоннельной под Новороссийском, когда за стенами станции теснились тысячи бойцов, семей иногородних с детьми и скарбом, когда армия была фактически окружена огненным кольцом казачьего восстания, он вел себя самоуверенно, дерзко и в то же время наивно.

— Когда стал выделяться, чем покорил массы солдат, беженцев Ковтюх?

— Епифан Иович Ковтюх был коренным кубанцем, из бедняков. В первую мировую воевал на Кавказском фронте... В родную станицу вернулся офицером... Офицерский чин заработал тем, что забирался в тыл к туркам с пулеметной командой и неожиданно встречал огнем отходящие полки. Зимой 1918 года Ковтюха как офицера едва не прикончили, его выгородила станичная беднота как своего...

— Да разве ж он не наш? Разве не нес на хребте бедность та работу, як вол? Не батрачил в подпасках с шести лет?

На совещании в Тоннельной он, как командир одной из колонн, и выступал против анархии, хаоса самочинных действий, отстоял свое предложение — уходить вдоль моря...

В 1921 году писатель познакомился с самим Е. И. Ковтюхом, выслушал и его рассказ.

Сцена совещания на станции Тоннельной, поведение Епифана Ковтюха, председательствовавшего на нем, — все прояснялось не сразу... Собеседники Серафимовича

расходились, он открывал окно в номере, чтобы проветрить комнату, долго стоял у окна. Рассказы очевидцев складывались в ненаписанную еще сцену.

Вот Ковтюх прервал горлопанов, урезонил крикунов: «— Довольно горлопанить! Нужно говорить по очереди! Что мы, банда?

В ответ понеслись крики, всколыхнулись даже люди, молчавшие до этого:

— Брось пугать бандой, а то и сам недолго усидишь... Видали мы командиров...

Ковтюх вновь упрямо и твердо продолжал:

— И все же я вышвырну тех, кто мешает работать, орет и сеет рознь.

Кремень явно находил на кремень, тесал, высекая искры, один камень дробил другие глыбы.

— Смотри, как бы тебя с потрохами не вытряхнули...

Ковтюх уже не выдержал «революционного» фразерства, угроз, выхватил маузер.

— Я — председатель. Срывать работу не позволю. Белые вблизи, и сейчас не до дискуссий. «Прогутарить» революцию не позволю.

Установилась относительная тишина, перенасыщенная сдавленной злобой, чувством смертельной опасности, отчаянием. Мысль о том, что спасение — в дисциплине, железной собранности, с трудом пробивала себе путь.

— Так что же будем делать: отступать дальше или обороняться на месте?

Обсуждение постепенно приняло спокойный и деловой характер. Но только до первого серьезного вопроса.

— Где взять патроны, снаряды, продовольствие?

Воцарилось страшное молчание — ответа не было ни у кого.

...И снова крики, мат, припадочные призывы бить командиров.

Открылись окна, и с улицы донеслось:

— Бей командиров! Завели на гибель и пропили? Чего ждем? Опять продадут... Все дома сидели, хозяйство було, а теперь блукаемо по степи...

Вновь Ковтюх поднял маузер, побелел от ярости перед бессмысленным бунтом.

— Предупреждаю в последний раз. Не обо мне речь. Белые окружают. Они могут напасть ночью. А мы кричим и даром теряем время...

И тут-то поднялся Матвеев и важно произнес:

— Тут предлагают отступать вдоль моря, через Ново-

российск, Туапсе, на Белореченскую, Армавир. Это бегство трусов, гибель бесславная. Я не согласен спасаться бегством. Я со своим полком перейду в наступление на Тамань, а там переправлюсь через пролив в Керчь и образую Крымскую республику...

С Матвеевым не стали спорить, но и всерьез его «величавый» и глуповатый план не приняли.

— Брось, братишка, трепаться. С одним полком, без снарядов Крым не завоюешь...

Как ни странно, но горькие насмешки над Матвеевым образумили многих. «Трепаться» на краю пропасти никому не хотелось. Начали говорить деловито.

— Путь вдоль моря, по камню, среди бесплодных предгорий, ущелий — это голод, полное бесхлебье. Есть ли хлеб в Новороссийске?

— В Новороссийск заходить нельзя — там разложившиеся, пьяные матросские команды, анархия, пьянство. И тем более нельзя его защищать...

Предложение Ковтюха стало получать поддержку, хотя вновь вспыхивали и проклятия, и истеричные призывы идти на Екатеринодар.

...Вблизи здания станции, где проходило совещание, внезапно разорвался снаряд. Посыпались стекла в окнах. Это бронепоезд белых начал обстрел Тоннельной. Он и «утвердил» план Ковтюха...»

В романе этот разнородный материал не просто ожил в пламенном диалоге Кожуха с массой, в его «вопросах» к толпе, ошеломленной смертью порубленного в станице иногороднего Охрима.

Писатель сумел так преобразить материал — это прошло, увы, мимо внимания множества исследователей, — что фактическое отступление Таманской армии превратилось в величественное наступление, в страдное, мучительное, но победное шествие народа к берегу новой исторической судьбы.

Собеседники Серафимовича поражались в дальнейшем активности и ошеломляющей неожиданности расспросов, интересу к сущим «мелочам», которым они сами не придавали значения. Эти вопросы писатель «заготавливал» заранее в своих записных книжках:

«— Солдатам *ты* или *вы*? Как они называли комсостав?

Как состоялся военный совет — идти на Новороссийск? Споры? Батурин что предлагал? В избе или на дворе?

Матросы?

Отпускали ли солдат передовой колонны к семьям в обоз?

Канцелярия была ли? Приказы писались ли?

Где переходили Кубань? По наведенному или постоянному мосту?

Что делалось в России, знали?

Как могло случиться, что Сорокина с 150 тысячами выбили и отбросили от Екатеринодара?

Случаи, где женщины дрались? Вообще о них побольше...»

Подробности в очерке и в эпопее имеют разное «свечение». Серафимовичу нужна была гора фактов, поэтических метафор, рожденных жизнью, но не разрозненных «запчастей», а объединенных общим движением. Серафимович собирал подробности, «физическое тело» события, чтобы ожил сюжет, началась иллюзия самодвижения, убеждавшая в одной истине:

«Эта громадина (Таманская армия) двигалась, дралась, ничего не знала — и это был кусочек большевизма».

«Сначала просто уходили, бежали от зверств казаков, но постепенно в походе складывалось убеждение, что борются *за Советскую власть, за революцию, за трудящихся»*.

Иные литераторы 20-х годов изображали вожаков революционной массы в виде пресловутых максималистов в «кожаных куртках», в них видели «румкорфовы катушки», бросавшие искры сознания в стихийно бунтующую массу. Все выглядело отчасти так, как будто сама революция импортировалась... из Петербурга, Москвы.

С другой стороны, недобитые политиканы, ворожеи, оказавшись в эмиграции, пускались в историческое знахарство: мол, ничего не было бы, будь «порешительнее» Керенский, будь более «везучим» Корнилов, не выйди из правительства Савинков и т. п. Догадки эти — манная кашка для ума впавших в детство недругов нового мира.

Серафимович не раз вспоминал, работая над «Железным потоком», слепые интеллигентские споры 1905 года об отличии «бунта» от «революции». Герой его рассказа «У обрыва» говорил после подавления революции 1905 года: «Подожди, милый, еще будет дело...» Революция — это вообще не бунт, тем более неудавшийся. Она может быть незавершенной, у нее временно «не хватит сил»,

ее могут задержать и ускорить какие-то обстоятельства. Но победить ее, заморозить железный поток невозможно.

«Между морем и горами узко и трудно катился кусочек русской революции. Она была отрезана от Москвы, от пролетариата, от городов, от деревень, от людей, от всего мира, но она несла в себе многое, что создавалось в Москве... Сцепив зубы, он (Кожух. — *В. Ч.*) выводил теперь десятки тысяч людей. Знал ли он революцию? Нет, не знал. Знала ли его революция? Нет, не знала. И, не зная этой революции, он делал кусочек ее громадного дела. И, не зная его, она молчаливо отметила перстом его дарования...»

Исследователи — историки и филологи — многократно освещали путь Таманской армии в жизни и в эпопее, Епифан Ковтюх написал по просьбе Серафимовича книгу воспоминаний о походе — «Таманцы». Но подробности эпопеи, детали, факты и фактики как-то гаснут, теряют свечение и жизнь на хирургических столах, «клинических» исследований, вне сверхзадачи автора. Что значит в отрыве от целого знаменитая трубка Тараса Бульбы, которую он уронил и, видите ли, вздумал непременно, презрев опасности, поднять во время боя? Но если вспомнить утраты Тараса, гибель друзей, потерю сыновей, былой славы казачества, то его нежелание даже трубку, частицу себя, оставить врагу, распылить себя предстает иным.

Множество оттенков содержания, житейских и символических, обрел в «Железном потоке» один «герой» — самовар бабки Горпины, судорожно хранимый ею в течение всего похода и вдруг как-то легко забываемый в конце его...

Он, самовар, и «явился» в романе несколько неожиданно... В состоянии предельной сосредоточенности, поистине зная «одной лишь думы власть», Серафимович однажды пришел к старому большевику Николаю Семеновичу Клестову-Ангарскому, в тот, 1923 год, главному редактору издательства «Недра». В альманахе «Недра» в 1924 году (кн. IV) роман «Железный поток» и был опубликован впервые. Как всегда вначале — чтение нового отрывка романа... Путь Таманской армии — это пятьсот километров дороги между морем и горами, штурм перевалов, атаки казаков, обстрелы с моря кайзеровским флотом... Как бы не снизиться до хроники, не потерять высоту чувств и помыслов! «В первой главе на-

чинается процесс, в последней этот процесс заканчивается психологическим напором на читателя», — пояснял писатель структуру романа-поэмы.

Н. С. Клестов-Ангарский, по свидетельству его дочери, внимательно выслушал очередной фрагмент, дал ряд советов и пригласил Серафимовича попить чайку. Писатель, находившийся еще во власти своих героев, присел, стал молча наблюдать, думая о чем-то своем, за «действиями» дочери хозяина школьницы Маши Ангарской. Самовар пыхтел, горячая струйка кипятка жгутом свивалась, падая в чайник, в стаканы, словно продолжая кипеть... Матрешка горделиво «посматривала» с высоты положения на всех сидевших за столом. И вдруг Серафимович, будто очнувшись, заговорил с Машей:

— А знаешь, Маша, подари мне этот самовар!

Хозяин квартиры рассмеялся... Маша смутилась и, покраснев, посмотрела на отца... А гость, тоже повеселев, продолжал:

— Знаете, ваш самовар может в моем «Потоке» сыграть свою роль. Я его отдам в приданое своей Горпине».

М. Н. Ангарская в своих воспоминаниях рассказала позднее:

«В начале похода баба Горпина, забитая, ничего не понимающая, что происходит, больше всего жалела свой самовар... В конце же романа, где автор соединяет своих измученных бойцов с Красной Армией, Горпина кричит народу с трибуны: «Рятуйте, добрии людэ, рятуйте! Самовар у дома кинулы. Як мени замуж выходить, мама в приданое дала, тай каже: «Береги ёго, як свет очей», а мы кинулы. Та цур ёму, нэхай пропадае! Нэхай живе наша власть, наша ридна...» Вот так наш старый самовар вместо металлолома попал в «Железный поток».

Роман «Железный поток» — поэма коллективных жизнеощущений, величественных жестов, «океанических» бурь на узкой, стесненной горами и морем дороге.

Уже пролог романа поражает особой психологической перегрузкой: жесты, напор чувств не укладываются в слово, «рвут», прожигают его оболочку. Митинг — барометр настроений массы в кризисный момент начала похода — это сплошной гул, хаос реплик, в которых избыток чувств переполняет слово.

«— Знамо, завели, — густо отдались солдатские голоса, темно колыхнувшись штыками.

— Куда же мы теперь?!

— До Екатеринодара.

— Та там кадеты.

— Некуда податься...

У ветряка стоит он с железными челюстями и тоненько смотрит острыми, как шило, глазами.

Тогда над толпой непоправимо проносится:

— Прода-али!

...Судорога побежала по толпе, и стало тесно дышать».

Кожух — а это он, неназванный даже, «челюсти да глаза», стоит у ветряка — осознает, что время возложило на него титаническую по тяжести задачу. Преодолеть анархическое, «дармоедское» отношение к революции! Беднота еще не поняла, что Декрет о земле и воле не избавляет ее от борьбы, что землю и волю надо отвоевать. Масса солдат, матросов, не желавших идти на фронт империалистической войны, рвущаяся домой, и сейчас ведет себя эгоистично, корыстно: ей не хочется труда войны, даже за свои интересы.

Обманутые в своих наивных представлениях о революции как подарке судьбы, как свалившемся с неба алтыне («не было ни гроша, да вдруг алтын»), как об эре ничегонеделания, патриархальные массы готовы растерзать руководителей. Как будто это спасет их, изменит мир! Матрос, вонзающий штык наугад — в кого попадет! — это страшный символ анархического разгула, «революционной обломовки».

В ночных раздумьях бабы Горпины не дает покоя мысль: в огне брода нет... Может быть, и реки огненные придется пройти — она содрогается от этого предчувствия! Но только не прежнее, не старый берег нужды и горя.

«Ой, трудно! Жилы все повытягала за свою долгую жизнь — шестой десяток пошел. И старик и сыновья — хребтина трещала от работы. А на кого работали? На казаков да на ихних генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний как собака... Ой, лишенько! Так и работали, глядя в землю, як быки».

Что внесли большевики за полгода? Кто они? Они чуть распрямили ее, впервые громко назвали то, о чем лишь мечтали... «Дай им, господи, здоровья, даром шо в бога не верють...»

Но все же и в ней до конца сидит упрек: а почему большевики не доделали всего до конца? Почему не все взяли на себя? «Сидят соби в Москве, а допомоги не шлют».

Историю не так-то легко ввести в остановившийся, в отрешенный от нее бедняцкий быт. Сознание той же Горпины так и ждет, что кто-то — «бог или герой» — даст ей избавленье от упрямо надвигающейся на весь трудовой люд обязанности думать о России как хозяин, как мастер истории. Снаряды казачьих полков пробили брешь в привычке жить, полагая, что «моя хата с краю», что есть некто посильнее меня. Пришлось мучительно-быстро осознавать, что прятаться ныне не за кого... Пришлось понимать, что безделье люмпенов от революции — той же анархической разложившейся матросни, — которая свела все лозунги революции к своеобразному «векселю» — «грабь — награбленное!», не имеет ничего общего с революционным патриотизмом.

...Первые бои с меньшевиками-грузинами — это торжество не столько военной стратегии, сколько нового жизнеощущения, рождающегося государственного мышления таманцев, социалистического патриотизма над «лоскутным» национализмом вороватых политиков уездного типа.

Что такое была меньшевистская Грузия Ноя Жордания? Когда ее в 1920 году посетил К. Каутский, желая убедиться, что «революционная буря, пронесшаяся над Россией, только в Грузии выковала господство демократии» (Н. Жордания), оказалось, что заветной мечтой меньшевиков было превращение грузинского народа в нацию швейцаров, официантов, гидов, кельнеров, торгашей, служащих банков.

Михеладзе, офицер-меньшевик — маленький Жордания. «Он истинный социалист, с глубоким пониманием исторического механизма событий, и кровный враг всех авантюристов, под маской социализма разнуздывающих в массах самые низменные инстинкты».

Последующие бои таманцев с казаками — это и не бои как будто, а прорывы блокады, разрыв стальных колец неволи, угнетения, собственных рабских привычек. Нет безумия бегства, идет сложный процесс духовного развития, срывания с себя ветхих одежд раба. Таманцы ищут не просто военного успеха, но и моральной победы, жаждут ощутить превосходство своей идеи над тем, что вдохновляет врагов:

«Дикая, остервенелая ненависть не позволяла ничего иметь между собой и врагом, хотелось мять, душить, жать, чувствовать непосредственно под ударом своего кулака хлюпающую кровью морду врага».

В истории живописи и литературы бывали случаи, когда эскизы, зарисовки с натуры, этюды выглядели намного свежее, интереснее, чем само полотно, «к которому» они заготавливались. Преждевременно растрачивался пыл, не возникал «хор», хотя множество «голосов» и «подголосков» было налицо. Возникал диссонанс между общей декларативной идеей и сочными частностями.

Серафимович, писавший роман почти без предварительных «этюдов» (сам роман — скорее этюд в цикле «Борьба»), сразу добился звучания хора. Сказался давний опыт автора «Песков», «Города в степи». Писатель то и дело освобождается от давления «материала», отвлекается от эмпирической наличности, чтобы дать синтетическое, возвышенное представление о событиях. Природа в романе вновь «демонизирована», она стала плотной средой, возвышающей все происходящее. Творится мировое дело, человек живет в «рамке» гор и моря, трагедий и возвышенных радостей. Но писатель не вносит ничего иррационального, не вводит «дьяволиаду» в историю, не ищет путаницы как прикрытия, упрощенности.

Много раз возникает в романе тема ночи, мглы, как бы всесильной, умаляющей, даже унижающей человека, существо единого дня!

«В странной связи стоит великое молчание в таинственной черноте гор, в заслоненном темнотой морском просторе — ни звука, ни огонька».

«Море — нечеловечески-огромный зверь с ласково-мудрыми морщинами — притихло и ласково лижет берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крика, гоготания...»

Вариации, повторы? Но богатство «вариаций» — это выражение богатства главной темы.

Впервые, в «соавторстве» с историей, с революцией, одухотворившей художническую мысль, Серафимович добился того, что человек, события и природа стали равновелики.

Человеческий подвиг — горный хребет истории — стал «равен» высоте той реальной горной цепи, которая жила в воображении писателя. Впервые челове-

ческие страсти огромного существа стали равны «жестам» природы, ее размаху.

Что движется — колонна или «тяжкое, плывущее вместе со всеми молчание»? Зной это, плывущая белесая мгла или «налитое отчаяние»? Замирают перед виселицей, к которой Кожух направил колонны, сердца всей многоголовой громады, и в мире свершается небывалое: «Наступило не только молчание, но и тишина, великая тишина бесконечной усталости, беспощадного зноя».

Так пластично передать — нет, не дисциплину, не слаженный марш муштрованных солдатиков, а нечто большее, новый тип единения, взаимосвязанности в прозе 20-х годов еще не умел никто: «Гул тяжелых шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет один человек несказанного роста, несказанной тяжести, и бьется одно огромное, нечеловеческое огромное сердце».

«Железный поток» — истинно народная историческая эпопея — появился в 1924 году. Годом позже был опубликован роман Ф. Гладкова «Цемент». В 1923 году вышел «Чапаев», а в 1925 году — «Мятеж» Дм. Фурманова (с предисловием Серафимовича). Наконец, в 1926 году — вновь с предисловием Серафимовича — появилась книга «Донских рассказов» М. А. Шолохова. Но даже рядом с этими произведениями «Железный поток», классическое произведение советской литературы, бессмертный эпос революции, покоряет грандиозностью деяний, героической и подчас трагедийной остротой борьбы за новый мир. Образ «железного потока» — он вышел за рамки местного «кубанского» материала, темы борьбы казаков и «иногородних» — живет сейчас в сознании миллионов читателей как всеобъемлющий образ самой революции, сметающей на своем пути все враждебное, принижающее человека. И не случайно — ведь роман был особенно памятен поколению героев Великой Отечественной войны — Л. И. Брежнев в речи, произнесенной 7 сентября 1974 года в Новороссийске, сказал:

«Из-под Новороссийска взял свое начало легендарный «Железный поток» [1].

---

[1] Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., Госполитиздат, 1976, т. 5, с. 125.

В ЛИТЕРАТУРНЫХ БОЯХ

Это ведь тоже бой, литература. И бой куда более трудный, чем с винтовкой в руках.

А. М. Горький — Д. Фурманову (27 августа 1925 г.)

Сообщение о юбилее Александра Серафимовича — 60-летии со дня рождения и 35-летии литературной деятельности — появилось в «Известиях» 16 марта 1924 года после заседания юбилейного комитета под председательством А. В. Луначарского. Праздновать юбилей — 28 апреля в Большом театре — решили с одним прицелом: «Подчеркнуть яркие революционные заслуги А. Серафимовича как первого русского крупного писателя, примкнувшего к Октябрьской революции и вслед за переворотом вошедшего в состав РКП».

Серафимович, забывший о своих шестидесяти годах в годы труда над «Железным потоком», сейчас, после сдачи рукописи в альманах «Недра», почувствовал тяжесть прожитого особенно остро. «Не нервничать, собирать порох в пороховницу и не спешить с запалом его», — советовал в одном из писем старый друг Е. А. Щаденко. Но в шестьдесят лет пороховницы пополнялись туго. Серафимович вспомнил, что даже самый желанный отдых — дорога, встреча с донскими станицами, с Кавказом, Волгой — давался все труднее. Уйти от «присутствий», вечных заседаний, работы в различных литературных организациях Москвы — сладкая мечта! Он подумывал об этом с лукавой усмешкой:

— Как бы мне лапы отовсюду вытащить!

Но «вытащить лапы», уйти из редакций журналов, Союза журналистов, объединений пролетарских писателей и, наконец, Литературного отдела Наркомпроса (ЛИТО) — значит бросить какой-то участок строительства новой культуры. И в какой важный момент!

В 1920 году собрался I Всероссийский съезд отделений Пролеткульта — самой массовой организации полупрофессиональных и профессиональных писателей, вышедших из рабочей среды. Серафимович знал, какое большое значение придавал В. И. Ленин работе студий Пролеткульта. Из его рядов вышли поэты Н. Полетаев, В. Казин, В. Александровский. В Петрограде и Москве появились журналы «Пролетарская культура», «Гряду-

щее», «Горн», «Гудки», «Твори!», «Кузница». Но как непоследовательно, нечетко выступил на съезде даже А. В. Луначарский, фактически толкнув незрелых студийцев из рабочих на выдумку особой пролетарской культуры, «выскочившей неизвестно откуда». В. И. Ленин вынужден был решительно поправить Луначарского.

Дм. Фурманов, в 1921 году сразу после разгрома врангелевского десанта на Кубани приехавший в Москву для работы в Высшем военно-редакционном совете, попав в гости к Серафимовичу, был поражен обилием чужих рукописей, которые успевал читать писатель. Открыв одну из папок, Серафимович сказал:

— Хочется найти талантливых, твердо стоящих на позициях пролетарской революции людей. А что находишь чаще всего? Как будто чья-то дурная воля, нелепая претензия, внушенная незрелому еще человеку, портит все. Вот посмотрите:

Труба, как факел исполина,
В его мозолистой руке...

— Что это, как не дурацкая гигантомания? Читатель может задохнуться среди этого однообразия — абстрактные трубы, молоты, «ладони площадей», «в небо неводом вскинем стропила»... Да разве стропила похожи на невод? И где же, наконец, повседневное строительство новой жизни?

В архиве Серафимовича сохранилось множество рукописей, тетрадок стихов, статей, которые Серафимович по-горьковски внимательно читал, отыскивая крупицы таланта.

Дм. Фурманов после множества встреч, бесед с Серафимовичем, совместной борьбы против явных и скрытых недругов молодой советской литературы скажет о нем: «...В нетронутой чистоте сохранил верность рабочему делу. Никогда не гнулся и не сдавал этот кремневый человек — ни в испытаниях, ни в искушениях житейских».

Это кремневое упорство, цельность не простой дар судьбы... Свою позицию Серафимович отстаивал часто в сложнейших обстоятельствах. Даже в спорах с А. В. Луначарским в период совместной работы с ним в Наркомпросе.

Споры эти часто не становились явными. Они вообще то затихали, то обострялись. А. В. Луначарский как критик постоянно — с 1904 до 1933 года — пропаганди-

ровал творчество Серафимовича. Он, правда, писал, что в Серафимовиче он всегда ощущал, по его словам, «что-то как будто несколько тугое, что-то веское, несколько медлительное и очень сильное». «Этой туговатой, замедленной поступью, — писал он, — прошел т. Серафимович большую часть своего творческого пути. Он шел вперед, как танк, прокладывая себе очень прямой, очень уверенный путь». Похвалы Луначарского «тугому орешку», «выходцу из казацкой военно-чиновной семьи», даже при всей их пламенности, торопливой завышенности («Город в степи», по Луначарскому, роман, достойный Бальзака!) говорят о немалом различии этих двух людей.

Серафимович, работая рядом с А. В. Луначарским, научился в потоке ярких, искрометных речей, докладов наркома улавливать то самое драгоценное для дела, что исходило прямо от В. И. Ленина. Чего добивался настойчивее всего В. И. Ленин от Луначарского?

В своих воспоминаниях о В. И. Ленине Луначарский, невольно воссоздавая и свой характер, способность увлекаться идеями, «новациями», не всегда значительными, путать вечные ценности с преходящими, Чехова с Мейерхольдом, воспроизвел две свои беседы с В. И. Лениным.

«Ленин сказал мне в личной беседе, когда я его просил, — «Дайте мне денег для поддержки наших экспериментальных театров, ибо это театры новые и революционные», — «Пусть в течение голодного времени экспериментальные театры продержатся на известном энтузиазме. Совершенно необходимо приложить все усилия, чтобы не упали основные столпы нашей культуры, ибо этого нам пролетариат не простит» [1].

Серафимович всего один раз в жизни, 21 февраля 1920 года, был в гостях у В. И. Ленина. Подробностей этой встречи нет: известно только, что В. И. Ленин прислал за Серафимовичем машину, приветливо встретил его, но в самом начале беседы пришло тревожное сообщение о том, что на Южном фронте белые выбили Красную Армию из Ростова, и Ленин, извинившись перед Серафимовичем, вернулся к срочным делам.

Но как необходима была Серафимовичу точная, достоверная информация о непосредственных оценках В. И. Лениным многих явлений в культуре!

---

[1] Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1960, с. 668.

Однажды, вернувшись из поездки, Серафимович узнал от брата Вениамина, что в конце февраля 1921 года В. И. Ленин посетил Вхутемас (Высшие художественно-технические мастерские) на Мясницкой... Подробности встречи, беседы со студентами были для него, убежденного противника «футуристических чучел» (слова Ленина о некоторых скульптурах) в литературе, архитектуре, музыке, чрезвычайно дороги.

— И знаешь, Александр, Ленин как будто опять поправлял многих, имеющих «слабость», род недуга к левым, авангардистским течениям. Уже в начале беседы со студентами он обратил внимание на висевший на стене лозунг: «Шарахаем в небо железобетон!» Засмеялся и запротестовал: «Зачем же шарахать? Железобетон нам на земле нужен». Когда ему прочли всю строфу Маяковского: «Мы разносчики новой веры, красоте задающей железный тон, чтоб природами хилыми не сквернили скверы — в небеса шарахаем железобетон», Владимир Ильич все-таки покачал головой. — «Шарахнем, да ведь это, пожалуй, не по-русски...»

А когда эти студенты, часто простецы, бог весть с чьих слов, дружно, с бездушным задором заявили, что они «против «Евгения Онегина», и выразили надежду, что и «Вы с нами будете против этого нытья», Владимир Ильич, посмеявшись, посоветовал пораньше ложиться спать:

— А то сил-то против «Евгения Онегина» не хватит...

Отбиваясь от многих поэтов, художников, нередко «вооруженных» записками, мандатами добрейшего, «бархатного» Анатолия Васильевича, Серафимович вынужден был строго, исходя из ленинских оценок, судить о качестве их «революционной» продукции. В архиве писателя сохранилась особая папка с оглавлением: «Интеллигенты под революцию», «В плену у буржуазии» (мертвечина прошлого)... С жалостью и полупрезрением отмечает Серафимович попытки многих былых ловцов удачи «догнать» давно обогнавшее их время. Не изменяясь внутренне, не ища новых ритмов, языка, они писали уже вполне «революционно»:

Все летописи рабства миновали,
К уделу пусть приблизится удел.
И участи сравняются взаимно.
Нет черной кости. Каждый снежно-бел.
Иначе жизнь — и в ярких звездах — дымна...

(К. Бальмонт)

Какая ненужная странная «агитка»?! В такой жеманно-мелодичной, салонной лести революция, конечно, не нуждается! К пролетариату нельзя идти на ходулях риторики:

Я вижу их в порыве огневом,
Их знамя — воля, их водитель — гром...

Серафимович не раз огорчался, видя, как устойчиво воздействие Бальмонта и Северянина, как увлекает многих легкость «перегонки» звучных слов. Молодой поэт часто помимо воли скатывается в выхолощенную стихию словотворчества:

Мне все равно, чем кончится все это.
Что будет: победа, позор или смерть,
Но я приемлю пламенным сердцем поэта
Этот грохот, которым объята вся твердь.

Принять... грохот! Мир воспринимается созерцательно, эстетски, в лучшем случае — ухом. А где же мысль, глубокое жизнеощущение? Какое президентское самомнение! Принять как... признать! Будто революция не обойдется без карликовых знаков признания.

Великая эпоха вовсе не автоматически рождала певцов, достойных исследовать народный подвиг. Как правило, в образовавшийся «вакуум» — после эмиграции И. Бунина, А. Куприна, С. Рахманинова, Ф. Шаляпина и др. — первыми проскочили на подмостки сцены не самые одаренные, а самые юркие, бестрепетные спекулянты, чаще всего примазавшиеся к революции. Это были деловитые пигмеи разума и сердца. Серафимович словно угадывал многое из того, о чем говорил В. И. Ленин Луначарскому.

«Класс победивших, да еще такой, у которого собственные интеллигентские силы пока количественно невелики, непременно делается жертвой таких элементов (то есть «психопатов и шарлатанов». — *В. Ч.*), если не ограждает себя от них. Это в некоторой степени, — прибавил Ленин засмеявшись, — и неизбежный результат и даже признак победы» [1], — вспоминал А. В. Луначарский о беседах с В. И. Лениным по проблемам культурного строительства.

Серафимович отдал много сил именно ограждению молодых, неизвращенных сил литературы от шарлатанства всех видов. С негодованием отвергал он претензии

---

[1] Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1960, с. 669—670.

на ведущее место в новой литературе формалистов, виртуозов заумного стиля, дельцов от литературы.

В одном из писем 20-х годов Серафимович писал другу своей писательской молодости:

«В литературном мире, как и везде, — драка. Пролетарские писатели разбились на две организации: РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) и «Кузница», и идет жестокий мордобой.

Читали ли Вы Шолохова «Тихий Дон»? Чудная вещь. Успех громадный. Шолохов еще мальчик — лет 25—26. Талант огромный, яркий, со своим лицом. Нашлись завистники — стали кричать, что он у кого-то украл рукопись. Эта подлая клеветническая сплетня поползла буквально по всему Союзу. Вот ведь псы! Я и товарищи поместили в «Правде» письмо, что это — подлая клевета, ну поджали хвосты...»

Стиль письма, несомненно, дает представление о накале борьбы, вспыхнувшей в литературной среде и вокруг Михаила Шолохова, и вокруг Андрея Платонова, и вокруг Михаила Булгакова... Звучали порой и «предпоследние слова» русского языка. А Дм. Фурманов, писатель-коммунист, в разгар борьбы с троцкистской верхушкой РАППа (в лице Леопольда Авербаха и Семена Родова) заявил, как свидетельствует исследователь С. Шешуков в книге «Неистовые ревнители»: «Моя борьба против родовщины — смертельна: или он будет отброшен, или я. Но живой в руки я не дамся».

Откуда этот накал борьбы в 1927—1929 годы? Федор Гладков, например, недоуменно писал Серафимовичу в октябре 1925 года:

«Я мыслю нашу советскую литературу (то есть по сю сторону баррикад) — е д и н о й, отрицаю внутри ее классовую борьбу. Отрицаю ставку только на пролетлитературу и только на «попутчиков». Ставка одна: на советскую, революционную литературу, внутри которой происходит напряженная, упорная молекулярная работа».

Но в условиях обострившейся, особенно к 1927 году, борьбы троцкистов против единства партии, против ее планов индустриализации и коллективизации, сразу достичь идейного и организационного единства молодой литературы не удавалось.

Сплотить передовые писательские силы на основе резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925) оказалось делом нелегким. И прежде всего из-за раскольнической политики

целого ряда литературных «временщиков», пытавшихся присвоить себе право исключительно володеть и княжить в литературе.

Приходил молодой писатель, недавний участник сражений гражданской войны, в литературный «цех», в московский или иной филиал Российской ассоциации пролетарских писателей, даже такой, как Фурманов, и ощущал: он механически попадал в «демос», идеологически сомнительный, а его жизненный и партийный опыт ничего не значил для «элиты», для касты вождей в лице Г. Лелевича, Ил. Вардина, С. Родова, Л. Авербаха и др. Хотя... Хотя никто из этих деятелей не создал ни своего «Чапаева» или «Мятежа», ни «Железного потока», ни «Барсуков», как Л. Леонов, ни, конечно, «Тихого Дона»...

Это были суетливые псевдолитераторы, не мыслившие себя вне редакторских кресел...

Серафимович имел давнюю привычку записывать на заседаниях не тезисы выступлений, не сгустки идей, не обрывки цитат. Он, сидя на заседаниях, вспоминая ораторов, рисовал особый, зрительно-нравственный портрет деятелей.

«У Авербаха резкий, металлический, надтреснутый, как старый таз, голос, слышно во всех углах».

«*Жрецы*. Поражающе пишут сугубо сложным, чужим, не русским языком с колоссальным и часто ненужным загромождением иностранными словами».

«Киршон — играет, актер политический. Посмотрите, как он председательствует, — он думает, что он по крайней мере Сен-Жюст».

«У Гроссмана — Рощина огромная начитанность, большой ум, но ум талмудический...»

«Валентин Катаев — одесская быстрота и ловкость фельетонного пера, бегло, занимательно, до известной степени образно, но поверхностно, неглубоко, с содержанием, напоминающим даровитый фельетон».

«Такие, как Авербах, постоянно оперируют, назойливо, совершенно правильными принципиальными положениями марксизма и ленинизма и до того их истрепывают, что превращают в общие места».

Детали борьбы А. М. Горького, Серафимовича, Дм. Фурманова, Ф. Гладкова и др. с критиканами, создателями панических ситуаций — таковы были Л. Авербах, Г. Лелевич, С. Родов — сейчас едва ли интересны. Подробности внутрилитературной борьбы освещены

в книге С. Шешукова «Неистовые ревнители» и во многих иных трудах. Эти фигуры, особенно Леопольд Авербах, которого Н. Асеев назвал в поэме «Маяковский начинается» нелитературно резко — «литературный гангстер Авербах», Ф. Гладков изобразил в повестях «Вдохновенный гусь», «Головоногий человек» как деятеля, способного, «теряя все в прошлом, перевоплощаться в новых условиях», не оставили после себя ничего, кроме многих томов пустопорожних резолюций, лозунгов, «кличей», обвинений и т. п.

А. М. Горькому было порой столь неловко пребывать в атмосфере чванства «головоногих» людей, буквально заполучивших в «хлебные» места, что он в 1926 году в письме к Ф. В. Гладкову резко отделял себя от них:

«Я не могу быть «вполне» с людьми, которые обращают классовую истину в кастовую, я никогда не буду «вполне» с людьми, которые говорят: «Мы, пролетарии», с тем же чувством, как, бывало, другие люди говорили: «Мы, дворяне». Я уже не вижу в России «пролетариев», я вижу — в лице рабочих — настоящих хозяев русской земли и учителей всех жителей ее. Первое пора уже понять и пора этим гордиться, а второе требует осторожного обращения со всяким человеком, дабы «всякий человек» не имел права сказать, что рабочий не организатор и руководитель новой жизни, а такой же тиран, как всякий иной диктатор, да и глуп так же». Вожди РАППа или ЛЕФа умели извратить и обесплодить литературный процесс неверными ориентирами — отрицанием культурного наследия, национальных традиций, однобокой ориентировкой на «одемьянивание» поэзии, на «космизм», «антипсихологизм» и иное псевдоноваторство...

Слушая порой этих ораторов — а ведь выходцу из буржуазной семьи Леопольду Авербаху в 1920 году было всего 16 лет и он при всем избытке постов, похвал и предисловий самого Троцкого никогда не боролся с оружием в руках за Советскую власть, — Серафимович улавливал знакомую фальшь и лицемерие:

«...Распространяя классовый анализ на все виды духовного творчества, пролетариат должен объявить беспощадную борьбу буржуазии в самой фетишистической, самой приукрашенной, самой обманчивой и потому самой привлекательно-опасной цитадели капитализма, — в его научном и художественном храме, в притворах которого вынужден молиться, за неимением ничего другого, рабочий класс...»

Подобные грозные отлучения нового многомиллионного читателя от наследия Пушкина и Глинки, Толстого и Чайковского, Чехова и Горького, которого Л. Сосновский, соратник Троцкого, называл «бывший Главсокол, ныне Центро-Уж», находились в вопиющем противоречии с ленинскими указаниями об отношении к наследию!

Но Серафимовича изумляло другое — повторяемость лицемерия. Что-то слышится «родное»!.. Да это же... приснопамятный Туган-Барановский! Доклады Тугана в студенческие годы состояли из статистических таблиц, цифр, цитат, множества иностранных слов, кое-как *склеенных* русскими глаголами. А здесь? Вместо слов «феодализм», «община», «кадастр», «рента» звучат страшные слова: «диалектико-материалистический метод», «прощупывание успехов и неуспехов», «попутчики не революционеры, а юродствующие в революции» и т. п.

Серафимович не просто созерцал это новое явление и изучал «следы невиданных зверей». Он боролся за действительные успехи литературы, не давал усыпить себя «поэзией чисел», то есть наличием едоков, а не талантов. На одном собрании вдруг выяснилось: литературная группа «Кузница», к которой принадлежали Ф. Гладков, Н. Ляшко, А. Новиков-Прибой, В. Бахметьев, П. Замойский, измеряла свой прирост за годы десятками, а Авербах, в сущности равнодушный к литературе, нуждавшийся лишь в армии незрелых крикунов, сразу выдвинул... 2998 человек новых «дарований».

— Это очковтирательство! За что же вы боретесь, несчастные честолюбцы! — воскликнул Серафимович. И услышал в ответ медоточиво-угрожающее разъяснение:

— Вы, «кузнецы», - замкнутая группа, пигмеи, а ВАПП — это пролетарский Голиаф. Он опирается на все рабселькоровское движение, на тысячи будущих писателей! Держитесь крепче за ВАПП, если не хотите быть стертыми с лица земли этим мощным потоком!

Серафимович был вынужден писать не раз в ЦК РКП(б) и лично И. В. Сталину о насаждении бесплодия в литературе, обмане партии псевдоуспехами с незримыми победами, «оптимизмом дутых чисел»:

«После того как отошли ряд товарищей, в большинстве руководства РАПП остались т. Авербах, Киршон... Грозность этого оголения отлично понимает руководящая верхушка РАПП и, теряя голову, ищет спасения в... брани.

Ударники литературы жалуются, что с ними шумно носятся, когда надо сделать парад, и совершенно забывают, когда нужна повседневная кропотливая работа.

Я должен прямо сказать: в РАПП — развал, полный развал... за свои слова отвечаю полностью».

«Выдернуть лапы» из литературных журналов, даже из зараженных авербаховщиной, таких, как «На литературном посту», Серафимовичу так и не удалось. В 1927 году, когда особенно острой стала борьба партии с троцкизмом, выродившимся в злейшего врага социалистического строительства, Серафимович был назначен главным редактором журнала «Октябрь».

И до этого вопреки групповой возне Серафимович, «старшой», как называли его многие писатели, сумел помочь — внешне незаметно, но очень основательно — пробиться к массовому читателю таким книгам, как «Цемент» Ф. Гладкова.

«Да ведь это первое широкое полотно строящейся революционной страны!» — повторял Серафимович, пролагая путь этой необычной по стилю книге к издателям. И самого Ф. В. Гладкова, робевшего поначалу среди крикунов и бесплодных творчески «поучателей», научил бороться за себя:

— Как же это так, батюшка мой? У вас же в руках неотразимое оружие, такие характеры... В драку лезьте, не щадя сил, и победа будет на вашей стороне.

Поддержкой Серафимовича пользовались на трудном этапе восхождения к главным своим книгам такие писатели, частые гости в его доме на Пресне, как А. С. Новиков-Прибой, создатель «Цусимы», А. С. Неверов, Н. Ляшко, Ф. Панферов...

«Октябрь» в 1927 году пребывал в плачевном состоянии. Руководители РАППа «отлучили» от журнала многих талантливых писателей. М. В. Лузгин, заместитель главного редактора, писал Серафимовичу 5 сентября 1927 года в Кисловодск: «Расходится же в среднем 2000 экз. из нашего тиража 2500, журнал убыточен, убыточен, убыточен. Это обстоятельство ставит нас перед перспективой разногласий по вопросу: быть или не быть «Октябрю» в будущем году? Вопрос этот, по-моему, в первую очередь принципиальный: нельзя РАПП не иметь толстого журнала, если всякий ЛЕФ, всякий «Перевал» стремится к этому...»

Как характерно, что Лузгин, посредственный очеркист, ощущая себя нарушителем некой негласной присяги, просит: «Я все думаю, Александр Серафимович, что следует нам послать письмо Горькому, пригласить его в журнал. В конце концов неправильно делаем, что как будто мы отдали его «перевальцам»... Напечатать Горького в «Октябре» — подвиг! О романе «Тихий Дон» М. А. Шолохова — ни слова. А ведь он появится в № 1 за 1928 год! Судя по одной записи Серафимовича 1927 года, дорасти до понимания романа Шолохова, даже перед угрозой закрытия «Октября», М. В. Лузгин так и не сумел. Серафимович записал следующий эпизод: «С Лузгиным сидим в ресторане Дома Герцена, говорим о редакционных делах. Уговариваю напечатать Шолохова «Тихий Дон». Упирается».

Встреча старейшины советской литературы Серафимовича, редактора «Октября», с молодым Михаилом Шолоховым, в то время создателем первых двух книг «Тихого Дона», — историческое событие огромного значения. Золотая нить лучших традиций русского реализма, традиций Толстого волшебным образом ожила, не прервалась вопреки всем попыткам лжереволюционеров. Судьбе угодно было сделать так, что мощный взлет гениального новатора и продолжателя толстовских традиций именно «с точки зрения миросозерцания марксизма» приветствовал и поддержал Серафимович.

...Первая встреча Серафимовича с Шолоховым состоялась в рабочем кабинете автора «Железного потока» в Доме Советов № 1 («Националь»). Серафимович тогда не только ознакомился со сборником «Донских рассказов» неизвестного еще, невысокого, по-мальчишески тонкого, смотревшего чуть усмешливо, озорно казака, но и написал к нему предисловие.

Шолохов не был новичком в Москве. Он приехал сюда в 1922 году и уже поработал статистиком, учителем в начальной школе, рабочим, сотрудником в комсомольской газете. Жил он в те годы в трудных условиях. Небольшая мрачная комната, одна треть которой перегорожена тесовой стенкой. В первой половине работали кустари-сапожники, рассевшись вокруг стен и окон на низких чурбаках. Стучали молотки, кто-то напевал, переругивался. А за перегородкой — узкая комнатушка, где и жил Шолохов с женой Марией Петровной. В комнате койка, простой стол и посудная тумбочка...

Для Серафимовича Шолохов «Донских рассказов» —

свидетельство творческой мощи революции. Он оправдание его веры в тот порыв к золотым снам творчества, что породил горы рукописей уже в 1917—1918 годы. Он светлое, утешающее в давнем горе воскрешение сына Анатолия. Ведь революция растила своих певцов сразу во многих людях — в Николае Островском, Александре Фадееве, в тысячах не дошедших до ее торжества.

«Как степной цветок живым пятном встают рассказы т. Шолохова».

Серафимович не боялся быть простодушным, открытым, смешным в глазах «головоногих»... И он скоро ощутил, что многие критики в РАППе, выражая сочувствие мнению его, маститого старика, в сущности, не разделяют его.

Тот же М. В. Лузгин, «упираясь», откладывая вопрос о публикации первой книги «Тихого Дона», несомненно, учитывал, что для многих литвождей РАППа те же «Донские рассказы» никакой не цветок... Уже в 1927 году, обозревая прозу пролетарских писателей, В. В. Ермилов увидел в «Донских рассказах» и «Лазоревой степи» отклонение «от стиля пролетарской литературы». По Ермилову тех лет, была у Шолохова «некоторая искусственность языка... имеется некоторый скат к натурализму, известное смакование чисто физиологических подробностей смерти, подробностей ранения; он любит показать, как из отрубленной ноги течет кровь, любит останавливаться на таких чисто натуралистических подробностях».

И вообще предстояло еще тщательно взвесить: не любуется ли Шолохов кулацкой сытостью? Не поэтизирует ли он старый казачий Дон? Да и куда еще поведет он своих героев? Роман без ясного продолжения лишен значения... Терзания Лузгина были типичной мукой «предельного» хроникерского сознания.

Кто входил в тогдашнюю редколлегию «Октября»? Нет, в ней, конечно, не было ни М. М. Пришвина, ни А. Н. Толстого, ни даже Ф. В. Гладкова, Н. Н. Ляшко, Л. М. Леонова, тем более К. А. Федина, М. М. Зощенко, В. Я. Шишкова... Судьбу романа, не будь в редакторском кресле Серафимовича, решали — и как бы еще решили? — малоизвестные Н. Полосихин, Г. Корабельников, Б. Рингов, тот же М. Лузгин, наконец, Н. Полетаев, известный, правда, ярким стихотворением «Портретов Ленина не видно», Г. Санников...

Серафимович действовал решительно и убежденно. Он

ощутил, что на известном этапе во имя замечательного таланта «должно власть употребить».

— Что стоит в первом номере? Отрывок из моей «Борьбы»? Его снять прежде всего... Роман Анны Караваевой «Лесозавод»? Уменьшить «подачу»... Новиков-Прибой? Это оставить... Стихи Суркова, Щипачева, Светлова?.. Не трогать... А все остальное перенести. И начинайте «Тихий Дон».... Как есть, без сокращений.

Стремясь оградить роман от нападок, от кривотолков, Серафимович после выхода первой книги — 19 апреля 1928 года — публикует статью в «Правде», где и создает тот поэтический образ, который с тех пор неизменно соотносится с молодым Шолоховым.

«На кургане чернел орелик, чернел молодой орелик. Был он небольшой; взглядывая, поворачивал голову и желтеющий клюв.

Пыльная дорога извилисто добежала к самому кургану и поползла, огибая.

Тогда вдруг расширились крылья, — ахнул я... расширились громадные крылья. Орелик мягко отделился и, едва шевеля, поплыл над степью.

Вспомнил я синеюще-далекое, когда прочитал «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Молодой орелик желтоклювый, а крылья распахнул.

И всего-то ему без году неделя. Всего два-три года чернел он чуть приметной точечкой на литературном просторе».

Отметив мастерство индивидуализации, Серафимович говорит о главном: эпическое познание истории, человеческого характера, недосягаемое отныне нигде в мире, возможно в России, родине Толстого и Достоевского.

«Легко, свободно, творчески-спокойно и уверенно, знающим, рачительным хозяином, — пишет Серафимович, — вводит он вас в свой дом, в громадину, возведенную им на протяжении сорока печатных листов. Без напряжения, без усилий, без длинного введения сразу вы попадаете к казакам, к этим мужикам — хлеборобам в мундире, с мужицким нутром, однобоко и уродливо искривленным царско-помещичьим строем».

Серафимович незаметно отводит, отражает еще не вырвавшиеся упреки Шолохову («идеализирует диких варваров», забывает, что «казачество — злейший враг» и т. п.), каждая строчка его статьи удивительно мужественна и точна по мысли:

«Да, темны и дики, — и внезапно и неожиданно, вдруг прощупываете вместе с Шолоховым чудесное сердце в загрубелой казачьей груди. Естественно, просто открывается человечье сердце, как естественно растет трава в степи».

И какое может быть «отклонение от стиля» (упрек В. В. Ермилова), если теперь всякий тусклый, газетно-информационный «стиль» станет отклонением от Шолохова, станет мертвенно-шаблонным на фоне «Тихого Дона»? «Яркий, своеобразный, играющий всеми цветами язык, как радужно играющее на солнце перламутровое крылышко кузнечика, степного музыканта. Подлинный живой язык степного народа, пронизанный веселой, хитроватой ухмылкой, которой всегда искрится казачья речь».

Серия статей Серафимовича о Шолохове — последняя будет опубликована в 1937 году, после многих встреч, переписки, поездки в Вешенскую — это история поучительного духовного роста Серафимовича, движения мысли, к которому оказались не способны очень многие.

В чем этот рост заключался?

Следует сказать, что великое понятие народности литературы в практическом обиходе тех дней не существовало. Даже по отношению к Толстому или Пушкину. «Есть классики, но важнее классы», — самоуверенно заявлял Г. Лелевич. Дм. Фурманов на известном этапе в свете острой классовой борьбы в ходе гражданской войны тоже не обращался к понятиям «народность», «гений национальной культуры», считая, что в этих терминах есть нечто отвлеченное, даже «мистическое». «К литературе нельзя относиться мистически — это «орудие борьбы», — говорил он. Но в реальной своей работе и он и Серафимович поддерживали Л. Леонова, А. Малышкина, С. Коненкова, С. Эрьзю, огорчались гибели Сергея Есенина как великого национального поэта.

Подобной широты не знала кастовая рапповская критика. Как, впрочем, и в достаточной мере оглупленные поэты из рабочих или деревенских самоучек. Одни писатели были «окрещены» по тематике книг как «крестьянские», другие как «пролетарские», третьи пополнили собой ряды «попутчиков». К последним вообще рекомендовалось подходить с невысказанным вопросом: «Союзник или враг?» И в ходу были — даже в дружеских посланиях — такие обращения:

Мы — ржаные, толоконные,
Вы — чугунные, запечные..
(Н. Клюев)

Даже Сергей Есенин считался и недругами, и недалекими самоучками от сохи не великим национальным поэтом, а только поэтом деревенской избы, в лучшем случае Руси избяной.

Серафимович возмущался нередко: а какую же перспективу роста можно предложить писателю при таком разобщении «вагранки» и «сохи»? Перспектива была только одна: «перерастание крестьянского писателя в пролетарского», «попутчика в...?». А выше? Поскольку «выше нас — один господь бог», писатель вновь впадал во внеклассовую стихию, мистику, то есть его тогда вновь надо было обучать с азов.

Михаил Шолохов явно внес сумятицу в узкодогматические умы. Правда, не сразу.

В 1928 году Ермилов и другие критики журнала «На литературном посту» встретили роман Шолохова довольно приветливо. Эта благожелательность рождалась инерцией схематичного мышления, верой в победу простой схемы и в данном романе. Так, утку-мать в сказке Андерсена «Гадкий утенок» утешали в ее страданиях с сынком, вылупившимся из лебединого яйца: «Ничего, подрастет... И станет как все... поменьше...» Критики-«налитпостовцы верили, что, покорный выдуманному ими закону, Шолохов завершит роман скорой и мелочно-иллюстративной «перестройкой» Григория Мелехова. Роман останется областнической книгой талантливого «станичника» о частном эпизоде в жизни казачьей Вандеи.

Серафимович на первых порах тоже отдал дань этой псевдомудрой иллюзии. Его рецензия заканчивалась пожеланием автору расширить рамки романа, перерасти в «пролетарского», вывести «Дон» в океан... Какой? Куда? Неужели без этого расползания вширь роман останется областническим?

«С молоком матери Шолохов всосал родную синеющую степь, родной донской говор; навеки с детства запечатлел родные казачьи лица, тончайшие движения их ума и сердца, и чудесно все это зазвучало со страниц журнала.

Ну а дальше? Дон будет исчерпан. Исчерпано будет крестьянство в своеобразной военной общине. И если молодой писатель не пойдет в самую толщу пролетариа-

та, если он не сумеет так же удивительно впитать в себя лицо рабочего класса, его движения, его волю, его борьбу, — если не сумеет этого сделать, сам себя ограбит народившийся писатель... Но молод и крепок Шолохов».

Этот укор, предостережение — отголосок рапповского схематизма. Народность, общечеловеческий гуманистический пафос «Тихого Дона», утверждение нового мира через катастрофический, трагический путь яркого, красивого человека, оказавшегося «на грани в борьбе двух миров», — все было тогда за пределами мышления. Скорейшая «перековка» Григория — и никаких гвоздей! «Всякий другой путь, пожалуй, окажется насильственным и отменит (!) опубликованные части романа в их значении для пролетарской литературы», — писал И. Нович.

Невероятно, но схематическая переделка Григория казалась не насильственной! Трагический, мучительный путь утрат, самый естественный при таком грандиозном сдвиге, каким была революция, выглядел нарочитым!

Рапповская критика, не получая ожидаемого, очень скоро отвернулась от Шолохова. Л. Тоом и А. Бек, А. Селивановский вскоре обратились к привычному набору слов, стали говорить об апологетике кулачества в романе, о том, что пролетарский писатель в Шолохове заглушается крестьянским...

Серафимович первым отбросил многие узкие мерки и заговорил именно о народности, понятии, преданном забвению рапповцами в их заседательской суете, заговорил о мировом значении Шолохова, о том, что не учить надо Шолохова, а учиться у Шолохова.

— А я, знаете, зачитался... Михаилом Шолоховым зачитался. Как здорово это получилось, что мы его напечатали, открыли его «Тихий Дон»!.. Ох, даже подумать страшно, что такое эпохальное произведение могло бы залежаться где-то в тени, когда народ ждет именно такой эпопеи!.. Талантище-то... а?.. Донские станицы, казачьи курени и бабы, деревенские улицы... а сквозь все это *видишь всю Россию!*.. И люди, все эти старики, старухи, парни, молодицы... Кажется, вот с самого детства их навидался, и вроде все в них тебе знакомо... а вот, поди ж ты, какое волшебство: сколько же нового, изумительного... исторического открылось тебе в этих людях!.. И опять же сквозь этих людей как бы видишь *бытие всего народа.*

Это была уже иная высота оценок. С этой позиции последующие исследователи уже могли увидеть и мировое значение Шолохова, говорить об «Илиаде» гражданской войны.

Старость — сложное путешествие в воспоминаниях, пора спокойного исследования вечных проблем... У воспоминаний своя хронология, своя точность. «Фокус» размыт, подробности сглажены, секундные стрелки — зачем они, когда в запасе вечность? — убраны. Известный фантаст С. Лем уподобил длинный жизненный путь человека стволу ружья и добавил: «С какой бы точностью ни был изготовлен ствол ружья, после выстрела дробинки все больше расходятся по мере возрастания пройденного ими пути. Старение — это такой же разброс процессов и вызванный им постепенный выход из-под центрального контроля».

Журнал «Октябрь» вскоре после публикации двух первых книг «Тихого Дона» фактически стал редактировать Александр Фадеев. Впоследствии редактором его стал молодой, полный кипучей энергии и «нутряного» вдохновения Федор Панферов, создатель романа «Бруски». «Племя младое, незнакомое» окружало Серафимовича и в его гостеприимном доме на набережной, и в зале заседаний I съезда писателей СССР, избравшего его в руководящие органы. Среди этого племени были и Аркадий Гайдар, и Василий Ильенков, и Аркадий Первенцев, создатель замечательного романа «Кочубей». Вопреки всем обстоятельствам — и прежде всего грузу годов на плечах — Серафимович оставался в центре многих вопросов идейно-организационного развития советской литературы.

К нему обращаются за помощью очень многие.

Собиратель донских песен А. М. Листопадов напоминает ему о себе, о своей работе: «В один из своих последних приездов на Дон Вы посетили в Новочеркасске музыкальную школу, которой я тогда руководил...» Сообщая о собранной коллекции — 1200 донских песен, о «молчаливом противодействии» своей работе и публикациям, он молит о помощи: «Работа моя питается лишь надеждой, что какое-нибудь, имеющее к этому делу отношение учреждение надумает заняться моей тысячью донских песен».

В один из приездов на Кубань Серафимович отыски-

вает в Сочи тяжело больного Николая Островского, проводит у его постели несколько часов, изумляясь силе духа израненного конармейца и вдохновляя его на продолжение героического поединка с недугом. Погруженный в вечную тьму, почти неподвижный, он нечеловеческими усилиями создавал характеры, в которых бушует пламя жизни, воспевал радость преодоленного страдания. Он учил жить и бороться уже своей судьбой...

Н. Островский пишет Серафимовичу через месяц после беседы в Сочи:

«Дорогой Александр Серафимович! Прошел месяц, как мы расстались, но жива память о наших встречах. Ваше имя в газетах говорит о том, что Вы не уехали из Москвы. Что, решено остаться до съезда? На днях получаю телеграмму: «Поздравляем приемом в члены Союза писателей писательский привет Киршон». Это аванс в счет моего будущего. Как только выйдет вторая книга на Украине и в Москве, пришлю Вам».

Островский в письмах Серафимовичу предстает предельно искренним, доверчиво открытым человеком.

«Я продолжаю учебу, — писал он Серафимовичу через четыре месяца. — Ожидаю выхода второго издания романа «Как закалялась сталь», приуроченного к съезду писателей. 11 июля в Киеве происходил юбилейный пленум ЦК комсомола Украины, присутствовали 500 делегатов, всем им была роздана прекрасно изданная моя книга на украинском языке...

...Моя мечта — вернуться в Москву, то есть получить там квартиру, — пока остается мечтой. Я же отчетливо осознаю, что Москва не просто мое желание, а необходимость для роста и учебы.

Дорогой Александр Серафимович! Я знаю, что Вы сделаете все, что в Ваших силах, для того, чтобы я смог развернуть наступление на литфронте и не закис в этом дождливом Сочи...»

Именно Серафимовичу пришлось помочь Николаю Островскому сразу на двух участках. И в жилищном жизнеустройстве, и на том самом литфронте, куда рвался больной писатель-коммунист.

Развернув однажды «Литературную газету», Серафимович увидел статью, где после стандартных похвал роману замелькали вдруг обидные тернии упреков, «колючки» анализа: «Книга... написана вслепую в полном смысле слова», под конец она «вырождается в индивидуальную жалобу Островского через своего героя»; в центре

романа будто бы становятся семейные неурядицы, и «прикованный к койке Островский не замечает, как мельчает в этой борьбе его Павка». И наконец, последний аккорд: «Книга нуждается в инструментовке, технической шлифовке, в озвучании рукой мастера...»

Серафимович на минуту задумался... Он вспомнил Сочи, высоко лежащее на подушках, обескровленное долгими страданиями лицо, полное слияние Островского со своим трудом. Сколько черствости, убийственного бесчувственного эстетизма в «правильных» периодах критического речитатива!

— Нуждается в озвучании... Книга, выходит, пишется и вслепую, и... глухим человеком. Она и слепая, и немая... одновременно.

Скорее, пока не дошла до больного Островского сия «статея», надо дезавуировать ее! Он берется за телефон, звонит в «Правду»...

Вскоре в «Правде» появилось письмо за подписью Серафимовича и еще четырех писателей, где статья в «Литературной газете» оценивалась как «клевета на человека, делающегося образцом большевистского мужества».

Много лет спустя, уже в первый послевоенный месяц (5 июня 1945 года), вдова Н. Островского, директор музея его имени, Р. Островская сообщит Серафимовичу, что их имена — создателя «Железного потока» и «Как закалялась сталь» — невольно сблизятся в народном представлении: «...Вместе с фотографиями танка имени Н. Островского к нам в музей прислали фото и танка, носящего Ваше имя. Этот танк был назван Вашим именем в полку, где полковником был Гришин. Помните... Это было в Брянских лесах в сентябре 1943 года...»

Серафимович привлекал людей цельностью и достоинством прожитой жизни, истинно народной мудростью суждений. Он думал так, как жил:

«Ближе к народу! Не гнушайтесь никакой маленькой работой. Из подручных вырастают мастера. Как оторвался писатель от народа, так погиб. Сколько их на нашем веку сгорело, мотыльков! Летят на огонь, да не на тот», — не раз говорил он друзьям из племени младого, незнакомого» (из воспоминаний А. Первенцева).

Друзья из этого «племени младого, незнакомого» часто находили Серафимовича сами, вторгались в его гостеприимный дом, ища помощи, дружеских советов. Среди них были и Артем Веселый, и Александр Малыш-

кин, создатель «Падения Даира» и «Севастополя», и Мариетта Шагинян, и Петр Павленко, и Александр Корнейчук... Его оценки — скажем, «Гидроцентрали» М. Шагинян, книги, вобравшей материалы поездок писательницы по стране, раздумья о новых человеческих характерах, — не просто оглядка на свой творческий опыт.

— Как расточительны Вы, Мариетта Сергеевна! — говорил он, раскрыв ее роман. — Одна мысль как будто... обгоняет другую! Они интересны, но как часто все подробности бьют мимо цели, не бьют в одну точку... И зачем персонажам говорить на языке автора? Это интересно, но массы не видишь... Жизнь сейчас, конечно, стремительна, катит так, что спицы не увидишь... Но человек не может стать подробностью, примелькавшейся, крохотной...

Маршруты поездок Серафимовича в эти годы — от Тулы, Харькова, Горького и Ленинграда до Киева, Саратова, Вологды и Архангельска. В июне 1941 года, незадолго до Великой Отечественной войны, с лекцией «Как я стал писателем» он выступил в Смоленске, Ярцеве и Вязьме...

В 1930 году в связи с выходом книги воспоминаний о Леониде Андрееве «Реквием» Серафимовичу вновь пришлось вступиться за «Тихий Дон» и за доброе имя М. А. Шолохова. Оказалось, что у Сергея Глаголя, давнего знакомого Серафимовича по «Курьеру», была книга очерков «Тихий Дон» о событиях революции на Дону в 1917—1918 годы. Ее, как несостоятельную, забраковал в свое время Л. Андреев, редактор «Русской Воли». Увы, этой переклички заглавий и внешнего сходства материала оказалось достаточно для возрождения слуха о несостоятельности шолоховской эпопеи.

«Странно, — подумал Серафимович, знакомясь с «Реквиемом», вспоминая стиль Сергея Глаголя, рецензента художественных выставок, автора книги о Левитане, — почему никто, даже К. Чуковский, один из авторов «Реквиема», не смутился явным отличием эпического склада мысли Шолохова от эссеизма Сергея Глаголя? Даже Л. Андреев, рекомендуя непоседу С. Глаголя А. Измайлову в сотрудники «Биржевых ведомостей», не мог удержаться от улыбки: «Он очень талантлив... Это даже его несчастье: излишняя талантливость, которая заставляет его разочаровываться».

К счастью, у лжи оказались короткие ноги...

Судьба третьей книги «Тихого Дона» — после всеоб-

щей помощи — от Горького до Серафимовича — сложилась счастливо. В разгар работы над «Поднятой целиной» Шолохов — в привычном тоне, с хитрецой и улыбкой, словно «светившейся» между строк, — писал Серафимовичу:

«В январе я наладил печатать 3-ю кн. «Тихого Дона», но это оказалось не особо прочным, печатать с мая снова не буду (причины изложу при встрече). Все эти дела (а тут еще возня с новой вещью) и не дали мне возможность повидать Вас.

Сейчас упорнейше работаю, много езжу окрест Вешенского района, очень устал».

Этой усталости можно было только позавидовать.

«Усталость» 70-летнего Серафимовича была, конечно, куда более грозной. Ее сопровождали болезни, неожиданные слабости, с ней выползали на свет божий застарелые и лишь усмиренные когда-то недуги.

Незавершенными остались и «Борьба», и роман о коллективизации «Колхозные поля» (1933—1934). Все попытки писателя дополнить «Железный поток» новыми повестями, рассказами (вроде рассказа «Товаришко Дора») оказались несостоятельными. Живое осознание массы, творившей революцию, тот трагически-сложный духовный взлет, который пережил Серафимович в 1921—1924 годы, после побед и утрат гражданской войны, как оказалось, не «законсервируешь» в душе.

Сергей Есенин, вспоминал порой Серафимович, в двадцать семь лет пугавшийся:

Мне страшно — ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь, —

был, конечно, прав. Особенно прав для семидесяти лет...

Очерки («По донским степям»), публицистические и критические статьи («Из дневника писателя»), радиовыступления, цикл воспоминаний об А. М. Горьком, беседы с читателями во время поездок по Стране Советов — эти формы оперативного отклика на события, связи с жизнью оставались неизменным боевым оружием писателя-коммуниста до конца его жизни. Остальное? И попытка экранизации «Железного потока» совместно с режиссером Е. Дзиганом, и коллективное, с бывшим партработником В. И. Петровым, написание романа «Лавина творчества» — о современной деревне — все не получало завершения, откладывалось в силу разных причин. И чаще

всего одной: на плечи писателя, окруженного любовью и вниманием читателя, друзей, незримо давил груз лет...

Несколько книг актуальных прозаических фрагментов, очерков — о событиях индустриализации, коллективизации («Лавина творчества», «По донским степям»), о воспитании молодежи, о Красной Армии, о писателях и ученых — создал Серафимович в последнее предвоенное десятилетие. Он объехал многие города — Архангельск и Пермь, Ростов и Тулу, Коломну и Горький — с докладами на литературные темы и «вечерами рабочей критики».

В 1933 году Серафимовичу исполнилось семьдесят лет. В приветствии ЦК ВКП(б) писателю было сказано:

«Коммунистическая партия высоко ценит тов. Серафимовича как пролетарского писателя-революционера, творца классического произведения «Железный поток». ЦК ВКП(б) желает тов. Серафимовичу здоровья и сил на дело служения рабочему классу и на дело полного торжества социализма».

Роман «Железный поток» в эти годы стал надежным спутником новых поколений, он стал полпредом нового мира в мировом художественном процессе.

В канун юбилея, в самом начале 1933 года, Серафимовичу позвонил К. Е. Ворошилов.

«Спросил меня поначалу о здоровьице, о том, каково мое самочувствие в год моего полного возмужания, — рассказывал Серафимович об этом разговоре незадолго до смерти. -- «На здоровье особо не жалуюсь, — ответил я, — донцы-скакуны, может, и не всегда уже под силу, но и без доброго коня, Климент Ефремович, слава богу, не обхожусь».

Тут-то он мне и сказал, что высокие руководители партии нашей и государства думают, какой бы достойный моего имени город там, на тихом Дону, в мою честь переименовать. И спросил он меня: «Может быть, старинный, хотя и с явно молодящимся названием Новочеркасск?»

Много картин мгновенно пронеслось в памяти писателя... И работа в «Донской речи», и первая любовь, женитьба, и революционные рефераты 1905 года, и приезд в Новочеркасск сразу после изгнания калединцев в 1918 году... Он не любил атаманского дворца, обывательского духа, царившего в этой провинциальной столице. Но он знал уже, что в Новочеркасске не стало и памятника его основателю, сотоварищу Суворова и Кутузова, герою войны 1812 года М. И. Платову. Не стало проспекта его имени... Исчезновение Новочеркасска?! Нет, новой

обиды славной истории казачества не должно быть. Серафимович ответил:

«Коли уж решили, что быть на Руси городу с именем стареющего писателя Серафимовича, или Попова (родная-то моя фамилия — Попов!) — назовите моим именем близкую сердцу моему скромную придонскую станицу Усть-Медведицкую».

В 1933 году станица Усть-Медведицкая, получившая статут города, была переименована в город Серафимович. Одновременно с этим в «Правде» было опубликовано Приветствие ЦК ВКП(б) А. С. Серафимовичу и постановление ЦИК Союза ССР «О награждении орденом Ленина пролетарского писателя А. С. Серафимовича». Среди множества приветствий, полученных писателем в дни юбилея, было письмо, напомнившее ему давнее событие — декабрь 1917 года, разрыв со «Средой», — письмо М. С. Шагинян. «Знаете ли Вы, — писала М. С. Шагинян, — какой огромной поддержкой для тех из нас, кто принял Октябрь, была в эти дни прямая и прочная репутация большевистского писателя? В ответ на клевету, иронию, размагничивание у многих из нас на языке был единственный аргумент: «А Серафимович?», «А Блок?»

В 1942 году Серафимовичу была присуждена Сталинская премия первой степени за многолетние выдающиеся достижения в области искусства и литературы. Всю денежную сумму — премию — сто тысяч рублей — старый писатель вносит в фонд обороны, на создание танка «Александр Серафимович».

С ВЕРШИН СОЛДАТСКОГО ПУТИ

Какая подкупающая, мужественная старость у этого человека!.. Мы знаем и ценим Серафимовича как одного из тех писателей-большевиков старшего поколения, которые сумели пронести сквозь тьму реакции всю чистоту и ясность своей веры...

М. А. Шолохов. Писатель-большевик (1938)

...В августе 1943 года, когда разбитые в упорном оборонительном сражении на Курской дуге, в «железной сече» под Прохоровкой гитлеровцы покатились на запад, к

Днепру, в освобожденный Орел прибыла группа советских писателей. Вместе с Константином Фединым, Всеволодом Ивановым, Павлом Антокольским, Борисом Пастернаком к солдатам 3-й армии, которой командовал генерал А. В. Горбатов, приехал и 80-летний Александр Серафимович.

В солдатской шинели без погон, с глубоко врезавшимися морщинами на лице и совершенно белыми усами на калмыковатом лице, он выглядел совершенным «патриархом», особенно рядом с К. М. Симоновым, оказавшимся по делам «Красной звезды» здесь же. Но из-под надвинутой до самой переносицы пилотки, белесых бровей светились умным огнем, живым блеском глаза человека, далекого от старческой немощи. Он умел и пошутить, и дар занимательного рассказчика не тускнел в нем.

Старость, конечно, обретала и над ним свою угнетающую власть. Он и сам думал порой, что человек на склоне лет начинает походить на срезанный временем букет цветов... Увядает, сохнет, и хорошо, если в том «букете» есть хоть несколько веточек, цветков бессмертника!..

В пути, в кабине запыленного «газика» — а дорога шла через Тулу, Чернь, Карачев — Серафимович пристально всматривался в следы последнего исторического сражения на краю русского поля, под Курском и Орлом. Сброшенная в кюветы дорог вражеская техника, воронки, рваные раны полей, хаотические нагромождения камня, балок на месте Мценска, пепелища и остовы печей на месте «тургеневских» деревень Красивая Меча, Бежин Луг, Спасское-Лутовиново. И толпы людей, возвращавшихся домой из лесов, оврагов, лощин...

— Даже раненых советских бойцов, захваченных в плен, гитлеровцы свозили на вокзальную площадь Орла и... минировали. Черные души, отбросы человеческой породы... Таких супостатов не знала еще русская земля, — рассказывал ему командарм 3-й армии генерал-лейтенант Александр Васильевич Горбатов, солдат-гусар времен первой мировой войны, георгиевский кавалер, талантливейший полководец.

Третья армия после освобождения Орла находилась во втором эшелоне. Серафимовичу поставили в лесу палатку, опекали «плотно», старались деликатно удержать его от прогулок.

— Но я хитрый, — рассказывал позднее писатель, — чуть народ поредеет, я сейчас же удирал туда, где пушки

гремят. Народ-то там, а я что же — на фронт лесом любоваться приехал?.. Народ — это сила...

Колонны пленных фашистских вояк, медсанбаты, еще переполненные ранеными, лежавшими часто прямо на носилках, на земле, выходившие из лесов партизаны с оружием всех систем... Опекавшие Серафимовича офицеры заставали его нередко на дороге беседующим с бойцами, партизанами... И самое удивительное — этот старец, часто прикладывавший руку с небольшим рупором к уху, чтобы расслышать слова, — неутомимо записывал что-то!

Командарм 3-й армии А. В. Горбатов тяжело переживал в эти дни потерю командира 308-й сибирской дивизии Л. Н. Гуртьева. 3 августа, в бою, почти ворвавшись с бойцами дивизии в Орел, этот генерал был смертельно ранен. После победы на могиле героя в Орле был установлен памятник. Сейчас командарм, вздохнув, подписал представление о посмертном присвоении Л. Н. Гуртьеву звания Героя Советского Союза.

— В Сталинграде уцелел, а ведь переправился в горящий город в труднейший для защитников день... Шли в атаку чуть ли не от кромки берега. Тогда уже его, полковника Гуртьева, называли комдивом бессмертных... И вот Орел... А я, Александр Серафимович, признаться, был удивлен, когда и в 1942 году встречал в газетах ваши очерки, статьи о Сталинграде... И, судя по подробностям, писались они не в Ташкенте... Не страшновато было подходить к огню?..

Генерал старался говорить внятно, не затруднять излишне почтенного собеседника. Серафимович рассказал, как он «приблизился к огню».

После разгрома фашистов под Москвой писатель решил выехать из столицы... Куда? Конечно, не в Уфу, не в Ташкент, а в родной город. Чувство Родины, чувство гнезда необычайно обострилось в нем. 1942 год, «год Сталинграда», застал Серафимовича на Дону. Он жил в Серафимовиче с женой Феклой Родионовной (женился вторично он в середине 20-х годов), двумя внучками, Искрой и Светланой, и редактором его сочинений Г. Б. Нерадовым. С началом фашистского наступления город Серафимович стал прифронтовым. Фашистский десант был выброшен вблизи него, на хуторе Большом. Надо было спешно эвакуироваться... «Буду уезжать со всем народом», — упрямо твердил писатель в ответ на все предложения об отъезде. Редактор Г. Б. Нерадов вскоре выехал, как и многие писатели, в Ташкент —

«город хлебный», как шутил Серафимович. Но сам он так и не поехал дальше Ульяновска. Сюда, на родину В. И. Ленина, он добрался с последними частями, уходившими с рубежа Дона.

Сталинград... В армии А. В. Горбатова было много вчерашних сталинградцев.

Высокое пламя пожарищ на Волге опять, в который раз, вспомнилось Серафимовичу и здесь, возле сожженного, дымящегося Орла.

Ульяновск был непосредственным тылом фронта. Здесь — в госпиталях, на пристани, куда приходили с обгоревшими палубами пароходы — писатель видел ход событий с высот солдатского подвига и страдания. Сухие донские степи, хищные тела «юнкерсов» в голубом небе, солдаты в побелевших от соли гимнастерках, отбивающие атаки фашистских танков у Воронежа, в излучине Дона — все страшно приблизилось к нему. Об этом поединке сказал, словно предвидя очередные испытания для Родины, Ф. И. Тютчев:

О край родной! Такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней...
Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

Серафимович вновь жил в те дни в ритме героических дней, забыв о грузе лет, лежавших на его плечах. И голос его, голос художника-патриота, звучал в летние месяцы 1942 года на всю страну.

«Отстоим Дон и Волгу! Отстоим Русь-матушку! — писал он в июле 1942 года. — Натиск немецких орд разобьется о две грозные для них линии — донскую и волжскую... Главным залогом успеха является дух героической Красной Армии, отстаивающей родную землю и уверенной в победе над фашистами... В бой, товарищи! Победа будет за нами».

Грозным и страшным становился для врага тихий Дон. «Не сломит, не сможет сломить враг нашей мощи, нашей решимости и воли биться за Родину, за свой кров, биться до последней капли крови, до последнего вздоха, — писала в эти дни «Сталинградская правда». — Патронов не хватит в бою — шашкой будет рубить казак; шашка сломается в бою — зубами в горло врагу вгрызется казак!»

Радостью переполнилось сердце старого писателя, когда он узнал, что именно от города, носящего его имя —

Серафимовича, — началось историческое наступление Советской Армии.

Впечатления от поездки в 3-ю армию легли в основу очерков Серафимовича, объединенных позже в цикле «Это — не чудо». Он писал о мужестве, беспредельных возможностях советского бойца: «Нет, не чудо! Это вытекает из всего внутреннего строя русского солдата». Он вспомнил, что и раньше «русские солдаты умели замечательно драться за Россию...». Как же возросла после революции эта неохватимая народная сила!

Продолжал сражаться вместе с народом и «Железный поток». Как свидетельствует писатель П. Федоров, создатель романа о генерале Доваторе, в дни боев под Москвой бойцы в промерзших землянках, при свете крохотных ламп, часами перед боем слушали, как звучит «кубанская мова в «Железном потоке», — от нее веяло левадами, горячим зноем степей, мощью народного мужества. Как громадного протяжения фриз, как барельеф с десятками фигур, охваченных единым порывом, вставал «Железный поток» в пространстве исторического времени.

В июне 1947 года Серафимович в последний раз посетил город своего имени.

Лето было жарким, и крутящиеся столбы пыли проносились порой по задонским степям. Паром, как и много лет назад, резал светлую гладь донской воды. В эти задонские дали можно было смотреть без конца.

Старость, как вспоминал Н. С. Тихонов, живший в одном доме с Серафимовичем, прочно положила на плечи автора «Железного потока» свои тяжелые лапы. Он становился тише, осмотрительнее, скупее в желаньях и, встречая все, сколько-нибудь зрелое в литературе, лишь приветствовал его с какой-то детской улыбкой. Лишь заботы о возрождении города Серафимовича, окрестных сел и хуторов — им он отдавал много сил — делали его неуступчивым, страстным. Да еще воспоминания! О далеких веснах, ярмарках, красавицах казачках, рыбачьих кострах он мог, оживая, становясь моложе, говорить подолгу. Эти воспоминания отодвигали в сторону грозный счет утрат — уже не стало ни А. М. Горького, ни А. И. Куприна, ни А. Н. Толстого, ни Ф. И. Шаляпина, ни В. Я. Шишкова. Этот счет год от года делался все более тягостным.

...Когда-то на этом высоком холме рождалось захватывающее дух ожидание, даже предвкушение:

> Ох и как же ты, даль, на Руси далека!
> Уж не будет ли жизнь для меня коротка?

Сейчас равновесие жизненных сил поддерживалось убеждением, что есть в букете его жизни, срезанном, конечно, временем, недугами, несколько цветков бессмертника. Среди созданий революции, в творениях эпохи, озаренной творческим гением Ленина, в ряду книг, устремленных в грядущее, Серафимович видел свой «Железный поток». Его роман, «душа в заветной лире», вышедший из лаборатории народа, творившего свою новую судьбу, рождал возвышенную связь времен, связывал и его создателя с неведомым еще миром грядущего...

А. С. Серафимович умер 19 января 1949 года и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. С. СЕРАФИМОВИЧА

1863 7(19) января — Родился в станице Нижне-Курмоярской Области Войска Донского.

1883—1887 — Учеба в Петербургском университете, начало революционной деятельности.

1887—1890 — Ссылка в город Мезень, затем Пинегу Архангельской губернии.

1888 февраль — март. Публикация первого рассказа «На льдине» в газете «Русские ведомости».

1897 — Начало работы в газете «Приазовский край» (Ростов-на-Дону).

1898—1900 — Работа в газете «Донская речь».

1898 — Женитьба Серафимовича на К. А. Петровой.

1901 — Выход сборника «А. Серафимович. Очерки и рассказы». Книга I. Издание Б. Н. Звонарева. Спб., 1901.

1902 — Начало работы в московской газете «Курьер». Встреча с А. М. Горьким, Л. Н. Андреевым.

1903 — Выход книги «А. Серафимович. Рассказы». Том 1. Изд. т-ва «Знание», Спб.

1907 — Выход книги «А. Серафимович. Рассказы». Том. 2. Изд. т-ва «Знание». Спб. Создание рассказа «Пески», высоко оцененного Л. Н. Толстым.

1912 — В журнале «Современный мир» публикуется роман Серафимовича «Город в степи».

1915, апрель — Поездка в Галицию в составе Пироговского врачебно-продовольственного отряда. В отряде работала М. И. Ульянова.

1917, апрель — Серафимович входит в состав сотрудников «Известий Московского Совета рабочих депутатов». С ноября 1917 года — заведующий литературно-художественным отделом газеты.

1918, май — Вступил в ряды РКП(б) Московской организации Краснопресненского района.

1918—1919 — Поездки в Ростов, Новочеркасск, Воронеж. Поездка на Восточный, Южный фронты в качестве корреспондента «Правды».

1920, май — Гибель сына Анатолия. Письмо В. И. Ленина.

1924 — В альманахе «Недра» появляется «Железный поток».

1927—1929 — Работа в журнале «Октябрь». Публикация романа «Тихий Дон» М. А. Шолохова.

1933 — Станица Усть-Медведицкая получает статут города и новое имя — город Серафимович.

1934, август — Выступление на I съезде писателей СССР.

1943, август — Поездка в освобожденный Орел. Встречи с бойцами и командирами 3-й армии. Присуждение Сталинской премии (1-й степени) за выдающиеся работы в области искусства и литературы...

1949, 19 января — Смерть А. С. Серафимовича.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Серафимович А. С. Собрание сочинений в десяти томах (1940—1948).

Серафимович А. С. Собрание сочинений в семи томах (1959—1960).

Волков А. А. А. С. Серафимович. ГИХЛ. М., 1951.

Гай Г. Н. Творчество А. С. Серафимовича. Харьков, 1958.

Гладковская Л. А. Творческий путь А. С. Серафимовича. 1956.

Поляк Л. А. А. С. Серафимович. Лекции по истории русской советской литературы. Кн. I. Изд-во МГУ, 1951.

Хигерович Р. И. Путь писателя. М., Детгиз, 1956.

А. С. Серафимович. АН СССР. М.—Л., 1950.

Воспоминания современников об А. С. Серафимовиче. М., «Советский писатель», 1977,

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ

«В СЕРДЦЕ СНОВ ЗОЛОТЫХ СУМА...»

Рано, чуть ли не лет пяти-шести, я уже начал чувствовать и через чувство воспринимать мир, меня окружающий... Я жадно пил непонятную для меня поэзию.

А. Неверов. Из письма Е. Ф. Никитиной (1922)

...Идут с западной, «мокрой стороны», сырые осенние тучи, закрывают последний уголок неба, дающий слабый, неверный свет деревенской улице. Отсырели соломенные — «под гребенку» — крыши изб самарской деревни Новиковки. Почернели голые кусты над речкой Красной. Земля совсем перестала впитывать воду. И дорога, проходящая по деревенской улице, размякла, расползлась, как будто придвинулась к самым плетням. Распутица без грязи не стоит...

Каменный дом новиковского крестьянина и мелкого торговца Елисеева, стоящий посреди села, тоже медленно заполняют сумерки. Глухо бьет в окно дождь-косохлест, стучат по стеклу ветви яблони-дичка, звякает на крыше задираемый ветром железный лист... Но сквозь полосы стекающих по оконному стеклу дождевых капель даже с улицы видно лицо мальчишки лет девяти-десяти, жадно, с угасающей надеждой глядящего на дорогу. Временами он оглядывается назад, на растапливаемую кем-то печь, начинает вяло грызть давно начатое яблоко, а затем вновь, прилегая лбом и носишком к стеклу, застывает у окна...

А по дороге через мутные лужи с пляшущими на них дождевыми пузырями тянутся, ворочая черное месиво, возы с соломой, хворостом, зелеными арбузами-последышами. Мальчишке кажется, что они навсегда увозят куда-то лето, солнышко, тепло.

С улицы темень заползает в избу, и вот уже потускнел даже золотой блеск иконостаса в углу. Лишь малой зыбкой искрой, проколовшей сумерки, горит язычок лампадки перед бабушкиной «матерью всех скорбящих».

Саше Скобелеву, девятилетнему мальчишке, быстрому, юркому, «ровно челнок», как говорит о нем бабушка, одержимому бесом любознательности, становится наконец скучно сидеть у окна. Он горько вздыхает, спол-

зает с подоконника. Он готов даже повыть от тоски. Подлинная фамилия Александра Сергеевича Неверова, родившегося 12 декабря 1886 года в селе Новиковка Ставропольского уезда Самарской губернии и прожившего до шестнадцати лет в Новиковке в доме деда по матери Н. С. Елисеева, — Скобелев. Псевдонимом «Неверов» он («веривший» и «не веривший» в свой талант!) подписал свой первый рассказ «Горе залили», появившийся в 1906 году в петербургском журнале «Вестник трезвости».

...Дел нет никаких, и Саша, насупясь, молча начинает следить за тем, как бабушка, засветив керосиновую лампу, купленную в лавке, разводит огонь в печи. Хворост, занесенный Сашей, отсырел, даже лежа под навесом, и горит он вяло, плохо. Знакомый чугун с вымытой картошкой опущен до половины в печь. Он «провис» в ней до самого огня, нехотя лижущего его бока. Вода в нем только-только закипает. Но Санька — где ж остановить мысль! — уже видит, как вздуются в чугуне пенные пузыри, как «очнутся» и заворочаются картофелины... То-то радость! И скучный дождь забудешь! Самые верхние картофелины, конечно же, лопнут, разойдутся створками, обнажив белые рассыпчатые сердцевины с крупинками! От одного предчувствия этого — а бабушка уже молча ставила на стол знакомую солонку с крупной серой солью, постное масло, соленые огурцы и помидоры — рот у Саньки невольно наполнился слюной.

Войдя в дом, стряхнув в сенях мокрый иней дождя, дед сунул Саньке горсть слипшихся леденцов в чистой тряпице и с усмешкой, как у заправского мужика, спросил:

— Ну, Санька... Как зимовать-то будем? Беда с этой осенью... Вот-вот и озими подопревать начнут... И солома наша, видно, много мы с тобой зерна не выколотили, ростки зеленые пустила...

После ужина Саша, к великому удовольствию деда, обычно читал «что-нибудь из истории», из тех былей, в которых, как говорил В. Даль, поистине «что взаправду было и что миром сложено — не распознаешь».

Исторические хроники о крепости Самаре, основанной в 1586 году для защиты юго-восточных границ России от набегов ногайцев и крымских татар, о Разине и казачьем войске на Яике (Урале) дед любил не случайно. Он держал наряду с лошадьми, крестьянским хозяй-

ством бакалейную лавочку. И часто ездил за «товаром» — солью, пряниками, сухой сарептской горчицей, моршанской махоркой, таранью — в Симбирск, Оренбург, Самару, Макарьев. Места, где «Стенька Разин богат проплыл и проехал», где якобы видели, что «на судах его веревки и канаты были все шелковые, а паруса все из материи персидской учинены», были ему известны с молодых лет.

Русский торгаш-коробейник из вчерашних пахарей или прасолов — таким был дед Саши — вообще плохо понимал, как отмечал писатель А. И. Эртель, идею капитала, «входящего в русло, получающего неподвижную форму». Он не умел просто стричь купоны, ему была нужна беспрерывная «практика», беспрерывная игра ума в родной среде, в поездках, встречах. Лицо деда, отмеченное привлекательной мужественной простотой, лицо бывалого человека, которого на мякине не проведешь, озарялось радостью, когда знакомые города и местности оживали в сцеплении далеких событий.

Саша читал звонко, усердно, осторожно переворачивая тяжелые страницы. Дед восхищенно следил за юным грамотеем в стареньких штанах. И когда лампа начинала чадить, подливал, ловя укоризненный взгляд супруги, дорогой керосин. Чтение располагало его к сладостным мечтаниям.

— До грамоты ты, Александр, вострый. И в крестьянское житье-бытье лезть тебе не резон. С грамотой да с умом и прежде жилось не худо... А теперь, ежели пойдешь по торговой части... Вексель, скажем, простая бумажка. Только в ём — деньги... И с грамотой, да ежели об умных людей потрешься...

Дед не успевал, как правило, высказать всего... В разговор вступала бабушка, души не чаявшая во внуке, «смышленой головушке», уже обиженной судьбой.

— Как ему не стараться, если дед у него грамотей... Дочь родную не мог уберечь... Да и отец-то, пьяница, куда как учен. Ни в одном заведенье долго не держат... Только и мастер — сирот пускать по белу свету. Хлеб не каждый год родится, а у него дети — вишь ты, в самый аккурат. И тоже твердил, с этой же лавки: «к крестьянству не привержен», «дух у вас чижолый», «буду искать вольные земли».

Бабушка отходила от стола, оглядывалась на ико-

ну, глаза ее наполнялись слезой... Дед ерзал на лавке, начинал сердито кашлять, не находя подходящего ответа. «Резониться» с женой ему не хотелось. Саша поспешно забирался на печь, где уже спали на дерюжках его старший брат Иван и младший Степка...

История недолгого и несчастливого брака его родителей не раз уже оживала в застольных «прециях» в дедовском доме. Отец будущего писателя Сергей Иванович Скобелев, появившийся в Новиковке после службы в Петербурге, в лейб-гвардии Семеновском полку в чине унтер-офицера, был натурой непоседливой, с явной «порчей» в характере. «В кабаке родился, в вине крестился», — говорили в народе о таких. Завидный жених, лихой ухажер с городским «подходцем», завлекательный для застенчивых, неграмотных, как правило, крестьянских или мещанских девиц на выданье, он оказался совершенно никудышным семьянином. Кормильца-отца, свято помнящего, что «вино ремеслу не товарищ», из него не вышло.

Не было в нем жилистого терпения, известной косности, каменного упрямства в борьбе за скудно даруемые судьбой хлеба насущные. «Хоть час — да вскачь!» — так бы ему хотелось пожить. А сорвешься с линии, не удается почин — «вино память о беде отобьет, утешит».

С такой-то моральной подготовкой он вначале «вошел» в дом тестя, потом сделался «самостоятельным хозяином» на своем наделе. Но достаток в семью не являлся, терпение быстро истощилось. И те босяцкие «дрожжи», что попали в «тесто» в петербургских трактирах, страсти бравого «ундера» быстро поднялись в полуобразованном, вернее, полуразвращенном служаке. К великому огорчению тестя и особенно тещи, наблюдавшей муки дочери, Матрены Николаевны, матери Саши Скобелева и еще четверых детей, Сергей Иванович скоро продал избу, лошадь, оставил жену с детьми в Новиковке и уехал в Сибирь. Зачем? В той же нетерпеливой надежде найти «вольные земли», разбогатеть, выскочить из тяжкого хомута малоземельного хозяйства.

Но поистине «хорошо там, где нас нет». И в новые места человек прежде всего привозит самого себя. Постранствовав по Сибири, он убедился, что везде степи засижены, исковыряны плугами, изрезаны на клочки. На новых пришельцев смотрят косо. Везде теснота, вез-

де нет желанного ему приволья. Да и деньги скоро кончились...

В Самаре, куда Сергей Иванович вернулся из Сибири, уже обретя прочную привычку к пьяному буйству, к дракам в семье, к особой «языкатости» полулюмпена в отношениях с начальством, началось беспрерывное скаканье с места на место. Яростно чертыхался на глазах у Саши дед, горько вздыхала бабушка по «судьбе Матренушки» на глазах у Саши, когда доходили вести из Самары: сегодня непутевый зять служит швейцаром, завтра — городовым, послезавтра — железнодорожным кондуктором... И везде свежие полуштофы с водкой, развязная дерзость начальству, громы и молнии в безответную, обремененную пятью детьми и нуждой жену...

Матрена Николаевна, измученная болезнями, неурядицами, рано скончалась. Отец вскоре женился вторично и — таковы превратности «петушиной судьбы»! — завел еще двух детей. А Саша? Оставшийся в деревне у деда и бабки, горячо любимый ими, он был неизменным напоминанием о горестной судьбе их дочери, его матери. И чем большим разумником он, «сиротка бесприютная», становился, тем острее — сложна все же жизнь человеческого сердца! — он напоминал старикам об утрате, неизбывной обиде на бесталанного, незадачливого зятька.

«Хорошего коня пасут...» Дед Саши вовсе не был жадным человеком, захваченным мелкой страстью накопительства.

Он видел, какой сложной становится паутина денежных взаимоотношений в новые времена. И «чек», и «вексель», и «расписка» — тоже бумажка. А в «их» деньги! И новая фигура — рантье, шинкарь так оплетал мужика с достатком, что сколько он ни плати, а все «процент», «начет» останется. Паук новых дней, ростовщик и мельче мух, он только ползает, бегает по паутине, но сколько «мух» с крыльями у него в плену!

Дед не раз видел, как вышибали подати, недоимки с новиковских и иных крестьян. Становой, староста заходили в избы, бесцеремонно заглядывали в сараи и клети... У ворот останавливались, как стая коршунов, повозки скупщиков, поджидая результатов недолгих споров станового с хозяевами. И едва в избе начинались кри-

ки — платить было явно нечем — скупщики жадно набрасывались на ослабевшее хозяйство: куски полотна, самовары, овцы и коровы скупались за бесценок. Бабы бухались в снег перед становым, выли, цеплялись за телок, овец... Скупщики с красными от ветра и выпитой водки закаменевшими лицами торопливо отсчитывали мелочь... Эти мамаевы набеги скупщиков на безденежные крестьянские дворы повергали и деда в отчаяние....

Бакалейная лавочка, мелочная торговлишка давала кое-какие «живые» деньги. И дед всеми силами поддерживал «дело».

В долгие зимние ночи он, забравшись на печь к внукам, среди пучков сушеных трав, целебных корней, не рубленного еще самосада, пускался нередко в воспоминания:

— Мой-то отец, твой, Санька, прадед, был проигран одним барином другому, здешнему Лазареву. И переведен, стало быть, сюда... Было это еще до воли, при «крепости»... Лазаревский-то дом да остатки винного завода и сейчас целы.

Сестра будущего писателя, А. С. Панкова-Скобелева, вспоминая эти беседы на печи, отмечала:

«В такие минуты я не узнавала Сашу. Из тихого, ласкового мальчика он превращался в мстителя. Сжимались кулаки, глаза загорались ненавистью. Он спрашивал: «А если бы, деда, дали нам волю, сладили бы мы с ними или нет?» И когда дед отвечал уклончиво: «Нет, Сашка, воля ихняя и теперь!» — Саша становился задумчив».

Писатели-самоучки на Руси, выходцы из самой доподлинной низовой России — России слобод, сел, мелких городов, те, о которых писали на могильной плите «без наук образован природой», не имели, естественно, ветвистого родословного древа. «Дальше деда» у них, как правило, не было родни в прошлом. Даже преданий в мужицкой жизни не сохранялось, а могилы на сельских кладбищах были безымянны. Сами деревни то и дело сгорали без следа. Но власть прошлого, власть снов о прошлом всегда велики у впечатлительных, поэтичных натур! И они делают массу судорожных усилий, трогательных и мучительных, побеждая беспамятство, скудость письменных и иных памятников!

...В летний день, не слыша возни кур в горячем песке, клекота индюков, пробив босыми ногами узкую до-

рожку среди полосок хлебов, светловолосый мальчишка в рубашке с пояском, весь во власти какой-то неизреченной мысли, бежит на разоренное барское гнездо. Зачем? Какие письмена хочет прочесть он там? Он и сам, вероятно, не ответил бы на это... Но пробужденные психические силы ищут выхода, пищи для догадок. Мальчик жаждет жить не только тем, что дано сейчас, но и тем, что было в прошлом. Воображаемая часть народной жизни столь же реальна для него, как и настоящая, он то и дело толкается в обе «двери» — будущее и прошлое. Связать порванные, прогнившие звенья, воспитать в себе интуицию времени как беспрерывного перехода «вчера» в «сегодня»!

Той усадьбы и тех тропок сейчас нет. И мы можем лишь проводить взглядом русоголового мальчика, можем вглядеться в его нахмуренное лицо со следами непосильных раздумий, когда он, оторвав доску, смотрит на блестящие изразцовые печи, уцелевшую резную мебель, потемневшие, знавшие, может быть, державинские времена портреты. Наполовину сгоревшая свеча в медном подсвечнике, книги с медными закладками — все пугает его и восхищает. Заброшенные развалины, обломки былого, оплакивающие свою судьбу! Мы можем выслушать позднее воспоминание писателя: «Я видел, как созданная моим воображением барыня или барин расхаживают вот по этим комнатам, как они пьют чай, как одеваются, спят, гуляют, разговаривают, и стоило в это время обвалиться внутри дома штукатурке с потолка или стукнуть кому-нибудь за стеной нечаянно, как я, в безумном страхе, отскакивал назад и долго не мог отдышаться».

Завязать свой диалог с прошлым, вызвать его голоса пробовали — на куда более высоком уровне исторической ностальгии! — очень многие русские художники. И В. И. Суриков, и М. В. Нестеров, и А. Н. Бенуа, и Н. К. Рерих, и И. Э. Грабарь. Иллюзия, миф, греза становились и для них средством преодоления величественной немоты былого. Но нет более трогательных мук, чем муки этого деревенского мальчишки, пробующего понять темный мир ушедшей жизни, «спросить» его о чем-то, не зная ушедших богатств, печальных и прекрасных страниц родной истории!

> Я понять тебя хочу,
> Темный твой язык учу!..

Но кто мог помочь ему понять темный для пытливого мальчишки язык! Многое уже было утеряно безвозвратно...

Диалога с прошлым он завязать, конечно, не смог. И... И кончилось тем, чем кончаются все детские игры с непонятной, таинственной и потому «непокорной» игрушкой. Бегал-бегал Саша на усадьбу, пустую, безмолвную — всех беспомощных в хозяйственном плане дворян давно «съел» с землей и усадьбами купчина Конурин, — и вдруг вернулся домой потрясенный, взволнованный, «заявив деду, что хотел поджечь старый барский дом, но ему помешал какой-то мужик».

Отчаянная отвага, бесшабашное богохульство над беззащитным прошлым потрясли до основания самого Сашу... Осознать себя в роли носителя возмездия за муки дедов и прадедов ему было не по силам.

Дед пожурил внука и велел забыть об этой затее.

...О том, что дед готовится в путь-дорогу, Саша узнавал, пожалуй, первым, узнавал по множеству примет.

Освобождалась от повседневного труда-заботы одна из лучших лошадей. И не только освобождалась, но ее заранее начинали особо прикармливать, чистить. «Не лошадь везет, а корм». На телеге менялись треснувшие или укреплялись старые, уже сползающие колесные ободы. У деда с бабушкой начинались бесконечные деловые беседы, пересыпаемые то и дело просьбами — «то-то попомни», «не забудь».

Со странниками, божьими людьми, вечно останавливавшимися на ночлег в доме, оживленно обсуждались приметы, «знаки» на небе, явления комет, своего рода прогнозы погоды, урожая, знаки мировых потрясений. Саша слышал все.

— Не земля родит, а год... И день дню весть подает, — говаривал дед.

Вот и сейчас выяснилось, что на крещение «день был теплый».

— Значит, хлеб будет темный... Непроходимый. День-то дню указчик.

Важно было — для гороха или ягод, овец или осенней погоды, — был ли густой снегопад в январе, заносил ли снег «встоячь собаку после «Евдокеи» (то есть 1 марта), не развелся ли заяц: «В сухой год зайца больше, в сырой — мыши...»

Странники, бродячие монахи, божьи старушки, постоянно ночевавшие в доме, рассказывавшие о «святых местах», чудотворных иконах, торговавшие кипарисовыми крестиками, водой «из реки Иордань», стружками «от гроба господня», изгонялись на время поездки в другой конец деревни. Где-то в глубине души дед не очень верил в благочестие этого пришлого люда и побаивался «оживления» воровских повадок его.

Желанный день поездки — в Симбирск или Тетюши Казанской губернии, с переправой через Волгу на пароме — наступал неожиданно.

Рано утром, когда над селом еще стыла туманная, сырая дымка, дед быстро запрягал лошадь, бросал в телегу безмен, высокие порожние ящики, корзины, мешок с овсом, цеплял сзади пустое ведерко, а на свободный «пятачок» накладывал сена или свежей травы. Лошадь, переступив пару раз на месте, скоро трогалась.

На изволоках дед соскакивал с передка и шел рядом с телегой. Иногда он подвозил — ради интересного разговора — странников в длиннополых рясах, подпоясанных обрывками веревок или мочалом, на которых висели жестяные чайники. Странники рассказывали фантастические вещи: где-то было чудо, где-то «прошибло слезой» икону скорбящей божьей матери... «И плачет денно и нощно пресвятая заступница страждущих и болящих, а от той слезы бриллиантовой исцеляется хворый и недужный...»

Не оставляла деда и любимая мечта, счастливая надежда на «коммерсантское» будущее Саши. Он сочинял вдруг, веря и не веря в свои мечты, сладостную картину сбывшихся в Саше надежд.

— Послужишь вначале в лавке... При дверях или младшим приказчиком... Как откроется лавка, не ленись, товар-то покрасивше раскинь, сам — весь на струне. Другой стесняется, языком не ворочает, а ты будь человеком, не бойся людей-то. Ну там, дамочке, чиновнице али купчихе присоветуешь мадополаму купить. Какой завалялся!.. Сам и отмеришь мигом. Тары-бары разводишь, с улыбочкой, а аршин-то работает, сверкает, как молния, в руках молодецких. Первое дело — ловкость да память... Пожалте! Натянул — и ножницы за ухо, дернешь за край, только треск стоит... А хозяин-то все примечает да и похвалит опосля, как четвертак-то в куске останется... Ни одна лиса себе на хвост не нагадит!

Поднатореешь, деньжонок скопишь да и свое дело начнешь...

Дед, конечно, больше лицедействовал, сочинял: сам он был неважным коммерсантом, и очень скоро его торговля расстроилась... Он просто привык, что в жизни всегда царит надувательство кем-нибудь и кого-нибудь с игрой, озорством или в угрюмом молчании! Дед как будто хотел привить внуку вкус к коммерческим козням, жажду ежеминутных стяжаний, ловкость игрока, процветающую в торговых «рядах», лавках.

...На паромной переправе через Волгу — новые впечатления. Вповалку спят мужики-чуваши с мешками. Из-за ящиков, кулей, бочек с олифой выглядывают мальчишки, дети переселенцев, едущих в Сибирь. У приземистых лабазов громоздятся — велик труд Волги-кормилицы — мешки с зерном, крупой, воблой, высятся горы грабель, кос в связках. Издали ударяет в нос забористый запах архангельской селедки и семги чердынского засола.

Не спеша, подбирая полы рясы, прохаживается, ожидая переправы, батюшка. А возле артели ужинающих крючников вертится — то посидит, то встанет — юродивый. Плешивая голова его трясется на короткой голой шее, глаза слезятся, а конусообразная монашеская шапка то и дело «переламывается», склоняется набок... Время от времени он тянет нудным, писклявым голосом бесконечную песню:

Выходил человек на Сион-гору,
Посмотрел человек вниз под землю...
Если чем земля изу-у-украшена,
Изу-у-у-украшена церквами божьими...

Удушливый кашель прерывал пение, сотрясал его коротконогое тело, он явно был голоден и чем-то болен. Но ни купеческие приказчики, ни плечистые крючники (грузчики) в пропревших от пота рубахах, в опорках, к удивлению Саши, не замечали его.

В дороге удовлетворялось постоянно жившее в Саше Скобелеве стремление к душевному простору, к бесконечности развития. Этот крестьянский мальчик формирует в себе чувство пространства, свободу размещения в нем фигур, предметов, событий. Он учится соединять частности в какое-то подобие целого. «Прилепленный» к жизни где-то сбоку, в тихом углу, ребенок этим самым выползает на ее середину, в освещенные места. Позднее

приходят догадки о времени как о чем-то «встроенном», хитро спрятанном в механизм случающихся, чередующихся событий...

Не было, кажется, ничего в мире, что не питало бы его фантазию, не рождало странных догадок, не растило в его душе «цветок красоты, страха, радости и величайшей грусти перед тем, что входило в меня помимо сознания» (из письма Неверова о детстве). И к жизни своей он еще долго будет относиться как к сказке.

«...Переплывали Волгу на пароме, целыми днями ехали лесом, полем, и ощущения мои становились богаче, и работа мысли сложнее, — вспоминал Неверов одну из поездок с дедом. — Лежа в передке телеги, я смотрел на далекое небо, на плывущие по небу тучки и мучительно думал о том, зачем и откуда пришло все это, и куда уйдет дед, дедова лошадь с телегой, куда уйду я сам, куда уйдут травы, деревья, деревушки, мужики и бабы. Если встречалась какая-нибудь птица, сидящая на полевой меже, для меня интересным было в ней не то, что она думает, а что и как она чувствует. Чувствует ли, что я гляжу на нее, и не грустно ли ей сидеть на меже? Особенно тягостные впечатления производили на меня полевые часовенки на раздорожье. Едешь-едешь, бывало, и вдруг наткнешься на такую сиротинку под черным повихнувшимся карнизом, с криво посаженным крестом, с черной безликой иконкой, полинявшей от дождя и ветров. Кто, когда ее поставил? Кто и когда останавливался около нее, о чем просил бога и помог ли он ему?»

Жизнь в доме деда шла и в канун русско-японской войны, первой русской революции все в том же русле. О продолжении Сашей учебы ни дед, ни тем более отец не подумали: для крестьянских трудов и работы в лавке, половым в ресторане и простой грамотности, считалось, «достанет». Будущий писатель работал в поле, возил сено, солому, хворост, убирал за скотиной. По вечерам он слышал новые «рассказы-слухи» странников, мытарей божьих, о чудесах, засыпал под сорочье, скороговоркой свершавшееся, чтение очередной бабушкиной гостьи: «В городе Назарете жили благостные люди Иаким и Анна. Они дожили до глубокой старости, но детей не имели. Но не роптали на бога, а просили, чтобы даровал им дитя. Бог услышал их молитвы, даровал им дитя, которого нарекли Марией...»

Но сам Саша ощущал, что мечты уже «творят» его будущее, готовят ему отрадные перемены.

Какое же будущее виделось ему? Оно не такое уж неожиданное, если вспомнить вдохновенные песнопения деда о «карьере» ловкого приказчика в лавке... Но для самого Саши, легко пропускавшего все грубое, низменное, пошлое, эти мечты стелились в будущее цветистым шелковым ковром.

«...Лет с пятнадцати началось во мне какое-то брожение, — вспоминал Неверов. — Вдруг ни с того ни с сего совершенно пропала охота к крестьянству и захотелось сделаться половым. Видел я и раньше этих людей, когда ездил с дедом за товаром, и они производили на меня неотразимое впечатление: черные пиджаки, белые салфетки под мышкой, артистическое лавирование с подносами между столиков, звон посуды, дымящиеся чайники — все это волновало меня несказанно, и думал я, что лучше этой жизни ничего не может быть».

Пылкий, талантливый юноша явно томился однообразием и обыденностью жизни, томился между двумя полюсами — дедовской лавочкой и скотным двором. Сказывался и отцовский характер — непоседливый, даже бесшабашный, ершистый. А может быть, оживал в характере и дар предвидения своей судьбы. Начиналось «самоотравление» фантазией — первая предпосылка или раннего стихотворства, или... Или религиозной экзальтации чувств, молитвенного пафоса! Для хрупких поэтических душ оба исхода в деревенской среде, в религиозной семье были вполне реальны. И наивное стихотворство, галлюцинации творчества, и молитвенное смирение — просветы в обыденщине, обманчивые, но на время кажущиеся спасительными.

Дед, услышав о мечтаниях внука, поначалу удивился. Он-то не был фантазером в сей миг:

— Неужто шестеркой хочешь околачиваться! Скоро ль на свое-то дело «начаевать» сможешь... Допрежь избалуешься...

Но потом и он смирился в надежде, что трактирная сутолока «и вымучит и выучит» внука. Авось смышленый паренек глянется хозяевам, сядет затем за «стойкой», где служба не в пример чище и почетнее...

И вот снова поездка в дедовской телеге. На этот раз не столь далеко — в Самару, к непутевому отцу.

Дед не успел всерьез поговорить с отцом. Бывший «унтер», лихой и бравый гвардеец, утратил к этому вре-

мени былую отвагу, «гордыню», дорого стоившую его первой жене и детям. Укатали сивку крутые горки. Он жил уже спокойнее, дорожил дружбой с «солидными» людьми. И надо сказать — нажил уже добрых знакомых, жалевших гуляку праздного, смело «встревавших» в его заботы о семи детях от двух браков.

Одна-то из этих знакомых, жена самарского городового Анна Андреевна Бурмистрова, узнав о приезде Саши к отцу, о поисках для него места полового в трактире, сейчас же все перерешила. И за деда, и за вяло внимавшего всему отца, и за самого юношу!

— Помилуйте! Грамотный, чуткий мальчик, и что же, — заговорила Анна Андреевна, — смотреть пьяницам в глаза, как собака, ожидая чаевых, подачек. Доедать на кухне деликатесные закуски и с этаких-то лет... допивать из бутылок. Всякую мерзость...

Она настояла на своем тем более успешно, что сам Саша, выехав из села, сразу ощутил острую тоску по земле, лошадям, родной речке. Он был еще неизвестен сам себе. Известен, вернее, лишь отчасти.

Анна Андреевна решила, что грамотея Сашу надо определить учеником в губернскую типографию. Это и было успешно сделано. Дед вернулся домой, а Саша начал свою жизнь «в людях».

...Типографские машины, шум ремней, запах краски, огромные листы бумаги, выбрасываемые машинными «грабельцами», моментально — как вспоминал позднее писатель — убили в нем недавнюю выдуманную любовь к чайной, трактиру, родили иной душевный трепет:

— Вот она, настоящая жизнь!

Саша Скобелев в пятнадцать лет — невысокий, худощавый юноша. В печально-кротком взгляде его сквозит не только ум, «сметка», но и глубоко чувствующее сердце, живет что-то несоизмеримое с его повседневным существованием... Но никто, никто в целом мире — вот ужас отчуждения на выходе из детства! — не подумал: как же насытить его око зрением, как дать ему более сложную и одухотворенную работу?..

Он стал томиться от однообразия операций, автоматизма нового труда, не требовавшего душевного отклика. А душа-то его как раз и была «голоднее» всего! Саша стал припоминать повторяющиеся, тоже однообразные в своей цикличности деревенские труды и дни, даже осенние вечера... И оказалось, что они всякий раз — поездка ли это в ночное с лошадьми, первая весенняя борозда,

«дышащая» в грудь прелью разогретой земли, сенокос с пиршеством запахов и красок — не оставляли его душу безразличной, одинокой среди дела. Да и циклы труда были не столь «дробными». «День да ночь — и сутки прочь...» Нет, длительная забота о хлебе, глубокий труд души от весны с ее заморозками, лета с возможной засухой до осени — куда интереснее...

Бостонка стучала, «грабельцы» по-прежнему укладывали бумагу в стопы, приводные ремни шелестели... А Саша уже не радовался ничему, он сгорал от нетерпения показать себя и в новом деле...

Кончилось все внезапно и быстро... Саша оставил типографию и пешком отправился назад в Новиковку, к деду...

Дед, вероятно, не очень обрадовался появлению внука, обнаружившего известную «слабость» при штурме судьбы. Потеряно «место», потеряно время, не нажито навыков жизненной борьбы. Бакалейные дела у деда в это время шли к упадку, ему был нежелателен «лишний рот». И через некоторое время дед вновь, на этот раз минуя отца Саши, его знакомых, повез внука на новое место. Повез в большое торговое село Старая Майна, в восемнадцати верстах от Новиковки. Здесь он определил его в галантерейную лавку купца Никифорова.

На первых порах в этот раз все внешне пошло хорошо. Саша вновь увлекся делом, новой сферой жизни. Лишь очень пристальный взгляд — а кто им обладал? — мог бы заметить, что юноша из Новиковки, подавая покупателям пуговицы, гребешки, булавки, расхваливая перед деревенскими модницами пунцовые и голубые ленты, ловко заворачивая покупки, вновь скорее «лицедействует», играет, наслаждается некой музыкой новых понятий, нежели преследует грубовато-земную цель — урвать свое, разбогатеть. «Метафизика» торговли, игра с людьми, слушанье занятных красных словечек, извивы ума ему важнее «физики», звона серебра в чужом, да и в своем кармане.

«...Запах скипидара, камфары, мыла, масла, красок, подметание полов, беганье с чайником, разговоры с покупателями — вот где была музыка. А в доме купца по ночам, после торговли, была другая музыка: моя новиковская дерюга и спанье на полу в кухне, тишина и заброшенность, строгий хозяйский окрик. Я чувствовал какую-то несправедливость. Эта несправедливость скоро вылилась в страшную скуку, и в базарный день, бро-

сив в кухне хозяйской свою дерюжку, бежал я снова к деду».

На этот раз дед не на шутку осерчал на внука, сущего «босяка», почти «золоторотца». Их-то дед немало перевидал на волжских пристанях. Высокий и какой-то «чудной» уровень ожиданий внука от жизни, явное несоответствие механического труда на «бостонке» или за прилавком ожиданиям поэтичной души — все это, как блажь, было ему непонятно. «Дают, — бери, а бьют — беги», «От кого чают — того и величают», «Копейка рубль бережет», «Поклонишься — не переломишься», «Синица в руках лучше, чем журавль в небе» — множество пословиц, жизненно-философских формул, «оформлявших» покорность судьбе в мудрость, знал он. По этому негласному кодексу он и судил теперь внука-мечтателя.

Продержав Сашу дома еще одно лето, дед вновь отвез его осенью в Мелекесс и определил в мануфактурный магазин купца Березина «мальчиком при дверях». Это была последняя, пожалуй, самая длительная — целый год — служба будущего писателя. И не потому, что он наконец-то увлекся торговлей, зазыванием покупателей, тем более уходом за хозяйской скотиной. Бежать было некуда: ни в Самару, где с мачехой жил отец, ни в Новиковку, куда его, пожалуй, и не принял бы уже дед. Да и пришло прозрение — мир не так уж тепл, не столь сказочен. Многие легко способны «окоченеть» душевно в мелком деле и не искать журавля в небе...

Но что же делать, если?.. Если «под душой так же падаешь, как под ношею»? Если снов золотая сума в сердце не исчезает? И хочется одухотворять, улучшать мир?

Вероятно, юный поэт — а Саша Скобелев, что вполне «ожиданно», уже пробовал писать наивные стихи! — так бы и барахтался в тине мелочных обстоятельств, невзгод, в плену Руси уездной, становясь чудаком даже в глазах близких людей или упрощаясь, если бы не ниточка случайности, протянутая ему благосклонной судьбой...

Были и в Руси уездной затерянные, вероятно, как иголки в стогах соломы, одинокие поэты-самоучки, ревнители чистого знания. Сидели они часто в уездах, деревнях, как жемчужины в навозе, воздыхая о всеобщем нестроении. Но родственные себе души они узнавали сразу. Они могли понять юношу, который носит в себе

«мир иной», то есть талант не амбарного приказчика, не вертлявого официанта, не смирившегося со всем чиновника, а поэта, который слишком «в даль незнакомую простирается».

Таким человеком оказался в Мелекессе крестьянский поэт, член Суриковского кружка С. В. Денисов. Именно о нем Саша услышал однажды насмешливые разговоры за хозяйским столом. «Сочинитель, видите ли, и деньги ему еще присылают, до ста рублей порой, за стихи, за словесную полóву какую-то».

В ближайший же день, переделав всю работу в доме купца, Саша помчался на Большую улицу, где жил «сочинитель». Это был самый нужный ему человек в мире! Заветная тетрадка со стихами — многое из нее Саша уже читал на кухне кухарке Аксинье, она плакала от умиления — лежала в кармане пиджака. Даже в спешке Саша не забыл проверить, на месте ли она.

Спиридон Денисов выслушал сердечно исповедь юного поэта. Узнал, что из правил орфографии он обучен одному: перед «а», перед «что» и перед «который» надо ставить запятую... Он сразу понял, что писать, а главное «искать в небе журавля» Саша не перестанет... И пожалел его. Сколько же мук ждет на этом пути шестнадцатилетнего подростка с голубыми глазами, с пепельными волосами ершиком! Что же посоветовать ему?

— Надо учиться! «Фонарик», хоть невеликий, в голове-то зажечь... А для правильного писанья стихов надо знать стихотворные размеры, ударения.

Решительности Саше не занимать. Он попробовал тут же, самостоятельно одолеть один учебник, измучился, «обалдел», как он припоминал впоследствии. Но ничего из этого не вышло. «Фонарик» не зажигался...

К счастью, нашлись еще два человека — священник П. Высоков и неизвестный «старичок живописец», живший в Мелекессе, которые посоветовали юноше учиться. Надо поступать в Озерскую второклассную школу, а после ее окончания — в учительскую семинарию.

«Отслужил молебен за пятачок, — вспоминал Неверов, — покрестился на соборную колокольню и, с сумочкой за плечами, с желанием учиться, пошел пешком из Мелекесса за сорок верст в село Озерки на экзамен.

Поступил, стал учиться стипендиатом. Это было в 1903 году».

УЕЗДНАЯ БУРСА В 1905 ГОДУ

Итак, больше веры в будущее, больше упорной работы, больше терпенья. Путь долог и тернист...

А. Неверов. Из письма П. Я. Коныжеву

Озерки — волостной центр Ставропольского уезда — большое село, раскинувшееся по краям крутого, поросшего тальником оврага. Вокруг обычная, неоглядная степь. Лишь кое-где полоски дубовых рощиц, садов. Над селом возвышались две церкви. На деревенской площади, где стоял кабак богатого крестьянина Клюева, по субботам устраивались базары. Со всей волости свозились бондарные, скобяные, шорные, гончарные изделия, ситцы и сатинеты, платки и полушалки. У клюевского кабака, хозяин которого, казалось, без слов внушал всем: «Вам моя харчь, мне ваши деньги», — было людно с утра до глубокой ночи. Водка отпускалась в розлив, сидельцы метались как угорелые, к вечеру вспыхивали ссоры. И тогда являлся урядник по прозвищу Пуга — здоровенный рябой великан, не расстававшийся с ременной плетью.

Саша Скобелев — «паренек среднего роста, кряжистый, крепкого телосложения, с открытым живым взглядом серых глаз, с густой и волнистой шевелюрой» (по воспоминаниям его учителя А. И. Свидерского) — в первые же дни обежал все село.

Унылое зрелище! Сколько навыков рабства, покорности, вялого житья-бытья во всем!

Главная улица — Панская, на левом берегу оврага, и жители ее, «панки», государственные крестьяне в прошлом, ныне вконец разорили себя пьянством, томящим их бездельем, остались без земли...

На правом берегу оврага избы бывших барских крестьян. И улицы — Петянкова, Хотева, Соковнина, Аверкиева — получили свое название по именам помещиков. Помещики давно исчезли, разорились, стали безземельной шляхтой на государевой службе, а земли их захватили купцы и кулаки.

«Проснись, дремучая Русь! Вылезай из обломовского халата и курной избы! Ты спишь на богатстве! Торгуй, наживайся, пускай в оборот свои черноземы, урожаи, кладовые недр, лесов и вод, рабочие руки!» — хрипел

чугунным голосом свою «песню» новоявленный воротила жизни — капитал.

В Руси уездной эта песня отнюдь не глохла... Но сразу нырнуть в кипящий уже котел капиталистической суеты большинство мужиков не могло, и сейчас их жизнь напоминала распущенную пружину, межуемочную трату дней. Не жизнь, а вялое выживание...

У встречного мальчишки Саша заметил в руках кусок хлеба, из которого торчали остья лебеды, соломы... страшна бедность, незамирающая, дикая, круговая. Но и богатство здесь тоже нечистое, полупреступное, мрачное, нажитое по кулачному праву! Везде, по обе стороны водораздела — чудовищная власть тьмы, одичания...

В Озерской школе негласным принципом учебного процесса было:

«Больше воспитывать, чем учить, больше сообщать навыков, чем знаний, больше развивать религиозное чувство, чем ум».

Стук монашеской клюки слышался в этом предписании Святейшего Синода! И действительно, в ней, как в старой бурсе, преимущественно молились, а не учились. Пробуждение, начало и конец завтрака, обеда, ужина, каждого урока, внеклассных занятий, отход ко сну — все это сопровождалось бормотанием ирмосов, кондаков и тропарей под наблюдением преподавателей. Число «молитвоговорений» составляло более двадцати в день...

Заведующий школой и законоучитель А. М. Сунгуров был далеко не добродушным «лесковским» батюшкой, спокойно почивавшим после службы и сытного обеда со стерляжьей ухой. За многие годы священства он нажил водяную мельницу, конный заводик, имел много земли, скота. Царство его было «от мира сего».

Уроки Сунгурова превращались для Саши Скобелева в наглядные демонстрации лицемерия. Восходя на кафедру в дарованной ему Синодом бархатной, фиолетового цвета, камилавке, порой и с орденом св. Анны, Сунгуров как-то легко забывал о своем богатстве, начинал убежденно и даже духоподъемно греметь о тщете земных житниц, славы:

— Православные отроки! Вы узнаете сегодня евангельскую притчу о богатом юноше, вопросившем господа нашего Иисуса...

Саша Скобелев, его новый друг Павел Комаров, сын здешнего «батрака с наделом» Емельяна Комарова (как

писатель он будет известен затем под псевдонимом П. Яровой), заслышав этот зачин, обычно сгибались за партами, исчезали за спинами других.

И тут-то начиналась потеха! Возникали сатирические портреты Сунгурова, его клеврета В. Г. Феклистова, учителя пения, вечно семенившего за отцом Сунгуровым, шепча что-нибудь ему на ухо... Саша же сочинял короткие эпиграммы, незаметно передавая их соседям.

А Сунгуров гремел с кафедры, не умолкая ни на миг:

— ...Раздай имение нищим и иди за мной. И поник богатый юноша очами и отошел прочь, ибо владел большим...

Пока карикатура или эпиграмма блуждала с парты на парту, Саша придумывал очередной дерзостный вопрос к вдохновенному законоучителю. И вот Сунгуров заканчивал затянувшееся словоговорение нравоучительной тирадой:

— Земная жизнь дарована для чего? Чтоб в ней мы могли окупить царство божие на небеси: бедный — безропотным смирением и терпением, ежечасно восхваляя господа, богатый — отвращением к тленному своему земному богатству...

Он отирал пот со лба платком — его подавал Сунгурову тот же Феклистов, который из почтения и сам потел так же, кивая, тряся головой в «ударных» местах беседы. Сунгуров ожидал вопросов. Саша не вставал, а скорее вскакивал, лукаво оглядываясь на ряды «бурсаков», и начинал «смущать» класс:

— Ежели бог всемогущ, то может ли он создать такой камень, которого бы сам не поднял?

Возникал шум, хлопали крышки парт, Сунгуров краснел и начинал кричать на богохульника.

Впрочем, он не только кричал... «Оный Скобелев отрицал творение и творца вселенной, всемогущего Господа Бога. Отрицал благолепие божественных заповедей господних. Оный Скобелев хулил не однакожды символ веры Христовой, выражая свои воззрения на литургию, как на пьесу... Всеуслышно хулил горячие молитвы ко Всевышнему. Лично возвестил однокашникам и поднял класс противу моего богослужения» — так писал заведующий школы о своем «противнике» в одном из отчетов в Самарскую духовную консисторию.

Эти подробности поведения объективно рисуют нам нечто новое и незнакомое в юном Саше Скобелеве. Он

словно «пробудился» и начал яростно, озорно, ернически даже, рвать тот золотой кокон снов, видений о жизни, который сплетал с детских лет сам же! Это уже не мечтательный инок, не созерцатель, а человек, который смело наносит обиды тем, кто его возмущает. Он готов — без содрогания! — бунтовать, «богохульствовать», бить стекла в доме у ябедника-попа... А в дни революции 1905 года, когда Самарская губерния была охвачена «аграрными беспорядками», когда горели помещичьи усадьбы, — чаще всего к выгоде не бедноты, а кулаков, «кувшинорылых» купцов, оборотистых торгашей! — именно Саша Скобелев подбил свой класс на особый вид протеста.

Однажды, едва Сунгуров подошел к дверям в класс, как все повернулись на партах... спиной к кафедре! Взору вдохновенного проповедника на этот раз предстали не лица, а затылки учеников... Назойливый, неутомимый в выдумках смутьян Скобелев запечатлел эту однодневную «забастовку» в очередной эпиграмме, которую «однокашники» затем выучили наизусть и даже распевали:

Поп Сунгуров — консерватор,
Трехкопеечный оратор,
Вздумал слово нам сказать...
Собралися мы все рядом,
Как на смех, к нему все задом,
Стали мудрой речи ждать...

Испуг перед злокозненным стихотворцем, неусмиренным «богоборцем» — и это в 17 лет! — со временем стал в селе столь велик, что ему, Курчавому, как звали Сашу, стали приписывать проделки, вирши, в возникновении которых он был «не причинен».

Но откуда вообще это злое, совсем не забавное озорство, дух непрерывного вызова всяческому смирению, молитвенности?

Революция 1905 года перемешивала все атомы социального и исторического бытия. Она снимала запреты со многих душевных движений, открывала все «клапаны».

Бесспорно, нельзя всех бунтарей — вплоть до незрелых анархистов или чиновников, не получивших очередного повышения и чуточку «покрасневших» на время, — зачислять в революционеры. Иные желали и просто легкости проживания, надеялись скакнуть — бог весть за какие заслуги! — с запяток на облучок! Другие иждивен-

цы бури исходили из «мудрости» римского плебса: коли есть у него брюхо — давай ему и корм...

Бунтарство Саши Скобелева, еще не знавшего ни угнетения, ни горя, — скорее всего поединок натуры певческой, нервической, легко впадающей и в меланхолию, и во власть «огнепальных» страстей, с косностью, застоем, лицемерием. Школа — часть старого мира — давала мало знаний и особенно знаний, нужных ему. Это-то и ожесточало его! Счастливого равновесия радости жизни, своевременного и соразмерного силам возрастания ноши знаний и опыта, Саша никогда не знал. Все постигалось рывками, буслаевскими скачками, в лихорадочном горении, все обрушивалось на юный ум обвалом. Новое строилось непременно на месте старого, озорство теснило смирение...

После той «тишины истории», которая царила в доме деда, Саша вдруг попал в атмосферу, полную отголосков революционных событий, ломки былых устоев. Спокойно разобраться во всем он не мог.

Очень скоро обнаружилось, что революция по-своему вмешалась в воспитание и в «круг чтения» будущего учителя. Круг чтения сузился до листовок и прокламаций, но зато сразу слился с кругом действий.

Отголоски острых споров вокруг крестьянской общины, земли, кипевшие в Самаре, Саратове, Воронеже, к концу 1905 года не просто доносились до волостей поволжских губерний. В Озерках вся «проблема общины», этой утопической опоры народников для скачка в столь же утопический социализм «мимо капитализма», была выставлена на всеобщее обозрение с величайшей наглядностью.

Что представляли собой иные выморочные дворянские усадьбы? Саша Скобелев знал смешной ответ одного дикого барина:

— Земля? Да у меня и земли-то — на заячий скок...

Так говорил о своих владениях ходячий анахронизм барства, зверский помещик Педенко, сидевший «на пустых щах и снятом молоке». Как гоголевский Плюшкин, он тайком воровал у крестьян сохи и бороны.

Рядом с ним, как мелочь, перетираемая жерновами кулацкого землевладения и огромными помещичье-купеческими латифундиями, как резерв армии батраков, расшатывалось, ища опоры в кабацкой чарке, множество

батраков с мелкими наделами общинной земли. И у тех земли на заячий скок или куриный шаг. И вся она, перезаложенная, пропитая, лишь условно своя.

В программах «октябристов», в земельной программе П. А. Столыпина было начертано одно: всемерное содействие переходу крестьян от общинного владения к личному... Это означало одно — и Саша Скобелев видел контуры процесса везде — полное разорение беднейших крестьян, превращение их в «сельхозрабочих», выброс еще большего количества «батраков с наделом» на рынок труда. И конечно же, сотрясение всех основ былого уклада, сумятицу в умах, страхи, стремление хоть на миг «завязать веревочкой горе», то есть пьянство.

Но видеть и понимать — разные вещи. Глазом можно «пользоваться», но можно при пассивности мысли быть и в рабском плену у него.

К счастью, у юного Саши нашлись старшие друзья, оценившие и его знание жизни, начитанность, и ту «кряжистость», что была и в фигуре и в характере сероглазого живого парня.

«Засиживались за полночь, — вспоминал учитель А. И. Свидерский беседы с Сашей Скобелевым в дни революции. — Читали брошюры по аграрному вопросу, спорили о том, к чему приведут революционные события. В программах политических партий ни я, ни мои собеседники толком не разбирались: нас стихийно захватила и подняла всеобщая волна возмущения существующими порядками».

В руках у будущего писателя наряду с очерками Г. Успенского замелькали и популярные политические брошюры «Хитрая механика», «Пауки и мухи» — своего рода введение в арифметику классовой борьбы. Затем появились листовки, экземпляры газеты «Искра» на гектографе, отдельные сочинения Маркса и Энгельса, газета «Борьба», издававшаяся большевиками Самары. Такое не читается в одиночку. Саша собирал в роще у села деревенскую молодежь и устраивал коллективные читки.

Не верилось, что такое возможно. Но это стало возможно в условиях известной растерянности царизма во время Всероссийской стачки, в дни вынужденного дарования конституции. Да еще потому, что полиция в Озерках была из местных жителей...

Но чтение, даже самое захватывающее, обжигающее новизной, — не высший предел активности для разма-

шистой, дерзкой натуры, сбросившей паутину сладкой меланхолии.

К тому же революция как драма «играется» сразу миллионами актеров, высекает столько «искр» из трения, борьбы интересов, что для такой натуры вспышка почти неизбежна.

И вот — почти пустяк в другое время — торговец Слепцов сбыл для интерната, где жил и Саша Скобелев, тухлую рыбу и полуиспорченное мясо. Вдобавок в котле со щами нашли подметку от сапога!

В малом масштабе повторилась ситуация на «Потемкине»!

Второклассники тотчас решили «бастовать». И не одни, а с «союзниками» — ученицами женской школы в Ставрополе. Им было отправлено письмо с предложением выступить совместно.

Забастовка, или, лучше сказать, «волынка», петиционная кампания была, конечно, огромной школой для будущего писателя. Он обрел запас высоты на будущее для оценки многих сторон жизни. Это уже не бурсацкое высмеивание законоучителя, не школярское ерничество. К тому же в дни «забастовки» Саша сделал новое открытие. Он увидел, что девчонка вроде Нютки Логиновой, шестнадцатилетней ученицы из ставропольской школы, может быть смелее и решительнее его...

Нютка Логинова... По свидетельству П. Ярового, эта отчаянно-смелая, решительная девчонка — ей было 16 лет! — для девятнадцатилетнего Саши значила очень много: «Он ей отдал первый гонорар, полученный в размере десяти рублей за рассказ «Горе залили». Он любил ее серьезно, по-юношески. Логинова была девушкой серьезной. Полуцыганка, с большим уклоном к тенденции новой женщины, она натолкнула Александра Сергеевича на вопрос о положении женщины в обществе».

Воздействие решительных, экзальтированных натур да еще во власти девичьего обаяния на натуры неустойчивые, нежные, бросающиеся из одной крайности в другую, едва ли поддается измерению. «Лично я — болезненный идеалист, человек тихий, кроткий, и все кровавые жертвы... меня страшно угнетают», — признавался позднее Неверов. И когда рядом с ним явилась натура, совсем непохожая на всех деревенских девушек, на замученных жизнью баб, Саша на очень многое прозрел. Словно тень былых народоволок прошла рядом с ним.

Петиция — удивительное произведение эпохи! — рож-

дена пылким, стихийным бунтарством Саши Скобелева и умным, не по-женски жестким пафосом Анюты Логиновой, в будущем революционерки, партийной работницы. Петицию эту в 1906 году опубликовал журнал «Вестник учителей», выходивший в Петербурге. Голос отроческий звенит в каждой ее строке:

«Мы, второклассники, как один, громко заявляем о своем существовании и требуем, чтобы о нас вспоминали и позаботились о нашем будущем, так как и мы люди и граждане.

Ни одна струя свежего веяния... не проникла еще в нашу школу, ни один яркий луч света не блеснул в этом гнилом полумраке! Не одна светлая мысль потухла в самом зародыше, не один честный, добрый порыв заглох в наших сердцах...

Многие из нас, окончив курс школы, вступали в жизнь, шли «сеять разумное, доброе, вечное»... Но тут их ожидало что-то ужасное, грозное, кроме нужды и хронического голодания вследствие грошовой оплаты труда; научая детей чтению, они видели, что не могут научить народ жить, так как все годы «науки церковной» им самим ничего не дали... И все порывы свои и мечты со словами страшного кому-то проклятья они топили в отвратительных попойках и гибли, гибли преждевременно...

Мы — люди, мы — дети крестьян, которые века уже несли на своих плечах цепи рабства, невежества, тьмы; мы хотим жить, стремиться к свету, хотим работать на пользу народу.

Мы требуем...»

Бурные обсуждения петиции в большой аудитории школы, изгнание из зала Сунгурова, наезд станового и предводителя дворянства... На фоне великих потрясений, которые переживала тогда Россия, вступившая в век революций, все это кажется уменьшенным, микроскопически малым вариантом многих, осознанных и стихийных схваток, усиливавших «нестроение» в государстве.

Но и к великому часто идут маленькими шажками, в упорной борьбе с ограниченностью собственных сил.

Весной 1906 года Саша Скобелев был выпущен из школы и направлен на работу учителем в село Новый Письмерь. В марте 1906 года в петербургском журнале «Вестник трезвости» появился первый рассказ писателя «Горе залили», подписанный псевдонимом Александр Неверов.

ТАМ, ВО ГЛУБИНЕ РОССИИ...

Не ищет вчуже утешенья
Душа, богатая собой.

Д. Веневитинов

По накатанной осенней дороге, изрезанной окованными колесами телег, осыпанной здесь и там клочьями сена, конскими «яблоками», густыми каплями дегтя, без особой спешки движется обывательская подвода. Поля уже убраны, кое-где чернеют полосы свежей пахоты. Облака бегут в холодной высоте, но дождей нет, и солнце свободно пробивает «дыры» в облаках и радужным пучком бросает лучи на дорогу, берега деревенских прудов, усеянные утиными перьями. Солнце давно уже не обжигает, не томит зноем, а лишь сверкает, серебрит ползущую над полями паутину... Все тихо, даже беззвучно, лишь в далекой синеве со слабым криком плывут журавли.

В деревнях домолачивают рожь. И гул от дробных и частых ударов цепов, от рева молотилок на дворах у крепких хозяев, характерный шум бабьего сборища то и дело наплывает с токов на дорогу. Стаи отъевшихся воробьев — этим не нужен юг — то и дело шумно взлетают над ригами, добирают свое на полях.

Навстречу подводе ползут тяжелые хлебные обозы. У крепких бревенчатых трактиров они надолго замирают. Распаренные мужички, ошалевшие от многолюдья, торопливого общения и «сугрева», бухая дубовой дверью, выбегают к терпеливым лошадям. Бросив охапку сухого сена, они вновь ныряют в темное, гудящее логово кабака.

Велик соблазн! И возница, пожилой крестьянин из села Новый Письмерь, объезжая затор возов у кабака, усыпанную клочками сена коновязь, невольно вздохнул, оглянулся на седоков. И только наткнувшись на насмешливый, озорной взгляд главного из них — молодого парня со связкой книг, тощим чемоданом, — нехотя подхлестнул лошадку.

Неверов — это был именно он — ехал на свое первое место работы. В церковноприходскую школу, «школу грамоты» по официальной ведомости. Бабу с ребенком, хлопотавшую в волостном земстве «за мужа», сгинувшего в Маньчжурии, возница подобрал из жалости где-то на полпути.

Озорной лучик улыбки блуждал по лицу молодого учителя, сверкал в глазах.

Смешно было ему видеть неуклюжую радость родных, смотревших на него отуманенными глазами и то и дело вопрошавших:

— Это что же — и на дьякона теперь выйти можешь? Петь-то, чай, умеешь?

Развеселил и нынешний возница. Едва он подрядил подводу до Письмеря, сказав, что едет учителем, возница необидно и недоверчиво проворчал:

— Учитель... Немного ж нажил... Другие едут как люди... Сундучки, узлы, корзины... Таскаешь — не перетаскаешь. А вы, барин, ровно кулик из-под кочки выскочили...

Здоровая и крепкая свежесть осеннего воздуха, в котором не было ни весенней сырости, ни летнего дурмана цветущих трав, возбуждала его. Он был богат своей молодостью...

Молчание томит русского человека в пути. Возница, подымив самосадкой, оборотился к бабе. Пряча в густой, окладистой бороде горькую улыбку, а может быть, усмешку, собирая морщинки у глаз, он раскатил клубок бесконечной дорожной беседы:

— Что ж, матушка, твое горе — с полгоря... Пропал и пропал... Ляоян-гаолян... Слыхали и мы про них... Зато пособие, все в кучу клади, все ложка не пустая тебе выйдет. И дурью-то не рассыпайся. У других калеками повертались, только и делов, что до кабака с пятаком доползут. И мучаются с ними, ждут, когда только бог приберет. Калеку, мол, еще прокормим, а пьяницу, известное дело, никак не обработать...

Возница перевел дух, взмахнул кнутом, в глазах его вспыхнуло возбуждение. Он набрел на что-то свое.

— Возьми-ка и мое дело: шесть таких, как твой, все пить-есть просют... А отцу-то ногу под Мукденом отшибло гранатом... Отвязывая все ее, деревяшку-то, на ночь. Да и в угол... Кашлем зайдется, вздыхает всю ночь... Сумной стал какой-то...

Он погладил по голове мальчишку, сидевшего как воробышек, нахохлившись и сжавшись, между матерью и незнакомым молодым дядей в шляпе.

— А теперь-то и вовсе закатился в Сибирь, к киргизам, службу-место сулили, да и пропал... Снока-то чуть не паникиды по нем готова заказывать: мол, почует, если жив, затоскует о родных сердечушках, возвернется...

Баба неожиданно встрепенулась, будто вздрогнула, живо откликнулась:

— Служила и я панихиды, а пользы-то никакой...

Вскоре показался и Новый Письмерь. Солнце, совсем потерявшее силу, косо освещало золотисто-желтую стерню полос и черные полосы пахоты. «Как лента Георгиевского креста — золотая полоса с черной, — подумал Неверов. — Или траурный креп...» Трепетала на ветру жиденькая роща, по другую сторону дороги сверкал пруд, почти болотце, зараставшее мелким кустарником. Длинные тени близкого вечера бежали по земле. И везде, как паутина, упавшая на землю, — узкие тропки, изломанные дорожки, отделявшие один «лоскут» надела от другого.

У въезда в деревню — пустырь, груда амбарушек, плетневых загонов. И школа...

Сторож, к счастью, не заставил себя ждать. Двери в школу распахнулись, и нежилой, сыроватый запах ударил в лицо. Внешне благообразное здание оказалось внутри на редкость запустелым. Стекла в окнах наполовину перебиты, рамы гнилые, парты, сколоченные из горбылей, рассыпались, не желая служить «народному просвещению».

Даже высокий иконостас в углу — непременная часть интерьера в церковноприходской школе — был запылен, заброшен.

Неверов молча присел на ступеньку крыльца. Мерзость запустения, даже одичания поразила даже его, знавшего подобные же школы! Он попросил сторожа, словоохотливого старичка, принесшего самовар, поведавшего о спившемся предшественнике нового учителя, сходить к старосте.

Староста, уже узнавший от возницы об учителе, скакнувшем в телегу, как кулик из-под коряги, без пожитков, обутого в ступни, позвал учителя к себе. Неверов нехотя двинулся за сторожем. Староста сразу же угрюмо заговорил о квартире:

— Куда же вас ставить на квартиру? Час уже поздний... Прежние-то учителя жили у Царевых... Они и сейчас, слышь-ко, приглашают... Фамилия-то у вас представительная, генеральская.

Неверов не знал, как ответить на это предложение. Он поселился несколько дней спустя в семье бедного крестьянина Н. М. Иванова, полагая, что жалованье не позволяет ему претендовать на большие удобства. Недо-

вольный этим Царев-старший долго посмеивался над ним в бороду и всегда говорил о новом учителе:

— Фамилия-то генеральская, а с нищим схож...

Но сейчас Неверов не хотел говорить о своем житье-бытье. Он напомнил старосте:

— Вы видели школу? Как же там работать?

— Знаю, все знаю... Сжечь все надо бы или заколотить, к лешему!

— Заколотить? Да о чем вы говорите?

— Ее, ее... училищу-то вашу... Купить горбылей и заколотить... Вы думаете, нам польза от нее какая? Вот де она сидит у нас, эта польза-то! — И указал на шею. — Замучились! Дров давай, керосину давай, на сторожа давай, на поправки, ремонт тоись, давай, а коснись бумаги написать, все равно в люди и бежим и дураками слывем...

Неверов тоскливо огляделся... Изба у старосты как изба. С непременной печью, полатями, с ведрами на полу — с пойлом, варевом для коровы, свиней. Ни единой книги. От недавней бодрости и светлых ожиданий ничего не оставалось в душе. Как это — заколотить?! В незащищенный, прикрытый лишь птенцовым пухом краешек чуткой души болезненно вошло первое обескураживающее впечатление...

Так началась длинная, внешне самая однообразная полоса в короткой жизни Александра Неверова. С 1906 по 1915 год, когда его призовут в армию, Неверов будет работать во многих селах Самарской губернии — Камышовке, Колодинке, Супоневе, наконец, в Елани (1913—1915 годы). Везде — бедные школы, стихия нужды и пьянства в окрестной среде, неизменные десять-двадцать рублей жалованья, а до 1912 года — тоска одиноких осенних вечеров... Лишь в Елани, получая с женой до 70 рублей в месяц, он чуть-чуть перевел дух. Как оказалось, «вздохнул» он перед новыми испытаниями...

...Деревня любит открытых людей, у кого, по приметам, легкая рука, кто повышает пульс жизни. Ей ценен ум, бегающий по улице, «всегда под рукой», а не запрятавшийся в кабинет. Если же такой человек не имеет ни кола ни двора, вообще бесшабашник по этой части, то на него высыпаются все накопленные в душах «вопросы».

Очень скоро обнаружилось, что мужики Нового Письмеря с добродушным эгоизмом смотрят на нового учителя как на единственного, не связанного круговой порукой с «начальством» ходока по мирским делам. «Прижать»

его начальству, отняв, скажем, покос, заарестовав скотину, выдумав недоимку, трудно. Мудреной бумажкой не запугаешь — сам грамотен... Семья? И этого хомута нет.

Неверов сам невольно породил, усилил эти ожидания. Он искал встреч, бесед с людьми. Он видел, что Русь деревенская, «низовая» удивительно, поистине фантастически богата интересными людьми. Порой угловатыми, угрюмыми, застенчивыми, но неизменно страстно жаждущими «душу рассказать», поведать свою жизнь «по памяти, как по грамоте».

Были и особые качества в самарском крестьянстве, которые привлекали сердце молодого учителя. Известный писатель-воронежец, современник Г. Успенского, А. И. Эртель сказал о мужиках-степняках: «И народ не из бойких населяет эти края... Нет в нем той разбитной юркости, которою щеголяет ярославец, нет и смышлености подмосковного жителя; не блещет он сметкой и талантливостью наторевшего в отхожих промыслах рязанца, не обладает находчивостью костромича, оборотливостью владимирца, стойкостью и энергией сибиряка... Зато он помнит все ужасы крепостного права. Вечная нужда, вечное чиновничье и помещичье ярмо как бы обесцветили его фантазию, притупили его память на все необычное, на все выходящее из уровня серенькой, прозаической действительности. Он прежде всего землепашец... Он тих, страшно терпелив, добродушен, но любит разгул, питает склонность к веселой беседе, и в пору этого разгула, во время этой беседы, становится раздражительным и буйным... Веяние трактирной цивилизации тлетворно пронеслось над тихими степными деревнями» («Записки степняка»).

А как изучить этих степных людей со всей загадкой их прошлого и настоящего? Прежде всего слушая, постигая дух языка... Нельзя сиживать на завалинках, жадно выставив ухо, присутствуя и отсутствуя одновременно... Нельзя изучать народный язык, выхватывая летучие выражения, оторванные от жеста, как нельзя записывать песен без музыки. Нужно подойти к коренным истокам языка, к труду, к трудовым процессам! Только там можно найти давно потерянный ключ для того, чтобы отомкнуть им слово...

Неверов был давно убежден в этом. Что значит для постороннего разговор двух деревенских баб:

— Свободен ли у тебя безмен, Ивановна?

— Лежит, да он не годен: обманывает...

— А кого он обманывает: меня или их? Если их, то ничего...

Только шутка, сценка из народной жизни... Но он помнил, как дед, собираясь в дорогу, брал свой безмен, как извлекал его, покупая в пути сено или овес, чтобы необидно, шутливо и серьезно сверить с чужим, хозяйским...

В Новом Письмере Неверов уже не просто подошел к труду как источнику слова-жеста, жеста внутреннего и внешнего. Он подошел, начав с языка, вплотную к источникам социальных, нравственных конфликтов.

Первым из письмерских мужиков пришел к нему Павел Грачев. Неутомимый говорун, выдумщик, вышибленный всякими казусами из общего ряда, он стал постоянным ходоком, правдоискателем, ходил по крестьянским делам в Самару, Петербург. В битвах с «крапивным семенем», с крючкотворами-чиновниками он взбадривал себя словами:

— Я ее из-под земли вытащу, под водой найду, эту правду!

В рассказе «Пропавшая страна» эту страшную и «беспризорную» человеческую силу Неверов оживит в образе Егора Ивановича, ищущего вольных земель для общества, и в образе... Павла Грачева, случайного попутчика. Он, «словно богомол по святым местам, бродит по городским канцеляриям, топчется у подъездов, раздражает чиновников».

В Помряскине, Курумоче Неверов участвовал в сельских сходках. А в селе Царевщине, где в ноябре 1905 года крестьяне самостийно создали «народное самоуправление», существовавшее 12 дней, он не раз беседовал с участниками бунта.

Искры большого костра — революции 1905 года — как оказалось, были очень близко. В самом же Письмере они вспыхнули, воспламенив и молодого учителя, через несколько месяцев после его приезда.

Однажды к молодому учителю прямо в школу пришло несколько знакомых мужиков. Кончился урок, молодой учитель сразу вышел к ним. Он заметил, что все пришельцы чем-то явно взволнованы.

— Что случилось?

— Скот... стало быть... дохнет, Александра! Одним, выходит, воронам раздолье, а дети, поди, скоро и молока не увидят... Присоветуйте, ежели можно, всем миром подпишем...

Неверов давно замечал, что крестьянская беднота и даже природа округи стали своего рода легкой и «безнаказанной» добычей нескольких хищников. О местном купце-лесопромышленнике Хайдарове ему говорили не раз:

— Этот жмет, давит, топчет и плакать не велит.

С волостным старшиной Тюриным, мастером подлогов, взяточником, Неверов и сам уже говорил в спокойном, увещевательном тоне.

— Павел Яковлич! Ведь вы делаете подлость — это нехорошо... Зачем вы обижаете простой народ... За это бог накажет и царь не помилует.

Старшина прикидывался простодушным дурачком и поглаживал широкую бороду:

— Э-эт! Удивил... Бог-ат высоко, а царь-та далеко...

Что же случилось в этот раз?

Оказалось, что плотина на речке Письмерке, которую нагло, никого не спросясь, воздвиг Хайдаров, и образовавшееся «водохранилище» для замочки корья совершенно испортили, отравили речку — естественный источник водопоя. В небольшой срок пала часть стада — до трехсот коров, телят, овец... Для бедной «кривобокой деревушки» Письмерь это было тяжело.

Что делать?

Посылать в волость, в уезд Павла Грачева, надеясь на его глотку, настырность, — этак и всего скота можно лишиться... Мирская шея жилиста, но и она не выдержит действий князька Хайдарова...

...В эту ночь Неверов, подлив побольше керосину в лампу, до утра не отходил от стола. Он писал в газету «Симбирские вести» свой первый фельетон «Князек Хайдаров».

«Эстетика» листовок, прокламаций, обращенных к неграмотным низам, требовала резкости красок, сугубой наглядности мысли. Неверов вспомнил некрасовское: «Купчина... толстый, присадистый, красный как медь». Мысль оттолкнулась от «причала». И дело сдвинулось.

«Брюхо у князя с сороковушу, лицо словно красное солнышко, того гляди, загорится. Толстые ноги обуты в сапоги бутылками... Брюхо на нос лезет, а на шею хоть обруч наколачивай — не то лопнет».

От Неверова-художника в этом фельетоне, как и в двух последующих — «Право сильного», «Скажите откровенно», тоже опубликованных в газете «Симбирские ведомости», — лиризм пылких проповедей, лихорадочных обращений к совести, неистовое нетерпение бунтаря.

Произошло нечто похожее на чудо: корявое, фельетонное слово стало вдруг делом, приказом! Мужики, страшившиеся любой казенной бумаги, услышав о «правильных» статейках некоего «Ивана Червячка» — так были подписаны фельетоны, собравшись толпой, дружно разметали плотину на Письмерке. На удельное имение, другой объект зла, куда приводили их коров, задержанных за потравы, совершили вооруженное нападение, обстреляв его крупной дробью из ружей. Для подавления «бунта», вызванного «учителем Скобелевым», самарский полицмейстер В. Критский прислал казаков.

Самарский вице-губернатор С. П. Белецкий, подловатый и мелкий «сподвижник» П. А. Столыпина, отдал секретное предписание:

«...Пресечь преступную деятельность оного Скобелева как возмутителя крестьянских общин.

Подвергнуть квартирожительство Скобелева тщательному обыску, а также лиц, соприкасавшихся с оным Скобелевым.

Подвергнуть Скобелева негласному полицейскому надзору по Закону Охраны Империи...»

Губерния воистину «пошла писать». И не только она. Давний недруг Неверова, трехкопеечный оратор Сунгуров — отыскался и он, не «забыл» своего ученика, — написал, как выяснили исследователи Н. Н. Страхов и Н. Мацкевич позднее, пространный донос епископу самарскому и ставропольскому Константину. События в Письмере характеризуются Сунгуровым как «бунтарские деяния Скобелева, охватившие всех от мала до велика».

Как это ни странно, для «оного Скобелева» все кончилось хорошо. Письмерские мужики, которых выпороли казачьими плетьми, выгородили молодого учителя. Обыски в «квартирожительствах» — и в Письмере, и в Новиковке — ничего не дали. Наконец редактор «Симбирских ведомостей» тоже не назвал автора разоблачительных статей. Но Неверов перебрался все же в другое село — Камышовку, и замелькали вновь месяцы и годы однообразного учительского труда.

Письмерский бунт — последний «зрелищный» момент в биографии Неверова-учителя. После него — вплоть до 1915 года — никакого внешнего драматизма в его судьбе не было.

Менялись школы, приходили и уходили ученики, звучали в классах повторяемые хором названия букв:

— Глаголь!

— Мыслете!

— Твердо!

— Буки!

Азбуку в деревнях проходили часто «по картинкам» с нарисованными буквами. Книжек, тетрадок было маловато.

Естественно, что при однообразии быта, духовном голоде пытливого учителя весь драматизм его жизни — в работе мысли, в муках творчества. Фактически в поисках выхода человека из пут духовного захолустья, из соблазнов опрощения. «Мир меня ловил, но не поймал» — так мог сказать о себе и Неверов. Этот поединок неосязаемого вещества духа с косным бытом развертывался в нем. Все творчество — это спор с азиатскими мелочами быта, с разрушительной силой российской Обломовки. И даже скромная победа в подобном споре есть в известной мере торжество человека над всем, что пригибает его к земле, сужает кругозор. Это победа движения над сумбуром суеты, высших сфер бытия — над утробным существованием.

Филантропический журнал «Вестник трезвости», выходивший в Петербурге, и его редактор М. Галкин, первым предположивший, что из Неверова «выработается настоящий большой писатель», не забыли случайного самарского дебютанта. Вслед за рассказом «Горе залили» в нем в 1906—1907 годы появились еще четыре рассказа Неверова — «Свой человек», «Приехали на базар», «Сон Лукьяна» и «Авдотьина жизнь». В 1908 году в другом филантропическом журнале, «Трезвые всходы», — он тоже боролся со стихией пьянства — появилось продолжение «антиалкогольного цикла» — рассказы «Под песнь вьюги» и «Три года».

Почему именно эта тема — частная как будто, узкая, предмет для юмористов, для беззубого эстрадного обличительства — вдруг привлекла внимание молодого учителя?

Он подошел к ней чрезвычайно серьезно, с великим состраданием к жертвам явного гниения народа — пьянства. Эта тема открыла начинающему писателю целый мир народных страданий, тихого ужаса распада семей, анархии ума и сердца. Сплошной крах претерпели в его сознании все идеалистические представления о народе.

Не сводит ли пьянство и другие обстоятельства народной жизни на нет его — и тысяч иных подвижников-учителей — усилия?

...Внешне как будто ничто не говорило об огромной работе души, шедшей в деревенском учителе. На групповых фотографиях шкрабов (школьных работников) 1906—1915 годов, среди провинциальных писателей и поэтов — П. Ярового, Н. Степного, Н. Жоголева, А. Каспия (Карягина), А. Гольдебаева — Неверов то в учительской «тройке», то в крестьянской рубахе, с неизменной упряминкой, мальчишеской дотошностью во взгляде, как будто сливается со всеми.

И дело его — занятия с детьми, игры с ними, уроки пения, выпуск рукописного журнала «Полушка» — все было как будто выхвачено из повседневности тысяч безвестных шкрабов, сеявших «разумное, доброе, вечное». Жена Неверова, Пелагея Андреевна Скобелева-Неверова, — он обвенчался с ней в Самаре в 1912 году, — отмечала, правда, некоторое отличие в отношении к бытовому и творческому:

«В моем представлении Александр Сергеевич был великим тружеником, писателем-подвижником. Многое увлекало его. Бывало, за что ни возьмется, все делает споро, старательно. Грядки в огороде разобьет ровные и аккуратные, плетень заплетет — любой мужик позавидует. Ловко и быстро рубил хворост на дрова. Отлично переплетал книги. Шил на швейной машине. За все это брался с охотой и любовью, но увлечение все же скоро проходило. Только в литературной работе было у него какое-то неизмеримое и неизменное упорство. Он мог, взявшись за рукопись, не спать несколько ночей подряд, забывая есть и пить, не слышал, о чем его спрашивали...»

Но ради чего забывал? Впадал в безразличие ко всему, включая еду и сон?

История — наставник писателя. Не всегда ласковый, добродушный. И чем более взыскательно, пристально вглядывался Неверов в течение народной жизни, тем глубже распознавал действие одной зловещей закономерности в деревенском быту, извращающей человеческие судьбы.

Вот дети, прекрасные незаполненные сосуды, светлые, послушные и почтительные... головки. Они дружно, хором твердят — в дни гоголевского юбилея (в 1909 году исполнилось сто лет со дня рождения Н. В. Гоголя) —

простоватую сусальную кантату «Слава смеху благородному»:

...И с этих пор все, что страшится кары
И божьей, и людской — бледнеет и дрожит,
Когда, неся с собой смертельные удары,
Вдруг этот мощный смех победно загремит.
С ним сделок никаких. Не знает он пощады,
И смотрят на него все эти слуги зла.
С бессильной злобою, как из болота гады
На царственный полет богатыря-орла...

И вдруг оказывается часто, что многие мужики хороши, увы, только на заре туманной юности. Едва наступала зрелость, как обнаруживалось, что навыков жизни, кроме навыков пьянства, грубости, перебиваемых покаянием, нет никаких. Жестокость, легкая и какая-то горделивая сдача в плен зеленому змию, последующее слепое блуждание в лесу пьянства — и пьянства не до хмелька, не до здорового благодушества, а пьянства беспесенного, горького, холодного, «на спор», пьянства вместо труда, — всего этого оказывалось столь много, что... грамота становилась почти ненужной вчерашнему одаренному мальчишке.

Безземелье, подати, выколачиваемые с боем, бездорожье, страшная привычка «есть друг друга и этим сытым бывать», — все это Неверов не упускал из поля зрения. Но ведь вот загадка! Как сложилась уродливая, тормозящая всякий прогресс привычка к голой бедности, к низкому стандарту жизни, своеобразное безволие, довольство скудостью? «Плетью обуха не перешибешь»? Но многие и не пробуют даже перешибить! Предпочитают ждать чуда, влачить безрадостные дни и пить... В итоге исчезает даже потребность в работе, сознание долга перед детьми, неунизительным кажется и нищенство... Петр Первый, запретивший христорадничество, собирание милостыни, для таких уже антихрист...

С великой мукой, не желая соглашаться и все же во многом соглашаясь, читал однажды Неверов бунинский рассказ «Я все молчу», где эта ужасная болезнь народной души — живописное, именем бога освященное дармоедство — показана с холодной академической объективностью.

Тесная площадка церковной паперти, узкий проход у церковной ограды оживали вдруг у Бунина. Возникали с поразительной отчетливостью лица уродов и бедолаг, слышались крики, судорожные моления тех, кого

«в жажде самоистязания», «отвращения к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам, — и трагическим и скоморошеским, — издревне и без конца родит Русь».

Чтение многих рассказов И. А. Бунина, Л. Андреева, А. М. Горького происходило, как правило, в одной из соседних деревень, у молодых учительниц. Среди них была и его будущая жена, учительница Пелагея Андреевна Зеленцова. Впрочем, подобные чтения повторялись и в годы семейной жизни. Неверов приходил к учительницам, стучал в дверь избы, где они квартировали, и озорно выкрикивал обычно:

— Именем закона — открывайте!

Чтение вслух для молодого учителя — это продолжение раздумий, ожидание спора, возможность проверить свои жизнеощущения. В те годы провинция, как свидетельствует одна из слушательниц Неверова, В. Ф. Чуваева, увлекалась драмами Л. Андреева, романами М. Арцыбашева. Неверову нравился Бунин. Хотя, как вспоминала Чуваева, «в отношении к крестьянству и учительству Александр Сергеевич не соглашался с ним». «Захлопнет книжку и скажет: «Ну не так же, не так, а за душу берет. А вы что думаете по сему поводу, милые барышни?..»

Но сейчас он и сам был захвачен поистине скульптурной лепкой, словесными фресками Бунина. И, передохнув немного, оглядев слушательниц, продолжал:

«Точно на киевских церковных картинах да на киевских лубках, живописующих и дьяволов, и подвижников мати-пустыни! Есть старцы с такими иссохшими головами, с такими редкими прядями длинных серых волос, с такими тончайшими носами и так глубоко провалившимися щелками незрячих глаз, точно столетия лежали эти старцы в пещерах... Есть слепцы мордастые, мужики крепкие и приземистые, точно колодники, холодно загубившие десятки душ: у этих головы твердые, квадратные, лица топором вырублены, и босые ноги налиты сизой кровью и противоестественно коротки, равно как и руки. Есть идиоты, толстоплечие и толстоногие. Есть горбуны, клиноголовые, как бы в острых шапках из черных лошадиных волос. Есть карлы, осевшие на кривые ноги, как таксы. Есть лбы, сдавленные с боков и образовавшие череп в виде шляпки желудя...»

В то же время это зрение не было измельчающим зрением художника-часовщика. Позднее Неверов начнет

писать целую статью «Приемы художественного творчества И. А. Бунина» (1922). Живописная мощь письма Бунина изумляла, его зрение казалось всесильным... Но сейчас Неверов изумлялся душевному убожеству лодырей, извращению, которое перестало быть заметным, возмущающим.

Безнадежность бунинского взгляда на деревню, на ту же Дурновку в повести «Деревня», яркость картин, вселявших апатию и безверие в отношение мужика, Неверова не просто раздражали. Он стихийно, не зная о работе других крестьян-писателей, таких, как И. Вольнов, С. Подъячев, И. Касаткин, стремится убедить себя, что... «ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь!».

Неверов в эти годы пристально всматривается, вслушивается в говоры жизни, отголоски страстей. Он живет в состоянии раздумья перед раскрытой записной книжкой. Все на первых порах «заносит» он в свои рассказы, не думая о форме, не зная порой, чем закончить рассказ. Словесный мазок у него «нервный», он пишет эскизы, пишет с натуры и за один присест. Живописцы сказали бы — «пишет по-сырому».

Сценки следуют одна за другой, внешне как будто без сцепления, без осмысления.

«Пришел Иван домой. Сел за пустой сломанный стол, положил на руки свою нечесаную голову и задумался. Не глядит ни на кого.

Присмирели ребята. Робко прижалась к печке жена, ожидая обиды.

Долго сидел молча Иван, что-то обдумывая, наконец поднял голову и сухим голосом прохрипел:

— Дай-ка двугривенный!» («Авдотьина жизнь»).

Поехали мужики — в другом рассказе — в село Дубново, привезли избу новоявленному богачу, деревенскому воротиле («Горе залили»), он встретил их смутным, с утра пьяным взглядом... Что еще делать-то? Надо содрать с богача — намеком, грубоватым давлением, униженно-панибратской лестью — на «бутылку»... Впрочем, и он сам — их поля ягода! — ждет всего этого: и просьб униженных, глуповатых улыбок, и возможности покуражиться, и самодовольного жеста. Он и «превосходит» их здесь, у трактира, только одним: он может уже пить всегда, в его воле угощать себя утром, днем, ночью... Им же надо искать, ловить жалкую, унизительную возможность.

«Богач стоял, ухмылялся и что-то бессвязно бормотал.

— Вы голяки, беднота! Скажите мне... голяки вы? А!.. Ну!.. Голяки?

— Знамо дело... Не чета вам... Не нам с вами равняться! — раздавались голоса.

— Всех куплю вас!.. Всех... Слышите, всех! Продам и выкуплю! — хвалился расходившийся мужик и, потеряв равновесие, тяжело упал на мокрую землю».

Выпитая водка подогревает фантазию, устремляет работу мысли прочь от дома, податей, упорного труда... Жизни груз минутно приподнят, горе сняло свои «лапы» с плеч... В итоге герои пропили и свои последние пятаки, гривенники. Впереди — возврат в село, молящие взоры жен, детей... И драки, слезы, новые поиски окаянной чарки...

Где же прославляемая казенными публицистами деловитость крепкого хозяина? Есть попрошайки, христарадники, дармоеды с молитвенниками в руках, опускающиеся босяки... Но есть и самодуры, варвары, проскакивающие мимо всякой веры и этики. Они пожирают хилых, тщедушных, как орхидеи в северной почве, дворян, но сами долго живут со скотиной в землянках, знают лишь звериные, варварские, сплошь надувательские методы создания богатства. Эти новые «князья во князьях», барахтающиеся в паутине «пакостей» жизни, и голытьба, разом «встрепенувшаяся» при намеке на даровую водку, тоже не хозяева жизни, а слепые рабы нового уродливого порядка, светопреставления. Рвать, грызть других, копить — и ради чего? Ради дурашливого безделья, пьяной праздности, которые, увы, всем кажутся венцом жизни, высшей ступенью жизненной «карьеры».

Среди навыков к беспорядку, стремления быть «каждому — за себя», пассивности и слепоты, в плену «исторического греха толстовства», который отмечал В. И. Ленин в статьях о Толстом, идеал праздного благоденствия на своей куче богатства становился фокусом усилий, сближающим, как ни странно, многих. Этот идеал есть то, с чем в разрозненной, ошеломленной множеством «новшеств» крестьянской массе «все согласны».

— Да, Александр, ты как будто распечатываешь быт, влазишь в самую сердцевину его, — говорил Неверову один сосед-учитель. — И от идеала народа-богоносца, кроткого и богобоязненного, ничего не остается. Твои мужички — это овцы, у которых внезапно, среди зимы

убрали стены и крышу теплого хлева, предоставили их ветрам, смуте... И волкам!.. И не жалко тебе их, бестолковых, сбившихся с пути, блуждающих «под песнь вьюги»? И гибнущих к тому же с фальшивым фокусом устремлений? Почитай, что пишет о русском мужичке — не близко ли тебе? — А. И. Эртель: «Правда, он народ глубоко несчастный, но и глубоко скверный. Отсюда, конечно, не следует, что на него надо плюнуть, но следует то, что находиться с ним в реальных отношениях очень тяжко, иногда до нестерпимости. Правда, есть позиция, с которой он представляется интересным и симпатичным; это позиция стороннего наблюдателя, каким был автор «Записок охотника».

Неверов отвечал обычно не сразу... Художественный инстинкт, литературный зуд — слепая сила, толкающая к письменному столу, — конечно, диктовали ему известный стиль жизни. Его рассказы с неопределенно-туманным лиризмом — часто простые импровизации... Но он не случайно изобрел псевдоним «Неверов»: он мучительно взвешивал, «разлагал» свои помыслы, мироощущения, верил и «не верил» в свое право писать... Рукописи, часто возвращавшиеся к нему в глухие села с припиской «напечатано не будет», «к сожалению, не можем» и т. п., умножали это неверие... Сослуживцы улавливали в нем известное раздвоение, скрытность. «Существовало двое Неверовых: один — наружный, который двигался, нервно ходил по комнате, ерошил блондинистую шевелюру, учил ребятишек грамоте, говорил и смеялся; другой же Неверов — самый сильный — глубоко и затаенно сидел в первом и был весь охвачен неутомимой страстью творчества» (из воспоминаний М. П. Муромцева).

Отвечать самоуверенно, резко, безапелляционно — проделывать ту работу, которую в 1908—1914 годы еще не проделала история, — Неверов никогда не мог. Не случайно, пожалуй, во многих рассказах Неверова появляются, — то как обобщенное до символа зло, то как двойники и собеседники («Черный человек»), то как сила, скрытая во тьме, — загадочные, сложные образы. Жизнь требует для развития событий хотя бы происшествий, «молекулярных» сдвигов. Неверов часто не видел их: жесткая рука Столыпина на время как бы «подморозила» Россию, «умиротворила» ее.

В рассказе «Преступники» Неверов скажет: «Везде несчастья, огорчения, и вся жизнь... как длинная холстина, соткана из несчастий. Ни одного яркого рисунка,

ни одной светлой ниточки». В эту холстину однообразных трудов, скучного быта Неверов вплетал часто яркие или тревожно-диссонирующие нити. Рождался особый, «трепетный» реализм, с обилием символов — это домыслы, догадки писателя, — с лирическими отступлениями по поводу и без повода.

«Вьюга злилась и ревела, и казалось Арефе, будто встал перед ним большой и сильный великан... Дышащий холодом и смертью, он сначала посмотрел любопытно на Арефу, а потом отскочил, сорвал с него шапку и уже насмешливо начал плевать ему в бороду, в глаза» («Под песнь вьюги»).

Герой спорит с великаном, рассказывает ему всю свою жизнь, умоляет о пощаде.

В рассказе «Сон Лукьяна» с пьяным мужиком беседует, «подмасливаясь» к нему, черт.

Наконец, в рассказе «Музыка» для ночного сторожа Парфена объектом безумной, огненной ненависти становится не барская усадьба, не столько немощные ее обитатели, а завораживающая, бросающая ему вызов сложная музыка:

«...Видел свечи, зажженные на пьянино, слышал музыку — злую, насмешливую... Свечи горят, как два огромных солнца... Стоит сторож Парфен, пронизанный светом, сам черный, будто дерево, обожженное молнией, и точно в зеркале видит свою черноту».

Условные образы, иррациональные силы среди стихии достоверного быта — в иных условиях это, безусловно, художественная эклектика. Но у Неверова, как, впрочем, и у целого ряда других художников-самоучек, полагавшихся на художническую интуицию, эмоциональное познание мира — а на что он, иголка в огромном деревенском стогу, мог положиться? — из кажущейся разностильности рождался особый стиль. Этот стиль потом пройдет и сквозь бури войн, избавится от всего сырого и предстанет в «Ташкенте — городе хлебном» как неповторимая и чисто неверовская форма времени.

Впрочем, он ли один тянулся интуитивно к такому стилю? И у Серафимовича в романе «Город в степи» многое выражалось всей музыкой слова — лирическими отступлениями, условными образами «степи», «громады молчания». С. Н. Сергеев-Ценский, другой художник школы Горького, писал о своем стиле: «Грешен, люблю я эквилибристику настроений, зарево метафор, скачку через препятствия обыденщины. Простоты не выношу».

Вяч. Шишков, будущий друг Неверова и тоже ученик Горького, в эти же предреволюционные годы искал такой стиль в прозе, в котором пейзажный фон равноправен с героями, а образы «тайги», «пурги», «угрюм-реки» (названия произведений Шишкова) становятся выражением сил, сулящих жизни «неслыханные мятежи, невиданные перемены».

О произведениях земляка Неверова по Самаре, художника Ф. Малявина, — таких, как «Вихрь», «Три бабы», — где бушует сплошной красный цвет, где чугунные багровые лица озарены пламенем, критик С. Глаголь писал в эти годы:

«В этом вихре красок есть что-то стоящее за ними, какая-то жуть, что-то заставляющее задуматься о чем-то далеком от красок...

В его «Бабах» мне чудится всегда невольная и смутная разгадка чего-то особого в самом русском духе. Какой-то отблеск пожаров, «красный петух» и запах крови, залившей русскую народную историю, вопли кликуш, опахивание деревень, мелькание дреколья бабьего бунта».

...Убогие школьные квартиры, отдаленные друг от друга многими километрами бездорожья, превращались в своеобразные дискуссионные клубы. Неверов искал и создавал «аудитории» — из двух, пяти человек.

По воспоминаниям коллег-учителей, Неверов в 1909—1910 годы регулярно следит за журналами «Современный мир», «Русское богатство», «Нива», «Жизнь для всех», собирает и с гордостью показывает — «это целый клад»! — сборники «Знания».

Надо на миг вообразить поволжский уголок русской провинции — деревни Камышовку или Андреевку, Дурасовку или Колодезную, Супонево или Березовый Враг, где в обычной избе после обедни за чашкой чая собирались местные учителя. Если это было у Пелагеи Андреевны Зеленцовой, будущей жены Неверова, то Неверову и его другу П. Яровому приходилось пройти двенадцать километров.

Уже за чаем начинался общий разговор о новинках литературы. Неверову — он выглядел как крестьянский парень или средней руки приказчик — в тужурке, в красной рубашке с белым горошком — очень нравился тогда С. Н. Сергеев-Ценский, особенно его поэма в прозе «Печаль полей» (1906). И он любил декламировать одно из лирических отступлений поэмы:

«Поля мои! Вот я стою среди вас один, обнажив перед вами темя. Кричу вам, слышите вы? Треплет волосы ветер, — это вы дышите, что ли? Серые, ровные, все видные насквозь и вдаль, все — грусть безвременная, все — тайна, стою среди вас потерянный и один.

Детство мое, любовь моя, вера моя! Смотрю я на вас, на восток и на запад, а в глазах туман от слез. Это в детстве, что ли, в зеленом апрельском детстве, вы глядели на меня таким бездонным взором, кротким и строгим? И вот стою я и жду теперь, стою и слушаю чутко, — откликнитесь!»

Что слышали неверовские слушатели и он сам в этих расплывчатых, полных провинциальной патетики стихотворениях в прозе?

Все, что они хотели услышать... И протест против серости и обыденности жизни, прижима со стороны урядников и попов. И веру — это печаль оттого, что великая страна хочет разродиться силой, величием, но час еще не пробил.

Помимо «крестьянского вопроса» Неверов в эти годы создал немало рассказов о судьбе сельской интеллигенции, об учителях, священниках. Те же мелодии нежной любви к людям, гуманистической заботы о них, но, кажется, на этот раз переложенные «для скрипки».

Две учительницы, Валентина и Катрик («Серые дни»), живут в глухих деревнях с томительным ощущением: тонкими свечками горят их жизни, растопляются в непролазно-косном быту... Меркнут взгляды, все реже звенит смех. А сердца еще мечутся, заставляют их «жадно глядеть на дорогу»... Но что там, на дороге?

«По снегам идет баба, толстая, распухшая беременностью, и кажется, что двигается теплая отсыревшая куча. Вон другая бабенка, бойкая, вертлявая, стоит на дороге, по-сорочьи стучит языком, а слова падают крупным горохом. Еще подальше — сизоносый Базяк, прекрасный работник и прекрасный пьяница...»

Героини — каждая по-своему — протестуют против медленного ограбления их жизни. Валентина — ее прототипом была Пелагея Андреевна Зеленцова, учительница из соседнего села, — протестует сдержанно, пряча тоску и обиду.

А Катрик, хорошенькая, с ясным, правдивым взглядом, как на исповеди, спорит с неведомым, воображаемым ею «резонером»:

— Я хочу жить. Я еще не любила. И не знаю любви. Маленькое «я». Ма-ленькое... Не убивайте... Я хочу жить. Слышите: хо-очу-у...

Катрик стоит у окна и плачет молча, без слез, с сухими глазами».

Учитель Иван Петрович Стройкин («Учитель Стройкин») живет в таком же полусне, оцепенении, но то и дело «пробуждается» и пробует пробудить других... На попойке у попа он, обычно кроткий, ведущий какие-то не слышные никому разговоры с самим собой, решает всех ошарашить. Юмор никогда не был чужд Неверову, и эта сцена говорит о богатстве и разносторонности его душевных сил:

«...Иван Петрович выступил вперед и, неестественно улыбаясь, обратился к самому умному священнику в голубой шелковой рясе с широкими малиновыми рукавами:

— А скажите, батюшка, что такое политика?

Все вдруг замолчали. Все обратили глаза на учителя и внимательно начали рассматривать его с ног до головы, как будто заметили только сейчас... Налимовский дьякон посмотрел на учителя пьяными, улыбающимися глазами и, поставив голос на низкую ноту, ответил красивым густым басом:

— Политика... гм... это штука! Са-амая... по-нима-ете...

— Какая? — спросил кто-то, ожидая смешного ответа.

Дьякон прищурил глаз, мигнул и ответил:

— По-ли-тическая!

Все захохотали. Иван Петрович стоял красный, смущенный и посматривал на всех с выражением затравленного животного».

Все «удобно» спят, и никто не желает «проснуться»!

Многие типичные состояния провинции, захваченной или азартом пьяного обалдения, или утехами обжорства, Неверов зарисовывал с редкой наблюдательностью. И становилось на редкость жалко одиноких мечтателей, здоровых людей, ходоков за истиной, утопических искателей «пропавшей страны», которые на свой лад старались устоять, не вписаться в среду, пробудить ее.

Домна Скорнякова («Баба Иван»), чудесная деревенская женщина, явилась на сход вместо мужа Максима, безвольного пьяницы, запертого на время ею же в конюшню. И когда становой выкрикнул имя ее мужа, она...

«...Домна думала-думала, да и отвечает мужичьим голосом:

— Здесь, ваше благородие.

— Выходи сюда!

Ну, похохотали, посмеялись, когда она вышла... С этих пор и прозвали: баба Иван. Она не сердилась.

— Иван-то я не Иван, а Ивану не уступлю».

Эта красивая крестьянка, наделенная глубоким чувством нравственного достоинства, работающая и в поле на заглядение всем, с каким-то здоровым презрением относится к «ослабевшим», дрогнувшим перед стаканом сивухи мужикам.

«Люди едут пары поднимать, на работе виснут, а Максим с портянками ходит по селу, хомутишко дрянной таскает на шее — покупателей ищет. Ну, Домна снесет маленьких до соседей, у кого старуха есть, а сама соху на телегу, косу на плечо, и айда — пошел. Не жаловалась, не выносила горе на улицу.

— Вот попова лошадь! — говорили мужики. — Никакой работой не заездишь.

— Да, хороша коняга, — скажет Домна. — Ох, не моя воля! Всех бы вас, мокроусников, раздавила. Разве люди вы? Сосуны».

Именно она и сожгла, после помрачения и самоубийства пьяницы мужа, мстя за своих сирот, за горе других, ненавистный кабак в селе. Сожгла один раз, затем другой...

Рассказ Неверова «Музыка» заметил В. Г. Короленко, живший, правда, большей частью в Полтаве. «Серые дни» Ал. Неверова... Описание двух девушек-учительниц. Не без таланта», — записывает В. Г. Короленко в ноябре 1909 года в «Редакторской книге» петербургского журнала «Русское богатство».

6 декабря он пишет А. Г. Горнфельду: «Речь идет о тоске учительской жизни. Стиль немного (умеренно) модернистский, но красивый. Две фигуры учительниц набросаны правдиво и, пожалуй, тоже красиво».

Короленко написал и самому Неверову. Сообщив о намерении «Русского богатства» печатать рассказ «Серые дни», он порекомендовал ему:

«Как видите, пытаться дальше стоит. Мне хочется только предостеречь Вас от слишком решительных практических выводов из этого первого успеха. Всякую даль-

нейшую Вашу работу мы встретим с интересом, но не советую Вам пока бросать учительство и ехать в столицу, в надежде на литературную работу (о чем, судя по Вашему письму, Вы мечтаете). Это нужно делать весьма осмотрительно, твердо став на ноги. Одного опыта мало...»

Встреча Неверова именно с «Русским богатством» — факт знаменательный. Он показывает, что писатель при всем своем бунтарстве, живя в уездной Руси, сильно отставал в своем развитии, вынужден был отчаянными рывками наверстывать многое.

Журнал «Русское богатство», конечно, нуждался в притоке свежих сил. Руководимый соратниками покойного лидера народников Н. К. Михайловского (Гронья-ра), разгромленного В. И. Лениным еще в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», В. Г. Короленко, А. Г. Горнфельдом, П. Якубовичем-Мельшиным, этот журнал после революции 1905 года все больше отставал от действительных нужд народа. Что определяло облик журнала? Убийственно-научные статьи Елпатьевского, Южакова, Якубовича-Мельшина, Пешехонова... Теоретики эти словно поднимали себя на вершок от земли в бессильной злобе. На кого? На русскую действительность, не оправдавшую их теоретических ожиданий, на правительство, не решившееся галопом пойти с левой ноги. На что еще? На другие факты, не поддающиеся просвещенному воздействию дряхлой гвардии Михайловского... Отсутствие зоркости, душевная неразвитость ученых-социологов, арифметический уровень проблем и тем, ноющий тон писаний Пешехонова, Южакова — все это превращало журнал в пункт «погашения» острых вопросов, а не постановки их.

Разобраться во всем этом из своего далека Неверов не мог. И он, судя по ответу Короленко, стремился покончить с учительством, увидеть все, что делается на верхах литературного движения, лицом к лицу.

Характер отца сказывался все-таки в Неверове... Писавший элегически грустно, он был часто расторопен, быстр в решениях, безбоязнен, поистине «мал, да удал», как и будущий герой его Мишка Додонов. Он полагался на то, что «глаза страшатся, а руки делают» и «язык до Киева (и до Питера) доведет».

Но столицы и без того были переполнены незадачли-

выми выходцами из народа с безграмотными рукописями, тетрадями стихов, беспочвенными претензиями. Полуинтеллигенты из народа, воспитанные и «образованные» скорее всего только собственным ограниченным талантом, в новой среде попадали в положение человека, получившего высшее образование... без среднего. Как экзотические фигуры, персонажи «от земли», они на некоторое время «покоряли» новую среду, становились модными, а затем... В случае успеха они же, забыв о трудном пути из народа, сливались с новым окружением, судорожно цеплялись за блага, дарованные новым поприщем. Вчерашний самородок весьма нередко, так и не став интеллигентом, становился мещанином.

Следующий рассказ Неверова, «Преступники», Короленко не только не принял, но вопреки мнению других работников журнала, чуть не пропустивших его на страницы, фактически вынул из номера. И тут же, угадав, что автор почти готов был сорваться с места, написал Неверову:

«Основной недостаток — чрезвычайно слащавый сентиментальный тон. Точно речь идет не о взрослых мужиках, а о милых детках, которых злой староста обидел, увел коровку, лишил кашки и т. д. Все эти обращения то к мужичкам («милый, смешной мужичок из Кочаровки!»), то к месяцу («ты их не утешишь... иди лучше к молодой поповне») создают тон совершенно невозможный: сентиментально, вычурно, неверно...»

Приглашая автора и дальше писать для «Русского богатства», Короленко советует: «Необходимо только отрешиться от этого сентиментального, как бы приноравливающегося к детскому возрасту тона (Микеша, порхающий по страничкам хорошенькой книжечки, право, напоминает какую-то пародию на сентиментальное народолюбие. Как можно связать в один образ неграмотного мужика и порхание над страничками?!)».

Урок был преподан суровый... Расстояние от Петербурга до глухого угла и авторитет Короленко «утяжелили» удар.

Ни о каком бегстве в Петербург, даже в Самару, не могло быть и речи. Тем более что и позднее, в 1912 году, Короленко вновь уловит в рассказе «Болезнь» этот же отлет мысли и чувства от действительности, томление и «потение» души: «...Вы задерживаете его (читателя. — *В. Ч.)* лишь ажурным выписыванием мелких и нехарактерных подробностей... Эта ажурность, вдобавок, совер-

шенно не в тоне описываемой среды. Она непосредственнее, свежее и грубее этих тонких полуощущений и полумыслей».

И вновь потекли томительные годы учительского труда для Неверова — в «глуши, во мраке заточенья». Время от времени в петербургском журнале «Жизнь для всех» появлялись его небольшие рассказы. Сентиментальность, чувствительность в творчестве — это работа со сбитым «объективом», дающая расплывчатые, несфокусированные снимки. Неверов — а ведь он к тому же так молод! — упорно избавляется от дефектов собственного голоса. Избыточная впечатлительность мешает еще мысли, собственная импровизаторская манера подчиняла себе — вплоть до самоповторений! — его перо... И Неверов то надолго оставляет работу, слушает голоса жизни, заносит новые микросценки в дневник... То вдруг вновь начинает работать в неистовом темпе, не жалея себя, делая до 50 редакций одного рассказа...

Весть о войне в деревне — это стихийный наплыв горя...

Осыпался хлеб в полях. А мужики-новобранцы в лаптях, в сапогах со скошенными каблуками, в латаных пиджаках двигались пешком или на подводах в город. Работавшие в поле, завидев подводы, выпрямлялись, долго глядели на них. И, перекрестившись, принимались за работу. На станциях — взбаламученное людское море, крики, бабий вой... Раздвижные двери теплушек жадно поглощали порциями по сорок человек серошинельные массы...

Неверов — война застала его в Елани, большом селе, где он впервые за много лет жил безбедно, с женой и годовалым сыном Борисом, — подолгу смотрел на проходивших через село призывников из других сел. Запыленные, угрюмо молчащие, они стояли у колодцев, неохотно перекусывали, обменивались раздраженными репликами.

— О чем думаешь? — спросил он раз мужика средних лет, сидя рядом с ним в телеге, дребезжавшей на каменистой дороге.

— Теперь думать нельзя...

— Почему?

— Вошь от тоски может навалиться — сожрет...

Ощущения тоски и скорби не покидали писателя в августовские — сентябрьские дни 1914 года. Война —

нечто сверхличное, хотя и порожденное людьми — кажется ему безумием. Словно легион бесов вошел в тело народов и столкнул их. Что из этого выйдет? Не понизится ли и без того низкая в России цена на человеческую жизнь? «А война развертывается все шире и шире, — пишет он в августе 1914 года И. Е. Лаврентьеву. — Не понимаю и не могу понять... Зачем? Для чего? Для каких целей подняли оружие первые? Может быть, цель-то есть, но, бог с ними, лучше бы их не было. Вот оно — отсутствие души — сказывается. Люди приобрели знания, технику, усовершенствовались на железе и т. д., а любви к человеку и совести в себе у них не прибавилось... Ужас...»

Сам Неверов, значившийся «ратником ополчения», был призван в армию только перед святками, зимой 1914 года. И к счастью — есть все же редкая выгода в грамотности! — его назначили ротным писарем в 690-ю пешую дружину, стоявшую в поселке Иващенково близ Самары. А вскоре определили на фельдшерские курсы в Самаре. После их окончания он получил должность ротного фельдшера при местном военном лазарете.

Лазарет — это конвейер страданий, безмолвных и шумных, невольного ожесточения душ. Жалеть вначале хочется, сердца рвутся к этому у многих, но жалость замедляет ход «конвейера», усложняет многое. И воцаряется бездушно-хлесткая формула невосприимчивости к чужой и своей боли:

— Смерть придет — и на печи найдет...

Неверов, сидя на дежурстве с лампой, ухитряясь писать кое-что, порой думал о себе и прожитой нелегкой жизни: «Народ везде как народ, и все, что лишено незримых таинственных страхов, где нет ни судьбы, ни счастливых случайностей, ни сказок, ни выдумок, — все это течет помимо него, в других берегах...

Я — тоже мужик, тоже маленькая веточка, отломившаяся от большого вскормившего меня дерева, но около них я — лишний, не свой, идущий другими путями...»

А писать хотелось... «Кастальский ключ волною вдохновенья» то и дело омывал душу незаметного, похожего в своей серой шинели с ремнем на миллионы других солдата-фельдшера. Душа его живо откликалась на многое, «материал» чувств накапливался в душе. Неверов постоянно ощущал в себе падения и взлеты. Он «пролетал»

внутри себя, незримо для других, огромное «расстояние» — от острой боли за других до нежной любви, от безнадежной скорби к вере в будущее. Дар слушания голосов, дар разгадывания душевных физиономий именно в эти годы в нем необыкновенно развился.

И его новые рассказы — прежде всего «От неизвестных причин», «Витуль» — свидетельство большого духовного развития. Неверов как будто стал писать иной, более «эластичной» кистью, без лихорадочной взвинченности, воздействуя не пламенностью, а сдержанностью тревоги и печали. Странные бескорыстники явились вдруг в мире героев Неверова. Они как будто отплыли от берега былой стяжательской морали.

Героиня рассказа «От неизвестных причин», Зиночка, ожидавшая искренних, человечных отношений в семье, увидела, что муж ее, священник Матвей Кедров, быстро «съехал», сполз в стереотип, в расхожий стандарт. И испытал даже приступ удовольствия, что «уместился» в традиционном штампе человека, понявшего, «как жить и добра нажить». А ее в трепет приводит даже одна особенность поведения мужа:

«— Ты, Мотя, становишься хуже. Все больше и больше становишься похожим на тех, кого я вижу и знаю. Когда замуж выходила за тебя, боялась, что будешь ты как все. А теперь замечаю: у тебя трясутся пальцы, когда пересчитываешь деньги. Ты перевертываешь пятаки, стучишь по столу гривенниками, ковыряешь их ногтем и чуть не обнюхиваешь. Это в двадцать четыре года. Что же будет в сорок?»

В рассказе «Витуль» является бессребреник, в душе которого старый мир тоже потерпел крах. Он не разделяет мечтаний жены — стать самогонщицей, разбогатеть бесстыдным способом, поправ все. Он тоже «выломился» из старого круга понятий, и все, что было свято для него ранее, утратил...

Откуда эти разлады, чувство неприкаянности?

Неверов понимал, что вся старая Россия — и Россия попов, «медного войска» вокруг Христова имени, и Россия преуспевающих кулаков, чиновников, либеральных газет — это империя пустых фасадов. За всем — пустота.

Таким — все более собранным, утонченным, способным к главным творческим подвигам своей жизни — попал Неверов в поле зрения А. М. Горького.

Случай — великий союзник последовательных людей.

Горький, растеряв в период безвременья массу друзей, былых «знаньевцев» вроде Л. Андреева, А. Куприна, Е. Чирикова, И. Бунина, С. Скитальца, оказавшихся, в сущности, «реформаторами», а не революционерами, стал обращать особое внимание на писателей-самоучек, создавать невольно новое поколение «подмаксимков». У него возникают дружеские связи с Дм. Семеновским, И. Вольновым, С. Подъячевым, И. Касаткиным. Пусть они еще неопытны, но на них нет налета книжности, это живые голоса народа. Дар подлинности — великий дар средь стихий мертвого салонного слова. И, кстати говоря, никто из них не оставит родную землю в годину самых суровых потрясений... Не убоится огненной купели испытаний.

Писем Горького к Неверову немного, и они достаточно кратки и деловиты. Это явно начало отношений, которым, увы, в силу многих, развернувшихся вскоре трагических событий не суждено было продолжиться.

В письме, полученном Неверовым 8 августа 1915 года, Горький просил молодого писателя собрать и послать ему свои рассказы, которые он хотел бы почитать в хронологическом порядке.

«Нет ли у Вас ненапечатанных работ? Осенью выйдет сборник молодых авторов — не желаете ли дать для него рассказ, если есть готовый?»

В письме, посланном между 8 и 20 августа 1915 года, Горький, не сочтя возможным взять в сборник неизвестный, затерявшийся неверовский рассказ, добавил:

«Времени нет, неудобная обстановка? Я понимаю это и не тороплю Вас. Но я надеюсь, более того, — я уверен, что Вы должны и будете писать хорошо. Пока — всего доброго!

Вам денег не нужно ли? Книг?

Сообщите.

Жму руку».

Неверов, конечно, по скромности не попросил ни денег, ни книг, хотя и то и другое было не лишним. Он вновь послал короткую зарисовку — «Среди ополченцев». Такие зарисовки, как стихи, «смотрятся» только в серии, в цикле... И Горький, отметив это, вновь добавил без ложного утешительского пафоса:

«Прочитал «Среди запасных» — написано недурно, метко, но остерегайтесь выводов! В дни такой страшной путаницы, каковы наши дни, — выводы опасны. Все колеблется, дрожит, — надо изображать, как оно колеблет-

ся, дрожит. Изображайте, не стремясь поучать от себя. Пусть учат факты...

Вы можете писать лучше, поверьте мне, я не ошибаюсь, можете! И вы будете писать лучше.

Всего доброго, А. С.!»

Очень скоро эти надежды оправдаются. Неверов создаст произведения, оплаченные самой высокой ценой — истраченного на них драгоценного жизненного опыта.

В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ РЕВОЛЮЦИЙ

Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

С. Есенин. Русь уходящая (1924)

Мы слышим только топот ног революции, но не знаем ее сердца.

А. Неверов. Из писем (1922)

Февральскую революцию Неверов принял с наивной восторженностью. И на первом же митинге санитаров и раненых в самарском лазарете был выброшен на гребень волны — самодельную трибуну...

О чем он говорил?

Вначале о близком, о том, что начальника лазарета по кличке Борода надо сместить... Затем — о более далеком. О том, что народ устал нужду на кулак мотать, война выпила из него все соки... И горе как песок садится на дно многих душ, — в людях умирает радость... Говорил он и о России — конечно, наивно и пылко, еще только учась думать вслух.

— А ты погляди на нее, Россию... Дерево это, а мы все — веточки от него. А если погнуть эти веточки, качнется и дерево.

Неверов — вскоре он был избран депутатом в Самарский Совет — ощутил впервые, что народ не устает слушать, что у многих родилась потребность держаться массой, искать правду вместе.

Но отшумели манифестации, затаились где-то в щелях давние хозяева жизни, и радужные краски мелкобуржуазной демократии, свобод стали меркнуть... В далеком Петербурге началась малопонятная провинции суета временщиков — смена министров во Временном правительстве, закулисный торг политиканов. Оттуда доносились

истерические «кличи» о войне до победного конца, шла шулерская игра с понятиями «Родина», «Россия», «свобода», «демократия»...

Неверов ощущал какое-то страшное надувательство, исходящее от мелкобуржуазных временщиков. Все, что было «темой революции», ее несформулированными в народном сознании лозунгами — и прежде всего нетерпеливое желание окончить войну, получить землю, власть, — все вновь «выскользнуло» из рук народа. Рождалось горькое ощущение гигантской провокации со стороны сил, скрытых во тьме...

Вождь кадетов П. Н. Милюков, самолюбивый политикан, рвущийся к роли, требующей железа в характере, все больше «разъяснял» себя: он оказывался слепленным всего лишь... из глины, размоченной русскими дождями. Глины, которую проще назвать грязью. Из нее лепят, как острили публицисты тех дней, что-то дети, и отнюдь не вождей и полководцев, а никчемные фигурки, которые, помяв, бросают в лужу...

Сам премьер Временного правительства, вечно возбужденный, истеричный, с мелодраматическим пафосом взывал:

«Я сам был участником великого порыва и энтузиастического стремления вперед... Явите ли вы здесь, в Москве, собравшиеся люди великой родины, явите ли вы пред всем миром и перед нашими врагами железом спаянную, великую национальную силу, прощая друг другу во имя общего блага; или вы явите миру новую картину распада, развала и заслужите презрение, которое бросят нам наши враги и те, кто ждет момента, чтобы нанести удар свой в спину?.. Теперь черновая работа будет превращаться в беловую» (из речи на августовском совещании в Москве 12 августа 1917 года).

К сожалению, Неверов не успел за краткий период между Февралем и Октябрем, когда столпились в затор всяческие проблемы — от вопросов о мире, земле до «вопроса» о новой форме солдатских пуговиц, — близко соприкоснуться с самарскими большевиками. В Самарской губернии, вообще в Средневолжском районе, как показали даже выборы в Учредительное собрание, давшие 64,5 процента голосов эсерам и меньшевикам, а 19,5 процента кадетам, большевики вели работу в исключительно трудных условиях.

К тому же Неверов надолго — для этих стремительных дней, когда каждый месяц давал новую Россию, —

оторвался от Самары: сначала он уехал в Бузулук, где работал в земской газете «Свободное слово» (ее редактировал Г. Н. Саров, друг юности Неверова). Затем он вернулся в село Елань, где жила его семья...

В этих условиях он не смог избавиться от морализаторской узости, даже утопизма, многих оценок событий. И в решающий миг он оказался во власти иллюзий и надежд абстрактно-гуманистического толка.

Чем Г. Н. Саров не революционер? С юношеских лет он участвовал в революционном движении, не раз сидел в тюрьме «за политику». Он был способен как талантливый публицист понять многое в мечтательном характере Неверова. Но Саров был мелкобуржуазным революционером, «селянским» бунтарем... И даже в Омске, куда занесла его судьба, как и многих функционеров партии эсеров, перед смертью (Г. Н. Саров был расстрелян колчаковцами) едва ли осознал, что время половинчатых решений, поисков третьего пути давно прошло. В огне брода не было.

Неверов под воздействием Г. Н. Сарова написал в Бузулуке ряд статей и корреспонденций в газету «Свободное слово». Они назывались «Беседы с крестьянами о свободах». В них, разделяя эсеровский план действий, он советовал не делить землю до Учредительного собрания, не умножать хаоса, чтобы правительство не растерялось, не было подавлено множеством хлопот. «Вот приедет барин...» большой барин... Учредительное собрание... мы его предтечи...»

Сложный, полный тревог и недоумений путь проходит талантливый, чуткий к разным воздействиям человек в переломные эпохи. Почва зыблется под ногами, волна исторических событий зацепляет и поднимает его, а друзья, нередко с мелочной природой характера, искажают понимание происходящего, мешают правильно определиться в событиях. Неверов искренне смеялся над иными «лунатиками» от поэзии, вещавшими в эти же переломные годы:

За чудесною рекою
Вижу: словно дремлет Русь,
И разбитою рукою
Я крещусь, крещусь...

«Перестановка» явлений смешила его.

— Не Русь дремлет, а сам поэт... проспал все на свете.

Но в определенные моменты и он впадал в сон золотой, оказывался во власти сладостных иллюзий... И горьким бывало пробуждение.

К счастью, оказавшись в деревне после Бузулука, Неверов иначе взглянул на многое, отчасти «пробудился».

После возвращения с фронта крестьян в солдатских шинелях вопрос о земле встал перед ним уже не в отвлеченно-теоретической форме. К тому же Неверов был избран гласным в Студенецкое волостное земство. Споры солдат-большевиков с эсерами, «самозахваты» барских земель, мужицкие насмешки над речистыми комиссарами Временного правительства, чьи «бархатные» указания отлетали от мужиков, как «горох от стены», — все это разбивало иллюзии писателя, надежды на «большого барина» — Учредительное собрание.

Но впечатления опережали анализ, мысль Неверова и сейчас развивалась не по законам логического сцепления доказательств. Он все время мыслил несколько отвлеченно, как морализатор. Мысль его, как «ручей» в горах, переваливалась через груду «камней» — наблюдений, картин, мироотношений. Она разливалась в воспоминаниях, домыслах, уходила в сторону, взлетала на аршине пространства к вечным вопросам... Этот пленительный, дробящийся поток мыслей, образов, эмоций захватывающе интересен. Но реальную судьбу Неверова это мировосприятие резко осложнило...

Весть об Октябрьской революции застала Неверова в Елани. И он, как вспоминали старожилы села, первым сказал о ленинских декретах о мире и земле: «Подняты два самых тяжелых камня», которые лягут в основание новой России (запись Н. И. Страхова).

С этими настроениями он и покинул весной 1918 года Елань и вновь появился один, без семьи, в Самаре, где в то время выходило несколько газет, журналов, где были знакомые литераторы.

Что же застал Неверов в Самаре? Прежде всего он увидел процесс реквизиции домов господ — капиталистов, торгашей, биржевиков. К маю 1918 года было реквизировано 624 дома. В них разместились советские и рабочие учреждения, часть домов отдали рабочим под жилье. Ценные бумаги, золото, деньги тоже изымались, на буржуазию накладывалась контрибуция. Потерпел поражение саботаж буржуазной интеллигенции.

Крестьяне к весне 1918 года получили землю, сель-

хозинвентарь, лошадей, коров — результат раздела помещичьих, монастырских и других земель. Они выиграли от Советской власти, как говорил Ленин, «сразу и больше всего».

Важно отметить один момент, на который обращал внимание В. И. Ленин. Кулаки в деревне нередко оказывались «проворнее» бедноты в получении земли, инвентаря. Это был тревожный факт, и В. И. Ленин писал: «Эти вампиры подбирали и подбирают себе в руки помещичьи земли, они снова и снова кабалят бедных крестьян» [1].

И не случайно многие выигравшие, вернее — «хапнувшие», благодаря Октябрю сразу же оказались во власти собственнических инстинктов, излишне легко «забыли» — и это было причиной многих трагедий! — из чьих рук они великодушно получили землю без выкупов и торга. И мир, подлинные права. «На свободу смотрел как на дойную корову, — скажет Неверов об одном мужике, — и все четыре соска хотелось захватить в свои руки, выдоить молоко в свой горшок» («Красноармеец Терехин»). Иные из мужиков, сразу скакнувших через три-четыре ступеньки вверх, уже «огрызались» на появившиеся в Поволжье рабочие продотряды, охотно внимали подстрекательским призывам эсеров. Рынок, как идеал самоутверждения, продажа хлеба по вольным ценам, жажда «независимого» обогащения — все это всплыло наружу. И забылось многими — ведь Россия не тысячи торжков, базаров, лавок, ларей и прилавков, а великое государство... с новыми заботами.

А к пролетарским центрам подступал голод.

«В Петрограде рабочие приступили к образованию рабочих дружин за хлебом, — сообщала «Правда» 25 марта 1918 года. — Рабочий класс поднимается на массовую борьбу с голодом, ибо голод надвигается... Коммунистическая революция уперлась в буржуазную стену собственности на хлеб. И коммунистическая революция провозглашает: «Отмена собственности на хлебные излишки! Реквизиция всех хлебных излишков по устойчивой цене. Весь хлеб — всему народу!»

Долой мешочничество!

«Взять хлеб у сытых, дать хлеб голодным» — вот простая и величественная, неотложная задача революции.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 41.

Есть сытые губернии, уезды, сытые дворы, где лежат еще остатки урожаев 1915, 1916 годов...»

Позднее, в повести «Андрон Непутевый» в 1922 году и в романе «Гуси-лебеди» (1918—1923) Неверов с глубоким трагизмом воссоздаст эти предгрозовые, тревожные дни, оживит говоры тех дней.

«А на улице слухи растут: в казаках генерал поднимается, в Сибири генерал поднимается...

И тот генерал, который в Сибири поднимается, прямо сказал:

— На хлеб — цена, на овес — цена...»

Вот на что «клюнул» уже летом 1918 года и самарский середняк: свобода рыночной торговли, свобода наживы на хлебе, на голоде других...

«...Их (империалистов. — *В. Ч.*) стремления рассчитаны вполне правильно и заключаются в том, чтобы как раз в хлебородных окраинах найти себе социально-классовую опору» [1], — писал В. И. Ленин.

Таким местом, где излишков хлеба много, была и Самара. На пяти крупных паровых мельницах Самары к 1917 году ежегодно перерабатывалось около 5 миллионов пудов хлеба.

Неверов в эти месяцы с исключительной честностью перед материалом, в условиях всяческих мятежей — скоро начнется мятеж чехословацкого корпуса, возникнут эсеровские правительства в Самаре, на Севере и в Сибири — старался ответить на главный вопрос: что же дали крестьянству Февраль и Октябрь? Выяснению этого, оставив в стороне замысел романа, он посвятил серию очерков «В глухих местах», состоявшую из четырех хронологически связанных глав — «Воля», «На новых правах», «Темный лес» и «Солдатская горячка». Это, в сущности, маленькая, искусно сделанная «тетралогия», имеющая свои внутренние кульминации, единый сюжет, в ней есть освещенные фигуры и людские толпы.

Неверов как будто ведет дневник своих колебаний, раздумий, идет сложной дорогой самопознания.

«Воля»... Это весть о Февральской революции, о падении царизма. «Волна ненасытного деревенского любопытства, не знающего меры», затопила и мужика Якова Полянкина (он первым узнал о Февральской революции), и всех остальных жителей Чагадаевки — заурядной самарской деревни.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 11.

Но как осмыслить свершившееся? «Слабая, запуганная мысль не могла переварить и осилить того, что случилось в городе», — пишет Неверов. Вспыхивают сомнения, принесенная Яковом весть о воле рождает вначале тревогу, робость. И тут-то является на сцену сельский учитель — надежда, опора мужиков, воплощение разума и справедливости. Взоры всех сошлись в едином фокусе — в его фигуре. «Редкие тяжелые вздохи падали, как крупные зерна, выбитые градом из перезревших колосьев».

Но учителя мучит болезнь всей эсеровской партии — «властобоязнь», он может только литераторствовать, но не «государствовать». Это восковая фигурка. Она «тает» в жарких лучах, молниях взглядов, горячем дыхании сотен людей.

Неверов, работая над очерками, не мог порой усидеть на месте. Иллюзия приближения к событиям, погружения в неостывший еще материал была ему необходима. Он желал быть в эпицентре событий.

Мелькали перед ним вытянутые, мечущиеся руки, всклокоченные бороды, «сцеплялись» глаза, полыхающие внутренним огнем. Солдатские шинели, болтающиеся рукава, стучащие деревянные «ноги», руки, потрясающие костылями. И бабьи злые крики, выбившиеся из-под косынок пряди волос...

Учитель, кичившийся своей ненавистью к «деспоту», к царскому чертогу, сейчас вдруг боится, как все эсеры, «красного зверя» — разъяренной толпы. Обуздает ли он ее? Или и его поглотит эта буря вслед за царизмом?

Мужики своеобразно ободрили учителя: «Когда режут курицу, то ей отрубают голову. Так и в России начали с головы...» Они ждут новых дел от «Воли» — в тот миг от Временного правительства, объявившего себя выражением свобод, воли.

Но... «Прошумевшая Воля подняла в них старые обиды, разбередились старые незажившие раны, и, налитые желчью, они походили на вздутый весенний овражек, наполненный мутной бурливой водой».

Тени Разина и Пугачева — далекие тени на историческом горизонте, даже за его чертой, — неожиданно, к ужасу того же учителя, стали вставать и за этими видимыми событиями. И бунтарь, мужик Шатун, который тащит еще нерешительную мужицкую массу на окончательный штурм старого и захват земли, пугает своей стихийностью, пугачевщиной учителя.

Именно учитель во втором очерке «На новых правах» удерживает разгневанную массу мужиков от захвата усадьбы. Он нажимает на робость мужицких душ, играет на хитринке, рабской осторожности крестьян. Но даже голос учителя теперь противен всем, его советы стали выводить из терпения!.. «Мужикам захотелось развернуться, сдвинуться и разом выплеснуть из себя мутную накипевшую горечь».

Захват усадьбы состоялся...

Третий очерк, «Темный лес», — это русская деревня между Февралем и Октябрем в миниатюре. Фронтовики-большевики оказались для учителя оппонентами куда более сильными, чем Шатун. Идеал своей, «крестьянской партии», то есть эсеров, померк. И учитель, покидая деревенские митинги едва ли не под угрожающе-насмешливый свист крестьян, искал утешение в одном: «по вечерам зарывался в тоненькие революционные брошюрки, чтобы найти в них опору, но книжная поддержка была ненадежна и гнулась, как тонкая жердочка».

Искренность Неверова, не имевшего ничего общего с театральным самобичеванием, с покаянным разрыванием риз своих, изумляет последовательностью. Он одержим манией искренности, он носит в себе одно душевное состояние:

За всех скажу, за всех переболею,
Мне каждый день — на исповедь, на суд...

Кто этот учитель, безымянный примиритель, пляшущий на жердочке брошюр в разгар бури «в глухих местах»?

Если вглядеться в него чуть пристальнее, то мы узнаем в его вымученной улыбке, в гримасах страдания искаженное болью и тревогой лицо самого писателя. Неверов тоже боялся кровавой развязки противоречий, «свечка» его мысли трепетала под ударами многих ветров. Но объективно, вопреки воздействию своего ближайшего окружения, Неверов рисует крах испуганного «народолюбца», крах идеалиста от политики. Он судит героя — а ведь очерки печатались при недолгом правлении в Самаре и в Уфе эсеровского правительства! — с позиций большевиков. «Я не коммунист. Часто брюзжу, как обыватель, слюни развожу, но, когда сажусь писать о коммунистах, я понимаю их, художник во мне побеждает обывателя», — признавался потом писатель.

...Утром 8 июня 1918 года, преодолев сопротивление малочисленных красногвардейских отрядов, солдаты чехословацкого корпуса, до этого двигавшиеся по приказу Антанты эшелонами на Дальний Восток, захватили Самару.

Тихими и молчаливыми остались рабочие окраины. А на центральных улицах, буквально «затопленных» неистовым колокольным звоном, толпы неуклюже разряженных людей, возгласы приветствий... Черные сюртуки, «сибирки», наспех разглаженные офицерские гимнастерки и... конечно, бороды, купеческие, чиновничьи, думские!.. Они, оказывается, росли и в это смутное время, под «игом» большевизма.

На фасадах купеческих особняков — гирлянды, флаги, по улицам вновь покатили пролетки, запряженные сытыми, с каким-то «дореволюционным» лоском, лошадьми. На досадный разнобой — в ответ на появление красного флага над резиденцией эсеровского правительства купцы, стосковавшиеся «по твердой власти», выставили трехцветный, царский — в угаре торжеств не обратили внимания.

В ресторанах и клубах званые обеды, тосты в честь «братьев-чехов», «братьев-казаков». На рынках — бойкая торговля. Прибывший в Самару из Москвы вскоре после переворота будущий советский посол в Англии И. М. Майский, тогда меньшевик, с изумлением отметил: «Высшего пункта наше настроение достигло, когда мы пришли на рынок. Эти горы белого хлеба, свободно продававшегося в ларях и на телегах, это изобилие мяса, битой птицы, овощей, масла, сала и всяких иных продовольственных прелестей нас совершенно ошеломило. После Москвы 1918 года сам рынок казался какой-то сказкой из «Тысячи и одной ночи».

В чешском автомобиле в первый же день «свободы» были доставлены в городскую думу пятеро членов бывшего Учредительного собрания — эсеры В. К. Вольский, И. М. Брушвит, П. Д. Климушкин, И. П. Нестеров, Б. К. Фортунатов — и объявлены «правительством», Комитетом членов Учредительного собрания (КОМУЧ).

Откуда они взялись?

«Темно прошлое моего героя...» — эта гоголевская фраза о Чичикове не раз вспоминалась при попытке уяснить личность того же Брушвита.

Неверов как-то услышал: «Его в Самаре никто никогда не знал, не знал, что такое Брушвит. И попал в Са-

мару неизвестно откуда, и неизвестно, кто такой сам по себе. Словом, взялся откуда-то в Самаре».

И этот человек, без роду без племени, сразу стал управлять банками и учреждениями, ведавшими финансовыми делами!

Некоторые члены «учредилки» — и прежде всего ее председатель В. К. Вольский — искренне и честно заблуждались относительно своей роли в событиях русской революции. «Недаром потом Вольский был наиболее активным сторонником переговоров с Советской властью», — отметит историк Л. М. Спирин. Но ведь это «потом» относится к осени 1918 года, когда «учредилка» окажется в Уфе, под арестом у Колчака!

Сейчас же, в июне — июле 1918 года, эсеры вопреки самым «революционным» фразам, истерическим крикам о верности революции играли свою зловещую, предательскую роль. Л. М. Спирин отметил в книге «Классы и партии в гражданской войне в России»: «Буржуазия и помещики сразу не могли выступить против Советской власти со своими лозунгами. Слишком ненавистны были они народу. Вчерашним хозяевам России требовалось прикрытие. Они нашли его у эсеров и меньшевиков...»

И закипела на глазах у Неверова, тридцатидвухлетнего сотрудника газеты «Народ», странная, полная смешных потуг, противоречий, истерики и ожесточения против «неблагодарного» народа деятельность новых керенских губернского и уездного масштабов! Замелькали флаги нового «государства» — красные с надписью «Власть народу — власть Учредительному собранию». Появился официальный орган печати — «Самарские ведомости», в дальнейшем «Вестник членов Всероссийского Учредительного собрания». Выпущены были в оборот «свои» денежные знаки. Их — эти огромные зеленые и желтые листы — звали «раковки» (по имени министра финансов Ракова). Позднее появились еще «уфимки».

В августе — сентябре в Самару переехал лидер эсеров В. М. Чернов. Боясь, что белые офицеры убьют Чернова, «селянского» министра при Керенском, виновного в разложении старой армии, самарские правители выставили у гостиницы «Националь», где поселился глава правых эсеров, вооруженную охрану.

Неверов в летние и осенние месяцы 1918 года не раз с болью и тревогой ощущал, что весь этот спектакль разыгрывается на мужицких спинах.

На митингах в Самаре и в уездах он не раз видел,

как крестьяне недоуменно взирали на эсеровских говорунов, зовущих... к верности союзникам!

— Выходит, снова в окопах вшей кормить?

Оратор, услышав эти реплики, больше всего боясь быть похожим на кадета, царского чиновника, начинал изворачиваться, говорить о позоре похабного «Брестского мира, о всеобщем самопожертвовании».

Но мужики понимали кое-что и в географии. Особенно фронтовики.

— Но как же... фронт! Ведь тогда придется начать войну с теми, кто управляет территориями перед «фронтом»... С Москвой, с Петроградом...

— Придется... Мы ведем борьбу не с большевиками, а с Вильгельмом. Большевики только ширма. Нащупывая врага, приходится прокалывать штыком и ширму... Наш лозунг — «Мимо Советов!».

Перспектива антикайзеровского фронта на Волге, «прокалывания» территорий молодой Советской Республики, то есть война с революцией, вызывала открытый протест. Желающих идти в «Народную армию» не было. Мужики начинали выкрикивать:

— Убейте нас на месте, а буржуев защищать не пойдем!

Что оставалось в распоряжении эсеровских ораторов?

Одно дешевое красноречие, виртуозность словесного парения, даже «пилотажа». Возникали зрелища поединков немногих со многими, в которых эти немногие «маргариновые» вожди не имели ничего под рукой, кроме жеста, пафоса, голоса. Они ходили перед толпой, как циркачи без выбора: или блистай, кричи громче всех, или погибай...

А когда эти средства были исчерпаны, поднималась ненависть к тому же рыхлому крестьянству, не желавшему воевать, не желавшему заботиться ни о чем, кроме своего клочка земли... Непокорные деревни срывались снарядами до основания! Снаряды и орудия, были, естественно, чешские...

А где же была самарская буржуазия, белые офицеры, наконец, атаман Дутов?

Эсеры считали себя социалистами, наследниками народовольцев, всех «мучеников» и святых революции — в их рядах была и 73-летняя Е. К. Брешко-Брешковская, прозванная «бабушкой русской революции». Они не могли отменить сразу то, что установила Советская власть, — декрет о восьмичасовом рабочем дне, о национализации

земли... Они оставили в Самаре даже... Совет, как орган «общественного мнения пролетариата». Флаг над домом купца Наумова, где квартировало правительство, был красный... А погоны? Для «Народной армии» были стыдливо введены... маленькие и защитного цвета погоны!

Но всего этого—а главным образом военного бессилия, атрофии власти! — было достаточно, чтобы оттолкнуть от эсеров буржуазию и офицерство.

— Стоило свергать большевиков, чтобы посадить на престол этих... полубольшевиков? — говорили торговцы, купцы, крупные коммерсанты.

Атаман Дутов, считавшийся подчиненным «учредилке», тоже с презрением глядел на заболтавшихся сподвижников Чернова и говорил на съездах:

— От их красных гвоздик в петлицах у меня... трещит голова!

Ему-то, как и будущему «верховному правителю» адмиралу Колчаку, весь мир не рисовался в виде газетного листа, заполненного эсеровскими письмами. Он мечтал, как и вся крупная буржуазия, о военной диктатуре...

Неверов — натура чуткая к страданиям, не умеющая спокойно выносить спектаклей, разыгрываемых на чужих спинах, в данном случае на мужицких, — был далек от понимания свершившихся событий.

Осознать полностью смысл борьбы молодого Советского государства с открытой контрреволюцией и с «розовой», «демократической» контрреволюцией Неверов еще не мог. Ему казалось, что всеобщее примирение возможно, что «братоубийственную» войну между детьми одной матери-земли можно отвратить... Чем? Заклинанием, призывом к христианскому смирению! Неверов в эти месяцы предстает наивным пророком, желавшим семью хлебами — и часто тощими, «эсеровской выпечки» — накормить и успокоить тысячи недовольных, ожесточившихся душ.

Он жаждет, не замечая в пафосе сострадания собственной слепоты, примирить богатство и бедность. Ему вдруг стала страшна не вся империалистическая бойня, которую развязал мировой империализм, а только война, которую нес германский империализм, «Вильгельмище усатый»... Временами он забывал о своих же мужицких характерах, упорно отстаивавших человеческое достоинство, разумность жизни, и начинал говорить о царящем

на земле неодолимом хаосе, «свалке» страстей, из которой якобы спасти людей может только чудо.

Крестьянство, миллионоголовый сфинкс... Оно, веками воспитывавшееся в ненависти к казне, которая выколачивала подати, недоимки, развращенное эсеровскими заискиваниями в период между Февралем и Октябрем, зараженное эгоизмом стяжательства, часто омрачало и его надежды и упования. Отстаивая закрома с хлебом от рабочих продотрядов, забыв временно о величайших дарах — мире, земле, без выкупов и паутины податей, данных ему Октябрем, ленинскими декретами, — оно пошло вдруг на поводу у кулачества. Прав был, конечно, тот, незнакомый еще Неверову поэт, в своем стихотворном упреке хитровану мужику, в песне, долетевшей через фронт и до Самары:

Если б были все, как вы, ротозеи,
Что б осталось от Москвы, от Расеи.

Об эсерах и говорить не хотелось. Зажатые между двумя стенами ненависти — одной, уже раскалявшейся «добела», другой раскаленной «докрасна», — они исходили в речах, сочинении резолюций, лозунгов. Кого-то они хотели вести «мимо Советов», но не заметили, что мимо них шла история...

...Неверов порой звездными сентябрьскими ночами пробуждался среди кошмарного сна: ему казалось, что кто-то выталкивает его на сцену, в грохот чуждой ему музыки, пред очи многоликого зверя — возбужденной толпы. Тесен и убог костюм на нем, сковал и окаменил мускулы лица грим. Всюду запах фанеры, опилок, сверканье дешевых декораций... Но главное — текст, нелепая пьеса, дурная роль, которую он играет.

Просыпаясь от этого сновидения, он долго курил, а потом лежал с открытыми глазами. Он ловит себя на ощущениях, полных безысходности, пессимизма. «Все смешается в общей корзине забвения». Всякая стена, всякая теснота — в том числе и теснота церковных догм — кажется ему тюремной темницей:

«Что мне весеннее солнце. Я пугаюсь шагов своих, когда иду мимо тюремной стены, втягиваю плечи. Тюрьма и церковь. Неужели это вековое, неискоренимое? Обе требуют величайшей покорности, величайшего смирения. Страшный заколдованный круг, а в этом кругу — человек».

Можно подумать, что Неверов, нищий сотрудник га-

зеты «Народ», живший в отрыве от семьи, фактически раскрывавший антинародный смысл эсеровского «воцарения», — самый грешный человек в этом содоме, самый обремененный виной!.. Уж не он ли завел других в исторический тупик? Такова сила его покаяний, щемящая грусть раздумий. Перед ним расстилается действительно «ковер вселенского горя», вытканный и расстеленный на русской земле роковыми, скрытыми во тьме силами... А вину за все он... берет на себя!

«Много полевых дорог и тропинок, но убежать по ним некуда... Отовсюду, со всех концов, навстречу бежит разутое, раздетое человеческое горе с мертвыми, посиневшими губами, с безумными, невидящими глазами, с растрепанной головой, кланяется, молит, плачет, клянет, беспомощно протягивает руки и загораживает дорогу... Господь, господь!.. Где ты?»

Эти странные покаяния без «греха», муки ответственности за всех страждущих в мире возводят скромного учителя, терявшегося в митингующих толпах, на дорогах, ведущих из уезда в уезд, в теплушках состава, ушедшего из Самары в Уфу вместе с горе-правителями, на духовную высоту великих подвижников русской литературы.

...Уже в Уфе, побывав в качестве корреспондента газеты «Народ» на приемах французских и английских дипломатов, устроенных лидерами «учредилки», Неверов зло, саркастически остро высмеял устроителей приемов... В очерке «В те дни», снабженном эпиграфом «Горьким смехом моим посмеются», он писал:

«Комитет» чувствовал, что он «отзвонил свою обедню» и плывет меж берегов, ухватившись за тоненькую соломинку. Все его надежды возлагались только на союзников; все его взоры устремлены на «героическую Францию» и на «благородную Англию». Вот они приедут... Вот они прибудут... Они, свободолюбивые и пропитанные духом истинного демократизма, не позволят кучке военных интриганов попирать начала «правды и справедливости».

Снова какое удивительное прозрение в момент творчества при объективной житейской разбросанности, даже слепоте!

Изгнанные Красной Армией из Самары, Симбирска, Казани, запертые в Уфе, в «Сибирской гостинице», самарские правители хотели продолжить игру, имея... на руках одни шестерки! Ведь в Омске, где правила другая

«учредилка», по кличке «Сибоблдума» (Сибирская областная дума), уже шел к власти Колчак... 18 ноября 1918 года он совершил переворот и установил военную диктатуру.

А здесь, в Уфе, с шестерками на руках, еще хотели играть какую-то роль, плести интриги из обочины, вовлекать в борьбу Антанту. Реальных сил давно уже не было, банкетный стол, взаимное опьянение — зыбкая опора... И призрак исторического небытия уже маячил над уфимским сборищем...

Но Неверова уже не интересовали подробности бесславного конца «учредилки»... Он оценивал многое с высоты нового своего мироощущения.

Рассказ «Крест на горе» отразил переломное состояние писателя. До крайней выразительности, до пределов «последнего уловимого» доведена в нем мука писателя-гуманиста, мука слепоты! Но в нем же брезжит и глубокое осуждение реальных виновников народных драм.

Рассказ, как и будущая классическая повесть Неверова «Ташкент — город хлебный», соткан из реальных подробностей и неуловимых мелодий сострадания, грусти, светлой печали.

Дорога по самарской земле... Простор... Подвода с едущим куда-то растерянным интеллигентом...

«На полях — подпаленная зелень, на небе — голубые разорванные облака, плывущие в дальний неведомый путь... Тихо шумит колосистая рожь, дрожит, переливается воздух...»

Но подлинный центр всего рассказа не герой-интеллигент, созерцатель, заступник бедных и плачущих, а возница Захар... В него время вколотило множество впечатлений, он сводит их в литые, каменные глыбы выводов. Шершаво-дубовая кожа лица, борода, как распущенное повесьмо льна, пепельные, в трещинах губы и глаза, глубоко провалившиеся в ямы, под клочковатыми бровями, глаза, горящие застывшим пламенем, — все в рассказе высечено в слове прочном и крепком.

Возница и не хочет говорить ни о чем (он был бит уже за излишнюю разговорчивость) и не может не говорить. Он рвется открыть душу, оскорбленную в лучших ожиданиях, сказать о горе, сдавленности жизни.

«Нельзя ведь жить-то стало... Нет, силов не хватает... Ты гляди на нас хорошенько... Уж и терпим мы. Больно много терпим. Молчим! И так и эдак вертимся, чтобы духом не падать, ну, нет, нельзя... Наружу просится...»

Захара угнетает превращение всей жизни России в анархическое болото, страшит ощущение бесприютного постоялого двора, без хозяина, ощущение, навеваемое Россией. Он показывает окопы, где самарские правители с помощью белочехов доказывали мужикам, что их «свобода лучше». Подвода проезжает мимо креста на горе, мимо поврежденной умом Аннушки, склонившейся с ребенком у могилы...

«Молчу. Не слушаю.

Захар на кого-то жалуется, кого-то винит и оправдывает, но я не судья... Оборачиваясь, я вижу позади только обветренный крест под высохшим венком, поврежденную Аннушку с поникшей больной головой и безмолвное тяжкое горе в покорных, опухших глазах... Вижу плачущую русскую землю, изнемогающую под тяжелым крестом испытаний, и с болью на сердце, с тоской и отчаянием смотрю на голубые разорванные облака, плывущие в дальний неведомый путь».

3 декабря 1918 года Уфу захватили колчаковцы. Они не церемонились с «бледно-розовыми» демократами. Редактор газеты «Народ» Г. Н. Саров был арестован ими и уже в Омске расстрелян. Остальным учредиловцам было приказано тоже выехать в Омск.

Но Неверова среди выехавших не было. Он скрылся, предвидя скорое изгнание войск белого диктатора. И когда 31 декабря 1918 года Красная Армия освободила Уфу, писатель сразу же пришел в редакцию газеты «Вперед», издававшейся Уфимским городским комитетом РКП(б).

Первыми словами Неверова, высказанными с глубоким волнением, прерывисто и глухо, были:

— Мечтаю хоть пешком вернуться домой, в Самару... Мы ведь от правды правду искали и доотступались так, что отступать дальше некуда... Мы должны быть с теми, за кем идут рабочие и крестьяне. Народ своим сердцем чувствует, кто его друг, кто враг...

...Самара зимой 1919 года — ближайший тыл Красной Армии. Здесь находился штаб 4-й армии, а некоторое время и всей Южной группы войск Восточного фронта во главе с М. В. Фрунзе.

В холодной, тесной комнате — редакции журнала «Красноармеец» — стойкий, невыветривающийся запах табачного дыма, человеческого пота, керосиновых све-

тильников. В углу печка-«буржуйка» с выведенной в окно трубой. В шинелях, полушубках работают сотрудники журнала: мордвин А. Дорогойченко, П. Яровой и совсем недавно прибывший сюда из Уфы Неверов.

Колчак, собравший к этому времени армию численностью до 400 тысяч человек, подходил к Волге. На юге после ухода «в отставку» атамана Краснова Деникин объединил Добровольческую армию (до 40 тысяч) и казаков Донской области (15 тысяч казаков). В ней же находилось до двух третей всех генералов, полковников и подполковников старой армии.

Опасность соединения сил контрреволюции где-то в Поволжье делала атмосферу жизни в Самаре тревожной. Московские газеты приходили в это время с развернутыми обращениями:

— Колчак наступает на Волгу.

Трудовая Россия не прошла равнодушно мимо этой угрозы. Она встрепенулась, она забила тревогу.

Неверов многое открывал для себя в эти дни. Опасность, как он убедился, не смущала большевиков. Они трезво оценивали силы и колчаковской и деникинской армий: эти армии были сильны только тогда, когда были классово однородны, пусть и относительно малочисленны. Умножившись за счет насильно мобилизованных крестьян, казаков, они стали неустойчивыми, расползающимися.

Иные процессы происходили в создававшейся в эти же месяцы Красной Армии. В 1919 году, с апреля по август, только в одной Самарской губернии было призвано в Красную Армию 140 тысяч человек. Эсеры с трудом набрали в «Народную армию» с территории, на которой проживало 12 миллионов, 60—65 тысяч человек. Решительный перелом! И, беседуя с очередным начинающим автором в шинели — вчерашним крестьянином, рабочим, деревенским учителем (среди этого потока был и будущий поэт С. П. Щипачев, тогда солдат), Неверов пристально всматривался в то, чем живет, жарко дышит новый для него человеческий тип.

Новизна была в одном: рождался государственный склад мышления в самых затемненных, недавно еще анархических головах! Мечту о порядке, победе над хаосом самые широкие слои крестьянства и даже мелкой буржуазии стали прочно связывать с большевиками. Они, как показало время, были правы, пойдя в 1918 году на заключение Брестского мира: революция в Германии

отменила его... Они — в этом тоже убеждали события — действительно не допустят возвращения помещиков, возврата им земли. Наконец, борьба с анархией... Грабить, жечь даже ненавистные барские усадьбы, орать в иерихонские трубы «о социализации женщин» (анархистская листовка, расклеенная в Саратове), оставлять пустыню для детей на родной же земле — эта «энергичная» псевдореволюционность именно для большевиков — лишь уродливые гримасы былой российской обломовки. Сильное государство рабочих и крестьян — запас мощи, сил для всех, запас на десятилетия и века. В этой мощи, запасаемой, хранимой для исторического будущего, — высший, созидательный смысл революции. И народные массы, развращавшиеся всякого рода лестью, подачками, все больше осознавали, что сложной наукой строительства государства, державной мыслью владеет только ленинская партия. Она учит жить не только «для близких», тех, что в твоей хате, но и «для дальних», думать о судьбах России...

Из бесед с новыми людьми, встреч в казармах рождались новые рассказы Неверова, а вскоре и первые революционные пьесы... Незримый, сложный процесс переделки душ становился в этих произведениях наглядным.

О чем мечтает вначале герой неверовского рассказа «Красноармеец Терехин», мобилизованный в Красную Армию?

Вначале он целиком еще во власти старой системы ценностей. И хата его действительно с краю. Кулацкое преуспеяние соседа Степана Сысцова — образец жизненной карьеры и для него: «Степанова судьба из другой глины вылеплена... построила ему пятистенную избу под жестью, полон двор нагнала лошадей с коровами...»

Терехин чувствует себя как отруби в решете средь непонятных ему событий. От прошлого его оторвало, уносит все дальше. Но как сладостны видения прошлого! И ему хочется улизнуть, он почти убедил себя, что и без него «в Красной Армии штыки, чай, найдутся».

«У Терехина было такое ощущение, словно он шел не по земле, а по тонкой натянутой веревке: вот-вот оборвется веревка! Разъедутся задрожавшие ноги, полетит вниз головой... Люди, идущие рядом, казались непонятными... не мог понять внутренней силы, побеждающей холод, тоску и страдания, нес он тяжелую ношу сомнений, жалости к себе, утомления».

Но вот гибнет рядом с ним большевик Яков Московский, сверстник, мечтавший об ином, всеобщем счастье. И его мечта осталась «сиротой». И мечта яркая, влекущая многих!.. «Та изба, которая представлялась Якову, — думал Терехин, — была и светлее, и шире — целая освобожденная жизнь, начатая и выложенная руками трудящихся. Ему не было обидно, что он не попадет в новую избу. Радовался он и тому, что войдут в нее другие, стоящие теперь перед закрытыми дверями».

Но рассказы, газетные статьи — это среди стремительного нарастания человеческих масс, вовлеченных в историческое творчество, лишь крошечные солнечные лучики. Рассказ читается в тишине. А сейчас...

«Тишиной не возьмешь, Матрена. Кричать надо. Горе в слезах не утопишь: оно, как щенок, поверху плавает... Думать надо, дорогу искать», — говорит герой в пьесе Неверова «Бабы».

Ощущение — «тишиной не возьмешь» — определило обращение Неверова к драматургии, особому виду агиттеатра.

У митингов 1919 года, заметил Неверов, была своя особенность. На них каждый, как ребенок на уроке, хотел проверить свои познания, свою преодоленную наивность через других. Учившиеся думать при революции говорили... вслух. Все внимательно следили за тем, как давние знакомые, соседи, говоря словами С. Есенина,

Корявыми, немытыми речами
Они свою обсуживают жисть.

«Немытое», неочищенное слово, народная речь, считавшаяся «подлой», вся на жесте, физическом присутствии говорящего, пробили в эти годы окаменевшую ткань интеллигентского языка.

В 1919—1921 годы Неверов создал несколько пьес, с большим успехом шедших во многих народных и профессиональных театрах страны. Две из них — «Бабы» и «Захарова смерть» — были удостоены премий.

Бесспорно, эстетика агиток, согласно которой не полагалось выводить персонажей, занимающих промежуточное классовое положение, деление на сплошь «черных» или «белых», влияла на Неверова-драматурга. К тому же он вообще вступил в сферу, ему доселе неведомую.

Но талант свою меру знает, вернее, создает ее. Неверов был слишком переполнен впечатлениями жизни, что-

бы стать рабом какой-либо схемы. К тому же он знал свой театральный «зал» — набитые малограмотными солдатами, рабочими клубы, народные дома в селах, куда приходили и женщины с детьми и «своими» скамейками...

Театральный деятель Н. М. Виноградов-Мамонт, в прошлом царский офицер, артиллерист, перешедший в 1917 году на сторону Советской власти, отметил удивительную одаренность Неверова-чтеца:

«Читал Неверов вдохновенно. У него был высокий голос баритонально-тенорового оттенка, чуть с хрипотцой от простуд и курения. Лицо подвижное, мимически-богатое, способное отражать любую «натуру» — женскую и мужскую, девичью и стариковскую. Неверов не читал, а играл свои образы. Изредка прибегал к жесту, скупому, точному и выразительному, — всю силу вкладывал в интонации. Интонации его были бесконечны по разнообразию и удивительно верны по характеру... Но главная особенность неверовского чтения — громадная эмоциональность. Женская печаль шептала вашей душе неизъяснимое обаяние грусти. Мужской гнев — «Замолчи!» — был страшен. В этот момент глаза Неверова налились кровью, лицо побледнело, кулак сжался до синевы в ногтях. Натуралистические подробности текста умело скрадывались. Художник! Щедро одаренный природой художник!»

Поистине корявое, «немытое» начало избрал Неверов при создании пьесы «Бабы»: она начинается с антиэстетического эпизода — в канун революции в деревне, совсем обезмужичевшей, бабы, на завалинке беседуют и... ищут в головах! Ищут вошь, выраставшую в те годы до размеров страшной опасности для целых фронтов, армий и губерний!

Жалобы на жизнь, на бабью долю, на мужей-солдат, привозящих из Галиции дурные болезни. И наконец — драма в семье Крутовых, неизменно вызывавшая горячий отклик в зрительской аудитории.

Замученная, затравленная молодуха Катерина ищет заступничества... От кого? От угроз мужа Фильки, вернувшегося с фронта и взрастившего в душе страшное сомнение в верности жены... Его взрастил, как оказалось, отец Фильки, незадачливый снохач. Он был убит затем внезапно прозревшим Филькой...

Заурядная для старой деревни ситуация, о ней до этого попросту «судачили» у колодца, — и вдруг тра-

гедия, бунт молодого солдата против отца, деревенский вариант «Братьев Карамазовых». Время сделало значительным заурядное, проходное, в людях стала возникать личность, неведомое ранее достоинство. И красноармейцы, шедшие на фронт, новые люди деревни находили в пьесе свое. Зал затихал, когда тот же Филька, не находя покоя — он раздавлен морально, — вопрошал: «За что меня обидели? Лучше бы там убили — сразу...» «Маленьким хочется сделаться, лечь на колени к тебе, — говорит он матери, — согреться около тебя... Смириться не могу. Изранили меня. Где ни дотронусь — все больно».

Старый деревенский мир — мир неудач, разочарований, скрытых слез и вытекавших отсюда молитв — на глазах у зрителя (и в спектаклях по пьесе «Захарова смерть») ломался, трещал, в нем являлись новые фигуры. История деревни — история русского долготерпения, изнеможения, молчания — кончалась, и раскрывалась новая глава, в которой сверкал талант преобразователей, государственный ум. Неверовская деревня, развороченная, ломающаяся, высвобождала именно в это время миллионы дарований, стремительно всплывавших затем, через рабфаки, университеты, академии, как крестьянские дети Георгий Жуков, Федор Толбухин, Владимир Ильюшин, Александр Твардовский к вершинам исторически значимого творчества.

«Звено»... Название этого литературного кружка, созданного в 1919 году в Самаре, не раз встречается в письмах Неверова. Это был типичный для голодных лет литературный клуб горстки литераторов, учившихся друг у друга часто азам литературного мастерства. Гармонию здесь поверяли вовсе не «алгеброй», а скорее «арифметикой».

На собраниях кружка появлялся в галошах и теплом кожухе А. Гольдебаев, старый бытописатель-«знаньевец» с окладистой бородой. Неверов звал его «дедом». Приходили давние друзья — П. Яровой, Н. Степной (отец драматурга А. Н. Афиногенова), поэты Н. Жоголев, Я. Тисленко, друг А. М. Горького литературовед А. Смирнов-Треплев. Был франтоватый поэт А. Колосов, а во время поездок в Самару бывал в «Звене» С. Скиталец.

Неверов — в «маньчжурской» папахе, с толстой суковатой палкой в руках, в дешевом костюме неопределен-

ного цвета — приходил на собрания «Звена» усталым. В письмах Неверова этих лет то и дело «звучит» не условный стук бетховенской «судьбы» — вульгарнейшей нужды, и звучит дробно, назойливо, по-комариному. «Денег нет, хлеба нет. Сижу в конуре. Надоело. Мать — человек тяжелый. Грязь, вонь, теснота, далеко от города. Недавно захворал, провалялся два дня (24 января 1921)... Иной раз еле дотащусь и падаю в кровать, ведь живу-то где» (19 февраля 1921); «Лично для меня наступила голодовка. Дня четыре сидели на сухарях и думали, что делать» (апрель 1921 года); «Дорогой дед! Не ругайте внука, что он редко пишет Вам письма. Бегает внук, как молодой олень, в поисках за хлебом... Факты? Вот вам факты. Вчера, например, в субботу... нужно было получить продукты за чтение лекции у курсантов. Получил 14 ф. хлеба, 3 ф. пшена, три фунта рыбы, 75 золотников сахару и имел удовольствие превратиться в верблюда, навьюченного корзинкой и мешком, и тащить все это... до трамвайного тупика в ужасную жару... А тут еще вывернулась ручка у корзины» и т. п. (июнь 1921).

Жил Неверов с семьей в избенке у брата Петра Скобелева, писал по ночам... И чем? Вместо чернил приходилось использовать, разводя в воде... печную сажу!

Чаще всего на заседаниях «Звена», конечно, звучали стихи... Первым начинал читать нередко Алексей Дорогойченко. Сын неграмотной мордовки из села Большая Каменка, учившийся в Петербургском и Московском университетах, он уже не просто подражал «натуре», как многие самоучки. В его стихах горели огни над «осовеченной» деревней, являлся новый мужик, который

> ...лаптей уж не плетет из лык.
> Забыл... про едкую лучину
> И про звериный предков зык —
> От водяной турбины
> Наэлектризованный мужик.

Сам Неверов в этот последний — 1921 год — своего пребывания в Самаре настойчиво искал людей, способных научить его чему-то более сложному, чем писание агиток. Он жадно выспрашивал у Н. Г. Виноградова-Мамонта: а каковы законы драматургии, что такое сценическое время, искусство диалога? Беседы эти текучи, лихорадочны, талант Неверова создавал основу для быстрого взаимопонимания...

— В драматурге живут одновременно два мастера — архитектор и живописец, — начинал беседу Виноградов-Мамонт. Он, всего лишь офицер-артиллерист, был несравненно образованнее трепетного, пылкого Неверова. — Это значит, что архитектор строит композицию всей пьесы, каждого акта, каждой сцены. В «архитектуре» пьесы тоже разлит свой лиризм. Но все-таки это постройка, здание...

— А живописец? — прерывал, как всегда, схватив идею, Неверов.

— Живописец красками лепит и расписывает и «воздух пьесы», и внутреннюю атмосферу, и характеры... Язык — это краски пьесы.

— А кто же я?

— Вы, если не обидно прозвучит, — хороший живописец и пока плохой архитектор...

Н. Г. Виноградов-Мамонт, конечно, щадил самолюбие Неверова, жалел о явной дисгармонии природного таланта и знания, ремесла в Неверове и поражался стремительности его роста.

— «Ритм — это завороженное время, намагниченное переживаниями. При письме оно тягучее, длинное. А на сцене? Раздвинется занавес, и сценическое время «бросится» вперед, по путям, если хотите, намеченным судьбой. Краткость. Больше пауз. Чаще и резче перемена ритма. Быстрее «перескок» мыслей и чувств. Герой меняется с каждой фразой, он, извините еще раз, — делает шаг вверх или вниз, по лестнице судьбы...»

Неверов уходил от доброжелательного собеседника в глубоком раздумье. Крутая лестница своей грядущей судьбы рисовалась ему... Москва...

Не исчерпана ли уже Самара?

«Лицо жизни» — так назывался сборник рассказов Неверова, вышедший после его смерти. Летом 1921 года это «лицо» внезапно повернулось к писателю искаженным страшной гримасой муки, предсмертных страданий, одичания и даже людоедства.

Засуха в Поволжье! Ужасное лето 1921 года, ужасное для нескольких миллионов людей...

Голод обрушился на территорию, где проживало до 30 миллионов человек. Но эпицентр бедствия — будто некий незримый перст какой-то кары отметил ее! — пришелся именно на Самарскую губернию. Здесь в «черный

год» погибла почти четверть населения — около 668 тысяч человек.

...Первые сигналы о засухе стали поступать уже в мае, июне. Остались пустыми «сережки» низкорослого, тщедушного овса. Выкинув обнаженные корешки, лежали кустики проса, они как будто ползли по земле. А пшеница с голыми стеблями держала лишь кое-где крошечные зерна.

В июле уже задымится песчаная поземка у плетней, потрескается земля, начнут задыхаться без воды стада, обреченные на падеж... «Туркестанская мгла» — мириады песчинок, — словно плотный купол, повиснет над землей. И сквозь нее будет сочиться скудный, рассеянный, как будто измельченный, свет солнца. Будучи не в силах разгадать смысл безвинных мук, горя, обрушившегося на целый край, люди целыми деревнями будут выходить в поля с молебнами, стремясь разжалобить, смягчить вселенское зло, некую мировую бессмыслицу.

Но мужика трудно было стронуть с земли первыми тревожными сигналами. А когда наступило бедствие и стали падать лошади, мужицкие саврасушки — единственное средство передвижения, кого-либо вывезти, что-либо ввезти стало почти невозможно. Агония разобщенных деревень на фоне умирающих, бесхлебных полей приняла ужасающий характер.

Десятки тысяч нищих нахлынули в Самару, обезумевшие люди двинулись вдоль колеи железной дороги, ведущей в Туркестан, в Ташкент, на юго-восток... Поезда забирали лишь часть из них.

Летом 1921 года ряд самарских уездов, деревень посетил Фритьоф Нансен, прославленный норвежец, вскоре лауреат Нобелевской премии, один из покорителей Севера. В 1918 году он был Верховным комиссаром Лиги наций по делам военнопленных. Сейчас он прибыл как представитель Лиги наций по делам помощи голодающему Поволжью.

«Голод в Поволжье превосходил все наши ожидания, — заявил Нансен. — Мой спутник д-р Феррер, побывавший во время голода в Индии, Африке и Азии, нигде не встречал таких кошмарных размеров и картин голода, какие мы видели в Поволжье».

Немалой глубины душу надо было иметь, чтобы измерить русское горе и «размыкать» русскую печаль!

У Нансена эта душевная глубина нашлась, а вот тогдашний английский премьер-министр Л. Ллойд-Джордж счел голод удобным поводом для диктата Стране Советов, для навязывания ей политической капитуляции. Оценивая условия продовольственной помощи, выдвигаемые империализмом, В. И. Ленин с гневом писал: «Я не знаю, страшнее ли дьявол, чем современный империализм» [1].

В письмах Неверова этих лет — тревога, боль, возмущение...

«Как живу? Пока сносно, а вообще положение ужасное, — пишет он В. Я. Шишкову. — Слова такого не найдешь, чтобы передать весь ужас. Самарская деревня вымирает буквально. Между селами нет дорог, на деревню 2—3 лошади. Кошки, собаки поедены. Страшно общественное отупение, потеря «человеческой» совести...

Братья-писатели? А мы... неужели мы не в состоянии кричать?.. Ведь кричать нужно... Мы все, сидящие вдали от ужасов обезумевшей деревни, представить не можем того, что творится на местах...»

Сам он не только представлял, что творилось... Он жил этой же болью, у него вместе с тысячами погибавших отмирало какое-то вещество существования: вновь он жил в состоянии — «за всех скажу, за всех переболею».

Ужас обыденного одичания... «Я уж и не знаю.... Какая я стала — каменная, что ли!.. Страху-то никакого нет. Будто не я все делаю», — говорит крестьянка из неверовского очерка «Обыкновенное».

В очерке «За хлебом» — страдный путь в Ташкент, штрихи дороги, страшные подробности смертей, роковой стихии, вырвавшейся за пределы Поволжья...

«Медленным шагом идут пешеходы: женщины, девушки, парни, ребята. Режут степную дорогу вдоль полотна, теряют друг друга. Кто закрыт шалью, мешком, дерюгой, кто идет с голыми плечами... Ковыляет солдат с деревянной ногой. Босая баба тащит ребенка под шубой. Ребенок сосет арбузную корку... Все они сброшены с крыш, с тормозных площадок на сердитой станции и шагают в надежде дойти до следующей, которая не углядит за всеми.

Обессиленные лежат при дороге в траве, устало под-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 312.

нимают головы вслед уходящему поезду и снова свертываются одинокие, никому не нужные в холодной степи. Теснят одна другую Мугоджарские горы — голые, полукруглые. Издали похожи на лобастые бритые головы с широкими азиатскими скулами. Камень, песок, колючки».

Перед самим Неверовым, выбивавшимся из сил в поисках хлеба насущного для семьи, в это страшное лето встал вопрос: как спасти ее от голодной смерти? И бессребренику нельзя отмахнуться от этого вопроса.

Выход в тех условиях был один — поехать за хлебом в Ташкент. Но деньги?.. Ташкент тоже слезам не верит...

Писатель Н. А. Степной нашел выход:

— А не отправиться ли нам с лекциями в Ташкент?

— Это идея! — обрадовался Неверов. — Захватим Петяшку (брата Неверова, Петра Сергеевича Скобелева, чтеца-декламатора. — *В. Ч.*). Он будет декламировать, ты — читать лекции, я — рассказы... Только...

— Что только?

— Да кто же нам даст места в вагоне?

Это было действительно трудное дело. Поезда уходили, буквально облепленные «пассажирами». В пути их штурмовали голодные, обезумевшие, больные тифом люди. Но выручил член «Звена» — писатель Павел Дорохов, автор известной хроники «Колчаковщина». Он помог достать документы и пристроить писательскую бригаду в товарный вагон с группой кооператоров в качестве охранников некоего груза. Сами кооператоры, угрюмые бородатые мужики с грудой вещей для обмена, узнав, что едут писатели, смягчились.

— От дорожного Чека выручат, потому что народ они... одним словом, пролетарии.

В дороге Неверов не раз с великой мукой, болезненно реагировал на жалобные и жалкие своей безнадежностью крики, просьбы оборванных детей. Они бегали вдоль вагонов, бросались за каждой коркой, даже арбузной, их крики «ввинчивались» в сердце.

— Дяденька, ко-роч-ку, хоть кро-шеч-ку...

Неверов не мог съесть спокойно ни куска хлеба. Крики стояли в ушах, угнетали его сознание.

— Я не могу не подать. Может быть, мой Борька будет ходить с протянутой рукой вдоль вагонов и так же просить хоть крошечку. Как представлю это — кровь ударяет в голову, сердце рвется на части...

Страшно поразило Неверова и другое: на юге, как будто в ином мире, многие торгашеские души на рынках, в чайханах не дозрели, казалось, до стыда, неловкости быть пресыщенными в момент, когда голодает треть Руси. Той трудовой Руси, что свершила революцию во имя всех народов былой империи! Базар, увы, не знает чувства интернационального родства. Спекулянту не может быть стыдно, больно. Даже к крикам голодной детворы нравственно глухи торгаши всех мастей. «Равенства в страдании» (образ А. Платонова), мысли о том, что чужая боль и твоя боль, здесь не знали.

«Сколько яблок, сколько груш! — отметит Неверов. — Кишмиш, курага, урюк, белая мука, почернее мука, рис, мясо, калачи — где конец? Гостеприимно раскрыты чайхана, столовые, пахнет жареной бараниной, перцем, луком. Важно сидят сарты (так называли узбеков. — *В. Ч.*), подобрав ноги, покуривают из кальяна, едят шашлык, виноград, персики. В ушах стоит зазывной крик из-за прилавков:

— Ой, хороший виноград!

— Ой, гараченкий лапошка!»

Неверов не знал, конечно, что в соседнем с Самарой Воронеже молодой Андрей Платонов страстно протестовал против низкой цивилизации души, живущей во многих людях, неосознанного эгоизма. «Есть в душе человека позорная черта: неспособность к долгому пребыванию на высотах страдания и радости. Человека постигает смертельное страдание или пламенная радость — и вот душа его, привыкшая, сросшаяся с обыденностью, с «нормальностью», с ровным тихим потреблением дней, душа его отбрасывается назад...

Вот голод. И кто же из нас, неголодных, бьется с ним, кто, одолевая пространства, страдает от голода?» — писал молодой гуманист, тогда еще рабочий-интеллигент, в статье «Равенство в страдании» и напоминал: «Человечество — одно дыхание, одно живое теплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют все».

Как великий упрек свинцовой, тупой и самодовольной косности рождался в Неверове замысел повести «Ташкент — город хлебный». Дети все же спасут мир, они «докричатся» до самых одичавших или непроснувшихся душ. Их слезинки взорвут обманчивый, иллюзорный покой удобно устроившихся обывателей, заставя заново учиться человечности и доброте.

НА МОСКОВСКИХ ИЗОГНУТЫХ УЛИЦАХ

Книгу бы написать такую — солнечную. Налить ее радостью до краев и сказать всему человечеству: — Пей, жаждущее.

А. Неверов. Веселые ребята (1922)

Художники, посетившие «сей мир в его минуты роковые» (Ф. Тютчев), нередко платят за это очень дорого. В трепетной, чуткой душе утрачивается жизненное равновесие, возникает чрезмерность самоотдачи острейшим впечатлениям. Косный человек защищен от всего горестного «бесценным» даром жизнестойкости — даром мгновенного забвения, даром отталкивания от себя всего тревожного, «неудобного» ему. «Как с гуся вода» скатываются с него, забываясь, все тягостные впечатления. В натурах утонченных ничто не исчезает, не смывается потоком дней. Из богатства резких впечатлений рождается то «слишком», о котором Сергей Есенин сказал: «Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть...» Жизнь становится психологичнее, мысль человеческая в ее страданиях и борьбе трепещет, как свеча на ветру. И что же? «Воск» жизненных сил, «материя существования» (Платонов) сгорает ускоренно. И художник нередко погибает на бегу, с опозданием ощутив неодолимую усталость. «Русский гений недолговечен», — с изумлением отмечали странное сходство судеб многих художественных натур в России иностранцы.

Самарские друзья, коллеги по «Звену», все еще видели Неверова бесшабашным «бегунком», стихийным оптимистом, заражались блеском его глаз. Н. Ф. Жоголев, самарский поэт, описывая встречу с Неверовым на улице в марте 1922 года, под звон капелей, вспомнил веселый окрик Неверова и столь же шутливую беседу: «Эй, берегись!

Я остановился. Передо мной стоял, улыбаясь, гражданин в бараньей шапке, в стеганом пальто и намокших валенках. Через плечо перекинута мочальная веревка, привязанная к салазкам. На салазках — книги. Сверху прикреплена настольная лампа с зеленым абажуром.

— Вот, — показал он глазами на салазки, — переезжаю на новую квартиру, приходите на новоселье...

Мне кажется, что в облике вот этого Неверова — в промокших валенках, с книгами на салазках и с такой добродушной улыбкой на лице, которая словно говорила, что, невзирая на невзгоды, он все же безмерно счастлив... Препятствий на пути много, а все-таки хорошо, брат, жить на свете! Потому что есть революция, есть Ленин, потому что пришла весна».

Все это отчасти верно... И, несомненно, зримо. Но мало кто знал, как Неверов, мучимый незримыми тревогами и муками, все чаще выбегал вдруг в испуге из-за письменного стола, держась за сердце. Пелагея Андреевна сразу же помогала ему прилечь.

— Потри-ка вот здесь скорее!

Неверов указывал на плечо сзади, ближе к шее, и ежился от боли.

Пелагея Андреевна растирала плечо рукой, и через несколько минут боль проходила.

— Нервное это, — говорил Неверов. — Так было и в Уфе, и в ташкентском поезде...

Но «так было» и ранее — в 1918 году в деревне, когда он заболел сыпным тифом. Увы, и это, бывшее с миллионами людей, не миновало его. И вновь стыдливость, возвышенная скромность в страдании!

«Помню его, сидящего на стуле. Лицо серое, больное, на плечи накинута моя теплая шаль. Лежать в постели не хотел, думал «побороть болезнь», — вспоминала Пелагея Андреевна. — Когда положение ухудшилось и начался бред, я повезла Александра Сергеевича в Студенцы — в больницу. Но больница за неимением дров была закрыта. Пришлось ехать в Самару — сорок верст на лошадях и верст пятьдесят на поезде. Здесь после долгих мытарств по больницам я с большим трудом и слезами поместила своего больного в тифозный барак...»

Жизнь вообще — это весьма неустойчивое, зыбкое равновесие силы и слабости, здоровья и болезни, воли и расслабленности, бытия и небытия. Даже смерть встроена в механизм жизни. В Неверове это равновесие стало к 1922 году особенно неустойчивым. То он бесшабашно накладывал себе на плечи ношу непосильную. «Своя ноша — не тянет». То вдруг впадал в сомнения.

«Временами я чувствую в себе какую-то необыкновенную силу, внутренний подъем, но все это гибнет в сомнениях, колебаниях, мучительных поисках внутренней писательской правды», — сообщал он критику В. А. Рогачевскому в 1920 году.

В тридцать с небольшим лет он порой чувствует себя «стариком», пускается в своеобразные «путешествия в воспоминаниях». Было очевидно, что им накоплен огромный опыт чувств, опыт сострадания и нежности, опыт духовной интуиции.

«Ведь я ужасно сентиментальный, — пишет он одному из друзей. — А как вспомню себя в 25 лет, представлю деревушку в 40 дворов, десятирублевое жалованье учителя, крошечную комнатушку с одним окном, занавешенную газетой, ворох рукописей, короб неудач, миллионы самых светлых надежд, планов... и так жалко станет, что все это ушло, прошло, не воротится. Хорошая пора. Живешь нищим, а чувствуешь себя, как сто королей. И писалось совершенно иначе: просто, легко, с улыбочкой. Теперь не то. Чувствуешь на себе тяжелую обязанность, крест несешь. Боюсь лжи, лицемерия... А жизнь так сложна, так все в ней перепутано, новые понятия добра и зла. Человек оголился, ощетинился, прикрываясь идеей, и смотреть своим писательским оком в эту глубину не приходится легко и просто. Много лишнего, ненужного зла, отравляющего жизнь, но и много светлого, здорового, которое надо почувствовать «мудрым» сердцем, без предубеждения, руководствуясь не логикой обывателя... Лично я — болезненный идеалист, человек тихий, кроткий, и все кровавые жертвы переходного времени во имя великого будущего меня страшно угнетают».

Эти настроения, своеобразное «блуждание фокуса» интересов, рассеянное томление души — сложное отражение того, что случилось на глазах Неверова. Утраты, утраты, пустоты и здесь и там...

Народ для Неверова — живое тело движущейся истории, сила, которая беспрерывно и неустанно подтверждает свое бытие и отрицает смерть. Это, говоря языком героя Достоевского, «дух жизни...», «реки воды живой».

Войны, голод, тиф... И эти реки воды живой — ощущал Неверов — после бурь, ураганов страшно обмелели. Деревенский люд, часто неуклюжий, трудно понимающий свои же выгоды, «глупый, глупый смешной дуралей», — единственная живая, знакомая Неверову среда. И именно эта среда погрустнела, притихла, ошеломленная эпидемиями сыпняка, засухи. Найдутся ли в ней силы для скорого возрождения?

В таком состоянии — усталости, надежд, предчувствия новых художественных реальностей — Неверов при-

ехал наконец в Москву. Случилось это в мае 1922 года. Начался последний — всего полтора года — и наиболее интенсивный период его жизни и творчества.

В Москве 1922 года, литературной и нэповской, Неверов волей-неволей, как требовали того обстоятельства, должен был «примкнуть»... К кому? К близкому литературному течению... Иного не было дано никому.

Одинокая, самодовлеющая фигура писателя, беспристрастное «око мудрости» над миром, была немыслима и, самое меньшее, непонятна в те годы бурного функционирования групп, студий, группировок, школ, течений, кооперативных издательств, треска программ и манифестов. Писатели возникали серийно — целыми группировками. Все малое «союзилось», объединялось, грудилось, ожидая, что даже из нулей выйдет «число». Выйдет из безличностей — личность... Ведь образуются же из песчинок горы! Переход количества в качество упрощался. Но, увы, едва распались многие крикливые школы, теченьица, вроде имажинизма, футуризма, как многие их участники оказались именно песчинками. Остались Маяковский, Есенин, но гор футуризма, имажинизма, скажем прямо, так и не возникло...

Неверову — он ехал в Москву работать — не хотелось «примыкать» ни к какой узкокрестьянской или кастово-пролетарской, вроде «Кузницы», группировке. Здесь держались частенько принципа: «сопливенькое, но свое». Он видел, что из груды сопливеньких стишков, «своих» лишь по пафосу, вернее — «шуму», ничего действительно своего, нужного эпохе революции, не является. И Неверов с иронией и какой-то болью отвечал порой малограмотным стихотворцам «с позицией», с «тенденцией». Он пишет в одном из отзывов: «Вот, например, стихотворение «Грезы».

> И в этой сказке бытовой,
> Крестьянка, вижу образ твой,
> Как мотылек он, легкий, нежный,
> Порхает, вьется, безмятежный.

Извините нас за резкость, но здесь вместо настоящей живой крестьянки вы даете какой-то пряник, карамзинскую сентиментальность из «Бедной Лизы». Образ трудовой крестьянки — совсем не мотылек безмятежный и нежный, а нечто покрепче и погрубее...»

Но, увы, примыкать и «союзиться» надо — иначе в

Москве затопчут, замучают непризнанием, вообще изведешься в одиночестве... И даже общежития, «коммуны» не найдешь! Тем более надо, что в Москве — Неверов сразу же ощутил это, побывав кое-где в журналах, в пресловутом писательском клубе, где обедали тогда и булгаковские герои поэт Иван Бездомный и его духовный наставник Михаил Берлиоз («Мастер и Маргарита»), — было уже много чуждого ему, чуждого вообще сложным судьбам России. Он записывает:

«Незнакомцы. Черты купеческих приказчиков в лицах и в манере. Двое пожилых с бородками клинышком. Усталый вид непонятых и недооцененных людей... Девицы, непохожие на поэтесс. Молодежь еврейского типа... Черненький, бритый, подтянутый щеголь с барышней. Мысль: неужели это пролетарский поэт?

Впечатление общее: люди живут на какой-то другой планете и совершенно не интересуются тем, что не от них исходит. Жизнь страны, провинции для них далека, чужда и непонятна. Все они вертятся в кругу, начерченном своими руками» (из записных книжек).

К счастью, Неверов, легко сходившийся с людьми, отзывчивый, «теплый» человек, был сразу принят как желанный гость и в кружке «Никитинские субботники» (затем стал в нем секретарем), и в группе «Современники». После распада «Кузницы» и выхода Неверова из нее осенью 1923 года возникла даже группа «Коллектив рабоче-крестьянских писателей имени А. С. Неверова».

Судьба удостоила Неверова большого счастья — он был среди первых слушателей «Падения Даира» А. Малышкина осенью 1922 года и «Железного потока» А. Серафимовича осенью 1923 года.

Серафимовича и Неверова, самобытных певцов революции, нередко объединяли в те годы зарубежные издатели. В 1929 и 1930 годы в Германии дважды выходили вместе «Железный поток» А. Серафимовича и «Ташкент — город хлебный» А. Неверова. И немецкие критики писали тогда: «Издательству пришла в голову хорошая мысль — объединить в одном томе эти произведения А. Неверова и А. Серафимовича. И тут и там русский народ сам рассказывает о своей борьбе и страданиях с той заостренностью и объективностью, которые выходят за пределы собственно исторического свидетельства. Через сто лет авторы этих непритязательных повествований будут для народа тем же, чем стал для греков слепой Гомер».

«И несколько дней (после вечера у Серафимовича. — *В. Ч.*) он, Неверов, переживал сильное беспокойство, даже в глазах его горела лихорадка. В эти дни он писал с утра до ночи, не отрываясь от машинки. Еще на улице была слышна трескотня клавишей, и я знал, что он, Неверов, пишет новый рассказ или продолжает неоконченный роман «Гуси-лебеди», — вспоминал Федор Гладков.

В ноябре 1922 года Неверов прочел на очередном вечере «Никитинских субботников» драматическую повесть «Андрон Непутевый». Это было начало всего «московского» периода творчества, синтеза разрозненных впечатлений.

Андрон — солдат-фронтовик, прозванный Непутевым, — напоминает отчасти образы крестьянских бунтарей из пьес Неверова. Он изумляет тихую свою деревню огненностью натуры, дерзостью вызова, верой, что отныне

> На Руси-то трава растет не по-старому,
> Цветы цветут не по-прежнему.

«Нет, все по-старому, все по-прежнему», — как бы твердит в ответ ему старая деревня. «Ты всю воду перемутил, напиться негде», — кричали старики в пьесе «Захарова смерть» Григорию, новому человеку в деревне, тоже «непутевому».

Андрон, «богоотступник», «непочетник», не только отбивается от негодующей ярости старого, от обид и жалоб. Он, как былинный богатырь, а скорее как герой картины Б. Кустодиева «Большевик», подавляет сбитых с толку противников. А кто же «путевый»? Неужели те, кто, боясь истории, вмешательства ее в деревенский застойный быт, добровольно отвергая свое право вершить судьбами России, отдают это право кому угодно? «Путевые» ли те, кто стремится закутаться с головой в ненадежное одеяло патриархальной традиции, привычки, легенды? Те, что жаждут уклониться от велений истории? И стоят перед железной косой как травы.

> ...Вросли ногами крови в избы,
> Что нам первый ряд подкошенной травы?
> Только лишь до нас не добрались бы,
> Только нам бы,
> Только б нашей
> Не скосили, как ромашке, головы.

Неверов приходит к мысли, что пестрая смесь мужицких желаний — урвать побольше от событий и одновре-

менно укрыться от них, быть за революцию сезонно, «по обстоятельствам», из-за временной личной выгоды — это опасная гремучая смесь. Трусливость, нерешительность, смутность исторического сознания, младенчество государственной мысли не компенсируются ни поэзией труда, ни душевной красотой, ни сказками, свивающими свои гнезда под крышами русских деревень. Жизнь будет учить уклоняющихся, учить государственному складу мысли сурово и безжалостно.

«И призрак войны, бойни встанет перед Андроном.

Скорбь.

Стоит Андрон темной ночью на пепелище отцовском, крепко сжимает голову, платком перевязанную. Лежит дорога дальняя, непосильная — тяжело идти. Давит горе мужицкое, заливают сердце слезы и жалобы. Не жалеть нельзя и жалеть нельзя...»

Эта позиция была, несомненно, куда более патриотичной, гуманистической, чем позиция развязных разрушителей всех основ и традиций национальной жизни — в деревне ли, в искусстве ли...

Однажды, после вечера в Политехническом музее, где Неверов читал «Андрона Непутевого» — ему аплодировал вместе с залом и молодой А. Фадеев, — возникла беседа о судьбе русской классики.

О народном творчестве он говорил с неизменным восхищением:

— Мне былины нравятся: фразы в них, конечно, архаичны, но сила там необыкновенная. Мужик знает тайну могучего образа. Он не просто говорит, а эпопею поет... Он плачет от сердца и веселится от души. Он ничего на веру не берет — скептик, но и бунтарь исторический. Язык у него богатый, певучий и мудрый. Говорит он и поет, как холсты расстилает...

Одновременно с повестью «Андрон Непутевый» Неверов пишет в Москве и роман «Гуси-лебеди». Он спешит, как бы предчувствуя недолгий срок оставшейся жизни... И не только поэтому.

Известно, что революционные ситуации нельзя «консервировать»: в них действуют не тряпичные фигурки, а живые люди в крайнем напряжении, в скульптурной выпуклости страстей. И «угль, пылающий огнем» — вдохновение художника, живущего именно революционными событиями, — тоже не законсервируешь, оно горит, а не тлеет.

В душе Неверова в этот год уже не было нутряного

восторга (не путать с вдохновением, предупреждал еще Пушкин) импровизатора, ловящего напев, мотив и «плывущего» на нем. Лета клонили и его к суровой прозе... в прозе! Но напор внутренней силы, натиск живых впечатлений не ослабевал.

«Жизнь московская мне нравится. Толчки есть здоровые. Есть с кем побороться, потягаться, есть от кого заразиться. Дремать некогда», — пишет он брату П. С. Скобелеву в октябре 1922 года.

«Здесь поле широкое. Знай работай, да не трусь», — сообщает он В. Я. Шишкову в другом письме.

Дремать и трусить ему и не хотелось. Тем более что любимую тему — деревня в годы революции — нередко опошляли, раскрывали так приблизительно, что Неверов часто не находил слов от возмущения.

«Борис Пильняк — археолог, древнелюб, книжник. Когда он описывает Россию революционную, мужицкую в романе «Голый год» — смотрит на нее из XVII века, из монастырского фолианта. Это в лучшем случае. В худшем — глазами умирающего барства, барской расслабленности, через «философию» провинциальных мудрецов», — спокойно начинает Неверов первую статью из серии «Деревня в современной литературе», статью о романе «Голый год» Б. Пильняка.

Но, наткнувшись на оценку пильняковского героя, писателя Тропарова, мужиков («В селе живут дикари, именуемые русскими крестьянами»), Неверов пишет в ином, совсем неспокойном тоне:

«Да, мужики дикари, ибо словоблудия писательского они не знают.

Если в современной России только леса, степи да болота, водяные да лешие, иконы да обрядицы — откуда же все-таки снизошла Октябрьская революция?..

...Пильняковская деревня ничего не хочет. И Петербург ей не нужен, и «чугунка» не нужна. Вот лешие с ведьмами — другое дело. Были они тысячу лет и опять будут, потому что это вековое, русское, историческое, от этого не уйдешь, это не убьешь никакой революцией...»

Роман «Гуси-лебеди» — это исповедь художника, застигнутого весной 1918 года событиями, превосходившими его дар исторического разумения, и одновременно приговор «розовой» контрреволюции, самарской «учредилке», дряблой неонароднической интеллигенции.

Монументально-романтическим языком раскрывает художник в романе «Гуси-лебеди» смысл всей предрево-

люционной жизни — с податями, грязью, мраком, пьянством. К чему привыкли земляки большевика Федякина, жители села Заливанова? На какой «утес» налетел ураган революции? «Утес» этот создавали не только сами богачи, но и бедняки, бедные сознанием своей бедности, не знавшие силы своего протеста, покорно шедшие «по кругам» традиционного бытия.

«Плакала, смеялась, плясала, скакала, прыгала развеселившаяся нищета с засученными рукавами. В дымном угаре, в коротких, туманящихся снах находили люди отдых и светлую долю. С водкой приходило и надрывающее душу веселье, слезы на судьбы, на бога, на плохие порядки, мешающие жить... После скачущей, ревущей суматохи, после пьяных дымных дней наступали дни покаяния. По праздникам уходили в церковь, тащили черное наболевшее горе угодникам. Уходили оттуда помятыми, отяжелевшими, как после долгой бесполезной работы. Принесенное в церковь горе тащилось назад, шумело на улицах».

Углубленно и многозначительно звучит в романе «Гуси-лебеди» тема зреющего недовольства, переполняющего души стихийным нетерпением... И тема неприязни к «недотепам», к выморочным книжным «просветителям», спасающим душу в хождениях в народ...

...Вновь перед духовным взором писателя весна 1918 года. Мужицкая толпа в селе Заливанове как пчелиный рой, сносимый ветром то в одну, то в другую сторону. Слухи повергают мужиков то в радость, то в тревогу. Но этот «рой» еще кажется внешне однородным, единым. И деревенские богачи растворяются в общей массе. Думать всерьез о времени никому не хочется. В ушах мужиков звенят новые пугающие слова — «социализация», «национализáция», «учредительное собрание». Привычка ждать, что «приедет барин — барин нас рассудит», все равно, кто выступит в роли барина, жажда «больше вместить в себя пьяного волнующего возбуждения» — все это создает из крестьянских толп удобное тесто для множества «стряпчих».

И необходимо разбираться в программах различных партий!.. А не перебить ли всех грамотеев вообще, не погасить ли любые «огоньки», тогда никто не найдет мужика в тишине и мраке истории?

Гнетущее чувство многих — его Неверов запечатлел в состоянии Кондратия Струкачева, середняка, с мрачным озлоблением встретившего затронувшие его события, —

чувство безвольной блохи, над которой... «Думая о человеке, Кондратий видел в нем самого себя, чувствовал, что сидит под чьим-то пальцем, готовым раздавить его в каждую минуту, и ему стало ясно: или палец раздавит его, или он должен оторвать этот палец. Значит, война...»

В годы создания романа Неверов вновь побывал в родных местах (летом 1923 года), посетил села, которые самарские учредиловцы вместе с белочехами подвергали наказаниям за отказ дать рекрутов в «Народную армию». Он вновь увидел — и себя среди них — тех одиноких, наивных сельских интеллигентов, которые пробовали пролететь, как бесплотные ангелы с миртовыми ветвями, между двумя враждебными мирами.

Как глиняный ком, рассыпается жизнь, повергая в недоумение этих сеятелей разумного, доброго, вечного.

«Ну, вот прямо ничего не понимаю. Раньше думала, умная я, вижу кое-что, теперь совершенно ничего не вижу. Верила в человека, в добро, теперь даже не знаю, что такое добро. Новое стало оно, другое. Все какие-то обожженные, чуть дотронешься — на дыбы», — сетует учительница Марья Кондратьевна.

Но в отличие от писателей, увидевших в событиях только стихийное, «метельное» начало, возродивших шопенгауэровское представление о толпе как прибежище бездарности, недомыслия, Неверов уловил настоящий разум событий.

Деревня вовсе не сфера загадок, не тот мифический мир, куда, как писал в эти годы П. Милюков, «погружается нижняя половина разинутых ножниц», перерезающих якобы историю России... Это тот же мир революции, только более вязкий, сложный...

Образ Кондратия Струкачева, середняка, отразивший муки сознания, разорванного историческими взрывами, ощущающего, что даже нейтрализм — это острая и уязвимая социальная позиция, — одно из высших достижений неверовской прозы. Сутулый длинноногий мужик в нахлобученной шапке, он вначале молча слушает и большевика Федякина, и эсерку Марью Кондратьевну. Разговоры о хорошем житье, как пишет Неверов, «убаюкивали и, как маленького, укладывали в легкую воздушную зыбку». Революция — это мечта, всколыхнувшая душу, сделавшая возможным недоступное. Но как поверить в мечту, разорвать кольцо старых привычек? Этот рывок труден. Кондратий и хочет его сделать, и соскальзывает назад, к «старому коробу». Тогда рождается душевное

озлобление, ненависть, обрушивающаяся на жену Фиону.

Роман показывает начало великого межевания, начало войны, бушевавшей затем на просторах всей России. Незаконченный, оборванный на переломном моменте, он вселяет веру в торжество новой жизни, правды Федякина — в то, что «жизнь, давившая душу, вылезет из скорлупы корыстной жадности, согреется иным теплом...».

Весной 1922 года Неверов впервые обмолвился о замысле повести «Ташкент — город хлебный». Он сообщал Я. П. Гинзбургу: «Писать о голоде теперь очень трудно в художественной форме. А я до тех пор не могу выпустить вещь из рук, пока она мне не понравится — более или менее... Я как раз ломаю сейчас голову над тем, как создать «нечто».

Через год с небольшим — 19 мая 1923 года — повесть вчерне была закончена.

Жизнь порядком уже утомила Неверова. Никакого отдыха душе! Ничего устоявшегося, прочного — и это в тридцать шесть лет... Жить на ренту от литературной славы или должности он не мог. Действовать по принципу — «когда не могут воспарить мыслями, то прибегают к высокопарному слогу» — он никогда не хотел. Его слово проходило в душе и в истории тот же сложный путь, что и события в истории.

Жил Неверов в Москве то в одной комнате с П. Яровым, то совместно с П. Дороховым, поэтами М. Герасимовым, В. Кирилловым в арендованном на Большой Полянке особняке, то в общежитии писателей «Кузницы». Семья приехала в Москву. Но у Неверова боязнь своей внезапной смерти стала с этих пор только возрастать. Он работает много: кроме «толстых» журналов, сотрудничает и в «Крестьянке», и в «Работнице», и в «Делегатке», и в «Красноармейце», и в «Крокодиле» (его псевдонимы — Зубок, Деревенский, Свойский, Насмешник).

Жена писателя А. С. Новикова-Прибоя, М. Л. Новикова, уловила эти мрачные предчувствия Неверова. Зайдя в дом к Новикову-Прибою 23 декабря 1923 года за несколько часов до смерти, не застав автора будущего романа «Цусима», он удивил хозяйку дома страхами: «В разговоре с ним меня поразило то, что он как будто предчувствовал угрожающую ему беду. Не раз повторял, что жить ему осталось немного и что ему хотелось бы

«оставить Пелагеюшку обеспеченной». Я его утешала, разубеждала в предчувствиях, а он все твердил одно и то же: нет, жить ему осталось недолго».

Откуда это странное, чисто духовное предвидение своей ближайшей судьбы? Этот инстинкт конца? И особенно яркая вспышка «свечи» перед угасанием — повесть о крестьянском мальчишке Мишке Додонове?

Голод, испытания, муки сокрушают или ввергают в одичание людей одномерных, с варварским здоровьем. И в борьбе таких нет жертв: какие жертвы, когда один механизм ломает другой, один зверь другого зверя ест, когда «ядущее становится ядомым»?.. Но в натурах глубоко духовных эти испытания необыкновенно утончают всю нравственную жизнь, создают, по существу, новое сознание. Мало хлеба, скуден кусок, но не съедается ли этот скудный фунт достойнее, «духовнее», чем былые несчитанные пуды? Истинный вкус хлеба, может быть, только после голода 1921 года и стал сполна известен Неверову. Блага обыденщины перестали быть благами, дарами, доставшимися неведомо как! В кругу обычных явлений жизни стало меньше явлений незапоминаемых, неценимых. Развивается величайшая, с эффектом увеличительного стекла, зоркость. Становится меньше машинального, то есть совершаемого механически, без всякого участия сознания. Не жизнь в длину ценится больше всего, а качество дней...

И в этом есть утешение от нелегкой доли — жить в бурное историческое время. Уменьшать роль механического в своей жизни, участвовать сознанием и сердцем во всех мельчайших ее обстоятельствах — не значит ли это вообще подниматься на высшую ступень сознания? Не значит ли это жить менее слепо, менее небрежно?

Эти новые мироощущения воспитали в Неверове особую остроту не лицезрения, а «душезрения». Они создали «объем» чувств и жестов, богатство полутонов в «Ташкенте — городе хлебном» — подлинной поэме о «великом Исходе и необоримой мощи воспрянувшего народного духа» (Н. И. Страхов).

Хлеб — дорога — Ташкент...

И до хлебной одиссеи Мишки Додонова, двенадцатилетнего мальчишки из бузулукского села Лопатина, Неверов описывал эту дорогу — страшную, мучительную, по которой слабые просто ползли, нащупывая травку, растирая ее на зубах, сильные же, отталкивая других, завоевывали аршин пространства на зыбкой крыше вагона...

И «хлеб» — вернее мечту о нем, хлеб символический, даже евангельский, возникал в галлюцинациях голода у героев очерков 1921 года.

Но сейчас, когда создавалась повесть, писатель увидел иную дорогу, иную колею движения Мишки. Что значат сами по себе полустанки, вагоны, рельсы, паровозы? Они не перенесли бы изголодавшегося, обокраденного мальчика, потерявшего друга-товарища Сережку, в этакую райскую ташкентскую даль, если бы он не увяз, не застрял в единственно движущей, спасающей его «колее» — в народе.

Не раз в пути Мишка бывал в состоянии полного бессилия перед судьбой. И никакой паровоз не выволок бы его из пучины горя. Однажды обокрали, сбросили со всех поездов, обидели. Умер друг-товарищ Сережка. «Легло большое человеческое горе на маленького Мишку, придавило, притиснуло. Упал лицом он между шпалами, вывернул лапти с разбитыми пятками и забился ягненком под острым ножом».

Но некий ангел-хранитель всякий раз как будто отводит этот роковой «нож». И Мишка, сражаясь с бедами и одновременно по-ребячьи играя еще в небывалую игру, в «экзамены» его смышлености, проворству, продолжает свой путь. Не с «мешком за смертью» — так называлась сходная по теме повесть тех лет С. Григорьева — едет он, маленький чудотворный строитель России, а за жизнью, новым бытием для семьи, села, России.

Кто же переносит его в Ташкент? Какая чудесная движущаяся лестница нашлась в изголодавшемся народе?

Л. Н. Толстой однажды был изумлен точным народным выражением: «Беги по народу...» В одном из очерков толстовский герой, мужик Емельян, сам почти гибнущий в давке, тесноте, задавленный толпой, вдруг взглянул под ноги. «...Мальчик, простоволосый, в разорванной рубашонке, лежал навзничь и, не переставая голосить, хватал его за ноги. Емельяну вдруг что-то вступило в сердце. Страх за себя прошел. Прошла и злоба к людям. Ему стало жалко мальчика. Он нагнулся, подхватил его под живот, но задние так наперли на него, что он чуть не упал, выпустил из рук мальчика, но тотчас же, напрягши все силы, опять подхватил его и вскинул себе на плечо. Напиравшие менее стали напирать, и Емельян понес мальчика.

— Давай его сюда, — крикнул шедший с Емельяном кучер и взял мальчика и поднял его выше толпы.

— *Беги по народу.*

И Емельян, оглядываясь, видел, как мальчик, *то ныряя в народе, то поднимаясь над ним,* по плечам, по головам людей уходил все дальше и дальше» — (выделено мной — *В. Ч.*).

Миша Додонов тоже, если не бежит по народу, ныряя в него, поднимаясь над ним, то, во всяком случае, движется вместе с ним. Он едет не в Ташкент только — ведь сытый, неспособный проникнуться подлинным ощущением равенства в страдании «Ташкент» лишь минутная опора! — а в безграничную даль народной истории. Ташкент — тупик сам по себе. Это день настоящий, не разрастающийся в вечность. О нем и сообщается весьма кратко. В повести мы видим страдания, муки и надежды страдного пути. Гибнет, «сеется» тело народное — спасается его душа, его талант, спасается в Мишке, этом «семечке» народного духа.

Народ в повести иной при всем обилии картин ожесточения, чем в предшествующих произведениях Неверова. Он менее самоуверенный, менее расточительный, он задумчив и не столь беспечен: голод, унеся многих, перед каждым обозначил предел и его бытия. Все, даже самые самоуверенные, убежденные, что на Руси «народа хватит» и для настоящего и для будущего, содрогнулись при мысли, что его может и не хватить для будущего. И принялись из последних сил беречь ребенка, того же Мишку. Он всеобщая надежда, прорыв в будущее... Повесть — поэма единения, братства людей.

В самом процессе движения «в народе» и «по народу» Мишка, страдая и играя, незаметно превращается в водителя народа, куда более реального и живого, чем тот, «в алом венчике из роз», что ведет блоковских красногвардейцев в поэме «Двенадцать».

«В этом страдании, — писал немецкий критик Ф. Мирау, — возникает великая вера в новый мир, который может смотреть правде прямо в глаза... Удалось (Неверову. — *В. Ч.*) показать трудное путешествие Мишки Додонова в двойном освещении — с точки зрения приключений и ответственности, с позиций двенадцатилетнего мальчишки и двенадцатилетнего крестьянина, спора из-за гайки и «заветной мужицкой мечты». Мишка играет и творит историю...»

Как возникает это двойное освещение — один из

«секретов» прекрасной «солнечной книги» Неверова... И секретов, тем более скрытых, что вся повесть кажется совершенно прозрачной, простодушно-открытой, «конкретной»... Это почти очерки с натуры...

Бесконечное очарование всего образа двенадцатилетнего героя, бредущего долго с мешком за плечами, в лаптях, к ближайшей станции, подбадривая дружка Сережку, увлеченного им же в путь-дорогу, — в очень естественном чередовании детских радостей, забот и нелегких даже для взрослых раздумий. На всем протяжении пути — через горечь тяжких впечатлений, среди ужаса смертей от тифа, голода, через станции и полустанки, где ворочается, стонет горе людское, — Мишка Додонов проходит перед читателем как человек, до мельчайших подробностей душевной жизни созданный именно своим временем. Кажется, что он весь вышел не из творческой лаборатории художника, а вылеплен, изваян грозной эпохой войн, революций, разрухи. История народа — в этом характере.

На первом этапе пути Мишка, как запасливый мужичок с ноготок, опирается всецело на старые крестьянские традиции бережливости, оглядки, учета «своего». «Береженого бог бережет», «поклонишься — не переломишься», «денежка счет любит» — какие иные правила мог вынести он из старой жизни? И вот он учитывает «одолжения», сделанные Сережке, клянет в душе «уговор», связавший его с ним и мешающий ему уехать в Ташкент одному.

Сложность поведения Мишки Додонова — психологически точное отражение реальностей мира. Он идет «по народу», не идиллическому, а ожесточившемуся, повергаемому в состояние отчаяния, усталости. Ужасавшее иных предреволюционных публицистов загаживание, опошление самого исторического места, называвшегося Россией, свершилось, кажется, в масштабах, превосходящих любое, самое худшее ожидание:

«За станцией дымились жарники. Пахло кипяченой водой, луком, картошкой, жженым навозом.

Тут варили, тут и «на двор» ходили.

Голые бабы со спущенными по брюхо рубахами, косматые и немытые, вытаскивали вшей из рубашечных рубцов... На глазах у всех гнулась девка, страдающая поносом, морщилась от тяжелой натуги.

Укрыться было негде».

Все величие народа, необоримая мощь народного духа

в том и состояли, что он сохранил и в этих условиях способность бороться за свое будущее. Не поглощен и не подавлен он ужасным настоящим. И в лице Мишки он бережет свое будущее.

«Упрямая воля к жизни, ведущая по шпалам маленьким встревоженным червяком, укрепляла Мишкины ноги, и он даже подпрыгивал, пробовал легонько бежать... Пускай думают, что он умер, пускай едут в вагонах, если такие люди находятся, которые товарищей бросают, а он все равно идет, и никто его не тронет...»

Мишка идет, не одичав, не разорвав ни уз товарищества, ни доброты. Он «осложнил» свой маршрут и задержкой у больницы, куда попал Сережка, и муками за другого дружка, Трофима, упавшего под колеса... И эта духовная высота делает его не просто равным со всеми взрослыми, которые помогают ему, отвечая на его просьбу «поддержите в таком положении»... Он превосходит их часто. Он надежда и искупление всей земли.

Неверов запечатлел и рождение новой доброты в людях. Революция, гуманистические законы которой не отменил даже голод, страшные муки, уже воспитала и продолжает воспитывать людей — вопреки всем лишениям!— и в этом невероятном пути в Ташкент. Девушка-санитарка, подбирающая больного Сережку и заодно и Мишку, чекист Дунаев, накормивший его, помогающий ему сесть на поезд, наконец, машинист Кондратьев — все это люди, которые добры к Мишке новой, особой *добротой*, рожденной революцией. Эта доброта выше былой жалости. Они доносят до Мишки мысль о том, что и «чугунка» эта, и вся земля, и страна, пусть разоренная, голодная, теперь наши, принадлежат трудовому народу.

Зачем ему, машинисту Кондратьеву, Мишкин искренний дар — ножик, если революция дала ему все, о чем рабочий люд мечтал в потемках былой жизни? Обнаружив «подаренный» ножик в своем же кармане, сначала Мишка удивился, хотел бежать к паровозу, потом облегченно подумал: «Разве возьмет *такой* человек?»

Повесть «Ташкент — город хлебный» подтвердила, что кончилось время одетых в бархатные штанишки мальчиков, для которых писались трогательные книжицы про фей и волшебниц и которым готовилась праздная жизнь. Вернувшийся домой с хлебом, узнавший от хворой матери последнюю горестную весть — «Яшка с

Федькой умерли», — он обошел двор, затем встал около мешков с пшеницей, твердо сказал:

— Ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться...

И он исполнит свои обещания... Весь проделанный трудный путь в Ташкент убеждает в том, что и будущий путь героя, путь всего народа, частью которого является Мишка, будет столь же упорным, неостановимым движением вперед. Он восстановит, возродит все — и дом, и поля, и родную страну, — и далеким прошлым станет горе, нужда, весь страдный, недетский путь в Ташкент, «хлебная одиссея» мучительных лет разрухи.

Повесть «Ташкент — город хлебный», вышедшая в 58 странах, и поныне остается ярким человеческим, социальным и художественным документом, поучительным для читателей наших дней.

«Ташкент — город хлебный» впоследствии будет переведен на 15 языков мира. Общий тираж повести, вышедшей свыше 50 раз, превысит 1 миллион 300 тысяч экземпляров.

...Инстинкт своего конца, чувство «ската», то неосознанное, что Сергей Есенин назвал «только больно видеть жизни край», не обманули, к сожалению, Неверова.

В один из декабрьских вечеров, когда сумерки начинаются сразу после полудня, он забежал к самарскому другу и наставнику Н. Г. Виноградову-Мамонту. Вечно неуверенный, все еще «не верящий» в свой талант, Неверов ждал от него советов. Сейчас он выслушал оценку рассказа «Шкрабы».

— Вещь неверовская... Но чувствуется утомление автора... Хромой красноармеец Егорка переполз сюда из других ваших рассказов.

— Утомление? Да, пожалуй, есть утомление, — с грустью согласился Неверов.

Он слишком чувствовал, что именно теперь, когда он, кажется, победил в споре с судьбой, вылез на свет божий, силы оставляли его. Слишком крут был для него подъем. Сложности обступали его и сейчас. Многие считали даже «Ташкент» всего лишь честной работой, но не искусством, и его навечно зачислили в разряд начинающих.

За стеной — звуки рояля и удивительное, исполненное светлой печали пение. Женский голос «молебствовал»,

скорбел, напоминал о неистраченной верности единственному чувству.

— Кто поет? — спросил Неверов.

— Соседка по квартире. Надежда Андреевна Обухова. Голос, конечно, несравненный...

— Что поет?.. Я ведь только раз был в Большом театре... Все утешаю себя и Пелагею: вот теперь поработаю, а на будущий год уже походим по театрам!

— Это Любаша. Из «Царской невесты»...

Неверов умолк. Зимние сумерки легли на его лицо. И собеседник так и не увидел, что за спиной Неверова уже стояла смерть... Понимал это лишь сам Неверов. Атмосфера духовных перегрузок, тревог, впечатлений, часто непосильно суровых для души, — это тоже входит в нелегкое счастье быть писателем горьковской школы. И смерть на новом подъеме, на бегу. Но долголетнее счастье «щегла в клетке» — камерного поэта, необременительная тревожность суетливого развлекателя публики — вне природы художника, которого сам народ, бури его истории внесли в мир творчества.

В день смерти Неверов перебирал все письма, записки, приглашения, валявшиеся на письменном столе... Одна из них остановила его. Ах, эта анкета? Она лежит с 18 декабря, сегодня 24 декабря...

«В связи с судом над 4-мя поэтами, — писали из редакции «Журналиста», — редакция просит высказать свое мнение по существу предлагаемых вопросов: «1) Существует ли «Вена» в современной литературе? 2) Если да, что питает в существующих условиях такие нравы? 3) Как бороться с нездоровыми явлениями в литературе?» Срок сдачи анкеты — 23 декабря с. г.

«Вена» — ресторан в дореволюционном Петербурге — невольный причал литераторов, место всяческих «инцидентов», раздувавшихся желтой прессой, символ богемского великолепия — в глазах мещанства — писательской жизни.

Неверов вспомнил недавний инцидент на «московских изогнутых улицах»... Сергей Есенин, его друзья Петр Орешин и Сергей Клычков, бог весть как втершийся к ним под видом рубахи-парня, графоман Ганин, «крикун с провокаторским уклоном» (со слов В. В. Казина) устроили якобы пьяный дебош в пивной... Сей Ганин, несомненно, «есенинец» в большей мере, чем сам Есенин! Он, вероятнее всего, и затеял драку, втянул в нее других и...

И исчез, конечно. Впрочем, он лично и не был интересен никому...

Итак, дебош... Мало ли такого бывало и бывает! Но странно, что Лев Сосновский, один из подручных «самого Троцкого», человек, назвавший Горького «бывший Главсокол — ныне Центроуж», мгновенно выступил с грозными обвинениями названных русских поэтов — Ганин ему был не нужен. Воззвал к общественному мнению... Нашлись судьи — Керженцев, Аросев, Новицкий, — с оговорками поддержавшие обвинения Л. Сосновского на товарищеском суде... И вот возникла анкета. Существует ли «Вена»?

«В писательской среде, — Неверов писал с глубокой грустью, — есть случаи выпивок как общее явление нэпа, выпивают все, шила в мешке не утаишь, но выпивки эти совершенно не носят того характера, чтобы говорить по ним о «нездоровых явлениях в литературе». Вызываются они не общественной испорченностью того или иного писателя, а в большинстве случаев скорее *бедностью* его жизни и просто нашей русской особенностью «посидеть на людях», «завязать горе веревочкой».

Неверов вспомнил и отношение критики ко множеству русских писателей, затерянных по городам и весям родной земли. Она скорее замалчивала их, «закрывала», нежели открывала. Вспомнил он нищенскую оплату своего труда... И добавил: «...отсюда, на мой взгляд, писательская усталость, некая *обида*, разочарованность, которые легче всего забыть за стаканом».

Отправить анкету Неверов не успел. Поиграв с детьми на полу, поужинав, он — правда, очень бледный — лег в соседней комнате на диван. И почти сразу же вскрикнул:

— Поля! Расстегни воротник!

С помощью соседей Александра Сергеевича перенесли на кровать, вызвали врача. Врач Готлиб явился с опозданием, не захватив — ужасная небрежность! — даже элементарных средств помощи. Пелагея Андреевна, привыкшая к припадкам, все время растирала грудь мужа. Неверов сказал в тревоге:

— Полюшка, как бы мне не умереть ночью!

Но до ночи он не дожил. В восемь часов вечера 24 декабря, накануне своего дня рождения, писатель умер от сильнейшего приступа астмы.

Хоронили Неверова в лютый мороз на Ваганьковском кладбище, там, где через два года вырос могильный хол-

мик бесконечно любимого им Сергея Есенина. Речей писательских, «от имени» издательств, кружков было много. Но, когда они закончились, откуда-то сбоку к гробу неловко, словно дождавшись своей минуты, протиснулся высокий красноармеец. Он обнажил голову и в наступившей на миг тишине сказал:

— Это я, твой Андрон Непутевый, пришел поклониться тебе...

Он поклонился, надел буденовку и среди общего безмолвия, начавшегося затем движения как-то сразу потерялся в большой толпе. Пришедший из народа, он опять растворился в нем. Все это было так неожиданно, исполнено такого глубокого, поразившего многих смысла, что никто не остановил его, и он исчез, не оставив своего имени.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. С. НЕВЕРОВА

1886, 12 декабря — Родился в селе Новиковка Ставропольского уезда Самарской губернии.

1903—1906 — Учеба в Озерковской второклассной школе.

1906, апрель — В журнале «Вестник трезвости» (Петербург) появляется рассказ «Горе залили», подписанный псевдонимом Александр Неверов.

1906—1915 — Работа в сельских школах Самарской губернии. Публикация рассказов в журналах «Русское богатство», «Жизнь для всех», «Современный мир» (Петербург).

1910 — Переписка А. С. Неверова с В. Г. Короленко.

1915 — Работа в самарском лазарете фельдшером. Переписка с А. М. Горьким.

1918, май — декабрь — Пребывание в Самаре и Уфе.

1919—1922 — Работа в Самаре в журналах «Красноармеец», «Красный паровоз», в газетах «Народная газета», «Коммуна». Пьеса «Бабы» (1919—1920) удостоена первой премии на конкурсе произведений о крестьянстве (Москва).

1921 — Поездка в Ташкент за хлебом.

1922, май — Переезд в Москву. Сотрудничество с журналами «Красная новь», «Молодая гвардия», «Крестьянка». Публикация повести «Андрон Непутевый».

1923 — В журнале «Молодая гвардия» (№ 2, 4, 5) появляется роман «Гуси-лебеди», В альманахе «Вехи Октября» — главы повести «Ташкент — город хлебный».

1923, 24 декабря — Смерть А. С. Неверова.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

«Новый дом». Рассказы. Издание Всероссийского Пролеткульта. М., 1922.

«Лицо жизни». М., изд-во «Жизнь и знания», 1923.

«Народный театр». Пьесы. М., изд-во «Красная новь», 1923.

«Серые дни». Рассказы. М., изд-во «Земля и Фабрика», М., 1924.

Собрание сочинений в четырех томах. Куйбышевское книжное издательство, 1957—1958.

Из архива писателя. Исследования. Воспоминания. Куйбышевское книжное издательство, 1972.

Неверов А. С. «Земля и Фабрика». М.—Л., 1924.

Проф. Н. Н. Фатов. А. С. Неверов. Очерк жизни и творчества. Л., изд-во «Прибой», 1926.

Александр Неверов. Под редакцией Е. Ф. Никитиной. Кооперативное издательство «Никитинские субботники», 1928.

Скобелев В. Александр Неверов. М., «Советский писатель», 1964.

Страхов Н. Александр Неверов. Жизнь. Личность. Творчество. М., изд-во «Художественная литература», 1972.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

«...Из Области Войска Донского» 6
Среди фактов и миражей 33
В свете северных сияний 58
В сумерках провинции 79
Газетный «перекресток» литературы 101
На грани веков 122
Чувство пути 166
Под небом Галиции 208
Бессмертный эпос революции 223
В литературных боях 268
С вершин солдатского пути 290
Основные даты жизни и деятельности А. С. Серафимовича 296
Краткая библиография 298

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ

«В сердце снов золотых сума...» 300
Уездная бурса в 1905 году 316
Там, во глубине России... 324
В терновом венце революций 350
На московских изогнутых улицах 377
Основные даты жизни и творчества А. С. Неверова . 397
Краткая библиография 398

Чалмаев В. А.

Ч-16 Серафимович. Неверов. — М.: Мол. гвардия, 1982. — 399 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 5(624)).

В пер.: 1 р. 80 к. 100 000 экз.

В книге раскрывается творческий путь писателей горьковской школы А. С. Серафимовича, создателя классической поэмы в прозе «Железный поток», и яркий гуманистический подвиг А. С. Неверова, скромного учителя из самарской деревни, написавшего всемирно известную повесть «Ташкент — город хлебный». Рожденные социалистической революцией, художники горьковской школы запечатлели величие новой эпохи.

Ч $\frac{4702010200-113}{078(02)-82}$ 286—82

ББК 83.3Р7
8Р2

ИБ № 2414

Виктор Андреевич Чалмаев

СЕРАФИМОВИЧ. НЕВЕРОВ

Редактор **Г. Сальникова**
Серийная обложка **Ю. Арндта**
Фотомонтаж обложки **Т. Войткевич**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технический редактор **З. Ходос**
Корректоры **Т. Пескова, А. Долидзе**

Сдано в набор 16.10.81. Подписано в печать 26.03.82. А02174. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 21 + + 1,68 вкл. Учетно-изд. л. 24,3. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 80 к. Заказ 1688.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 80 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ